КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

КНИГА ШЕСТАЯ

НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 6 (10)

НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ◻ ◻ 1922 ◻ ◻ ПЕТРОГРАД

Главлит. Москва, № 4426. 10.000 экз.

16-я типография „Мосполиграф“ Трехпрудный, 9.

Отрывок из романа „Жизнь и гибель Николая Курбова“.

И. Эренбург.

Валентин Александрович Лидов—отец Курбова, не отец, но вроде. Отец другой—Завалишин. А Курбова—просто и не было. Только Маша Курбова в Еропкинском переулке, мастерица гофрированных роз. Хоть было не двое, а трое—Курбов мог не родиться, не должен был он родиться. Карта толкнула—восьмерка: Валентин Александрович перекупил.

Был Лидов—прелестник, не ногти—рубины. А имя! А имя! В Москве, в Еропкинском, где все Еремеи, Фаддеи, Сергеи—найти Валентина. Клубмен, гладко выбрит, костюм широкий, с искрой от Шанкса. Презрительно вежлив к Маше:

— Ценю я свободу... как в Англии...

И Маша, молясь на складку у губ, на брючную складку, стыдливо:

— Вы истинный ангел!

Повсюду успех—не одни мастерицы—графини, актрисы, супруга посла Португалии, идейные и недотроги—все! Только записывать дни и часы. Всем нежно:

— Любовь—мещанство из книжки плохой... как называется?.. ах, да—евангелие! Прочтите Ницше и торопитесь! Потом—не помните, не ждите. Главное—свобода, как в Англии. И кончив—быстро в клуб. Дымно.

— Я обожаю Метерлинка...

— Результаты политики Чемберлена...

— Воляй-Сюпрем!

— Идеи?—Это так не модно, есть лишь одно—моя свобода...

Так и когда студентом был. Беспорядки. Манеж. В Таганке ни Нелли, ни Шелли. Даже нельзя в героической позе пройтись по Волхонке. Скучно. Искушал его ротмистр—весна на Никитской, из палисадников сиренью треплет по сердцу (ротмистр в мундире своем, как весна голубой и туманный):

— Имена назовите и все обойдется.

Назвал. Обошлось. (Ну, что имена, когда вместо Параши—все утро с Нелли—пролог, стиль. 30-е годы—искать пятизначное счастье, сначала на ветке, потом на груди!)

Был и женат, не на матери Курбова, на Нюрочке Крицкой. Дом получил, но место плохое—на Самотеке. Так и сказали: дом недоходный, должно

обставленный, и все—вплоть до массивных закусочных (ведерко икорное, кнопки для сыра), вплоть до лифчиков Нюры (фабричные под валансьен, из пассажа),—по списку (бывают измены и принципы Ницше). Валентин Александрович был в затруднительном, маклер Ишевич с Ильинки дом оценил в 20.000. И Нюра—свежа, пухла, глупа... Папаша Нюре:

— Овца! Морду от мужа воротишь, а у самой-то коленки млеют. Вот погоди—научит.

Учил. Научил. Потом продал дом, кнопки для сыра и те заложил. Ушел, небрежно подернув плечами:

— Брак это—рабство. Зачем друг за друга цепляться? (Нюре остались лишь лифчики под валансьен).

Другие—от часовых до сезонных. Когда же встретил Машу, был верен идее, но сильно поношен. Тридцать восемь всего, а ко многому больше не годен. Возможно—наследственность, или шампанское «Мумма» (ведь дом самотечный истек не минутной струей «Трипль-Сэк»—многолетним ключом). Но, словом, ни души, ни патентованные капли—ничего! Осталось одно: кой-чем заменить кое-что—отнюдь не наивные вздохи, но сладость—почти, и собственный (гордость Колумбова!) фокус.

Маша была девушкой, знавшей весну с подоконника, свои бумажные розы и чужое счастье—двоих у окошка напротив в доме, оперу Риголетто у Солодовникова и еще, самое главное, что когда-нибудь, где-нибудь, может быть э т о.

Увидав Валентина Александровича, оправила передник, сказала глупость (погода и моды), прокляла подоконник и розы—«ведь он, ведь он—образованный!». Потом, как с лестницы вниз, как послушно заказчице вздорные розы, ему—жизнь.

Он взять не мог, слишком много брал, об'евшись истек, ослабела машинка, но все же не хотел успокоиться, ёрзал и, тешась все о духовном родстве, лопотал, туманно—совсем Метерлинк. А Маша смущалась—он тискал слабея, хихикал, потом у зеркала щурясь и брюки свои натянув осторожно, чтоб складок не смять, шел в «Английский Клуб».

Закутавшись в клетчатый теплый платок, лежала, немногое знала; но было одно: не то! не то! И компрессом жег щеку от слез замокший платок.

Сказал ей:

— Ты останешься девушкой, это гораздо изящней. Взять все до конца—какая пошлость! Я так уважаю твое девичество.

И тихо хихикнув, прижал ее нагло.

— Я так уважаю...

И розы в трюмо бумажные, грязные розы шуршали.

— Конечно, как в Англии...

Неделями Маша двойного звонка ожидала. Завивала папиросную бумагу, думала: «я его недостойна, он чистый, не муж, но рыцарь». И марала слезами линючие тусклые розы. Потом приходил, подвешивал брюки, хихикал, и снова шарили руки, и звал к далекому Ницше, и никем не отпитая женская нежность переполняла каморку, Еропкинский, мир, сердце.

А он об'яснял приятелю, секретарю газеты «Курьер»:

— Простенькая, но не говорите... Порой после бархата сладок ситец.

Шли вместе к «Омону». Ворчал секретарь:

— Я люблю ученых. Все номера из Парижа. Довольно родной самобытности!

Валентин Александрович соглашался, но скромно еще добавлял:

— В простоте—своя прелесть.

И выходя на Садовую, где гнилые листья пахли гарью, не зная что делать с собой, чуя уж старость и легкий сгиб в пояснице, садясь в пролетку с верхом,—не видеть, не слышать—кричал:

— В Еропкинский! На Пречистенку...

Так Курбова могло не быть. Не должно было быть. Ужасно! Что делал бы секретарь Цека? Не Ялича же, чистюльку такую, гнать на работу в чеку! Но выручил случай—восьмерка. В «Английском Клубе» играл Валентин Александрович Лидов с Завалишиным (крупный подрядчик) в «железку», играл—заигрался... Условие: на месте расчет. Проигрался изрядно—одно спасенье: сорвать Завалишинский банк.

— Беру! Прикупаю!

— Восьмерка!

Завалишин мелком поскрипел. И голос у него скрипучий, не смазанный голос. Завалишин отводит, Завалишин не шутит:

— Милейший...

— Ведь будет скандал, старшины, исключение.

— Закусить не хотите?

— За столиком вместе. Вдруг Лидова осенила дивная мысль. Бывает. Ньютона—в саду, Буанапарте—в крестьянской избе. Взглянув на засохшие, толстые губы счастливчика, Лидов вдруг вспомнил: есть Маша, а это стоит нолей на зеленом сукне.

— Заплатить не могу... Впрочем, хотите девочку?..

Презрительно скрипнул приказчик:

— Считать не умеете, вот что! Да на Тверском любая за красненькую. Благодарствую, сам найду.

Но Валентин Александрович умеет считать, ученый:

— Вы меня не поняли. Я вам не девку—честную девушку предлагаю.

И пальцем вкусно причмокнул:

— Оказия! Честная девушка!

Завалишин взглянул—его не надуешь!—Откуда такая?—Сам Лидов известный бабник—конечно, подвох! Не верил, но все ж взволновался.

Человек, изогнувшись, шептал:

— Прикажете антрекотик?

Не верил:

— Извольте платить!

Пищали, встречаясь, стаканы, столкнувшись скулили бутылки, тарелки гудели.

— Парфэ а ля Франс!

А где-то под ложечкой ныло:

— Девушка!

Валентин Александрович пил и юлил, и молился, дрожа, над застывшей, над сальной тарелкой: «дай Боже, дай Боже, чтоб ему наконец захотелось!» И выпив изрядный стаканчик мадеры:

— Поверьте! Услуга—другу. Трубадур—трубадуру. Невинность! Девичество! Я знаю, что вы далеки от искусства, но вы ведь слыхали—Мадонна! Экстаз! Беатриче!

Завалишин не выдержал:

— Врете! Неужто такая?

— Ей-Богу!

И дрогнул:

— Но как же вы прозевали?

Как было? Выпил ли Лидов не в меру мадеры, иль очень боялся скандала, старшин, исключенья, хотел убедить, увести, иоли зачеркнуть? Нет. просто попал в точку, ковырнул, и душа раскрылась:

— Я? видите ли, — я не способен...

От попранной гордости, от мужской обиды, от всей своей уж трехлетней муки, перед подрядчиком, перед лакеями на манишку, смятую за ночь,— заплакал, громко по-детски сморкнулся, и вышел. И долго в уборной у кафельной стенки всхлипывал, как мальчишка, строго наказанный, забытый, ненужный, лишний.

Вошел Завалишин:

— Согласен. Едем.

Торопился подрядчик, не мог попасть в рукава енотовой шубы—швейцар извинялся. Лихачу:

— Живей!

Двойной звонок. Проснувшись, в капотике кинулась к двери Маша. Вот точно ей снилось: Царицыно, лодка, и милый смеется, веслом подбирает упавший платок, вот точно ей снилось: подходит т о.

— Мой друг Завалишин.

— Ах, я не одета!

Завалишин чуть усмехнулся:

— Оно и лучше, меньше работы будет.

Валентин Александрович суетился, — а вдруг не согласится Маша, отрежет, откажет, тогда... тогда... и одно вставало: скандал!

— Машенька, я хочу с тобою поговорить немного.

В соседней комнатке:

— Видишь ли, я проигрался. Азарт—великое чувство. В нем красота порыва. Восьмерка вышла—перекупил. Завалишину должен. Одно осталось... И вынул браунинг.

— Валенька, что вы? Господь с вами!

Видит, уж видит страшную рану.

— Ты можешь помочь мне. Я чист, я невинен, я даже слов таких не знаю. Но вот Завалишин—весьма ординэр. Как жаль, что ты не понимаешь

по-французски—язык Мопассана. Словом, ты с ним должна остаться вдвоем и кое на что согласиться. Что тебе? Как говорил мой приятель—философ большой. Камин,—ничего не убавится. Красота останется. Мы будем снова невинны, как дети.

У Маши все завертелось—розы розовые, шапка с ушками Завалишина, милые руки, вспорхнувшие мимо. Потом прояснилось, остались лишь руки, милые руки.

— Валентин Александрович, если для вас—стерплю.

Хотела еще одно слово, — «люблю», — боялась. «Любовь—мещанство», но все ж не сдержалась и руку его, летящую мимо, схватила (не ногти—рубины) и, вся преклонившись, ее целовала.

— Я вас не обязываю. Выше всего свобода, но здесь поставлена на карту—проклятая карта—восьмерка! Моя свободная личность!

Довольно. Все обошлось хорошо. Расписку дает Завалишин.

— Спокойной ночи. Я вашей свободы стеснять не стану.

Но даже розы, бумажные розы, груда роз на столе, на комоде, на окнах шепнуть не посмели «как в Англии»—смолчали, свернулись, заблекли.

Вышел. Остался скрипучий, сухой Завалишин. Торопился, не знал ни свободы, ни Ницше. Навалился, схватил, закусил жадно, как виноградину раздавил. Ботиком топнув, ушел.

Мокреет платок: «не то! не то!»

Валентин Александрович никогда не вернется.

Что без девичества Маша? Глупенькая мастерица. У него гувернантка, деликатная, из Лозанны.

Так кончилась ночь. Нет, не конец, а начало:

В каморке бурой под хрип и скрип и досок скрип и смех скрипучий был мир еще—за домом—ветер, буря, тучи, за тучами высоко звезды, звезд миров и наших душ высокие, непогрешимые фигуры, и на кровати—от любви и от позора, от перекупленной восьмерки начало человека — Николая Курбова.

* * *

Валентин Александрович действительно больше к Маше не пришел. Хоть знал он, что кончился вечер в клубе карточным сыном—Колей.

Раз лишь, три года спустя, выиграв порядком,—выйдя один на мороз—вспомнил: восьмерка, лихач, на пальцах горячие губы. Вернулся. Вложил сторублевку в конверт, приписав:

«Духовному сыну на елку. Расти свободным, широким, терпимым».

Посыльному дал и долго за полночь собой любовался. Какую-то девушку помнит, не брезгует прошлым, без предрассудков, один, забыт всеми, как Рудин или бедный Лемм никем не понят, средь хамов—джентльмен.

Если б эти сто рублей пришли раньше, когда Маша металась, молила бабку еще подождать, писала Лидову, ждала почтальона, и соску пустую в ротик воткнув, задыхалась от жалости!

Потом? Всегда так выходит и все же чудно,—как это вышло? Пришел

не Лидов—Завалишин. За ним другие. Сначала фамилии, лица, потом вереницы. Брюнеты, блондины. Вот здесь бородавка. Еще—вчерашний разорвал рубашку. Еще—один как-то чавкал. Ночь. Утро. Вечер. Огромный рой. Гуденье. Время. Не человек, не люди—человечество.

А рядом в каморке, со щелкой во двор, где плакал шарманщик и мастер паял кастрюли, на сундуке, под одеялом лоскутным, в платаниной куртке, спал беленький Коля Курбов.

Слышал вечером говор, сговор. Мамаша смеялась, брала гитару и глухо, как будто в носу полип, чтоб было чувствительней, пела:

Ах звезды, вы звезды мои...

Потом, визжа, прочь летела гитара. Шмыгали, прыгали, шаркали. Стоны. Мелкий смешок. Вздох. Рык. Тишина.

Спросил—мамаша всхлипнула, слезы взрыхлили белые щеки, как мятные пряники. (Маша распухла от сна до обеда, от трубочек с кремом—гостей угощала, и белая стала, белее нельзя). Увидел, как слезы размыли мучнистые щеки и понял—молчи.

Пожалуй обвык, стали вздохи и скоки за стенкой, как визги шарманки, как мастера клеп. Но маму жалел до озноба. От жалости жадной дрожал под лоскутным. Когда уходила мамаша в колбасную—чайной купить на вечер, он целовал на кровати ее пробитую ямку—след тела. Просыпаясь, выглядывал ночью, и гость иной, заглянув в его ясные глазки, завязывая галстук, кидал налету:

— Он у тебя ангелочек!

Бывали ночи похуже—посуду били. Мамаша молила—чашку с пастушкой, с золотом вязи «Откушай»—одну пощадить. Разбили. И хуже еще—не чашку, мамашу били. Наигравшись всласть до утра, засыпали, и к полдню стоял еще злобный из самой утробы—храп.

Помнил Коля. Как-то проснулся. Забегало сердце. Гитара. «Ах звезды, вы звезды». И бац.

— Так-то ты, стерва... поерзай на брюхе!..

И тихо. А в шторке рваной звезды.

Слышал и знал. Но не был ни маленьким Байроном, ни тихой замухрышкой. Болея болью тайной, вмиг умел себя оправить. Играл задорно в чехарду—дитя с детьми. Но больше чехарды, больше бабок, больше игрушек нарядных в окне магазина. «Сны детства» любил он коробки от спичек, пустые катушки, пробки. Часами он строил—коробки и пробки росли, стояли, упасть не могли. Вот фабрика спичек, не фабрика—город, и в высь каланча-обелиск! Какое величие! И здесь карапузик, коленки — заплаты, мама ушла—он не евши, и есть он не хочет, считает коробки и меряет пробки. Не Коленька—Коля. Числитель, Зодчий.

Маша от жизни небывшей (ах, Лидов уехал куда-то—наверное в Англию), от храпа и сапа в церковь кидалась, до смутлого Спаса. Там вместо гитары, армянских загадок и хаяния — торжественный зык: «Иисусе Сладчайший». Из кошелька выгребала полтинник—все наградные за выверт, за фокус, за многих ночей усердие—и ставила свечку, не мудрствуя много, кому и за что.

просто от бедного сердца, от кошелька, где каждый грош промучен, зубами прокушен, сосчитан.

Колю в церковь водила. Не нравилось Коле, даже порой упирался. Маша крестилась:

— Что ты чертенок? В церковь боишься итти! Только чорта от Божьего Духа мутит.

Шел—значит надо итти.

Как-то пошли—Василий Блаженный—закоулки, проходы, щели и норы В темь, в глубь, а в углу средь золота большие пустые глаза. Ну разве этот знает про Колин сундук, про мамины охи, про клеп и про чехарду? От чадных лампадок, от ладана, от маминых сдвинутых к брюшку благообразных ручек—скучно, так скучно! Только на площади ожил. Веселый клёкот пролетэк. Купчина поскользнулся—упал. Чуть отлетели тяжелые голуби. Снова сели. Купчина стряхал с полы пух снежной перины.

— Маменька! Маменька! Как хорошо!

Маша смущалась, даже просила отца Спиридона наставить. Жирной рукой шлепнулся прямо в губы:—читай «Отче Наш». Читал. Боялся. Не верил, но все же боялся—мать говорила:

— Слушай отца Спиридона, не то Господь покарает...

— Покарает? Чем? (про себя—«может маминой ямкой!»).

— Ей-ей покарает... чихом или глистой...

Отец Спиридон сам испытал всевышнюю кару (за что, неизвестно. Ведь Иов безгрешный и тот был наказан). Мужчина в соку, четвертый десяток, а вдов. Когда Маша говела, сказал ей важно, святость блюдя:

— Очистись!

И после сладко причмокнул (что ж! и в пост полагается постный сахар).

— В четверг приду. Готовься! Чтоб кто не забрел греховный...

И вправду пришел. Коля в щелку глядел. Ни креста, ни рясы, ни трубного зыка. Бородой щекотнул маму ласково. Пошло, как всегда, в той же ямке, и так же бедная мама работала. Но уходя—другие шуршали рублем или трешкой—стал снова суровым, хоть без креста, но отец Спиридон. Только руку не спеша к губам подсунул. Мама, склонившись, припала. А Коля у двери на цыпочки встал, приподнялся и вырос. Сразу прозрел и презрел, усмехаясь, и чих и глисту. Ласково только подумал о маме: ей ведь не скажешь—она будет плакать.

И маме на утро:

— Я, маменька, в церковь схожу помолиться.

А сам шел к приятелю Васе в печатню Качина. Вертелись гигантские свитки, вливая бумажные струи, зубья белесую реку вбирали, сжимали, клеймили, целуя взасос и снова кидали—огромный плевок. Он порченый лист подобравши читал:

«Мы ждем от Микадо уступок...»

Машина знакома с Микадо! И гордость и радость.

— Я свечку поставил, мамаша!

Маша гордилась. Из сил выбивалась—за ночь две смены пускала, — но

сын будет важный, — Валентин Александрович, мечтатель, слова иностранные, не «ординэр», как в Англии... Реалисту, что жил во дворе на хлебах у молочника Тычина, три целковых давала в месяц на девок, натурой же не хотела.

— Мальчика постыдись!..

Тычин готовил к экзамену, честно готовил—и «гнезда, и звезды, и цвел, приобрел»—все яти сказал, не утаил ни одной.

Коля запоем читал буквы и цифры, и знаки. Ночью, просыпаясь от шума: «Вот сейчас надо поставить двоеточие...» Не пропали 15 целковых—на экзаменах первый. Потом, взмылясь, достала Маша куртку Коле, фуражку с гербом. Красивый герб! И вдруг отойдя от зеркальца — готовясь к гостям, пудрила шею:

— Да ты ведь того... кавалер!..

Шли дни. Каждый вечер в большой—суетня и визг, в маленькой рядом—наречия, союзы, предлоги.

Но к новой весне беда. Как-то пришел приказчик один, с Плющихи, в явно нетрезв, Машу раздетую всю запотевшую на лестницу вытолкнул:

— Прогуляйся в прохладе, Венера!

Маша слегла. Все внутри зажглось, захрипело, дохнуть — нет сил. Банку б поставить—нельзя, кошелек Коля вывернул даже, ища пятачка несгоревшего тонкой свечей.

— Господи, сил нет! Сходи в Мансуровский к Прову, знаешь, колбасник, он добрый, — даст, коли что — позови.

Пров пришел и озлился:

— Я думал за делом зовешь, оснастился, а ты что же, дура, меня принять не способна? Тьфу! Разлеглась! Мадама какая!

И, кинув полтинник, да так, что еще под кровать завалился—еле Коля его подобрал, — ушел.

Так не было банок, и даже бальзама не было—кашель утишить. Две ночи еще промаялась Маша. Вместо привычного храпа—человеческий лай и вопль. Потом один взлет от ямки, клок простыни в скрюченных пальцах. Все.

Когда выносили, дворник Трифон ругался:

— Окочурилась шлюха!

И на Колю:

— Еще наплодила... богатство!

Впрочем все было пристойно, и даже отец Спиридон прогремел: «И презревши все прегрешения...», от чувств набежавших и от кислого кваса сердито икнув.

Так закопали. Коля на конке (собрали четыре целковых) вернулся домой.

Вошел и взроптал. Нелепости этой осмыслить не мог. И рои ночей, и люди, и муки, и щель скупая в размокшей земле. Зачем же высокие башни катушек, державные лапы машин, в учебнике чудные буквы: ясная А и свободное О? Зачем же морозное утро и говор веселый и нос заиндевевший и

плещущий голубь? Зачем?—сиротела кроватная ямка—целует тюфяк, клок пакли, в полоску тряпье. И другая яма—сырость и червь, как глиста.

Гитара. Нечаянно дернул струну. Завизжала. Вспомнил — «Ах звезды, вы звезды мои...».

И точно в окошко взглянул.

Вот Маша и Маши другие — их много — глядят и вздыхают: туманность их тянет, простор распирает и грусть — отчего не дано? А Коля взглянул и увидел: система, гармония. Да, были то числа, таблицы, не сны — чертежи. И в каждой наклонной, и в круге, и в ромбе оправдана бедная жизнь. Оправдана койка, гитара и комья московской безлюбой земли.

Здесь жизни истоки, в каморке неприбранной, у запотевшего от весеннего духа стекла. А после одно продолженье, одни отраженья вот этих явившихся чисел. Мечты и конспекты, рост человека, и дальше программы учет, диаграммы совхозов, комкомов—лишь отсвет позднейший вот этих на час прояснившихся ромбов.

Он понял и прошлое ласково прочь отстранил. Больно? Не может быть больно! Спокойно выпил из чайника старый еще для мамаши заваренный чай.

Утром был маленьким мальчиком Колей. Теперь—Николай.

Перемена.

Мариэтта Шагинян.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.

Нигде «перемена» не была такою сплошной и беспередышной, как на юге России в эпоху гражданской войны. Я и хочу рассказать о ней, имея в центре внимания не событие только, но человека.

Я провела в Донской области около трех с половиною лет революции, с поездками в Петербург и Закавказье. За это время мне пришлось пережить несколько переворотов, немецкую оккупацию, приезд «союзников» в гости (англичане и французы в Новороссийске и на Кубани), полосы междувластия, когда единственной защитницей обывателя была домовая охрана, атаманщину, деникинщину, врангелевщину.

Обыватель, как растение, сопротивлялся этому ветру событий. Он стоял на месте, и волны шли через него, оставляя отметы. Отсюда не «историческое» (с перспективой), а чисто локальное, местное запечатление всего пережитого. Но чтоб яснее представить себе эту «локальность», читатель должен видеть кусок степной России, о которой я поведу речь.

Из страны черного хлеба и гречневой каши вы попадаете в страну пшеницы. Степной простор без края, по обе стороны железнодорожного полотна. К середине лета он выжжен солнцем, на пыльной земле—сухие хвостики ароматной травки «чебрец», свист цикад и зигзаги ящериц. Уши наполнены перебоями этого свиста; солнца так много, что кажется, будто и оно шумит в ушах, особливо в полдень.

Сонные, сытые станицы,—хлеба много, лени много. Есть легко, значит трудно работать и думать. Никакой борьбы за благообразие, за разнообразие: хлеб душит все. Излишек зерна приучает к барышу, с которым не сравнится скромный барыш огородника, кустаря, пчеловода. И вы видите, что у казака нет ничего, кроме хлеба. Хлеба—и денег.

Даже донской хуторянин все свое внимание кладет на пшеницу. Заедешь на хутор,—та же сонная лень, хлеб, молоко, помидоры, черешня,—и нет картофеля, нет капусты. Картофель и капуста на Дону дороги, потому что нет выгоды возиться с ними. Пшеница убила все.

Деревни без дерев: лень их сажать. О садиках нет и помину. И стоит с августа над этим нагретым простором душная пыль молотящегося хлеба, густая до того, что чихнуть страшно—заползет в глотку и ноздри.

А рядом расковыряно черное чрево земли, полное угля. Вместо цветов под Новочеркасском дети собирают окаменелости перистых рыб, кузнечиков, папоротников.

На узле хлебного и угольного пути, где пролетает поезд, знакомый москвичам и петербуржцам по летнему следованию на минеральные, стоит город, построенный спекулянтами для спекуляций, Ростов-на-Дону. Это молодой город, у него нет истории, кроме разве «проезда высочайших особ» да похорон городских голов. Весь он из конца в конец прорезан одной главной торговой жилой, от вокзала и до заставы. Вокруг вокзала грязь, гной, гниль Темерницкой лужи, почерневшей от копоти и фабричных слюней, выплеванных сюда темными трубами фабрик, черными жабрами локомотивов, угольной и мусорной пылью. Тут рассадник холеры, и летом здесь солнце печет так, что каблуки застревают в асфальте.

По главной улице—бесконечный ряд небоскребов, домов с новейшей техникой, взлетевших под самое, лысое от солнца и засухи небо,—и в огромных сквозных витринах, веялки, молотилки, моторы, паровики, колеса, трубы, а над витринами золотом по черному—имена американских, английских, французских акционерных обществ. Склады, конторы, склады отделения фабрик, банки и опять склады и опять конторы.

Внизу под городом, параллельно с главною улицей, белая лента Дона, запруженного грязными барками, баржами, плотами, заводями. Хлеб идет по дорогам, хлеб идет по воде,—и огромная парамоновская верфь принимает его, парамоновская мельница перемалывает его, а город рассказывает устами обывателей парамоновские семейные новости, принимает парамоновские пожертвования. Это—именитые оседлые богачи, но есть и богачи-номады. Те приходят—уходят. Они продают то, чего никогда не видели в глаза, продают тем, кого тоже еще не видели, и часто перепродажа обогащает десятки прежде, чем вещь пригодится кому-нибудь из купивших.

Прислушайтесь к языку—ростовский язык, это—кратчайшая линия между двумя точками, жаргон, образующим ферментом которого явилась экономия. Отсюда—пособное значенье жеста. Но как здесь жестикулируют! Не вдохновенно-бестолково, подобно одесситам, а скорей таинственно, как глухонемые. И армянский, греческий, еврейский, американский, хохлацкий, немецкий акценты здесь сбились в дробную стуколку, понятную только тому, кто участвует в ее хоре.

Где наживают, там не любят тратить. Ростов почти не украшается; и все благие начинания, школы, библиотеки, театры, едва став на ноги, клонятся к упадку, либо прекочевывают на другую почву: так распались на моих глазах две хороших художественных школы, библиотека, консерватория, лучший молодой театр.

Екатерина особой грамотой выписала когда-то независимых крымских армян на донскую землю под Ростовом. Им обещаны были всякие льготы. И богатые армяне двинулись со своим скотом и скарбом в донские степи. Они осели в них, образовали большие села, а под Ростовом вырос уютный городок, Нахичевань, своего рода Шарлоттенбург под Берлином. Из шум-

ного Ростова попадаешь в чинный, чопорный городок с приглушенным шумом шагов на тротуарах, в два ряда усаженных белыми акациями, с припущенными веками-ставнями изящных особнячков александровской эпохи, с лепными украшениями и под'ездами. Здесь уже вовсе глухая, но зато крепко оседлая провинция с пересудами, родственниками от Адама, чаепитиями, рецептом домашних печений и черноглазыми арменятами на руках у важных толстых русских нянь, раздобревших на сдобном.

Но мещанином и спекулянтом Ростов не кончается. Глухие зарницы не раз полыхали над темным фабричным Темерником. Ростов, это—центр рабочих. И ростовские рабочие средь пыли и копоти в бреду хохлацко-американской сутолоки давно стали «интернационалистами». О них читали ростовские юноши в запрещенных брошюрах, что эти рабочие считаются передовыми.

Итак, вот схема:

1. Место действия—сонная степь под солнцем Донобласти; и в ней малая точка—город.

2. Время действия 1917—1919 г.г.

3. Действующие лица—казачество и крестьянство, избалованное излишком; в городе-коридоре—номады-спекулянты, неврастеническая интеллигенция и крепко сидячее мещанство. И рядом муравейник рабочих, пропитанных зловоньем Темерника, муравейник шахтеров, изглоданных угольной пылью,—работающих от восьми до шести и опять от восьми до шести и уже тайком исповедующих железную формулу, которой дано будет лечь, как печать, на каждую государственную бумажонку: «не трудящийся да не ест».

В этих записках нет ни одного выдуманного слова, ни одной непережитой сцены. Кое-где я только изменила имена и сдвинула пространство.

ГЛАВА I.

Мы протираем глаза.

Души людей, как наконечники стрел, конические,— они очень легко во все входят. Трагедия начинается с выхода или от пребывания в чем-нибудь, а вонзиться всегда чрезвычайно легко. Так вонзились мы и в февральскую революцию. С величайшей охотой и удовольствием, по самый кончик, вошли в нее люди самые разнообразные: капиталисты, чиновники, губернаторы, полицеймейстеры, думские гласные, нотариусы и даже городовые. Это было сюрпризом, а сюрпризу все люди рады.

Столицы были к нему слегка подготовлены, но провинция пережила его словно снег на голову.

По вечерам, за ночь, в домах сидели гости и играли в карты. Прислуга на кухне сквозь сон готовила тот же неизменный ужин: летом резались на закуску помидоры и огурцы, делалась «икра» из вареных баклажан, выни-

мался из банок плачущий белый, пахнущий остро сыр брынза, вспарывалось текущее жиром бронзовое брюхо шамайки, травки всех наименований и запахов, от укропа до белого испанского лука, ложились отдельно, опрыснутые водой, на тарелку; и на печи, посыпанной крупным углем, подогревался бараний соус с бобами,—а босые ноги шелестели уже по красному деревянному полу на террасу, где накрывалась скатерть, ставились свечи в стеклянных колпачках от ветра и падали, ушибаясь о них, крупные пахучие жужелицы. Зимой граненое стекло поблескивало в старинном трюмо, и чинный столовый стол заставлялся холодной закуской, а из темных буфетных комнат, где пахло мускатным орехом, гвоздикой, ванилью и пробками, выносились цветные графинчики.

Гости играли до ночи и ушли доигрывать в клуб, оставив спящую стоя прислугу подбирать со стола тарелки и засыпать солью красные винные пятна на скатерти. Но хозяин утром вернулся домой с газетой в руках. Он прошел гостиную, кабинет, будуар, коридор, затянутый линолеумом, в спальню вошел не на цыпочках, жену за плечо взял без всякой осторожности и голоса не понизил до шопота, когда сказал так, что слышалось в коридоре:

— Вставай! В Петербурге революция, Николая убрали.—Потом самые разнообразные люди поздравляли друг друга, мало понимая, почему они радуются. Потом город убрался, принарядился, школы распустили учеников, городская дума устроила заседание и под портретами государей читались вслух телеграммы об отречении голосами торжественными и полными, словно это было личным удовлетвореньем каждого из читающих.

Начались митинги, и легкость вхождения в революцию все продолжалась. Проступили отдельные Иваны Иванычи, избираемые в разных местах разными организациями. Иваны Иванычи вставали рано, не любили почесываться, в уборной газетами не зачитывались, после обеда не спали,—они «кипели в общественном котле». Им всегда было некогда, они поглядывали на часы, рядили извозчиков месячно, держали своих кучеров, как модные доктора, и не было случая, чтоб их не оказалось на заседании. Когда приходил час выборов, они выбирались автоматически, совсем так, как севший в вагон доезжает до станции, а начавший служить дослуживается до чина.

Проступили и Марьи Ивановны. Эти дамы любили вспоминать курсы Герье, когда-то прятали у себя нелегальную литературу, собирали деньги на шлиссельбуржцев, а во время войны шили солдатам фуфайки. Каждая из них где-нибудь председательствовала. Они умели звонить в колокольчик и очень громко кричали «тише!». Им досталось целиком женское движенье и митинги по женскому вопросу.

Один из таких митингов я помню. Президиум (четыре дамы с колокольчиками) оповестил: ровно в 8 ч. вечера в коммерческом училище. Говорить будут о женском вопросе. И собралось женщин видимо-невидимо, ровно к 8-ми часам вечера, со всех ростовских и нахичеванских окраин,—женщин в платочках и дырявых сапогах. Шли по снегу, по воде, по лужам, шли с грудными ребятами, кому не на кого было их оставить, шли версты и версты,—пришли, а президиума нет. Колокольчики стоят, но дамы опоздали, а в залу

не вместить и одной десятой пришедших. Гул стоит от вопросов. Пришедшие хотят хлеба, не пшеничного, а духовного, по которому голодали года.

Но вот половина президиума приехала в фаэтоне. Толстая дама с фишю на колыхающейся блузе, просвечивающей розовыми лентами бюстодержателя, всплывает на кафедру, помавает платочком, кричит громко, хозяйственно, благотворительно: надо перенести митинг на воскресенье 12 часов, здесь потолки провалятся, с улицы ломятся толпы, нельзя, никак нельзя...

Духовного хлеба нет, голодные ропщут, им кажется, что над ними смеются. Они пришли со спичечной фабрики, с макаронной, с мыльного завода, с парамоновской мельницы, а оттуда, по грязи и талому снегу версты и версты...

Вечером говорит утомленная Марья Ивановна Анне Ивановне в чинной столовой, когда спящая на ходу девка несет, роняя вилку на пол, приборы, а из кухни бьет запах подогреваемой бараньей ноги:

— Какая темнота! Сколько ненависти к интеллигенции! Забыто все, что мы отдали, чем пожертвовали! Они готовы избить нас или устроить погром,—вот увидите, начнут с евреев, а кончат интеллигенцией!

Но стадия Ивана Иваныча сменяется стадией Петра Петровича. Иван Иваныч стоит в зените. У Ивана Ивановича появился завистник. Почему, скажите, все ему да ему? Почему все его да его? Как будто нет лиц с высшим образованием, с общественным стажем? Снова политический митинг. На эстраде Иван Иванович рядом с Петром Петровичем. В зале—рабочие и солдаты.

— Товарищи!—кричит Петр Петрович:—обратите внимание, комитет сам себя выбрал! Советую вам воспользоваться своими правами и переизбрать комитет на основах четыреххвостной формулы!

Шум. Иван Иваныч, бледнея, вскакивает:

— Товарищи! Зала полна еще несознательных элементов. Среди нас есть провокаторы! Нельзя переизбирать комитет, не имея руководящего списка!..

Шум, свист.

— Он против четыреххвостной формулы!—кричит кто-то, делая ударенье на «му». Зала сбита с толку. Веселый человек в пиджаке, прячась за спины рабочих, пронзительно вопит:

— Иван Иванович—сука!

Иван Иванович потерял популярность. На эстраде утверждается Петр Петрович. А вечером у Петра Петровича ужин, скорый, на быструю руку, с государственной экономией времени. Два-три единомышленника, их жены, гимназист из комитета учащихся, старший приказчик—в виде демократического элемента... Жуют, стирая с усов капли сладкого соуса, подбирают с тарелки рыхлым куском белого хлеба; гимназист скоблит ножиком. Но Петр Петрович темнеет:

— Где графин? Почему вино в бутылке, а не в итальянском графине?

— Машу я выгнала нынче,—шепчет Анна Ивановна, сжимая отрыжку

корсетом и пряча губы в салфетку,—Маша разбила, нахальная стала. Вообрази себе, ходит и спит. Я ей говорю, а она зевает.

— Ах, мерзавка! Итальянский графин!—Петр Петрович безутешен, настроенье испорчено, графин был привезен из Милана...

Но что же чувствуют Маши, полуспящие от усталости, что чувствуют женщины со спичечной, мыльной, парфюмерной, бумажной фабрик, машинисты и смазчики, шахтёры, солдаты, мусорщики, выгребальщики, те, что тянут вонючую кожу на кожевенной фабрике за городом, те, что моют вонючую шерсть на шерстомойке за городом, те, что тихо скользят по ночам на вонючих бочках в городе? Знают ли их Иван Иваныч и Петр Петрович? Знают ли они Ивана Ивановича и Петра Петровича? И что им дала февральская революция?

ГЛАВА II.

«Проблема труда».

Не все интеллигенты подобны вышеописанным. На последней улице города, лицом в степь, стоит деревянный домик, краненый в голубое с белым. Крыша у него треугольником, окна в одно стекло, во дворе голое тутовое дерево, колодец, куры и мостки через черные лужи, густые, как сапожный клей. Отсюда слышно виолончель, здесь живет Яков Львович, тоже интеллигент, когда-то магистр философии, а сейчас скрипач городского симфонического оркестра.

Яков Львович не всегда бреется, он высоко поднимает воротник пиджака, а нечаянно взглянув на свои ногти, сконфуженно прячет руку в карман. От Якова Львовича пахнет луком,—так сдабривает ему каждый день водянистую похлебку без мяса мать Якова Львовича, Василиса Игнатьевна. Мать—православная, русская, маленькая, в платочке. Самого же Якова Львовича в гимназии ругали жидом, а в университет—дружелюбно—семитом. У него длинный нос, бледные восковые ушные раковины, красноватые веки и в них небольшие робкие глаза, прячущиеся от чужого взгляда, как от удара. Яков Львович вышел в отца, провизора Мовшензона.

Для родного городка Яков Львович—неудачник. Из науки проку не вышло, отцовские деньги проел и пропил, не женился, не выбился в люди, ходит ободранный, сипло смычкастит себе что-то по струнам в дырке городского оркестра и не знается с приличною публикой. Даже и на обед к городскому голове, куда приглашен был весь оркестр за исключением низших ударных, не позвали Якова Львовича.

Для себя самого Яков Львович—счастливец. Не только счастливец—блаженный. У него всегда хорошо на душе, так хорошо, что даже перед людьми ему совестно. Дождик идёт, лужи чмокают, ветки вздрагивают, скрапывая каплю,—и он, точно дерево, рад дождику, спешит на мокроту, лысинкой намокает, губами бормочет,—радуется. Сухая пыль столбом стоит, доводя до вычиха дворовую собаку, а он и тут рад, глядит на твер-

дые круги облаков, выпукло стоячие на пыльном небе, и вспоминает Андреа Мантенью.

Яков Львович любит Россию. Кто же и умеет любить ее с той раненой нежностью отброшенного невзлюбленного ребенка, как не инородец? Он стоял рядовым с ружьем по колено в воде, защищая ее от немца, хотя в сердце его начертана была заповедь «не убий». Он по первому ее зову побежал из окопов брататься.

Офицер, университетский товарищ, сказал ему:

— Ты, как семит, не можешь понять позорности происходящего. Тебе не больно, когда рушится государственное единство, попирается национальная честь... Сын родины должен чувствовать, как хозяин. Будь ты хозяин, ты бы вместо братанья пошел и дал ему прикладом в морду. А ты семит и наемник. Тебе все равно.

— Послушайте, да чей же вы сын?—взволнованно говорил Яков Львович, порываясь об'яснить ему:—ведь это она же, мать ваша, сказала мудрейшие в мире слова, она посылает вас по-братски к брату! Таких слов еще никто в мире не произносил, а вы неразумно затыкаете уши, восстаете на мать. Посмотрите вокруг себя: над лицемерием, ложью, кровью, насильем, предательством—благословение папы, священников, пасторов, журналистов, ученых и ни один не закричал: «остановите безумие!». И вот Россия первая говорит, что нужно,—самое простое, самое понятное. А вам стыдно перед кардиналами и дипломатами за ее «необразованность»—вы не сын. Так чувствуют лже-сыновья, кретины!

— Так рассуждают жидо-масоны, у них своя дипломатия, знаю!—в бешенстве кричит офицер, вспоминая, что носит погоны.

Сколько ран нанесено Якову Львовичу! Но что ему? К боли, кусающей сердце, он привык и не ропщет. Она только ширит сердце для радости, учит молчанью. И Яков Львович прячет небольшие робкие глаза в красноватые веки, сторонясь, как удара, чужого взгляда. Не понимают—не надо.

Вместе с потоком серых шинелей, облепивших вагоны, свисавших с площадок, с крыш, с буферов и из окон, докатился и он до голубого с белым домика, снял обмотки с длинных и тощих ног, обмылся, отправился в город, на митинг.

Долго ходил Яков Львович, слушал и волновался. Не с кем было делиться. Приходили в голову длинные речи, а говорить их некому, несвоевременно.

— Товарищ, вы бы попроще! И знаете, уж очень как-то у вас все восторженно,—сказали ему в редакции, куда он принес заметку об организующей роли музыки.

Мысли верные, глубокие, мудрые—и никому не нужные. У Якова Львовича тетрадь в клеенчатом переплете, купленная когда-то у Мюра и Мерилиза. В нее он записал:

«Надо осознавать происходящее—вплоть до проблемы, сжимать свою мысль до формулы. Каждая крупица действительности сейчас показательна, как семячочка. Это я называю конденсацией опыта».

— Яшенька, не заходил бы ты умом за разум, отдохнул бы,—советует мать, пришедшая от соседки.

Яков Львович записывает у себя:

«Мысль отдыхает, когда ей дана работа. Всякое следование фактов без передышки утомляет и раздражает».

— А от Авдотьи Саркисовны,—твердит свое мать:—она говорит, что ты бы мог получить теперь хорошее место по городской милиции. Старых-то поснимали, новых ищут, которые с образованьем. Жалованье и положенье. Без труда-то ведь не проживешь.

Яков Львович не слушает мать,—его занимает идея. Разве не сходятся все вопросы действительности, все ее беды у одной центральной проблемы? Труд, в этом все дело. Он раскрывает тетрадь и снова пишет:

Проблема труда.

Ошибочно думать, что вопрос о труде разрешим в плоскости социальных отношений. Забывают о психологии труда. Если труд—обязательство, да еще тяжкое, да еще volens-nolens, то на такой почве ничего не построишь. Труд должен *удовлетворять* человека. Отсюда: он не смеет быть механичным. Не механично лишь творчество, и труд должен быть творческим. Но творческий труд не утомляет, не насилует, это не обуза, а счастье. Я могу работать творчески по 12—16 часов в сутки и меня надо силком отрывать, сам не в силах остановиться. Отдыхаю—для него же. Утомляет меня не он, а, наоборот, невозможность ему отдаться, помеха, рассеяние. Неспособны к творческому труду только кретины (и чаще всего из буржуазного класса). Разве для кретинов произошла революция, что в единицы меры всего человечества избирается самочувствие кретина?

Стук в дверь—у Якова Львовича сосед, товарищ Васильев, механик и большевик. Маленький остроглазый горбун с высокою грудью входит в комнату. Желтые пальцы с порыжелыми ногтями сыпают на мятую бумажку табак из жестянки, быстро скручивают, прихлопывают жестянку. Яков Львович дает прикурить.

— Я с митинга в городском саду. Бестолочь! Массы озлобляются. Видели вы последний номер «Известий»?

— Товарищ Васильев, выслушайте мою мысль,—берет Яков Львович клеенчатую тетрадку. Ему это кажется простым, как дневной свет.

— Кустарничество, — буркает Васильев: — мелко-буржуазная психология. Сводите вопрос с рельсов в тупик, да там его и складываете впрок.

— Поймите же вы, это вечное! Не надо ваших терминов, они этого не покрывают,—всплескивает Яков Львович руками.

— Работаете на контр-революцию, если хотите знать,—неуклонно выходит из уст горбуна с клубами табачного дыма.

— На контр-революцию?—встает Яков Львович. Солнце из низенького окошка падает на худое лицо с острым носом, черты его вытянулись, обла-

городились, стали странно-знакомыми; и глаза глядят широко открыто, без робости:

— Посмотрите сюда, какой я контр-революционер! Я больше пролетарий, чем вы, ничего у меня нет и ничто здесь не держит меня. Я люблю мысль революции, я за нее умру не поморщившись. Или вы лучше меня видите ложь старого мира? Только я не желаю создавать на место нее новую ложь под другим названьем. Я гляжу в корень, в первооснову, а вы мне отвечаете ходячими словечками, жупелами. Почему вы не хотите видеть мою правду, как я вижу вашу?

Васильев докурил папиросу, он молчит, ему трудно найти слова. Потом говорит, и взлетает каждое слово, как ком земли из роющейся могилы: вот тебе, вот тебе, вот тебе:

— Все вы глядели до сих пор в корень. А что сделали? Кто в корень глядит, ничего не делает. Последняя ваша правда—оставить все, как оно есть, вот ваша правда. Вам кажется, что вы с нами, а всё, что вы говорите, мог бы сказать любой буржуй и сделать выводы против нас. Любой профессор подцепит ваши слова с удовольствием. Нам они ни к чему, они давно говорены, опорочены, от них ни пяди не изменилось. Да и зачем вам, скажите, итти к нам? Вы вот говорите, что пролетарий. Верю, только вы другой пролетарий. Вы такой пролетарий, которому и не нужно ничего, все у него уже внутри есть. Ну, признайтесь, на что вам революция? Вам, если хотите, и история не нужна, одной мысли довольно,

Яков Львович угас и сел снова:

— Странно, это очень верно, что вы говорите,—отвечает он Васильеву. —Я блаженствую, это да, если даже один огурец с хлебом. Могу и без огурца. Но ведь и ваша цель—счастье человечества. Вы же не зря мечтаете о разрушении, вам надобно осчастливить. Почему вы смотрите на мое счастье, как на минус?

— Поймите, оно бездейственно! Расстройство желудка у капиталиста нам выгодней, чем блаженство такого пролетария, как вы. Бездейственно, в этом вся штука.

Яков Львович и Васильев расстаются. Васильев идет «организовывать недовольство масс», а Яков Львович, сжимая голову руками, до полуночи ходит по комнате.

ГЛАВА III-ая, отступительная.

«Вольному—воля, спасенному—рай».

Здесь я должна выйти за пространственные скобки. Февральская революция катится, она праздником ходит по городам и местечкам, она становится чем-то вроде модной этикетки «Трильби» на папиросах, печеньях, шоколадках, подтяжках. Пикник свободы с сардинками, булками, хлопаньем пробок, официантами в белых перчатках,—но правда, отказывающимися брать на чай. Официанты как-будто поступились привычками; хозяева—нет.

Война популярности не потеряла. Заглядываемся на союзников; комплименты нас очень обязывают; мы готовы на все, чтоб не разуверилось «общество». И разговор о «победном конце» не пресекся.

Но дамы из общества охвачены все же надеждой: спасти сыновей, кончающих последние классы гимназии, лицея, классических интернатов. Обтягивая губами вуалетки, спускаются и поднимаются дамы по лестнице министерства народного просвещения в Петербурге. Какая свобода! Входи и выходи. Швейцар очень любезный, должно быть, не самосознательный, а из хорошего дома. И наверху тощий, с лицом на английский манер, в хохолке, с золотыми часами браслеткой, чиновник сурово отказывает: «Ни для кого никаких отсрочек, мы защищаем родину!». Но вуалетки оттягиваются на лоб, пахнет пудрой, плачущие глаза прикрываются легким платочком: «если б вы знали... и, ах, как это жестоко!». Чиновник смягчен, обещает снестись с военным министерством... есть некоторая надежда...

Дамы порхают к выходу, сталкиваются, знакомятся:

— Вы откуда?

— Я из Ростова, а вы?

— Из Ярославля.

— Хлопотать об отсрочке?

— Да. Он обещал, не знаю, уж, верить ли...

На стенах розовеют афиши: «Первый республиканский поэзо-концерт Игоря Северянина»... Пикник свободы с сардинками, булками, хлопаньем пробок все продолжается.

Но модная тема: Ленин, большевики.

— Какая гнусность по отношению к России, к союзникам! Требуют сепаратного мира, прекращенья войны! Этого не простит им никто...—дамы наслушиваются модных споров в знакомых домах. Профессорские именитые семьи, солидные речи. Синтаксис даже такой, что нельзя не поверить:

— Разложение революции... колебание фронта... распад... и знаете—пролетариат тоже совсем недоволен. Я говорила со своей прачкой. Раньше они получали меньше, им дали прибавку, внушили требовать, они потребовали—и ничего. И говорят, будто совсем напрасно их сбили с толку.

Знаменитый профессор читает: «Углубление революции, как кризис общественного правосознанья». В один вечер с Северянином. Но обе залы полны. Северянина слушают гимназисты, студенты, курсистки, приказчицы, инженеры, земгусары, кооператоры, дамы. И профессора слушают гимназисты, студенты, курсистки, приказчицы, инженеры, земгусары, кооператоры, дамы. Профессор настаивает на том, чтобы не загубить «святое дело революции», и Северянин воспевает «шампанскую кровь революции».

Публика бешено аплодирует, она не желает, чтоб «погубили революцию», не желает, чтоб обнажились фронты, не желает, чтоб союзники были обижены, не желает вообще, чтобы что-нибудь изменилось.

Пусть революция будет, как... революция. Как *приличная* революция, faute de mieux,—соглашается жена сановника, только что получившая

отсрочку для Вовы:—и пусть прекратят, наконец, эти разговоры про углубление, кому это нужно?

С Николаевского вокзала по-прежнему отходят поезда. В них трудно попасть, это правда. Окна повыломаны, вагоны уравнены в правах, кондуктора бессильны сдержать бешенство огромной толпы, вне очереди, без билетов, теряя тюки, ребят, зонтики, мчащуюся занять щель в залитом людьми, трещащем по ребрам вагоне; но если у вас есть знакомство и связи, вы можете очень удобно устроиться. На Минеральные едут все дамы с отсрочками и сыновьями, едут за отдыхом сестры милосердия из титулованных, едут все те, кто привык туда ездить из года в год.

На Минеральных—вакханалия цен. Лето 17-го года, произнесены слова о равенстве и братстве, в Москве и в Петербурге первые подземные толчки надвигающегося народного гнева,—а здесь переполнены дачи, комиссионер на вокзале говорит приезжающим и тем, кто неделю спит на вокзальном полу, прислонясь к неразвязанному порт-плэду:

— Как хотите, меньше четвертной в сутки ничего нельзя. Если угодно койку в посторонней комнате, десять посуточно, это я могу.

Кисловодский парк полон туалетов, немного отсталых, это правда,— парижские моды пришли с опозданьем. В курзале офицерство даёт блестящий концерт в пользу Займа Свободы—и на афише чета Мережковских, модные публицисты, поэты, крупнейшие музыканты. Парадно звучит марсельеза, приподнятая из раковины курзала блестящим огромным симфоническим оркестром.

Ночь кавказская тепла, душна, пахнет близким дождем, духами, сигарой, тонким гастрономическим запахом с веранды буфета и розами. Пахнет горными травами, речкой, ольхою подальше. Электричество пачками бросает сиянье вниз, и в каждом кружке его ослепительная возня ночных насекомых—бабочек, мошек, жуков, а внизу, в его свете, толчея дорогих туалетов, холеных мужчин, пропитанных дымом сигары, с лакированными проборами; дам в меховых накидках. Мелькают изящные ножки в ажурных чулках и миниатюрнейших туфельках.

Пикник свободы с ракетами, хлопаньем пробок, бравурными звуками парадно разыгрываемой марсельезы, с безупречными официантами, впрочем отказывающимися от на-чаев (им проставляется в счет)—всё идет, как по писанному.

Но локомотив, тонко свистя, тащит поезд дальше от модных мест, туда, где черты людей резче и определенней. Мы на дальней окраине России, в Закавказьи. Еще тут хозяйничал дух Николая Николаевича, великого князя. При нем революция сразу была одернута с тылу, за фалды редакторов. Когда все провинциальные газеты без страха и опасения перепечатывали петербургские телеграммы, в Тифлисе было глухо. О событиях пропечатали, как о чем-то в скобках, значения не представляющем. Отказ Михаила был выставлен, как простая любезность—церемонится, а народ будет снова просить и тогда коронуют Михаила. Откажется снова по своей осторожности,—

тогда коронуют Николая, великого князя. К нему уже силились-было попасть в милость чиновники...

Редакция так и писала, что «надо надеяться, после всеподданнейших просьб Михаил согласится на царство». И революция вышла приличной, faute de mieux.

В Баку персы-муши, носильщики, перетаскивали на головах по-прежнему пятипудовые тяжести, профессиональных своих интересов еще и не подозревая. Но митинговали и тут. Татары, армяне, персы заговорили на своих языках. Ближе к сердцу у каждого—своё, местоимение притяжательное. Исходили из права—быть, наконец, самому по себе, а не по другому. Национальный пафос вел к разделенью. Позднее он кончился зверствами в Шуше, трагедией в Баку, Эривани и татарских селах. Теперь он сдерживал фронт, вел к образованию национальных отрядов, вливал новую кровь в ослабевшие жилы войны и служил европейской бессмыслице, а проникая в печать порождал то запутанное и нелепое кружево, плетомое где-то поверх голов живых людей дипломатами, что зовется «ориентацией».

Дошла ли февральская революция и здесь до народа? Кто-то откуда-то назначал комиссаров, милиционеров, об'ездчиков горных районов. Они ездили на карабахских лошадках с винтовками. Жили в сторожках на станциях, ловили разбойников, были начальством. Бесконечных представителей от министерства земледелия, министерства путей сообщения посылали по линии—представительствовать. Дальше линии двигаться им было некуда и незачем. А на линии—негде остаться. И вот их устраивали в дамских уборных.

Вы останавливаетесь на станции, идете в уборную—визитная карточка «Иван Иванович Иксин, чиновник путей сообщения». А если случайно нет карточки или войдете, не прочитав,—натыкаетесь на идиллию. В первой комнате, «дамской»,—столовая, щи недоеденные на столе, в углу ягдаш, сапоги, на умывальнике туалетное мыло. Дальше, на раковинах, доски, покрытые книжками: библиотека. А на диване хозяин, чаще всего и не просыпающийся он ваших шагов.

Комиссары крохотных станций о февральской революции сами толком ничего не знали. Знали только одно, что они—комиссары, а были об'ездчиками или сторожами.

Мне пришлось ночевать на одной из глухих станций, Садахло́, в сторожке такого комиссара. Рядом со мною, в огороженной комнате с решетчатыми окошками спал беглый убийца из Метехского замка (тифлисская тюрьма); утром его должны были с конвоем доставить обратно. Но среди ночи к нам стали стучаться крестьяне грузинской деревушки. Они поймали двух конокрадов и приволокли их сюда, чтоб посечь на глазах у начальства. При тусклых красных фонарях, в черную южную ночь, на земле молодой республики, только что провозгласившей отмену смертной казни и телесных наказаний, они высекли двух дико кричавших людей. Их крики вызвали другой крик, ответный,—у проснувшегося метехского убийцы. Тогда крестьяне, узнав в чем дело, потребовали, чтоб сторожку отперли, выта-

щили метехского убийцу, да зараз посекли и его тоже, чтоб не повадно было.

— Это в порядке вещей,—сказал мне на следующий день местный культуртрегер, помещик в чесучовом пиджаке и широкой соломенной шляпе. Он стоял на гумне своей усадьбы, неподалеку от сторожки. Вокруг него прыгали волкодавы, вертя жесткими, как канат, хвостами. А перед ним молотили зерно и без конца кружились потные лошади, волоча за собою доски с сидящими на них для пущей тяжести татарчатами...

Дальше, в Эривани и Александрополе, было и вовсе тихо. Февральская революция убрала начальство, развязала родной язык. Но не тронула ни быта, ни сознанья. Политика обернулась в забаву,—так забавлялась сонная провинция на большевиков. Национальный большевик появился в Тифлисе и в Эривани. Он выступал изредка. Его слушали, как слушают футуристов. Он старался говорить газетно, и свои люди, патриархально, по восточному говорившие ему «ты» (на армянском языке нет «вы»), считали его сдуревшим, но впрочем безвредным. В Тифлисе дело обстояло уже политичнее и острее, хотя и там политика ютилась в мансардах двух-трех газеток, заглушаемая шумом шагов по Головинскому, плеском органной музыки из кафэ и пестрой веселой толпою, единственной во всем мире по своей блестящей и певучей беспечности тифлисской толпой.

А народ, не взирая на бегство с обоих фронтов, все еще зазывался в мобилизационные части для защиты «святой революции» и Вовочек, получивших отсрочки.

ГЛАВА IV.

Топот копыт.

Анна Ивановна благополучно вернулась в Ростов. На звонок отворила племянница: Матреши уж час, как нет дома, ушла на собранье прислуги говорить о своих беспокойствах и выставлять свои требования.

— Вот новости—требованья! Жрут, пьют, на всем готовом, их одеваешь—требованья!

Анне Ивановне хочется всем рассказать, что говорят в Петербурге и на курортах, как поет Северянин о шампанской крови революции, как несомненно документально доказано, что большевики брали немецкие деньги и теперь их хотят отправить обратно, а немцы воспротивляются. Слышала она также про странную книгу, ходившую в рукописи по рукам. В этой книге одна хронология, числа и числа. Но хронологически точно доказано, что еще от библейских времен существовало еврейское общество, поставившее себе целью забрать власть над миром. У него были отделения в Сирии и в Македонии и во всех городах. Оно собирает налоги со всех евреев, будто бы на социализм. И хронологически точно показано, в котором году должен быть избран на престол еврейский царь...

Но Матреша не возвращается, приходится самой, не отдохнув с дороги, готовить чай. Ноябрьские сумерки падают быстро, дворник в ведре несет

уголь,—топить угловую и ванную. Анна Ивановна серебряными ложечками звякает в буфетной о новый сервиз, говоря с гувернанткой Тамары:

— Главное же, Адельгейда Стефановна, не мечтайте о Москве! Москвы нет, выбросьте это окончательно из головы. Я вам должна сказать, что антисемитизм некультурен и я всегда против того, чтоб Тамара в гимназии позволяла себе замечанья насчет евреек. Но все-таки мы не умнее же Шопенгауэра или там Достоевского! Я говорила с профессорами. Многие держатся мненья, что есть что-то такое антипатичное, особенно знаете в массе. Отдельные есть очень славные люди, например, доктор Геллер. Но в Москве, в Москве все иллюзии падают, это что-то неописуемое. Черту оседлости сняли, и они, вы подумайте, не в Волоколамск, не в Вологду или куда-нибудь в Вышний-Волочек, а непременно в Москву. На улицах, на трамваях, в театрах, даже смешно сказать, на церковных папертях одни евреи, еврейки, евреи, говорят с акцентом и на каждом шагу вас в Москве останавливают: как, пожалуйста, пройти на Кузнецкий мост? Кузнецкого моста не знают! В Москве!

— Merkwürdig!—сопит Адельгейда Стефановна выцветшие брови. Руки у нее трясутся от старости, рассыпая сахарный песок. Уже на вазочки выложено абрикосовое варенье (варилось при помощи извести, по рецепту. каждый круглый абрикос лежит совершенно целый, просвечивая золотом и стекловидным сиропом). Из жестянок ссыпаны сухарики на сливочном масле с ванилью. Электрический чайник кипит.

Дамы давно уже приняли—каждая—чашку и не торопясь, медленно покусывают сухарики, положив рядом с собой на столе черные шелковые сумочки, различно расшитые бисеринками; из сумочек пахнет духами.

Вдруг—переполох. Из коридора в столовую, стуча гвоздистыми башмаками, вбегает Матреша, как была с улицы, в большом шерстяном платке, лицо круглое, оторопело-сияющее.

— Что такое? В чем дело?

— Сказывають, большевики идуть... Казаков семь тыщ и большевиков четыреста человек видима-невидима, с Балабаньевской рощи. Которые на митингу ходили, своими глазами видели, а на нашем доме, Анна Ивановна барыня, пулемет поставють. Всех, говорять, которые к центре, тех говорять ближе к черте города из помещениев выселять будют...

— Будют, будют, говори толком! Откуда ты взяла? Кто это тебе сказал!

Дамы вскочили с места, обступили Матрешу.

— Анна Ивановна, это же ужасно, если пулемет! У вас брат—член совета депутатов, позвоните по телефону!

— Да телефон, кажется, не работает...

— Адельгейда Стефановна, Адельгейда Стефановна, позвоните пожалуйста Ивану Ивановичу по телефону... Thelephoniren Sie, bitte!

— Ja aber der Thelephon ist verdorben!

— Я побегу домой. Скажите, милая, на улицах не стреляют?

— Что вы, Марья Семеновна, куда вы побежите в такую темноту. Погодите, допьем чай и выйдем вместе.

— Какой тут чай? У меня квартира пустая, на английском замке, еще обокрадут.

— Ну, как хотите, если не боитесь.

— Чего же бояться? Матреша может меня проводить.

— Нет, Марья Семеновна, я Матрешу отпустить не могу, она должна быть дома, должна. Она слышала, знает, в чем дело, в случае, если придут, вы понимаете, она с ними об'яснится. Вот если хотите, попросите Адельгейду Стефановну.

И после просьбы ветхая немка, трясущимися от старости руками, надевает заштопанный во многих местах кавказский башлык и семенит в галошах, заложенных бумажками, по мокрым плитам, вослед за поспешающей дамой, провожая ее домой.

Вечер сгустился в ночь, крупные капли шуршат по кое-где еще не опавшей жесткой и шаршавой от старости листве, прелым пахнет под ногами. Иван Иванович из клуба забегает к сестре.

— Что же происходит? Ради Бога!

— Пустяки. Опять большевистская авантюра. Им мало, видишь ли июльского урока. Ходят слухи, будто опять выступили, изнасиловали целый батальон...

— Что ты, как батальон?

— Ну да, женский, который у Зимнего дворца. Потом Зимний дворец разграбили до чиста, сняли гобелены и нашили себе портянок. А у нас в Совете большевики радуются: «поддержим питерских товарищей»...

— Господи, да что же это такое?

— Не волнуйся, казаки близко, у нас не допустят.

Ночь снова разжижилась в ясный сухой день, ветреный и холодный. И глядят, глядят из окон недоуменные очи, одни с испугом, другие с вопросом, с надеждой; люди притихли, опали, как тесто на остуделых дрожжах, с'ежились, сковались волненьем.

К полудню по площади, мимо собора, промчались казаки, пригнувшись к седлам, с винтовками за плечами, процокали конские копыта по камням, остуженным и уже высохшим от вчерашнего дождика, уже опыленным. За ними помчался ветер, крутя осенние рыжие, черные, красные листья, вздымая осеннюю жесткую, крупную пыль. Вслед за ветром прокаркали галки, перелетая по телеграфным столбам и полуголым деревьям.

— С 12-ой линии выселить всех вплоть до двадцатой и двадцать четвертой, очистить Соборную.

Кто-то издал приказ, кто-то разнес его по обитателям, и все, кому надо было узнать, узнали. Новые беженцы, новые волны людей с подушками, тачками, курами в клетках, визжащими поросятами, влекомыми веревочкой за ногу и упирающимися в ноги бегущих. Шубы, шапки, шинели, поддевки, картузники, шляпники, папашники с дамскими шляпками и платочками и даже простоволосыми перемешались.

— Вот дожили! То, было, принимали беженцев с западного и восточного фронтов, и расселяли их в домах, что похуже, по двенадцати душ в одну комнату, да с города получали на ремонт, а теперь и сами, здорово живешь, побежали.

— И еще побежишь! Нынче с юга на север, а завтра с севера к югу, по компасу...

— Нашли время для шуток!

На площади, против собора, стоит особняк с пятью окнами на Соборную, в два этажа. Наверху контора нотариуса, и внизу до четырех открыто парадное, впуская клиентов и холод. Туда, ступая где вовсе уже сухо, без сырости, отстающими от сапогов подошвами и прячась в приподнятый воротник коричневого с обнажившейся ниткой на засаленных перегибах пальто, шел Яков Львович.

Надо было стучать,—контора закрыта по случаю политических осложнений. На стук открыла веснушчатая гимназистка с короткими волосами, как у мальчика:

— Яков Львович! — И вверх по лестнице:—Мамочка, Яков Львович пришел!

Наверху, рядом с приемной и комнатами для клерков, где чинно, в футлярах стоят ремингтоны и ундервуды, а по стенам светло-желтого дерева высокие шкафчики с ящиками по алфавиту,—была еще одна полутемная комната, где жила переписчица, вдова, с двумя дочерьми-гимназистками, близорукая и с ревматизмом суставов. Там на полу помещалось три тюфяка, на столе же на керосинке подогревался вчерашний суп. Вдова обрадовалась Якову Львовичу, налила ему супу:

— Садитесь, расскажите, что такое творится по улицам?

— Вам бы тоже не мешало куда-нибудь с Лилей и Кусей побезопасней. Шли бы сегодня к нам.

— Ни за что!—вскрикнули Лиля и Куся.

Они поглядели разом на площадь,—там пробегали новые толпы беженцев, спотыкаясь о застревающих между ногами, влекомых веревочкой за ногу, поросят. Лиля и Куся любили события. Они были крайними левыми и, если б позволила мама, пошли бы хоть в красногвардейцы!

С керосинки снята кастрюля. На ней теперь чайник, эмалированный, скоро уже закипит. Вдова расставила чашки, Лиле и Кусе их собственные Якову Львовичу свою кружку, а себе посудинку Чичкина от простокваши,—чашек гостям не хватало. В жестянке вареный коричневый сахар, порубленный на кусочки,—конфеты домашнего приготовленья, называемые вдовой «крем-брюле».

Совсем было принялись за чай. В окна видно, что площадь вдруг опустела. Откуда-то из-за угла, дробно стуча сапогами, прошел отряд желто-серых шинелей и остановился, совещаясь. Лиля и Куся глядели во все глаза шинели взглянули в их сторону, разделились на группы и один за другим. молчаливо стуча каблуками по камням, подкидывая на плечи винтовки, пересекли площадь.

— Вот дожили! То, было, принимали беженцев с западного и восточного фронтов, и расселяли их в домах, что похуже, по двенадцати душ в одну комнату, да с города получали на ремонт, а теперь и сами, здорово живешь, побежали.

— И еще побежишь! Нынче с юга на север, а завтра с севера к югу, по компасу...

— Нашли время для шуток!

На площади, против собора, стоит особняк с пятью окнами на Соборную, в два этажа. Наверху контора нотариуса, и внизу до четырех открыто парадное, впуская клиентов и холод. Туда, ступая где вовсе уже сухо, без сырости, отстающими от сапогов подошвами и прячась в приподнятый воротник коричневого с обнажившейся ниткой на засаленных перегибах пальто, шел Яков Львович.

Надо было стучать,—контора закрыта по случаю политических осложнений. На стук открыла веснушчатая гимназистка с короткими волосами, как у мальчика:

— Яков Львович! — И вверх по лестнице:—Мамочка, Яков Львович пришел!

Наверху, рядом с приемной и комнатами для клерков, где чинно, в футлярах стоят ремингтоны и ундервуды, а по стенам светло-желтого дерева высокие шкафчики с ящиками по алфавиту,—была еще одна полутемная комната, где жила переписчица, вдова, с двумя дочерьми-гимназистками, близорукая и с ревматизмом суставов. Там на полу помещалось три тюфяка, на столе же на керосинке подогревался вчерашний суп. Вдова обрадовалась Якову Львовичу, налила ему супу:

— Садитесь, расскажите, что такое творится по улицам?

— Вам бы тоже не мешало куда-нибудь с Лилей и Кусей побезопасней. Шли бы сегодня к нам.

— Ни за что!—вскрикнули Лиля и Куся.

Они поглядели разом на площадь,—там пробегали новые толпы беженцев, спотыкаясь о застревающих между ногами, влекомых веревочкой за ногу, поросят. Лиля и Куся любили события. Они были крайними левыми и, если б позволила мама, пошли бы хоть в красногвардейцы!

С керосинки снята кастрюля. На ней теперь чайник, эмалированный, скоро уже закипит. Вдова расставила чашки, Лиле и Кусе их собственные Якову Львовичу свою кружку, а себе посудинку Чичкина от простокваши,—чашек гостям не хватало. В жестянке вареный коричневый сахар, порубленный на кусочки,—конфеты домашнего приготовленья, называемые вдовой «крем-брюле».

Совсем было принялись за чай. В окна видно, что площадь вдруг опустела. Откуда-то из-за угла, дробно стуча сапогами, прошел отряд желтосерых шинелей и остановился, совещаясь. Лиля и Куся глядели во все глаза шинели взглянули в их сторону, разделились на группы и один за другим. молчаливо стуча каблуками по камням, подкидывая на плечи винтовки, пересекли площадь.

— Мамочка, стучат!

Вдова идет отворять, сопровождаемая Яковом Львовичем. Лиля и Куся за нею. Сняли засов и цепочку:

— Кто там?

В переднюю один за другим молчаливо вошло несколько вооруженных. Не отвечая вдове, поднимаются по лестнице. Двое остались внизу,— сторожить.

Наверху остановились:

— Оружие есть? Не прячете ли офицеров и казаков?

— Оружия нет, и никого не прячем. Вот единственный мужчина, Яков Львович, в гости пришел.

— Покажите документы.

Яков Львович достал из внутреннего кармана свой паспорт грязного вида «магистр историко-философских наук, Яков Львович Мовшензон». Прочитали, вернули.

— Что там наверху?

Не дожидаясь ответа, один из пришедших по лесенке стал взбираться наверх, в открытую чердачную дырку. Там шарахнулись голуби.

— Кто там?

— Голуби, товарищ.

Лиля и Куся отвечают на перегонки. Смотрят глазами, как пиявками, неотрывно в лица пришедших. Они все из рабочих, лет по семнадцати, по восемнадцати, винтовки надели, должно-быть, впервые, лица юные, суровые, строже, чем надобно. Многим из них суждено было быть через несколько дней зарубленными в Балабановской роще казаками.

— Город в наших руках, товарищ?—выпалила вдруг Куся, не удержавшись.

— Чего выскакиваешь?—шепчет ей Лиля.

— Город в руках Совета, — отвечает безусый,—предполагается на завтра выступленье. Вы соберитесь отсюда, тут будут обстреливать. Дом мы займем под пулеметную команду.

— А нельзя ли тоже остаться?

— Что ж,—можно; только при каждом выстреле надо ложиться на пол

— Лиля, Куся, вы с ума посходили,—вырвалось у мамы,—мы соберемся, товарищи, только уж вы тут не дайте вещей разорять.

— Не тронем, не беспокойтесь!

Спустя четверть часа вдова с базарной корзинкой, Лиля и Куся с подушками, а Яков Львович с ручным чемоданом пробегают по темной безлюдной площади, торопясь в ту же сторону, куда проструились давеча беженцы. В дороге убеждает их Яков Львович итти прямо к нему, но вдова беспокоится, слишком далеко. Им тут по пути у богатого родственника, домовладельца,—ближе к вещам и квартире.

Вечером нет электричества. Улицы черны. Безмолвные притушенные кинематографы, больницы, театры, только аптекарь в белом переднике, как ни в чем не бывало, стоит над весами и банками, приготовляя лекарства.

В доме богатого родственника заняты залы, ванная, девичья, бельевая, буфетная и летняя кухня. Беженцы, знакомые и чужие, заполнили комнаты, наскоро перекусывают из корзинок захваченной от обеда стряпней и, готовясь к ночевке, вынимают платки и подушки.

Родственник, старообрядец с серебряными очками на носу, в мягких, шитых руками домашних, шлёпанцах, ходит по дому и всякому соболезнует от сердца. Жена и свояченицы угощают вдову с гимназистками сытным ужином. Хорошие люди, а все-таки с ними не близко.

— Я говорил, что этим кончится. Бескровных революций не бывает,— шамкает старообрядец,—погодите, еще не то увидим. Жид сядет на престол.

— Оставьте пожалуйста!—вспыхивает учитель гимназии,—евреи тут не при чем. Если б не разогнали Учредительное Собрание, не загубили святое дело революции...

— Это и есть революция!—не выдерживает Куся.

— Молчи, пожалуйста,—говорит ей тетка.

— Если б не дали беспрепятственно вести безумную крайнюю проповедь, республиканский строй в России окреп бы и привился. Мы видим примеры из истории...—разговор переходит на примеры.

Керосиновая лампа мигает, свет ущербляется. Далеко откуда-то с Дона внезапно слышен шум от снаряда,—гулкий и широко раскатывающийся.

— Тушите свет! Спать ложитесь!

И разно думающие, разно чувствующие люди склоняются,—каждый на приготовленный сверток.

ГЛАВА V.

Пули поют.

Как они поют в воздухе, как они часто стрекочут, словно горох, по мостовой, по стеклу, отскакивая и вонзаясь, как стонет в воздухе эзз— стезя от зловещего их полета, об этом знают не только солдаты в окопах, об этом знают и горожане в подвалах.

Но чего не знают солдаты, это нежности к пулям в подростках, не убежденных примерами из истории. Целый день идет перестрелка по главной улице, целый день верещит, словно ярмарочная сутолока, пулемет с высокого дома на площади, не попадая. Сыплются пули о стены, залетают в районы, где прячутся беженцы, входят в стекло и расплющиваются в подоконнике.

— Пулька, смотри, опять пулька! — кричит Куся, подбирая теплую штучку,—спрячу на память, подарю Якову Львовичу!..

— Прочь от окон!—раздраженно кричит старообрядец,—чему радуетесь? Людей бьют, а вы рады, как собачата.

Лиля и Куся радуются. Они не слушают старших. В полдень, когда перестрелка утихла, Куся глядит из полуоткрытых ворот, где домовая охрана поставила семинариста с армянским, несвоевременно густо обросшим лицом.

стоять три часа, сжимая ружье монте-кристо,—глядит на торопливо бегущих серых солдат и кричит им вдогонку:

— Товарищи, как дела?

Забегает красногвардеец напиться. От него Куся знает все новости. Казаки идут от Черкасска, а им будет с севера тоже подмога. Иначе—не выдержать, казаков численно больше.

— Держитесь,—шепчет им Куся, впиваясь в них пиявками, пьяными от революции глазами...

С Дона на барже поставили пушку большевики-моряки, навели и обстреливают. Ухнул первый снаряд, вышел новый приказ, — от кого, неизвестно:

С линий первой и по одиннадцатую, с улиц Степной, Луговой, Береговой и Колодезной всем перебираться повыше, к собору и прятаться там по подвалам.

Под пулями обезумевшие толпы новых беженцев ринулись на исходе дня расквартировываться повыше, и снова кудахтают оторопелые курицы и пронзительным, острым как уксус, визжаньем сопротивляются поросята сжимающей их за ногу и куда-то волочащей веревке. Подвалы переполнены, хозяев не спрашивают, лезут, где есть калитка, а заперта—стучат остервенело, пугая домовую охрану:

— Пустите, взломаем, пустите!

Но вот расселились по новым местам. Верхние этажи опустели. Снаружи захлопнуты и спущены жалюзи, внутри окна заставлены ставнями, свету никто не зажигает. В подвалах, в повалку, дыша друг на друга учащенным дыханьем, прячутся люди, ругаются, молятся богу, советуют друг другу успокоиться и не волноваться. Но дети... прыскают. Их одернут, они замолкнут и—расхохочутся. Им не смешно,—им до судорог весело пьяной радости революции; им бы хотелось повыбежать, быть лазутчиками, барабанщиками, сыпать пули, носить патронташи, выслеживать казаков, пробираться сквозь цепь и торопить подкрепленье... Другие мечтают побить большевиков и прогарцовать вместе с казаками, на казачьих лошадках важною рысью вдоль по Садовой, ко дворцу атамана...

И со Степной, где живет Яков Львович, дошли вести: там разорвался снаряд, кого-то убило. Скоро пришла еще одна весть: убило мать Якова Львовича. Плакала в этот вечер вдова и на удержалась, сказала Кусе:

— Вот видишь, а тебе бы все радоваться.

Но и Кусе не пришлось больше радоваться.

К вечеру пули усилились, сыпались, словно горох, а над ними стоял непрекращающийся гул от разрыва снарядов: бум, бум, бум... Беженцы затыкали уши руками, держали детей на коленях, ни глотка не могли проглотить от тошного страха кто за себя, кто за близкого, кто за имущество. Но на утро вдруг стало тихо, как после землетрясенья.

В ворота спокойно вошла молочница, баба Лукерья, с ведром молока и степенно сказала домовой охране,—студенту, стоявшему за учредилку:

— Большаков-то выкурили. Чисто.

Вышли еще не веря и протирая глаза отсидевшиеся из подвалов, покупали бутылками молоко и расспрашивали подробности. В открытые ворота уже видно было, как проскакало с десяток казаков по улице, мрачно обмеривая обывателей взглядами.

Начались обыски по квартирам. Искали рабочих, оружие, красногвардейцев. Брали же деньги, вино, кто и шубу снимал или брюки с вешалки,—что поближе висело. Обыватели кланялись, клялись, что и не думали, чисты, как перед богом.

На площади перед собором—казачья стоянка. Фыркают лошади, приподымая хвосты и наваливая груды навоза, переступают копытами с места на место. Сёдла с навьюченным фуражом им натрели вспотевшие спины. Винтовки перевязаны в кучку, штыками кверху, и прислонены к ограде собора. На самой паперти развели костер, кипятят свои чайники, охлаждаемые ветром и снегом. Снег падает легкий и мелкий; влетает пыльцою в рот при разговоре, а под ногами не набирается вовсе.

В городе вышли газеты. Город стал—город казачий. Казаки приказывают, казаки хозяйничают, и городская дума с достоинством выступила: «Так же нельзя. Мы очень рады казакам, мы очень им благодарны за доблестное очищенье, но город—он город свой собственный, а не казачий. В городе есть думские гласные, есть, наконец, члены управы, письмоводители, городской голова, и что же им делать?».

Но казаки не слушают, каждый казачествует, как ему любо, ссылаясь на атамана, властителя края: быть теперь Дону под атаманом!

А газеты пишут про историю, этнографию, биографию, фольклор и мифологию казачества, делают ссылки и справки, очень захваливают и надеются на преуспеяние края. Брошена журналистами и крылатая мысль о Вандее.

Между тем на Степной, со стороны последней, 32-ой линии, видели люди:

Гнали казаки перед собою рабочих. Рабочие были обезоружены, в разодранных шапках и шубах, с них поснимали, что было получше. Когда останавливались, били прикладами в спину. Их загоняли в Балабановскую рощу. Там издевались: закручивали, как канаты, им руки друг с дружкой, выворачивали суставы, перешибали коленные чашечки, резали уши. Стреляли по ним напоследок и, говорят, было трупов нагромождено с целую гору. Снег вокруг стаял, собаки ходили к Балабановской роще и выли.

ГЛАВА VI.

«Право-порядок».

У Якова Львовича в домике только три комнаты. Каждая напоминает другую. Кровати вдоль стен, по четыре подушки на каждой, ломберный столик в углу, под иконой; на нем полотенце, расшитое крестиками, красным и синим, а на полотенце высокая, на подставке, лампадка; рядом коробочка с поплавками, бутылка с деревянным маслом и щипчики. Но Василисы

Вышли еще не веря и протирая глаза отсидевшиеся из подвалов, покупали бутылками молоко и расспрашивали подробности. В открытые ворота уже видно было, как проскакало с десяток казаков по улице, мрачно обмеривая обывателей взглядами.

Начались обыски по квартирам. Искали рабочих, оружие, красногвардейцев. Брали же деньги, вино, кто и шубу снимал или брюки с вешалки,— что поближе висело. Обыватели кланялись, клялись, что и не думали, чисты, как перед богом.

На площади перед собором—казачья стоянка. Фыркают лошади, приподымая хвосты и наваливая груды навоза, переступают копытами с места на место. Сёдла с навьюченным фуражом им нагрели вспотевшие спины. Винтовки перевязаны в кучку, штыками кверху, и прислонены к ограде собора. На самой паперти развели костер, кипятят свои чайники, охлаждаемые ветром и снегом. Снег падает легкий и мелкий; влетает пыльцою в рот при разговоре, а под ногами не набирается вовсе.

В городе вышли газеты. Город стал—город казачий. Казаки приказывают, казаки хозяйничают, и городская дума с достоинством выступила: «Так же нельзя. Мы очень рады казакам, мы очень им благодарны за доблестное очищенье, но город—он город свой собственный, а не казачий. В городе есть думские гласные, есть, наконец, члены управы, письмоводители, городской голова, и что же им делать?».

Но казаки не слушают, каждый казачествует, как ему любо, ссылаясь на атамана, властителя края: быть теперь Дону под атаманом!

А газеты пишут про историю, этнографию, биографию, фольклор и мифологию казачества, делают ссылки и справки, очень захваливают и надеются на преуспеяние края. Брошена журналистами и крылатая мысль о Вандее.

Между тем на Степной, со стороны последней, 32-ой линии, видели люди:

Гнали казаки перед собою рабочих. Рабочие были обезоружены, в разодранных шапках и шубах, с них поснимали, что было получше. Когда останавливались, били прикладами в спину. Их загоняли в Балабановскую рощу. Там издевались: закручивали, как канаты, им руки друг с дружкой, выворачивали суставы, перешибали коленные чашечки, резали уши. Стреляли по ним напоследок и, говорят, было трупов нагромождено с целую гору. Снег вокруг стаял, собаки ходили к Балабановской роще и выли.

ГЛАВА VI.

«Право-порядок».

У Якова Львовича в домике только три комнаты. Каждая напоминает другую. Кровати вдоль стен, по четыре подушки на каждой, ломберный столик в углу, под иконой; на нем полотенце, расшитое крестиками, красным и синим, а на полотенце высокая, на подставке, лампадка; рядом коробочка с поплавками, бутылка с деревянным маслом и щипчики. Но Василисы

Игнатьевны нет, и не заправляются больше лампадки. Стулья дубовые, старинной работы, с клопиными гнездами в щелях за спинками. Обои набухли и тоже усеяны точками,—в них ходят, должно быть, клопиные полчища, шпаримые керосином по пятницам, перед баней. На этажерках оставшиеся от продажи книги фармацевтические и философские, в них никогда не заглядывала Василиса Игнатьевна. Зато на комоде хранятся облапленные детскими липкими лапками книжки Золотой Библиотечки, когда-то подаренные мальчику Яше. Их Василиса Игнатьевна берегла и соседкам хвалилась, что передаст их теперь только внуку, а чужим—ни за что. «Макс и Мориц или похождения двух шалунов» ценились особенно.

Все это стало пылиться с тех пор, как снесли Василису Игнатьевну сперва в больницу с прободенным осколком гранаты кишечником, а потом и на кладбище. Яков Львович остался один. Про жильца ни соседи не знали, ни он никому из соседей ни слова.

Жилец, товарищ Васильев, жил в третьей комнате, а с победой казаков перебрался в чуланчик, где у Василисы Игнатьевны раньше висели перец и красные луковицы на бечевке и сушилось белье. Сюда носил ему Яков Львович хлеб, огурцы и табак, да газеты.

Товарищ Васильев просил все газеты, какие выходили по области, попросил он и карту, которую изучал, посыпая пеплом с цыгарки, днем у маленького окошка на столе, а вечером на полу при свете огарка.

К Якову Львовичу заходили уже из участка справляться: кто у него жил и не живет ли еще. Яков Львович ответил, что жил электро-монтер и перебрался на службу в Ростов или в Новочеркасск, сам не знает.

— Я вам говорю, со стороны Таганрога идет огромное подкрепление нашим!—утверждал товарищ Васильев, протыкая кружок на карте обкусанной спичкой и указывая направление порыжелым ногтем на протабаченном пальце:—мы в начале гражданской войны; октябрьский переворот прошел повсеместно. Нет логики в том, чтоб на Дону удержалось казачество.

— Послушайте,—отвечал Яков Львович,—на кого же нам надеяться? В городе ничтожный процент сочувствующих, и разгромлены, перебиты, разогнаны лучшие силы рабочих. А вне города—это Вандея.

— Бросьте! Мы надеемся только на логику. События идут своим ходом, и нет логики в том, чтоб их тормозили. Нельзя удержать ребенка во чреве матери после положенного природой,—хотя б ей родить вне всяких культурных и прочих условий, на извозчике или в степи.

Товарищ Васильев почти убеждал Якова Львовича. И он надевал старую фетровую шляпу с прощипанными краями, плотней поднимал воротник пальто и уходил побродить по городу, приглядеться к тому, что наделал наступивший декабрь с людьми и политикой.

На улицах мокро и липло, снег бьет отсыревшими хлопьями. Фонари не горят—забастовка. Не дзенькает, покачиваясь и проходя своим ходом, трамвай. Гимназисты собрались перед бильярдной грека Маврокалиди, задевают прохожих, высвистывают «Боже, царя храни»,—это из записавшихся в добровольческую дружину. Им выдали на руки жалованье—вперед. Они

ходят по разным кофейням и бильярдным; у некоторых ружье, у других револьверы.

Марья Семеновна получила из Новочеркасской гимназии торопливое письмо от сына и плакала, показывая родным и знакомым: подумайте, начальница, не спросясь у родителей, записала его в добровольческую дружину! Как она смеет, ему бы кончать, а тут еще не окрепший, не выросший, шестнадцати лет и с распухшими гландами, погонят на холод, он и стрелять не умеет!

— Хороша добровольческая! — удивляются гости, — вот так добровольно...

Другие советуют им быть потише: в соседней комнате разместились казаки. Хорунжий любит подслушивать, чуть-что — придирается, может устроить огромные неприятности. И Марья Семеновна умолкает со вздохом.

Казаки стоят у нее две недели, стоят и у Анны Ивановны, и у Анны Петровны, у доктора Геллера тоже; их кормят за милую душу, для них достают старейшие вина из погреба, предназначавшиеся для болезней желудка у самых почтенных членов семьи,—дедушки, бабушки и двоюродной тетки, собиравшейся написать завещание.

Вдова с Лилей и Кусей опять перебралась к себе, в комнату рядом с помещениями для клерков, ундервудов и ремингтонов. Яков Львович зашел к ней и застал Кусю в слезах, жестоко избитую, с разорванным черным передником на гимназическом платье.

— Вот неугодно ли полюбоваться? В гимназии разукрасили.

— Как это могло случиться?

— Очень просто: сцепилась с буржуйкой,—в сердцах отвечает вдова,—чего ради теперь вылезать? Делу не поможешь, а себе наживешь одни неприятности. Из гимназии выгонят.

— Пусть-ка попробуют!—сжимается Куся,—это я ее выгоню, вот подожди! У ней брат во время войны с немцами сидел, как ни в чем не бывало и пиры задавал,—они взятками откупались, я знаю, она сама говорила! А сейчас вдруг об'явился—казачий офицер. Это он-то казачий офицер! Понимаешь, записался в казачье сословие, чтоб воевать с большевиками.

— А тебе какое дело?

— Противно! Русский! Фу, хуже русского гадины нет! Я ей сказала, что я стыжусь, что я русская! Пусть не смеют тогда говорить об отечестве, патриотизме, национализме друг с дружкой, а пусть говорят о своих капиталах, поместьях, бриллиантах и фабриках!

— Браво, Куся,—сказал Яков Львович и в душе изумился: Куся помогала ему уяснить то, что сухо твердил общими фразами товарищ Васильев, уставший от митингов,—суть в классовом самосознании!

— Обратите внимание,—вступилась вдова,—как нынче дети разделились и отбились от рук. Молодежь та скорей благоразумна, не так, как в мои времена, от мобилизаций стараются как-нибудь освободиться, политика им мешает, все носятся с чистым искусством. А от четырнадцати по семна-

щать словно сдурели: лезут на стену из-за политики, того и гляди вцепятся, где ни встретятся...

Но что же Иван Иванович и Петр Петрович? Оба они чрезвычайно обеспокоены усиленьем казачества и зависимостью муниципалитета. Правда, Каледин показывает себя либеральным. Он не отрицает, конечно, что февральская революция совершилась. Его об этом проинтервьюировала печать, и он ясно ответил, что «не отрицает». Однако же в городе повальные обыски, частые аресты. В городе до сих пор расквартировано огромное количество казаков, об'едающих, притесняющих горожан. Муниципалитет совершенно стеснен военной казачьею властью. Он не приказывает, а позволяет приказывать посторонним для города людям. Где же здесь либерализм?

Иван Ивановича и Петр Петровича калединцы не уважают, не ставят и в грош. Собрания воспрещаются, выступления воспрещаются,—благородные, трезвые и умеренные выступления воспрещаются. Это очень несправедливо и неблагоразумно. Остаются, впрочем, дни рождения, именины, двунадесятые праздники и канун наступающего 1918 года. И в городе то у одного, то у другого ужин с попойкой.

С'езжаются поздно. Покуда хватает вешалок—вешают на них шубы; потом шубы складываются друг на дружку на сундуках и на стульях. Сперва—чайный стол. Между чаем и ужином барышни пробуют клавиши, долго отнекиваются хрипотой и простудой, потом пропоют что-нибудь из «Пиковой дамы» или из «Рафаэля» Аренского. После хозяин отводит гостя к двум-трем столикам, приготовленным для железки, и предлагает им «резаться», а хозяйка советует не садиться до ужина. Ужин один и тот же у всех: закуска, осетёр провансаль или салат оливье, индейка жареная, мороженое и фрукты. Играют до трех-четырех, пьют не переставая, а кто не играет—флиртует. Утеснившись по двое, по трое на мягких диванах, преувеличивая опьяненье, устраивают заговоры любви, подмигивают на мужей и на жен, те грозят им пальцами, поднимая глаза от трефовых десяток, а на рассвете Матреша бежит за извозчиком.

Кому негде кутить, тот может вдоволь раздумывать над историей и над примерами. Улицы—раннее средневековье. Свету нет. Керосину достать могут разве одни спекулянты. Денег не платят: боны уже перестали ходить, а романовских денег не сыщешь, они устремляются отовсюду за голенища казаков, в расплату за масло и за муку. У кого же находится мелочь, тот отправляется в церковь, при входе снимает шапку и благочестиво крестится, потом покупает у сторожа свечку в поминовенье усопших и сквозь ряды молящихся направляется к образу...

Но там, потолкавшись, свечки отнюдь не засвечивает перед угодником, а отправляет ее в брючный карман, шепча, если он верующий: «прости меня, Боже»,—и быстро торопится к выходу, минуя опрашивающий и подозрительный взгляд церковного сторожа: продажа церковных свечей на вынос запрещена.

Дома при восковой свечке торопятся проглотить ужин, раздеться и

лечь, а любитель чтения, положив книгу на стол пред собою, глазами читает, зубами разжевывает, а руками расстегивает жилетные пуговицы или же, сгибая остро коленку под подбородок, стаскивает сапоги.

Окрик хозяйки:

— Не жги зря свечу! Что копаешься?

И любитель чтения виновато захлопывает книгу.

ГЛАВА VII.

Переворот.

Порядок, можно сказать, окончательно восстановлен.

Мало-по-малу остановились трамваи, водопровод не работает, почта не ходит, железные дороги стоят, на полотне набежали друг на дружку вагоны в три ряда, как бусы на шее цыганки. Подвоз продуктов совсем прекратился. Место на карте «Ростов—Нахичевань» стало пустым местом; оттуда в мир не доходит вестей, ни туда из мира не доходит вестей. Даже сами казаки не знают, что будет дальше.

Товарищ Васильев попросил у Якова Львовича паспорт:

— Вы сидите, вам тут документы не понадобятся, я же с вашим паспортом проберусь в Таганрогский округ, где собираются наши.

Яков Львович отдал ему паспорт и на ночь остался один.

Но не успел заснуть, как прикладом к нему постучали. Вспыхнула точка фонарика, направленная ему на лицо. Перерыты все книги, наволочки и косынки в комодах, вспороты тюфяки и подушки, два одеяла прихвачены,—пригодятся в зимнее время. Якову Львовичу велено итти без разговоров вперед, в комендантуру; документов нет, значит сжет, верно, военнообязанный. Впрочем, там разберут.

Яков Львович пошел, окруженный казаками. В комендантуре, за канцелярией, в комнатке с решетчатыми окошками было еще несколько арестованных, в том числе Петр Петрович.

Петр Петрович видел Якова Львовича в оркестре, где тот смычкастил по струнам виолончели чуть ли не каждый вечер, покуда был свет. Он протянул ему руку, как знакомому.

— Я в совершенном недоумении—что за нелепость, меня арестовывать!—сказал он преувеличенно громко, — я боролся, как ответственное лицо, с заразою большевизма, приветствовал освободившее нас казачество, ратовал за укрепление в стратегическом отношении нашего города, у меня сын—доброволец!

— А вы осторожней,—сказал ему кто-то из арестованных, большевики-то ведь близко. Как бы вам из-под казацкой нагайки не перейти в большевицкий застенок!

Петр Петрович умолк, точно нырнул марионеткой под сцену, одернутый вниз за веревочку.

На утро со стороны Ростова раздались выстрелы. Их допросили, бес-

толково и спешно. Петр Петрович тотчас же был выпущен. Якова Львовича препроводили в тюрьму за неименьем документов.

Дома Анна Ивановна ждала в истерическом нетерпеньи:

— Петя, все забирают из сейфов бриллианты, и деньги из банка; пришли телеграммы, что застрелился Каледин и войсковое правительство сложило свои полномочия. Я собрала, что могла. Ехать надо через Батайскую на Кубань. Некогда соображать, все готово.

Анна Ивановна, и Анна Петровна, и Марья Семеновна, и д-р Геллер с семьей и сотня-другая еще, председательствовавших, митинговавших, ратовавших за братство и равенство и аплодировавших казакам, с вещами. баулами, кожаными чемоданчиками, залепленными печатями заграничных таможен, устремилась из города на Кубань, чрез прорыв большевицкого фронта, кольцом окружившего город. Задыхаясь от страха, дамы впадали в истерику в санках; кучера, оборачиваясь, убеждали не шибко кричать, чтобы как-нибудь не навлечь большака, а мужчины, от жен заражаясь, с трясущимися губами, кричали с истерикой в голосе:

— Не визжи, чорт тебя побери, будь ты проклята! И без тебя тяжело.

Самыми тихими были дети до пятилетнего возраста.

Что же казаки? Как это они обманули надежды всех, кто «в стратегическом отношении» стоял за укрепление фронта?

А казаки... кто их поймет! Одни, отстреливаясь, отступали от большевиков, шаг за шагом, покрывая трупами степь. Другие с оружием и со знаменами переходили к большевикам и сдавались:

— Товарищи, больше не можем. Тошно служить генеральским последышам против Советов. И мы ведь из безземельных. Чего там, и мы за Советы!

Все малочисленнее круги отступающих, все многочисленнее отряды переходящих.

На границе меж Ростовым и Нахичеванью предприимчивый некто давно уж построил красного цвета увеселительный дом, с обитыми бархатом ложами, сценой-коробкой, замурзанным бархатным занавесом. И вздумал он новый театр, где пели певички, вздымая из кружева юбок до самых подвязок ажурно-чулочную ножку, назвать, неизвестно зачем:

«Марсом».

Названье и стало театрику роком.

«Марс» был воинственным местом. Сперва были драки в нем со скандалистами, с пьянством, с полицией, уводившей скандальника в участок. Потом в «Марсе» засели рабочие и собирался Совет. В «Марсе» восстали в ноябрьские дни. Красный флаг взвился над «Марсом» в февральские дни при отступлении казаков и наступлении большевиков. Но отступавшим уж отступать было некуда. Их зарубали по улицам, перестреливали по углам, вытаскивали из под'ездов.

Снова зазюзюкали в воздухе, не спрашивая дороги, шальные пульки. Приказов о переселении никто не издал, но жители, как услышали трескотню пулемета, полезли крестясь в подвалы, на знакомое место.

В домах, где не успели бежать, дрожащие руки срывали погоны с шинелей гимназистиков, тех, что пели «Боже, царя храни». Матери прятали сыновей по чердакам и под юбки. Безусые гимназисты, охваченные тошнотворным страхом, дрожали. Матреша их выдаст! Давно уж она большевичка! Барыня валится в ноги Матреше:

— Матреша, голубушка, ради Христа!

— Что вы, барыня, нешто я Иуда-предатель... Пустите, чего дерганули за юбку, да ну вас, ей богу.

Но барыня обезумела, летит вниз по лестнице, закрывает засовами двери, задвигает задвижки и болты, вверх бежит, ружье вырывая у сына. Приклад зацепился—по дому разнесся звук выстрела.

— Боже мой, Боже мой, Боже мой, что я наделала! Васенька, Васенька!

Внизу стучат. Здесь стреляли. Дом оцепляют.

Тук-тук-тук...

— Не открывайте!

— Да вы с ума сошли!—вопит сосед на площадке,—из за вас перестреляют весь дом, подожгут всех жильцов! Оттолкните ее, и конец!

Дверь взламывают, в двери врываются красноармейцы.

— Кто тут стрелял?

Обыск с этажа на этаж, с лестницы на лестницу.

— Матреша, голубчик, родная!

Матреша, плечом передернув, идет к себе в кухню и переставляет кастрюли. Но молчанье ее бесполезно.

Уже в соседней квартире № 4 красноармейцам шепнула Людмила Борисовна, старый друг гимназистовой матери, запрятавшая под прическу два бриллианта по три карата:

— Ищите не здесь, а напротив...

Красноармейцы снова врываются шарить у обезумевшей матери в спальне. За умывальником, для чего-то привставши на цыпочки, руки по швам, не дыша стоит и зажмурился гимназистик.

— Вот он, кадет!—закричал красноармеец.

— Васенька, Васенька...

Но сострадательный рок закрыл ей память и сердце прикладом ружья, предназначавшимся сыну. Она потеряла сознанье.

Бой идет на улицах в рукопашную. Пули зюзюкают, пролетая над головами. Жители, спрятавшись в задние комнаты, затыкая уши руками, держат детей меж коленками, не могут глотка проглотить от тошного страха,—кто за себя, кто за близких, кто за имущество.

Но на утро вдруг стало тихо, как после землетрясенья. В ворота спокойно вошла молочница, баба Лукерья, с ведром молока и степенно сказала жильцам, подошедшим из кухонь:

— Казаков-то выкурили. Чисто.

Вышли оторопелые люди, протирая глаза и робко заглядывая за ворота.

А там уже людно. Соборная площадь залита рабочими, красноармейцами, городской беднотой. Лица сияют, красное знамя взвилось у дверей комендантуры, перед участками, перед думой. Мальчишки-газетчики, торговки подсолнухами, подметальщики снега, трамвайные кондуктора, почтальоны и все, кто не носит ни шуб, ни жакеток, ни шляпок безбоязненно ходят по улицам, на их улице праздник, да и все улицы стали ихними!

А Куся, напрыгавшись и наметавшись по площади, красная от мороза и от возбужденья, шепчет матери на ухо прыгающими от смеха и гнева губами:

— Нет, мамочка, нет, ты подумай только! Сейчас Людмила Борисовна в рваном платочке и чьих-то мужских сапогах, будто баба, ходит по улице и изображает из себя пролетария. Я сзади иду и слышу, как она говорит: «Товарищ военный, только прочней укрепитесь и не допустите, чтоб в городе грабили»! А сама норовила сбежать на Кубань, сундуков, сундуков наготовила! Ах, она врунья!

И Куся сжимает шершавенькие кулачки.

(Продолжение следует).

Чемер.

Рассказ.

А. Чапыгин.

Рослый парень, Иван Рылов, с красным от натуги лицом, внес в токарное отделение завода три металлических болванки и с грохотом опустил их около одного из стаканов.

— Так возить зачнешь — сорвешься! — крикнул один токарь.

— Ни што-о! Сила есть, — ответил парень и, переставив крепкие ноги, вытер грязным фартуком корявое вспотевшее лицо.

Звенящие стружки сверкали вокруг станков, шипели ремни приводов, взвизгивали резцы токарей. В движении машин и работы не слышно было, как шумно, с хрипом вздыхала широкая, но плоская грудь чернорабочего. Рылов не долго стоял — повернулся к выходу, а в отделение вошел мастер, пузатый человечек, на коротких, толстых ногах и, заглушая шум машин, крикнул:

— Рылов, тебя директор зовет!

— Уй, а для че я ему, Карп Лукич?

— Велено скоро, фут в фут, не рассуждай!

— Дай ему отдышаться!

— Один Рылов на все отделение болванки таскает, — раздались голоса токарей.

— Мне что, пареньки — зову по приказу!

— Гони других! По отхожим сидят...

Карп Лукич не стал слушать токарей и, живо повернувшись, пошел, а выходя, сказал Рылову:

— Жалованья прибавят — иди, паренек!

Токаря хорошо знали, что Рылов впечатлителен и суеверен, — боится темноты, одиночества, — что Рылов лучший работник. Старательного парня отпускать из отделения не хотелось. Кто-то пошутил:

— Вестимо, направит в покойницкую!

— Прощавайте, токарики, ежели что.

— Сторожем в калильное не соглашайся-а!

Идя к директору, Рылов думал:

— Врут робя! ни што ежели... Покойницкой при заводе нету...

* * *

На стенах директорской комнаты Рылову бросились в глаза большие листы—по зеленому белые. На листах по белому черным намалеваны колеса и гайки. В комнате—светло по низу, по верху плавает сумрак.

За большим столом—директор. Его лицо в тени. Темный живот с пиджаком и жилетом освещены; на животе поперек—золотая цепочка. Белая рука директора, легко постукивая по зеленому полю стола, протянута и сжата в кулак.

Директор говорит ровно, тихо и когда качает головой, то на голове по средине белый пробор блестит.

Инженер, в форменной одежде, сидит сбоку стола; он курит и неторопливо отвечает директору.

«Сам дилехтур... ни што-о»,—думает Рылов, стоя у порога.

Парень слушает слова господ, но почти не понимает ни слова, хотя его голова по величине может вместить в себя маленькую голову сухопарого инженера и голову директора.

— Всегда в пустяках не сходимся мы, Петр Петрович, но... оба напоминаем полководца на поле брани: как мне, так и вам безразлична жизнь или смерть человеческой единицы... Это взгляд верный! Полководцу, а также и руководителю большого предприятия нужно знать, как лучше направить и использовать мускульную энергию толпы... Психология толпы во все века одинакова—толпа больше ценит строгость и неуклонность, чем сентименты, мало свойственные самим низам.... Но вот вы за специалистов, я же за простую механическую единицу...

— Еще раз позвольте вас спросить, Василий Максимыч, о разнице досмотра—специалист смотрит за прокалкой или человек от сохи?

— Но говорю же вам, Петр Петрович,—смотреть должен мастер, а поддерживать кучи угля на котлах—работа элементарная... Теперь остановите ваше внимание на специалистах: первое, народ своевольный, он быстро разберется в том, что говорят о пребывании у котлов люди науки: «токсическое влияние на организм». Подавай ему отпуск, страховку и прочее. Кстати, специалист на простой работе начнет скучать, неаккуратно посещать завод... потребует прибавки чаще, а повышать жалованье не нужно...

— Это, конечно, так, но рабочему нужно уметь не только сыпать уголь, а еще и огонь умерять... До свидания.

Инженер встал, пожал руку директора и вышел.

Парень отодвинулся от дверей, чтоб не запачкать грязным костюмом барина.

— Как твоя фамилия?

— Рылов, господин дилехтур!

— Давно ты на заводе?

— Полгода, господин.

— М... мм... сколько получаешь?

— Полтора рубли в день...

— Я слышал, что ты исполнял тяжелую работу?

— Ни што-о! Ежели так—мы привычны, господин ди...

— Пора отдохнуть тебе!

Рылов грузно переступил с ноги на ногу; пот его сразу одолел, и, утирая корявое лицо рукавом пиджака, он подумал: «Неужели расчет? уж ежели что—старался—даже одышка...».

Директор что-то писал, опустив причесанную голову к столу, подняв голову, он сказал:

— Я решил дать тебе легкую работу...

«Слава Богу безоблыжно!» мелькнуло в голове парня. Он взглянул вскользь на свои большие, черные, в красных ссадинах руки и ответил:

— Ежели что—грудь ноет, а так—мы привычны.

— Ты любишь свою деревню, Рылов?

— Ни што! Деревню-ту люблю, ежели, господин...

— Послужишь, отпуск в деревню дадим,—будешь и там, пока гостишь, жалованье получать.

— Я к городку обык—ни што-о!..

— Наш завод большой... кроме прочего всего, он заготовляет для войны снаряды.

— Слыхал это нынче...

— Итак, Рылов... бомба на войне—смерть врагу, но слава родной стране... ну, скажем, слава твоей деревне... Всякое дело рабочего, который находится при выделке снарядов, священно: оно защита страны; рабочий все равно, что солдат... Вот ты—большой, годный в гвардию человек,—случись война, пойдешь воевать, а на таком заводе, как наш, тебя на службу не потребуют.

— Понимаю, ежели...

— Понимаешь? Это мне и нужно. Еще надо предупредить тебя, Рылов, предостеречь, что завистников много... всякий завистник—первый враг директора завода. Начнет говорить: «Берегись! Начальство поручило тебе вредную работу... на ней ты можешь заболеть, умереть...».

— Спаси Бо... ежели...

— Помолчи!—строго сказал директор и зорко поглядел на Рылова. — Если такие люди найдутся, ты их примечай и говори мне или тому инженеру, который сидел вот тут.

— Ни што ежели и говорить...

— Запомни—о таких непременно говори!—Опять голос директора прозвучал строго, и зоркие глаза смутили парня.

— Понимаю, господин дилехтур!

— С сегодняшнего вечера ты мной назначен на новую работу и будешь получать не полтора, а пять рублей в день...

— Коли ладно дело-то...—Рылов снова вспотел, но вспотел от радости.

— Дело легкое: сторожить оболочки... впрочем, иди и поскорее разыщи того мастера, который тебя ко мне послал: от него узнаешь все.

— Прощавайте, господин!

— Будь здоров! Ты кажется из крепких, а? Ха, ха...

Директор милостиво рассмеялся.

Рылову стало весело, он, сжимая шапку в руке и поворачиваясь к дверям, сказал:

— Сила есть! Вот грудь кабы ежели...

* * *

— Еще один паренек! Говорил ведь я—торопись, а ты, дюйм в дюйм, с этими жеребцами-токарями мешкаешь... Ну, проздравляю,—сказал мастер и похлопал по широкой спине Рылова—вот тебе ключ. Калильное отделение вон там, длинное такое, в конце двора—вон оно! Дверь отопри и припри плотно... В отделении найдешь котлы, на котлах примечай, фут в фут, уголь кучей лежит, подгорает, а ты, ежели куча угля понизилась, подсыпь лопаткой—в отделении угля много...

— Понимаю ежели, Карп Лукич.

— Знай, похаживай—дело хлебное и вольное... один себе. Угля подсыпал, хоть ты лежи, хочешь сиди... после гудка запри дверь на ключ...

— Уй, просто дело-то!

— Легкое, ха, ха, ха...

Мастер тоже посмеялся, но Рылову его смех уж не понравился; он подумал:

«Чего это они с дилехтуром грают?»

* * *

На большом заводском дворе сгущался мрак.

Рылов крупными шагами высокого человека подошел к зданию калильного отделения.

Не доходя до двери, в сумраке увидал, как из высокой, почерневшей двери, на которой кто-то нарисовал мелом большой шестиконечный крест, беззвучно вышел высокий, худой человек, с глубоко запавшими глазами.

Дверь отделения легко, бесшумно отворилась и почти незаметно закрылась сама собой...

Рылов, вздрогнув, попятился: костлявый был одет, как он и при фартуке; лицо корявое, длинноволосое, но сходное с ним.

— Христе! Господи! Ты что ли был ежели, эй?—пробормотал Рылов.

Рылов видел, что встречный, исчезая в сумраке, перекрестился.

— Хрещеный, вишь, а как я... ни што!

Что-то холодное, как льдина, было зажато в кулаке Рылова. Это был ключ отделения. Стуча зубами от суеверного страха, Рылов долго не мог попасть ключом в замок, а когда отпер дверь, то на него пахнуло душным воздухом.

По стене отделения уныло горели три газовых рожка, один от другого на котором расстоянии.

Длинное помещение напомнило парню деревенскую церковь у входа на кладбище в ночное время, только около продолговатых огоньков не было икон да под ними не стояли гроба.

Рылов перекрестился и, подбадривая себя, сказал:

— Ну, бойся! Спужался, шальной, ни весть чего...

Хотел запеть песню, а запел молитву, но за работу принялся бодро.

На трех котлах, стоящих врытыми в земляной пол, уголь, пылавший сильным огнем, осел. Парень взял из кучи у стены на лопату угля и подсыпал. В один котел он опустил конец железной лопаты, а когда вытащил, то лопата засеребрилась.

— Можно хошь ведра лудить... ежели оню...

Попробовал лопатой содержимое второго котла, там тот же расплавленный свинец. От котлов к стеклянному потолку, утонувшему в синем, медленно струился голубой, сладковатый дым.

— Чемёр! Угарно, вишь, и страховито ежели... ни што...

До гудка Рылов расхаживал по отделению, стараясь больше петь песни, чем молитвы и думал:

«В этакой хоромине страховито одному, а зря это она мне оказалась схожей с церквой—ни што!»

Когда взвыл гудок, парень торопливо воткнул лопату в кучу угля и, запирая отделение, облегченно вздохнул свежим воздухом двора. Потом передал ключ дежурному в конторе.

— Сгадаю вот... посчастливит на новой работе, ай нет?—Рылов верил приметы.—Ладно, ежели первой встрену по пути Иру хозяйкину... Божиая душенька, а кого иного, то по старому зачнет, чижало на старой-то, лишь, грудь ныла и дышалось болько...

По дороге почти до дому Рылов не встретил никого, кто бы обратился к нему, но, не доходя немного до квартиры, у стены нежилого дома. с окнами давно заколоченными досками, зашевелилась в сумраке какая-то тень. От стены на панель выдвинулся нищий, загораживая парню дорогу.

Рылов вздрогнул: костлявая рука протянулась к нему.

— На пропитанье рабу Божьему!

Рылов вскинул глаза: в монашеском платье, в лохмотьях перед ним стоял сгорбленный старик, без шапки, с голым заостренным черепом; узенькие глаза прятались в морщинах почерневшего от грязи и времени лица.

Рука Рылова плохо слушалась, когда он сунул ее в карман пиджака, а нищий каким-то костяным голосом, мало похожим на человеческий, заговорил, переминаясь медленно ногами в язвах:

— Чесо, раб Божий, зришь мя? Се человек! Ты с любовию озрись, не рак... Се обносок тела моего—ибо я был, как ты, ты станешь, как я... Судьба подобия Божия, странника по свету, во веки веков одна и та же...

— На, прими на здоровье! Бог с тобой...

Рылов достал двугривенный, сунул в руку нищего и спешно пошє дальше.

— На здоровье... ха, ха, ха... хи, хи!—заливался сумасшедшим смехо за спиной уходящего парня нищий.

— Заначка не ладная! Аль не посчастливит? Ни што-о...

* * *

По обыкновению, у дверей квартиры Рылова встретила маленькая руса девочка, дочь хозяйки. Ребенок радостно вскрикнул:

— Рыло пишол! Мама-а.

— Желанна ты моя! Зачем не раньше...

Рылов подхватил девочку на руки, пряча широкое лицо в пушистые во лосы.

— Не нюкай! Ай, Рыло—мама, он нюкает голову—секотно.

В дверях кухни появилась хозяйка, полная, румяная, тоже русая, как : девочка: с русыми густыми бровями, с хитрыми глазами, которые от русы: ресниц казались золотистыми. Женщина сказала девочке певучим, полу шутливым голосом:

— Он любит тебя—зачем, Ира, так зовешь Ивана Михайловича. Рылов а не рыло. Рыло не хорошее слово,—обращаясь к Рылову, она прибавила:— Вы уж извините, Иван Михайлович, вольная она у меня, скапризничает, та на образа лезет—снимай да давай. Без батьки родилась и без батьки растет

Рылов сказал:

— А все недомекаю—спросить тебя хочу, Степанида Петровна, где ее батюшка? Кто он?

— Где знать какой! Я тоже вольная—их трое было: кто разберет, чья она, моя Ира, а вот люблю ее... Видите, какая я даже на язык вольная. Иная с десятью пережила—не скажет, а я не боюсь—чего таить-то, что было. Да, с Ирой-то занялись—забыла я—у вас землячок сидит, Иван Михайлович, ждет.

Когда Рылов вошел в комнату угловиков, то увидал на своем сундуке у окна парня, деревенского соседа.

— Петрунька! Здорово-ко, милой.

Приземистый, русый, слегка хмельной парень встал с сундука, пожал Рылову протянутую руку.

— В деревню, Ваня, собрался, вишь, а перед ездой по землячкам маюсь,—сказал парень.

Рылов вынул из кармана плотно смятый ситный. К его приходу на окне всегда стоял медный чайник с заваренным чаем, прикрытый полотенцем. За лишним стаканом Рылов сходил на кухню, налил гостю и себе горячего. Гость принял от Рылова стакан чаю, спросил, указывая на кровать на козелках у сундука:

— Твоя одра?

— Моя!

Парень выплеснул чай под кровать земляка и, вынув из кармана штанов сороковку, сказал:

— Не примат душа горячего. Вот горького, давай-кось, спробуем.

Он подул в стакан и налил водки.

— Вали!

— Не, не обучился,—сказал Рылов и, прихлебывая чай, помолчав, заговорил:—Пить тебе, Петруня, тоже мал след, едешь в деревню, може, кабы не водка, и ты бы работал тутотка...

— Можно жить здесь, конешно, Ваня, только не лежит душа к городной работе... в деревне пашешь да пляшешь—ежели не на глине пашня, все горе прочь, а тут тебе всякий городовой—ваше благородие,—нишкни.

— Поди, вот, деньги-то пропил, а с чем поедешь, коли малю не соскопил?

— Что верно, Ваня, то в аккурат! Деньгу, было, зашиб, да она царю пошла в кабак. Туда всякие капиталы гожи.

— Мы с тобой, Петруня, вместях росли, в бабки играли, рыбу удили... помнишь—кислое молоко у твоей тетки в праздный день хлебали.

— А ты, Ваня, дело зачал и не делом кончаешь. Все помню—только выручи на чугунку-то.

— Я не затем... то само собой, что мое, то твое. Сколь надо-то?

— Рублев двадцать надо.

Рылов полез рукой под подушку, достал старый кошелек, спрятанный про запас.

— Тут двадцать три. Возьми... я и поголодаю, ни што, а тебе в дороге на хлеб гожи все...

— Возьму—карман не сломят... Ты вот мало получаешь—скопил, я и много зашиб, да растряс... и то сказать, на военное дело может в скорости пойдут. Худо, земляк...—опустив низко голову, как бы в раздумьи проговорил парень.—Не то хорошо, корявый!—он пожал Рылову локоть большой руки,—хорошо, Ваня, ей Богу, что ты не занимаешься водкой, завлекательная она, ежели по природе польется, а твоя природа, что моя—вся пьяная. Батя твой пьет иной раз, да приговаривает—помнишь?

— Я родителев не осуждаю,—серьезно сказал Рылов,—грех!

— Грех не грех, а батя твой, когда во образе находится—сверху питого пьет, да приговаривает: «Пей в красу, чтоб опереться на носу». Помнишь? Хе, хе-е... помнишь, Ваня, как мы с тобой малышами колюху в реке вилками кололи. Ты раз уколол налима да большанского. А портки-то у тебя засучены до самых пазух и ты с налимом на радостях рысью, ну бежать. Падаешь да бежишь. Граял я на тебя, глядел...

— Помню! с измалетства помнится долго...

— Ну, извини. Я еще выпью и на чугунку.

— Лучше не пей, Петрушко! Право. Приедешь, всей деревне кланяйся. Родителю скажи: иную я должность заполучил. Скоро еще денег пошлю, да ежели что отпуск будет даден—сам приеду... Эх, Перша! Опять бы нам рыбы половить...

— Приезжай! Лучить поедем, ночью, с козой, с огоньком на козе...

Острогой-то, шух, шух—глядишь, либо налим, либо щука... прости-кос: Большой ты мой, корявый... Век не забуду—выручил на последние... Был ве; я у земляков да побогаче тебя, а как от берега шестом оттолкнули. С го; я эту стклянку к тебе волок—думал: разопьем вместях, а ты, вишь не н; учился... Полагал зарез—придется молодцу пятьсот верст пешком смонуть. Не пей, ей Богу не пей. Батя твой... ну, не буду, не любишь родителей огов; ривать... прости-кось...

Парни расцеловались, и земляк ушел.

Рылов, проходя кухней, умыл грязное лицо и руки, а, вернувшись в уго; увидал маленькую Иру; она сидела на его сундуке, ела положенный на окн; ситный. Обтерев мокрое лицо, Рылов сказал ребенку:

— Ах ты, моя робя-а!—Он посадил ребенка на колени.—Дайкось я теб; из ситного ягодок дам.

Парень, выковыривая из ситного изюм, отдавал девочке, она ела, смеялась и хлопала его по груди маленькими руками.

— Рыло. Ты колявый!

— Ни што, мой божимый!

— А ты в баньке мойся—будешь гладкий: я куклу примываю,—она гладкая... Пусти, к маме с бабой хочу!

— Поди с Богом!

* * *

Свои два фунта ситного, обыкновенно, Рылов с'едал за чаем с большой охотой, сегодня же не мог,—не было аппетита. Сахар казался ему особенно сладко-приторным; он думал:

— Что это? Хоть без сахару пей...

Чтоб провести время, как всегда делал, парень хотел было итти к хозяйке, но выжидал, ясно слыша за стеной чужой старушечий голос:

— А не тужи ты, милая. Годы твои не велики—мужички тебе найдутся... не всяк мужичек любит бабу сухую, как рыба тарань, иной выбирает с телом, чтоб было на кого платье надеть, чтоб у бабоньки мяса висели, а не то что.. Мужичек только завсегда пугливой, как конь—ежели сразу безо всего с обратью приступишься, так тому и конец: не поймаешь! А ты перво дело погладь его по мордочке, да кусок, как коню, покажи. Обедом подкорми, а можно да льзя и рубаху, портки простирни—не гнушись... там уж само дело наладится, сам, когда надо будет к тебе подберется, голову подставит: «На, мол, надевай узду-то скорее да веди в церковь». Так завсегда, милая! Ну, я пойду.

Слышно было, как хозяйка поцеловала гостью, звала заходить и как та ответила:

— Заходить-то зайду, да не часто—вишь своих много... доглядывать, стряпать тоже...

— Баба, посяй!—послышался голосок Иры.

— Прости-кось, дитятко!

Хлопнула дверь на лестницу и зазвенел крюк запора.

Когда хозяйкины шаги вернулись в комнату, Рылов решил:

— Теперича можно!

Он взял с подоконника кусок зеркала, взглянул на себя и пригладил волосы. Парень вошел к хозяйке.

— У меня, Степанида Петровна, сегодня день ладный...

— Что-й так, Иван Михайлович?

— На новую должность дилехтур перевел. Заместо полутора буду получать пять рублев в день.

— Ой, да это вишь благодать вам Господня! Не каких-нибудь сорок рублей, будете огребать полторы сотни... уж истинно ладный день. Вы, Иван Михайлович, в комнатку перебирайтесь, теперь надо чисто жить, а в углу известно—чисто не проживешь: вши-то, как ни пасись, общие—перебредают... Жилице я откажу со следующего месяца—деньги запустила, не платит. В углу живете—мне стеснительно лишний раз к вам зайди-ть, в комнате иное дело, ежели не гнушаетесь, я загляну чайку попить, посидеть...

— Уй, что вы, Степанида Петровна! Я рад коли ежели...

— Так-то ладнее, Иван Михайлович...

— Мама! Гони Рыло—он челный,—сказала Ира и полезла к Рылову на колени.

— Черный, а сама лезешь? Ты уши ей надери, Иван Михайлович, чтобы некрасиво не звала.

— Лицо в ямках. Тут ямки... тут...

— Ямки у многих, Ирушка... и черный да белый—хороший, чистый человек. Ведь вы женчинами не балуетесь—я не примечала?

— Не люблю зря... и водки тоже...

— Не пьете и не курите?

— Не курю...

— Сущий клад мужичек!—и, хитро поблескивая светлыми глазами, прибавила с усмешкой:—может, Иван Михайлович, жалованье баловства не дозволяло? Бывает так.

— Родителю обвещал держать себя...

— Ну, а как родитель-то, ежели бы вы на вдове женились?

— Все можно... на счет женитьбы не обвещался.

Провожая Рылова в его угол и, видя, что другие жильцы еще не вернулись, Степанида Петровна мягкой, теплой рукой обхватила парня за шею сзади. Он радостно встрепенулся и, нагнувшись, подставил лицо:

— Уй, ты желанна!

Поцеловав его торопливо, она шепнула:

— Желанна, так и ладно, но покеле не...

Она быстро ушла, вся раскрасневшаяся...

Вытянувшись во весь рост на постели, повернувшись на живот, Рылов подмял грудью жесткую подушку и, глядя в окно через крыши невысоких домов на огни улиц, размышлял:

«Не думал, не чаял прибавки — привалило счастье! Что значит ди-

лехтур-то... Теперь на хорошей отчего бы и не жениться. Затем люди маются по свету...».

Ему долго не спалось. За окном вдали он видел большой черный мост, по мосту прыгали пятна огней, кто-то как будто пробегал мимо их—огни мигали. Под арками моста тусклая даль искрилась теми же золотыми, круглыми огнями—огни аль не огни? Да это Степанидушкины глаза!

Он пригнул голову в сторону хозяйкиной комнаты и прошептал тихо, тихо:

— Желанна... а, желанна?..

Повернувшись на спину, почувствовал во рту сладкую слюну,—кажись, сахару не кусал много...

Утром Рылов проснулся раньше, чем всегда.

Двор дома, где жил он, был извозчичий. Рылов слышал, как шумели извощики, тпрукали и понукали с окриками лошадей.

Потом заблеял озябший за ночь козел, любимец двора.

Вот громко жалобным воем загудел гудок ближайшей фабрики.

— Скоро наш запоет...

Где-то рядом, в чужой квартире, с плачем раскашлялись дети. Рылов подумал:

— Больные... Не дай Бог... милые эки...

Там же начали пилить и колоть дрова;—в комнате угловиков, где жил парень, с потолка стала осыпаться штукатурка.

— Чего тут вставать! А глаза-то у Степанидушки золотые.

— Иван Михайлович! Кипяток готов.

— Встаю! Степанида Петровна, я чичас...

* * *

«Дилехтур, грит, «доноси». Оченно я бажу ябедничать... Может начальству лестно, что всякий друг на дружку с языком пойдет,—думал Рылов, подсыпая на котлы уголь.—Токарики ежели с обеда завсегда шутят: «сторож с покойницкой! Из мертвецкой!» Пошто, робя? Може здесь сторожа мрут? Не домекаю... Ежели байна—то оно подходящее...»

Порой из труб под котлами, сквозь трещины земли и глины вырывался огонь. Огонь лизал оранжевыми языками кучи угля и кругом котлов двигались золотые воронки. Тогда подступиться к котлам было трудно. Уголь на котлах синел и таял быстро.

В сумраке, особенно вечером, Рылову казалось, что бесчисленные злые глаза подглядывают за ним; в отделении все более становилось душно и жутко; парню тогда хотелось бежать в кочегарню и кричать:

— Меньше топите!

Рылов знал, что не поможет его крик, и безвольно, весь какой-то размякший, ложился на земляной пол, упорно глядел в дальний, темный угол, а сам пытливо шептал:

— Пошто это мертвецкая?

Не раз Рылову казалось, что он в бане, теплой и душной. Он видел, что

кругом стоит густой, голубой пар, кружащий голову. Подняв лицо вверх, разглядывал глянцевитые, синие клочья стеклянной крыши. Уголь, сгорая, потрескивал и напоминал банных сверчков. С потолка капало.

— Байна...

В дальнем углу Рылов настойчиво искал всякий раз шаек, не находил, а сегодня наглядел что-то и, испуганно разглядывая это что-то, шептал:

— По-ошто-о?..

Парню вдруг показалось, что из темного угла может выйти кто-то страшный—он оглянулся, ища двери, но в голубом тумане дверей не видно было и Рылов пополз туда наугад...

Дверь в отделение отворилась—Карп Лукич пришел глядеть прокалку.

— Полгода не прослужил, а уж пополз, дюйм в дюйм! Диви бы маленький, а такому да ядреному стыдно. Стыдно, паренек!

Рылов бледный поднялся с пола.

— Страховито мне чтой-то, Карп Лукич!

— От страха есть хорошее лекарство, паренек. Ужо я смотр кончу, посоветуемся, а пока дверь-то отделения открой, но не широко...

Открыв дверь, Рылов, как всегда, видел, что мастер длинным крючком вроде кочерги с деревянной ручкой ходил и, разрыв на котлах уголь, доставал из жидкого свинца блестящие штуки, ловко вскидывал их кверху и вновь погружал в свинец.

— Я, паренек, уголь-то поскидал, так ты, фут в фут, когда уйду—подбавь его, а то свинец сверху захолонет—все дело сгадишь, ломать придется... брак в счет поставят,—делая свое дело, покрикивал парню мастер.

Кончив осмотр, Карп Лукич вернулся к дверям, грузно нащупал задом место на скамье у стены, сел и, отдуваясь, сказал Рылову.

— Садись! Ты, паренек, завсегда с собой бери выпивку—помни только: перепить вредно. Рюмочку-две выпить пользительно,—ни вдоль, ни поперек, дюйм в дюйм, мыслей не будет. Всю дурь, как пальцем сощелкнет. Я завсегда выпиваю с умом, а разве меня видали в заводе пьяным? Пью так: рюмочку перед чаем да закуской, две-три после обеда, тебе беспременно пить надо, чтоб сласть в глотке не копилась...

— Беда мне доскучила эта сласть—днем и ночью, потом брюхо чтой-то зачало маять... зубы тоже крошатся, а иной раз хватит тя, будто паралик—насилу разомнешься... Смеются да грают люди: «В покойницкой, говорят, служишь!» Мне, Карп Лукич, не до граю ежели...

— Наплюй в глаза смехунам! Все жеребцы токаря, поди-кось?

— А все одно хто! «Дилехтур, говорят, умеет обрядить человека в деревянный кафтан, только завлекись ему...».

— Что ж ты не скажешь, кто это так?

— Я не жалюсь, Карп Лукич, а страховито бывает, когда сумеречно.

— Пить беспременно надо, паренек!

— Родитель у меня пьет—не бажу глядеть!

— До свиного рыла, конешно, дотянуть не хорошо, но ежели пить с головой, то спасенье. Да вот что—завтра получка, а ты, дюйм в дюйм, при-

кругом стоит густой, голубой пар, кружащий голову. Подняв лицо вверх, разглядывал глянцевитые, синие клочья стеклянной крыши. Уголь, сгорая, потрескивал и напоминал банных сверчков. С потолка капало.

— Байна...

В дальнем углу Рылов настойчиво искал всякий раз шаек, не находил, а сегодня наглядел что-то и, испуганно разглядывая это что-то, шептал:

— По-ошто-о?..

Парню вдруг показалось, что из темного угла может выйти кто-то страшный—он оглянулся, ища двери, но в голубом тумане дверей не видно было и Рылов пополз туда наугад...

Дверь в отделение отворилась—Карп Лукич пришел глядеть прокалку.

— Полгода не прослужил, а уж пополз, дюйм в дюйм! Диви бы маленький, а такому да ядреному стыдно. Стыдно, паренек!

Рылов бледный поднялся с пола.

— Страховито мне чтой-то, Карп Лукич!

— От страха есть хорошее лекарство, паренек. Ужо я смотр кончу, посоветуемся, а пока дверь-то отделения открой, но не широко...

Открыв дверь, Рылов, как всегда, видел, что мастер длинным крючком вроде кочерги с деревянной ручкой ходил и, разрыв на котлах уголь, доставал из жидкого свинца блестящие штуки, ловко вскидывал их кверху и вновь погружал в свинец.

— Я, паренек, уголь-то поскидал, так ты, фут в фут, когда уйду—подбавь его, а то свинец сверху захолонет—все дело сгадишь, ломать придется... брак в счет поставят,—делая свое дело, покрикивал парню мастер.

Кончив осмотр, Карп Лукич вернулся к дверям, грузно нащупал задом место на скамье у стены, сел и, отдуваясь, сказал Рылову.

— Садись! Ты, паренек, завсегда с собой бери выпивку—помни только: перепить вредно. Рюмочку-две выпить пользительно,—ни вдоль, ни поперек, дюйм в дюйм, мыслей не будет. Всю дурь, как пальцем сощелкнет. Я завсегда выпиваю с умом, а разве меня видали в заводе пьяным? Пью так: рюмочку перед чаем да закуской, две-три после обеда, тебе беспременно пить надо, чтоб сласть в глотке не копилась...

— Беда мне доскучила эта сласть—днем и ночью, потом брюхо чтой-то зачало маять... зубы тоже крошатся, а иной раз хватит тя, будто паралик—насилу разомнешься... Смеются да грают люди: «В покойницкой, говорят, служишь!» Мне, Карп Лукич, не до граю ежели...

— Наплюй в глаза смехунам! Все жеребцы токаря, поди-кось?

— А все одно хто! «Дилехтур, говорят, умеет обрядить человека в деревянный кафтан, только завлекись ему...».

— Что ж ты не скажешь, кто это так?

— Я не жалюсь, Карп Лукич, а страховито бывает, когда сумеречно.

— Пить беспременно надо, паренек!

— Родитель у меня пьет—не бажу глядеть!

— До свиного рыла, конешно, дотянуть не хорошо, но ежели пить с головой, то спасенье. Да вот что—завтра получка, а ты, дюйм в дюйм, при-

ходи в ресторан «Бережной», я тебя слатенькой угощу,—всю хворь сымет Сласть не от одной горечи прячется, она хмельного боится... Кстати скажешь мне, кто так про директора говорит...

— Уй, нет, Карп Лукич!

— Там увидим—приходи!

Карп Лукич, было, поднялся со скамьи, но Рылов его удержал:

— Хочу твоего сказа послушать, ты пожилой, как мой родитель.

— Скажу, что надо, паренек!

— Лишние думы, Карп Лукич, може от одинокости, так лажу я жениться.

— Правильное понятие,—живал холостым, живу и женатым. Пил я тогда больше, а женитьба удержала от большого худа. И то скажу: мысли о бабе в голову лезут, бывало, идешь да этакую с улицы торговку купишь... Пьяному все ладно, глаза пялишь, целуешь—чистенькая, нарядная, хоть под венец. Ночь проспишь, глаза на купчую вскинешь, а ее как чорт подменил, как старый горшок, вся в трещинах, царапинах. Маска тоже в пятнах, не приведи Бог... Только для ради ночи да пьяных кобелей была она в свое время, фут в фут, ровненько пудрой замазана.

— Уй, Карп Лукич, таких-то боюсь!

— Боишься, паренек, так по диаметру женитьба тебе в самый раз.

Карп Лукич, напомнив Рылову притти завтра в ресторан «для обучения», приказал подсыпать на котлы угля и ушел.

Прошло больше месяца Рылов пробовал пить сладкую и горькую—помогало—сахар не казался приторным, только грудь ныла все больше и живот болел сильнее, а зубы крошились...

* * *

Рылов знал, что сегодня хозяйка поздравит его с новосельем, и прихватил на всякий случай бутылку водки с белой головкой.

Действительно, его вещи из угла были перенесены в комнату, а на небольшом столе у окна постлана чистая скатерть; на столе стоял его чайник, прикрытый чайным полотенцем с расшитыми концами. В углу, справа от стола, висел образ, и золотился огонек лампадки. Была суббота.

— Выпью сегодня ладом... будь, что будет, а Степаниду сговорю, тошно без ей...

Степанида Петровна встретила парня у порога в комнате и заговорила певуче-ласково:

— Живите-ко по иному, Иван Михайлович. С переборкой вас!

— Рот опасибо. Я чичас деньги...

— Поспеете. Не пропадут, а с жилины едва получила.

— С ребенком она, жалко ежели что...

— Всех голых одной грудью не закроешь... жалко! Нынь в стирке, а вот ужо занавеску к окну прилажу, зеркало то подобрала для вас, нарошно купила... на провизию дадите, так и обед готовить буду... белье ваше собрала, со своим выстираю—за одно дрова жечь, рассчитаетесь.

— Уй, хорошо, Степанидушка. Только маяты тебе много...

— Пуще всего Степанидушкой не зовите. Память у всех нас короткая, обычка скорая, при чужих назовете—зачнут худое говорить... Людям всего показывать да сказывать не надо... люди, Иван Михайлович, рады худому, ябедой да охулкой больше век живут!

— Ладно. Ежели что—я буду вас звать Степанидой Петровной.

— Вот так! Скоро весна, комнатка маленькая и так теплая, а еще бок плиты к стенке приткнут, жарко зачнет, можете на тераске спать.

— Тепла не бажу!

— Знаю, не любите—на тераске прохладно. Иной, какой то, Иван Михайлович, стали вы не в пример как бы из благородных: глаза больше, светлее, щеки и лоб побелели, шадринок мало знать, а это уж как у господ. Еще бы вам черную шляпу с полями, волосы длинные, костюмчик модный наладить, тресточку, и будете барин-барином.

— Все будет, Степанидушка! Степанида Петровна... Ужо еще получку—две заработаю, тогда ежели и новое заведу.

Когда хозяйка ушла по своим делам, Рылов, оглянув еще раз убранство нового жилья, сходил, умылся, причесался. Наскоро оглядев лицо в дешевое зеркало, поставленное на рыночный комод, подумал:

— По шадровитой роже и покупка ежели...

Перед тем, как пить чай, он вынул из кармана пальто бутылку водки и кусок колбасы.

Почти не пив чаю, Рылов опорожнил посудину, а колбасу неохотно жевал и думал:

— Степанидушка заигрывает, а замуж не идет...

— Рыло, и я иду!—забежала в комнатку Ира и полезла к хмельному парню на колени.

Рылов, как всегда, сунул пахнущее водкой лицо в волосы ребенка. Он тяжело дышал и тихонько покашливал.

Ира соскользнула на пол, взглянула на парня и бежала с криком:

— Мама! Рыло стлашный.

— Вишь врет, сученка!—рассердился Рылов и усмехнулся недоброй усмешкой.—Дай-кось!

Пошатываясь, парень встал, подошел к комоду и еще раз взглянул на себя в зеркало: в зеркале было не такое лицо, каким знал себя Рылов раньше. На него глядело что-то чужое, злое, с выпуклыми, влажными глазами. Широкий, искривленный рот полуоткрыт, из рта кое-где торчат ломанные, почерневшие зубы.

— К чорту! Рожа не моя—косая...—разозлился парень,—он схватил зеркало, бросил на пол, тяжелым сапогом растоптал.

Не раздеваясь, упал вниз лицом на кровать и сумбурным сном беспокойно заснул.

Утром шумело в голове, ныла грудь особенно тяжко, и была тошнота.

— Пущай тошнит, лишь бы брюхо не болело да сласти не чуять...

Хозяйка сама принесла в комнату Рылова кипяток. Покачала русой головой, подбирая осколки зеркала, и с укором в певучем голосе сказала:

— Не счастливо зеркало разбить, а на новосельи совсем худо. Чтой-т вы наделали, Иван Михайлович?

— Куплю ежели новое хорошее...

— А то чем худо? С косинкой немножко, ну, да...

Рылов, превозмогая головную боль, заговорил:

— Так как же, Степанида Петровна? Я ведь душу маю, денно и нощно о тебе думаю, коли ежели люблю, и вся жисть в тебе. Жениться бы в скорости.

Золотистые глаза хозяйки засветились лукавым огоньком:

— Чегой-то Ирка напужалась вчерась от вас, Иван Михайлович?

— Мало ли что ребенку втемяшится...

— Зачем спешить? Поживем-ко так... И так не полиняю я, лишняя-то позолота с меня сошла, медь из-под золота не боится... Вот ежели, Иван Михайлович, венцом голову закрепить—иные законы, а вольная полюбовница завсегда вольна. И то сказать: карахтера вашего еще не вызнала, только знаю, что плохие калоши узнаешь в мокреть—лихого мужа, аль жену—после венца... Сойдемся ближе, да друг дружку восчувствуем—тогда иное.

— Уй, так не ладно, Степанида Петровна!

— Что не ладно, Иван Михайлович? Уж коли баба приспела к вам, на вас идет и окромя венца да закону ничего не боится, так вам-то чего бояться? Вас не убудет.

— Не жил с тобой, а и так притягала—поживем, да удумаешь ежели что покинуть, так я в та поры куда? Нож ведь мне!

— Ну, Бог милостив, дорог кажинному человеку много...

С этого дня Рылов стал много пить...

* * *

— Мама! Рыло опять пяный...—закричала как-то раз из комнаты Рылова маленькая Ира, но на колени не садилась.

— М-мо-л-чи-и!—Парень поймал девочку и втащил на колени, она вырывалась и кричала.—Чего ты, сученка-а?

— Пусти к маме!

— Ирушка—м-молчи-и!

— Стлашной... пяной... к маме я...

— А-а, вот!

Рылов поднял высоко девочку, перевернул в воздухе и бросил, как шапку к порогу.

— Ирушка! Бедная моя девочка, что он тебя ударил? Выгнал?—допрашивала Степанида Петровна.

Ира визгливо без слов плакала и косилась на пьяного Рылова.

Рылов сидел у стола с повисшей длинноволосой головой. Парень поднял растрепанную голову и, глядя мутным взглядом на комод, где стояло новое, купленное им зеркало, закричал:

— Ежели что—всех в дребезги! Дилехтуры и все к чорту-у! Сученки. Барина захотели? вишь, барин я-а!.. Зубы... Морда покойницкая, волосья, что поп. К чорту!

Он стал рвать на себе волосы и рубаху...

Полутолый, с окровавленным, бледным лицом, в судорогах, парень упал на пол...

* * *

Тяжелый день. К котлам подступиться было нельзя, но Рылов с каким-то остервенением работал—ему было жутко в отделении—работой парню хотелось отогнать жуткое чувство. Хмель с утра выдохся, а про запас выпивки не было.

Рылов, горбясь, кашляя и сплевывая кровью, бросал сквозь стенки огненных воронок на котлы уголь. Уголь трещал и светился, то рыжим, то синим огнем.

— Ежели что, дилехтуры, штоб вас!..

В кочегарке, казалось, решили спалить огнем отделение с Рыловым. Огонь, вырываясь и вспыхивая около котлов, плясал и посвистывал, как ошалевший.

— Жги! Трещи—жарь коли что... фу-у!

Парень выбился из сил, бросил лопату и свалился на кучу угля у стены. Как только вытянулся на животе, то стал глядеть в дальний угол. Жуткое чувство подступало, пугая.

— Знамо покойницкая, теперича да... понимаю ежели... а будь, что будет! Вот беда, коли судрога хватит—враз изойдешь...

Огонь стал утихать. Рылов решил не обращать внимания на дальний угол и стал разглядывать внимательно красноватые языки в трех местах на стене:—газ уныло и слабо просвечивал сквозь голубой туман, но там, куда не хотелось глядеть Рылову, застучали кости явственно и все ближе, ближе... Кто-то как бы насильно повернул его шею. Рылов с испутом взглянул туда, куда не хотел глядеть: там в углу поднялся густой, синий дым, дым плыл по отделению, имея какой-то страшный облик...

Захолонув от затылка до пят, выпучив дико глаза, парень видел, как страшное подплыло к дальнему котлу, остановилось, над углями, растопырились большие, костистые пальцы, без ногтей...

Рылова била лихорадка... Дрожа, он замечал, как, когда опускались к котлам синие руки страшного, от них словно от ветра загорались угли удушливым, синим огнем-чемером...

— Ко мне идет ежели...

Дернув из последних сил одеревенеешее тело, парень, сбивчиво творя молитву, пополз к дверям...

* * *

За окнами террасы—тепло по летнему, пестро от блеска многих огней и иллюминаций. Уж поздно, но улица гудит и шумит пьяными шагами и голосами прохожих.

Сегодня самый большой день трезвости: на заборах и в трамваях с утра расклеены афиши с крупными надписями, пестрящие именами известных бла-

— Ежели что—всех в дребезги! Дилехтуры и все к чорту-у! Сученки. Барина захотели? вишь, барин я-а!.. Зубы... Морда покойницкая, волосья, что поп. К чорту!

Он стал рвать на себе волосы и рубаху...

Полуголый, с окровавленным, бледным лицом, в судорогах, парень упал на пол...

* * *

Тяжелый день. К котлам подступиться было нельзя, но Рылов с каким-то остервенением работал—ему было жутко в отделении—работой парню хотелось отогнать жуткое чувство. Хмель с утра выдохся, а про запас выпивки не было.

Рылов, горбясь, кашляя и сплевывая кровью, бросал сквозь стенки огненных воронок на котлы уголь. Уголь трещал и светился, то рыжим, то синим огнем.

— Ежели что, дилехтуры, штоб вас!..

В кочегарке, казалось, решили спалить огнем отделение с Рыловым. Огонь, вырываясь и вспыхивая около котлов, плясал и посвистывал, как ошалевший.

— Жги! Трещи—жарь коли что... фу-у!

Парень выбился из сил, бросил лопату и свалился на кучу угля у стены. Как только вытянулся на животе, то стал глядеть в дальний угол. Жуткое чувство подступало, пугая.

— Знамо покойницкая, теперича да... понимаю ежели... а будь, что будет! Вот беда, коли судрога хватит—враз изойдешь...

Огонь стал утихать. Рылов решил не обращать внимания на дальний угол и стал разглядывать внимательно красноватые языки в трех местах на стене:—газ уныло и слабо просвечивал сквозь голубой туман, но там, куда не хотелось глядеть Рылову, застучали кости явственно и все ближе, ближе... Кто-то как бы насильно повернул его шею. Рылов с испугом взглянул туда, куда не хотел глядеть: там в углу поднялся густой, синий дым, дым плыл по отделению, имея какой-то страшный облик...

Захолонув от затылка до пят, выпучив дико глаза, парень видел, как страшное подплыло к дальнему котлу, остановилось, над углями, растопырились большие, костистые пальцы, без ногтей...

Рылова била лихорадка... Дрожа, он замечал, как, когда опускались к котлам синие руки страшного, от них словно от ветра загорались угли удушливым, синим огнем-чемером...

— Ко мне идет ежели...

Дернув из последних сил одеревенелое тело, парень, сбивчиво творя молитву, пополз к дверям...

* * *

За окнами террасы—тепло по летнему, пестро от блеска многих огней и иллюминаций. Уж поздно, но улица гудит и шумит пьяными шагами и голосами прохожих.

Сегодня самый большой день трезвости: на заборах и в трамваях с утра расклеены афиши с крупными надписями, пестрящие именами известных бла-

готворителей и докторов, устраивавших по всему городу лекции «О вре‌ пьянства».

У потолка террасы, под жестяным колпаком слабо горит лампа.

Степанида Петровна убирает со стола остатки ужина. На конце стол‌ упершись костлявой спиной в стену, сидит на табурете, согнувшись над т‌ релкой, Рылов и, чавкая широким ртом, в котором осталось мало зубов, л‌ режевывает кусок жирного мяса. Хозяйка с засученными рукавами в роз‌ вом, шелковом платье, в белом переднике, ловко и неторопливо ставит гря‌ ные тарелки одна на другую. Русые косы туго заплетены и модно располо жены на ее красивой голове. От слабого света лампы под золотистыми ресни цами мягко поблескивали зрачки глаз, но румяные губы Степаниды Петровн‌ сложены в решительную и жесткую полуулыбку.

Иногда она искоса взглядывала на Рылова, который медленно звонк‌ чавкал—по подбородку у него за вспотевшую, сморщенную манишку те‌ жир. Большие руки держали у рта кость крепко, но неуверенно.

— Так-то, Иван Михайлович,—проговорила она.

— А-а-м!..—промычал Рылов.

— Не по ветру мои слова: плохие калоши узнаешь в сырую погоду, ‌ лихого мужа—после свадьбы.

Со стуком кинув кость на тарелку, Рылов пьяным голосом ответил:

— Как донное грузило на уде ко дну тянет—твоя любовь мне... пью больше ежели оно к закону придти-ть хочется, а ты что? Ты—чует сердце—все от меня дальше и женой не желаешь... Об этом слезно прошу—душа моя мается!..

— А, нет, уж! Бог миловал—не вышла и не выйду за вас, — ни какой корысти нету выдти-ть. Пить зачали, что ни день—все шибче, а карахтер у вас... у-у какой! Редко как бы и ладно, то как ветер сорвет, зачнете вешши бить, да кидать... ночью и то кидаете вешши без угомону... Сегодня еще на тераске проспите, постельку налажу, а завтрево, угодно, так в прежний свой угол пожалуйте. Комнату вашу сдаю,—денег не платите, а мне за квартиру спуску нету—подай...

— Не моги, сученка, трогать мои вещи!—вскочил на ноги и, пошатнувшись, ударил по столу кулаком Рылов.

— Ну, беда какая! Как это не смей, Иван Михайлович? Квартера моя и воля моя... С этой ночи я вам не полюбовница... Хватит меня с вас, да и худо вам... гляди-кось, ночью вы, как утопленник, холодный, мокрый—два—три раза в ночь надо вам рубаху менять... полы все кровью заплевали... женчину вам даже и вредно ласкать.

— Молчи ежели... Уй, молчи! Лютый нож твои слова...

Парень с треском упал на скрипучий табурет, сунул острые локти на стол, уронил на ладони волосатую голову—по концам длинных волос, прижатых ладонями к лицу, закапали слезы...

— Споил... потерял я себя, Степанидушка-а!

— Жалко мне вас, Иван Михайлович... передумала я... сердце мое отходчивое, оставьте ко вешши-то у меня, да поезжайте в деревню,—может наладитесь, вернетесь, а там виднее.

— Некуда нынь ехать... чую ежели что про себя... дума не та, зло на душе...

— Чтой-то закручинились?.. Зло спокиньте—от него правды во век нету...

— Жисти мне мало, Степанида Петровна! За деньги прельстился, шальной был... Дилехтуры погубители мои...

— Ну, чтой так? Может еще уберегете себя. Чего вешать голову, Иван Михайлович? Отдохните... вернетесь, деньги заработаете потом...

— Нету мне ежели никакого потом! Лицо зачало синет... Судрога, брюхом маюсь, а на одно еще тож...

— Уж на что это тожи? Видно худое что... а в комнате покель живите, Бог уж с вами! Иру только не пугайте—боится она вас.

— В комнате? Да-а... возьми, Степанидушка, мои вещи—все возьми!

— Коли уедете, то я не за антирес хлопочу, сохранны будут...

— Блазнители! Дилехтуры... теперь ежели что понял... вещи возьми-и... Слышь?

* * *

Даже хмурой ночью на террасе с большими покосившимися окнами было полусветло,—через низкие сараи и флигели двора высокие соседние дома, обступившие деревянный домишко, где жил Рылов, освещали террасу до поздней ночи призрачным светом. Тогда лишь, когда потухали огни кругом, терраса погружалась в сумрак. На террасе у стены стоял большой платяной шкап, которому в квартире не было места. Под шкапом по ночам крысы, забежавшие со двора, грызли кости, с возней и стуком, таская их из ведра. Кости Степанида Петровна вываливала в ведро на террасу, чтобы при случае продать тряпичникам, не впуская чужих в квартиру.

Стук костей в сумраке пугал и раздражал обыкновенно хмельного Рылова; он кидал в шкап все, что попадало под руку.

Чтоб не жечь лампу, скупая хозяйка повесила на террасу образ с лампадкой. Лампадка горела только ночью. Боясь света, крысы реже воровали и грызли кости.

Образ Спасителя, повешенный в углу, не нравился Рылову: он напоминал ему лицо когда-то встреченного им нищего монаха. Образ был писан тусклыми красками старообрядческих мастеров. Кругом головы Христа вился резной, серебряный венчик. Желтая, благословляющая двумя перстами рука, была тоже заключена в обломок серебряной ризы.

Убрав стол, Степанида Петровна на полу террасы вынесла и разложила матрац, постлала простыню и, откинув конец одеяла, пошла к себе.

— Ты ежели, Степанидушка, не со мной:—грузно падая на одеяло, спросил Рылов и тяжко закашлялся.

— Вот, Бог-от и наказал, Иван Михайлович! Говорите не дело, так и кашлюха сдолила.

— Обр-а-а-з, как нищий! Не бажу...—отдышавшись проговорил парень.

— Образ? Выдумываете всякое...—обернулась она в дверях в прихожую.—Конец и все тут! Пожили, погрешили—Бог простит.

Она улыбнулась и ушла.

— Некуда нынь ехать... чую ежели что про себя... дума не та, зло на душе...

— Чтой-то закручинились?.. Зло спокиньте—от него правды во век нету...

— Жисти мне мало, Степанида Петровна! За деньги прельстился, шальной был... Дилехтуры погубители мои...

— Ну, чтой так? Может еще уберегете себя. Чего вешать голову, Иван Михайлович? Отдохните... вернетесь, деньги заработаете потом...

— Нету мне ежели никакого потом! Лицо зачало сидет... Судрога, брюхом маюсь, а на одно еще гож...

— Уж на что это гожи? Видно худое что... а в комнате покель живите, Бог уж с вами! Иру только не пугайте—боится она вас.

— В комнате? Да-а... возьми, Степанидушка, мои вещи—все возьми!

— Коли уедете, то я не за антирес хлопочу, сохранны будут...

— Блазнители! Дилехтуры... теперь ежели что понял... вещи возьми-и... Слышь?

* * *

Даже хмурой ночью на террасе с большими покосившимися окнами было полусветло,—через низкие сараи и флигели двора высокие соседние дома, обступившие деревянный домишко, где жил Рылов, освещали террасу до поздней ночи призрачным светом. Тогда лишь, когда потухали огни кругом, терраса погружалась в сумрак. На террасе у стены стоял большой платяной шкап, которому в квартире не было места. Под шкапом по ночам крысы, забежавшие со двора, грызли кости, с возней и стуком, таская их из ведра. Кости Степанида Петровна вываливала в ведро на террасу, чтобы при случае продать тряпичникам, не впуская чужих в квартиру.

Стук костей в сумраке путал и раздражал обыкновенно хмельного Рылова; он кидал в шкап все, что попадало под руку.

Чтоб не жечь лампу, скупая хозяйка повесила на террасу образ с лампадкой. Лампадка горела только ночью. Боясь света, крысы реже воровали и грызли кости.

Образ Спасителя, повешенный в углу, не нравился Рылову: он напоминал ему лицо когда-то встреченного им нищего монаха. Образ был писан тусклыми красками старообрядческих мастеров. Кругом головы Христа вился резной, серебряный венчик. Желтая, благословляющая двумя перстами рука, была тоже заключена в обломок серебряной ризы.

Убрав стол, Степанида Петровна на полу террасы вынесла и разложила матрац, постлала простыню и, откинув конец одеяла, пошла к себе.

— Ты ежели, Степанидушка, не со мной:—грузно падая на одеяло, спросил Рылов и тяжко закашлялся.

— Вот, Бог-от и наказал, Иван Михайлович! Говорите не дело, так и кашлюха сдолила.

— Обр-а-а-з, как нищий! Не божу...—отдышавшись проговорил парень.

— Образ? Выдумываете всякое...—обернулась она в дверях в прихожую.—Конец и все тут! Пожили, погрешили—Бог простит.

Она улыбнулась и ушла.

— Не за что прощать, ежели... потом... придется—ни што...

Рылов тяжело поднялся с постели, укрепился на ногах и пошел в квартиру.

Роясь в ящике стола и комода, он слышал за стеной старушечий чужой голос:

— Завсегда так, милая,—мужичок, как шалить почнет, воли ему давать нельзя, не можно; тогда бери, как конька на кодол... худой окажется, то ворота настежь,—поди мужичок, гуляй, да воли с меня не сымай!

— Чужие, вишь... уговорщицы. Сученки!—проворчал Рылов и, найдя то, что искал, сунул за голенище сапога.

— Вы чтой-то забыли, Иван Михайлович?—дрогнувшим голосом спросила хозяйка, выпроводив гостью, старуху и наблюдая за парнем в щель незапертой плотно двери.

Рылов повернул лицо к ней, шатаясь на ногах ответил:

— Желанна моя! Брось пропащего—спи, худа тебе не сделаю, Бог с тобой... Чужих ежели не слушай... подь!

Он вернулся на террасу, вынул из-за голенища нож, положил под подушку и разделся.

Потом, смутно белея, сползал в дальний угол, взял откупоренную бутылку пива и приполз обратно.

— Прельстители... хмельное и все—вся жисть!

Глотнул пива, но под шкапом завозились крысы. Рылов, оторвав бутылку от губ, выпучив на шкап глаза, крикнул:

— Цыц!—и швырнул бутылку в шкап; она глухо ударившись, стуча, откатилась к окну в полосу лунного света; из нее медленно на пол полилось пиво.

* * *

Не раз на завод парень брал ножик, но его тянуло домой.

Ночью старался на террасе спать с открытой головой и, просыпаясь, часто вглядывался в образ, осиянный блеском лампадки...

— Примстилось... все одно ему, — Бог молчит...

* * *

Когда стало вечереть, Рылов, подбросив на котлы угля, ушел из отделения:

— Пущай без меня изойдет чемёр...

Во всех отделениях было светло. Шипели и постукивали машины.

— Ни што-о... сегодня-а...

Обойдя двор, парень подошел к решетке завода, выходящей на реку.

Сумрак мало сгущался, белые ночи еще не пришли, но уже чувствовались,—фонарщики в городе не зажигали огней.

За решеткой завода все тонуло в серой дымке теплого вечера; было безветрено.

Рылову почему-то казалось, что он видит сон: сонно блестят сквозь сумрак огни за рекой.

«Сон, не сон... жисть не жисть... голос не то...»,—не окончив мысли, он сплюнул соленым, но от решетки не отошел и видел, как на слабой ряби волн переливаются мутные пятна огней.

Не сразу разобрал, откуда огни, но старался разобраться во всем и во все вдуматься, как будто бы жил последний вечер.

— Огни рыбацки... Эх, кабы к Петрухе, к родителю, да рыбки бы...

С едва заметными очертаниями под мостом тихо, без шума, как во сне, скользит длинная полоса лодок, пятнами огней.

Люди почти не двигаются, черные, без лиц и глаз. Мимо, по берегу, в сумраке идут те же люди без лиц, без глаз...

За рекой бегут лошади, стучат копытами, а не понять, кто: может быть не лошади, как будто кто-то что-то вколачивает...

— Ни што...

Один только светлый кусок не далеко в стороне почему-то злит Рылова: словно забытый сумраком, блестит одиноко нахальным светом круглый фонарь.

— Лесторан «Бережной»... пьяная болесть... ни што!..

Рылов все-таки встряхивается и уходит в глубину двора.

— Ни што теперича...

Парень видит, как в нарядном директорском флигеле светятся два окна.

— Во, во, энто ежели...

Он тихо, почти крадучись, идет к окнам.

Низ окон—матовый, верх—глянцевый, сквозной. За одним окном близко чернеет знакомая спина, и блестят приглаженные волосы. Через комнату у дверей стоит рослый парень с шапкой в руке, глаза глядят к окну.

— Сменка мне! Ладно, ежели что...

Рылов спешно ушел в калильное.

* * *

Он зачем-то обошел все отделение и особенно внимательно, вытянув шею, разглядывал дальний угол, а в дверях стоял мастер и кричал:

— Фут в фут, по диаметру! Вижу, паренек, что пришла пора дать тебе отпуск.

Рылов обернулся, схватил с земли лопату и кинулся к мастеру:

— А хто ежели меня к слатенькой обучил?!—захрипел он.

Мастер, не запирая дверей, попятился.

— Ты, коротышка-а! Наша природа грудью болит вся, от водки—уй, ты—убью!

Мастер исчез на дворе, а Рылов из дверей крикнул:

— Ужо вам, дилехтуры!..

Он бросил лопату, пощупав за коленицем нож, вышел за двери...

Шагнул бледный, с искривленным ртом, как бы что-то вспомнив, поднял длинную, потную руку и перекрестился...

«Сон, не сон... жисть не жисть... голос не то...»,—не окончив мысли, он сплюнул соленым, но от решетки не отошел и видел, как на слабой ряби волн переливаются мутные пятна огней.

Не сразу разобрал, откуда огни, но старался разобраться во всем и во все вдуматься, как будто бы жил последний вечер.

— Огни рыбацки... Эх, кабы к Петрухе, к родителю, да рыбки бы...

С едва заметными очертаниями под мостом тихо, без шума, как во сне, скользит длинная полоса лодок, пятнами огней.

Люди почти не двигаются, черные, без лиц и глаз. Мимо, по берегу, в сумраке идут те же люди без лиц, без глаз...

За рекой бегут лошади, стучат копытами, а не понять, кто: может быть не лошади, как будто кто-то что-то вколачивает...

— Ни што...

Один только светлый кусок не далеко в стороне почему-то злит Рылова: словно забытый сумраком, блестит одиноко нахальным светом круглый фонарь.

— Лесторан «Бережной»... пьяная болесть... ни што!..

Рылов все-таки встряхивается и уходит в глубину двора.

— Ни што теперича...

Парень видит, как в нарядном директорском флигеле светятся два окна.

— Во, во, энто ежели...

Он тихо, почти крадучись, идет к окнам.

Низ окон—матовый, верх—глянцевый, сквозной. За одним окном близко чернеет знакомая спина, и блестят приглаженные волосы. Через комнату у дверей стоит рослый парень с шапкой в руке, глаза глядят к окну.

— Сменка мне! Ладно, ежели что...

Рылов спешно ушел в калильное.

* * *

Он зачем-то обошел все отделение и особенно внимательно, вытянув шею, разглядывал дальний угол, а в дверях стоял мастер и кричал:

— Фут в фут, по диаметру! Вижу, паренек, что пришла пора дать тебе отпуск.

Рылов обернулся, схватил с земли лопату и кинулся к мастеру:

— А хто ежели меня к слатенькой обучил?!—захрипел он.

Мастер, не запирая дверей, попятился.

— Ты, коротышка-а! Наша природа грудью болит вся, от водки—уй, ты—убью!

Мастер исчез на дворе, а Рылов из дверей крикнул:

— Ужо вам, дилехтуры!..

Он бросил лопату, пощупав за голенищем нож, вышел за двери...

Шагнул бледный, с искривленным ртом, как бы что-то вспомнив, поднял длинную, потную руку и перекрестился...

Голубые песни.

Роман.

Всеволод Иванов.

(Продолжение.)

Книга вторая. **Комиссар Васька Запус.**

VII.

Все утро, похрустывая замерзшими беловатыми комьями грязи, бродил старикашка у дверей, у набросанных подле амбара досок. Дергал гвозди.

Спина у Кирилла Михеича ныла. Шмуро от холода накрылся доской, и доска на нем вздрагивала. Шмуро быстро говорил:

— Сена им жалко, могли бы и бросить.

— Гвозди дергат,—сказал тоскливо Кирилл Михеич.

— Кто?

— Сторож.

Шмуро скинул доску на землю, вскочил и топая каблуками по доске, закричал:

— Я в Областную Думу! Я в Омский Революционный комитет! К чорту, угнетатели, грабители, воры! Ясно! Я свободный гражданин, я всегда против царского правительства... Это что же такое...

— Там разбирайся.

Старик-сторож постукивал молотком. Кирилл Михеич посмотрел в щель:

— Выпрямляет.

С рассвета в ограде фермы скрипели телеги, кричали мужики, и командовал Запус. Телеги ушли, протянул мальчишка:

— Дядинка-а, овса надо?

Остался один старик, дергавший гвозди. Шея у старика была закутана желтым женским платком, он часто нюхал и кашлял.

— Какой нонче день-то?—крикнул ему в щель Кирилл Михеич.

Старик расправил гвоздь, посмотрел на отломанную шляпку его и сунул в штаны. Кашлянув, вяло ответил:

— Нонче? Кажись—чятверк. Подожди—в воскресенье холонисты конокрадов поймали, во вторник я поветь починял... Верно, чятверк. Тебе-то на што?

— Выпустят нас скоро?

— Вас-та? Коли не кончут, выпустят... а то в город увезут по принадлежности. Только у нас с конокрадами строго—на смерть, кончают. Не воруй, собака!.. Так и надо... Я для тебя ростил?

Он внезапно затрясся и, грозя молотком, подошел к дверям:

— Я вот те по лбу жалезом... и отвечать не буду, сволочь!.. Воровать тебе?.. Поговори еще...

Кирилл Михеич устало сел на доски. Его знобило. К дверям подпрыгнул Шмуро и, размазывая слова, долго говорил старику. Было это уже в полдень, широкозадая девка принесла старику молока. Пока старик ел, Шмуро палкой разворотил щель и тоненько сказал:

— Ей-Богу же, мы, дедушка, городские... Ты, возможно, девушка, слышала о подрядчике Качанове, на семнадцать церквей подряд у него...

— Городски...—протянул старик:—самый настоящий вор в городе и водится. Раз меня мир поставил, я и карауль. Мужики с казаками за землю поехали драться, а я воров выпускай; видал ты ево!

— До ветру хотя пустите.

— Ничего, валяй там, уберут.

Девка, вытянув по бедрам руки прямо как-то, заглянула в амбар.

— Пусти меня, деда, посмотрю.

— Не велено, никому.

Шмуро забил кулаками в дверь.

— Пусти, дед, пусти. У меня, может быть, предсмертное желание есть, я женщине хочу его об'яснить. Я понимаю женское сердце.

И, обернувшись к Кириллу Михеичу, задыхаясь, сказал:

— Единственный выход! Я на любовь возьму.

— Так тебе она ноги и расставила. Ты им лучше сапоги пообещай. Хорошие сапоги.

Старик девку в амбар не пропустил. Она взяла крынку, пошла было. Здесь Шмуро торопливо сдернул свои желтые, на пуговицах, сапоги и, просовывая голенище в щель, закричал, что дарит ей. Девка тянула сапог: голенище шло, а низ застревал. Старик, ругаясь, открыл дверь. Кирилл Михеич и Шмуро быстро вышли. Девка торопливо махнула рукой:

— Снимай другой-то.

Засунула сапоги под передник и, озираясь, ушла. Старик об'яснил:

— За такие дела у нас...—Он, подмигнув, чмокнул реденькими губами:—я только для знакомства.

— Может, мои отдать?—сказал Кирилл Михеич.

— А отдай, верна. Лучше, парень, отдай. Возьмут да и кончут,—бог их знат, какому человеку достанутся... сапоги-то ладные. Я вот гвоздь дергаю для хозяйства, тоже в цене... а тут лежит зря, гниёт.

— Подводу мы в город достанем?

— Подводу? Не. Подводы все мобилизованы, в поход пошли, с парнеком этим, с Васькой комиссаром, казаков бить. Ты уж пешком иди, коли такое счастье выпалило. Мне бы вас выпускать не надо,—коли вы коно-

крады, тогды как, а? А я, поди, скажу—убегли и никаких. Ты не думай, што я на сапоги позарился,—я бы и так их мог взять, очень просто. Я из жалости пустил... А потом, раз вы нужные люди, они бы вас перед походом пристрелили. Лучше вам пешком, парень. Скажу убегли, а убьют в дороге,—тоже дело не мое... Пинжаки-то вам больно надо, я пинжаков не ношу, у меня сын с хронту пришел...

— Пошли,—сказал Кирилл Михеич.—Ноги закоченели.

Сквозь холодную и твердую грязь—порывами густые запахи земли—на лицо, на губы. Прошли не больше версты они, вернулись. Нога словно кол,—не гнется. А в головах—озноб и жар.

Верно,—никто в селе не дал подводы: боятся перед миром. Просфорнина дочь Ира подарила им рваные обутки брата. Просфорня, вспомнив сына, заплакала. Еще Ира принесла кипу бумаги:

— Заверните, будет ноге теплее.

— Знаю, сам в календарных листках читал: бедняки в Париже для теплоты ноги в бумагу завертывают. А когда от такой грязи плаха даже насквозь промокает—на чорта мне ее?

И все-таки взял Шмуро газеты под мышку.

После теплого хлеба просфорни — широки и тяжелы степные дороги. Пока был за селом лесок—осина да береза,—держалась теплота в груди; мимо—лесок, как муха, мимо—запахи осенних стволов медвяные. Под ноги—степь. За всем тем степным:—бурьяном, крупнозернистым песком, мелким, как песок, зверем и, где-то далеко за сивым небом, снегами,—печаль неисцелимая, неиссякаемая, как пески. Тоска. Боль—от пальцев, от суставчиков, и дробит она о мелочи, щепочками все тело, все одеревеневшее мясо.

Шли.

Пощупал Кирилл Михеич газеты у Шмуро. И не газеты нужны бы, а человек, тепло его.

— Куда тебе ее?

— Костер разожгу.

— Из грязи? На степи человек—как чирий, увидят, убьют. Свернем лучше с дороги.

— Куда? Плутать. И-их!.. Сидели бы лучше дома, Кирилл Михеич, а то—бабу искать. Бабу вашу мужики кроют... Искатели!.. Меня тоже увязало. Никогда я вам этого простить не смогу, хотя бы отец родной были.

Кирилл Михеич, бочком расставляя ноги, шею тянул вперед. Архитектор Шмуро шел сзади и следы ног его давил своими:

— Революция бабья произошла. Баба моя от мужиков взята,—к мужикам и уйдет, кончено. У бабы плоть поднялась, ушла. Каждая пойдет к своему месту, а мы будем думать—само устроилось.Ране баба шла на монету, теперь на тело пойдет... Кому против мужицкого тела конкулировать? Мужик да солдат—одно... Кончено. Старики об этом бабьем бунте говорили, я не верил.

— Предрассудок. Любовь у вас случилась.

— В Пермской губернии от крепостного права умные старики остались...

Вязкий, все дольше, длиннее след Кирилла Михеича. Раздавить его труднее, надо ногу тянуть. Со злостью тянет ногу Шмуро, размазывает.

— Как в такое время одному человеку жить—хуже запоя ведь!..

— В большевики идите, баб по карточкам давать будут.

Верхом навстречу—казак. Нос широкий—от бега ли, от радости ли—ал. Чуб из-под красно-скольшной фуражки мокр от пота. От лошади тепло, и сам казак, теплый и веселый, орет:

— Матросы с казаками братуются! Ворочай назад, битва отменена, подмога не требуется... Павлодар-то под Советской властью, Ваську комиссара над всей степной армией командером выбрали... Атамана Артюшку Трубачева собственноручно в Иртыш сбросил!.. Во-как, снаружи!..

Заткнул нагайку за опояску, сплюнул и поскакал.

Лег Кирилл Михеич тут же, подле дороги, в полынь, ноги скорчил, застонал:

— Господи, Господи, прости меня и помилуй!

А в следы его, последние перед полынью, встал архитектор Шмуро. Злорадно посмотрел в грязную серенькую бороденку подрядчика:

— Дождался? Комиссаров тебе на квартиру принимать, женой потчивать? Из-за вас, сиволапые стервы, некультурная протоплазма, погибаем!..

Казак скакал далеко, у лесочка. Кирилл Михеич не шевелился, дышал он хрипло и быстро.

«Помирает»—подумал Шмуро, а вслух сказал:

— Вот человек хочет итти к богу, как к чему-то реальному, а я стою рядом и не верю в бога... Кирилл Михеич!

VIII.

«Павлодарский Вестник», газета казачьего круга, сообщила о приезде инженера Чокана Балиханова с важным поручением от Центрального Правительства.

В это же день расклеили по городу на дощатых заборах, на стенах деревянных домов списки кандидатов. В Городскую Думу. Рядом со списками — синяя афиша, и на ней: «Долой правительство Керенского! Вся власть советам!». Ниже этого списка рабочих кандидатов в Городскую Думу, а на первом месте:

№№ по порядку.	Имя, отчество и фамилия.	Род занятий в данное время.	Род занятий до революции.	Местожительство в данное время.
1.	Василий Антонович Запус.	Комиссар Рев. Штаба.	Матрос.	Сельско-хоз. ферма на уроч. Копой, Павл. у. Семип. обл.

Полномочий от центра Чокан Балиханов не имел. Был он в голубоватой форме с множеством нашивок. Черные жесткие волосы острижены коротко, а глаза узкие и быстрые, как горные реки. Происходил он из древних киргизских родов ханов Балихановых.

Полдень. Стада в степи грызут оттаявшие травы. Глухие, осенние, они скупы, словно камень, эти травы.

Чокан Балиханов и атаман Артемий Трубычев пришли с заседания комитета общественной безопасности, в гостиницу. Владелец гостиницы, немец Шмидт, спросил почтительнейше:

— Из уезда слухи различные плывут, на заборах различные афиши,— пройти в вашу комнату не разрешите?

— Успокойтесь, успокойтесь,—сказал Балиханов,—катайтесь на своем иноходце. Ходу перелиecon...

Так и прошел в комнаты, полусощурив длинные глаза.

Олимпиада разливала чай. Женщин Балиханов, как все азиаты, любил полных, чтобы мясо плыло, как огромное стадо с широкими и острыми запахами. Олимпиада ему не нравилась.

— Я в степь еду,—сказал Балиханов и, вспомнив, должно быть, кумыс, охватил чайное блюдечко всей рукой.

— Джатачники к большевикам переходят. Или у вас, действительно, есть поручения из центра к киргизам?

— Это казаки трусят Запуса и лгут. Я в род свой поеду, джатачников у нас немного: мы—вымрем, а революций у нас не будет.

Говорил он немножко по книжному, жесты у него быстрые и ломкие.

— Я уехал из Петербурга потому, что русские бунтуют грязно, кроваво и однообразно. Даже убивают или из-за угла, или топят. У нас, как в старину—раздирают лошадьми...

— Лебяжий поселок Запус выжег. Я комиссию составил и прокурора из Омска вызвал.

Балиханов улыбнулся, перевернул чашку и по-киргизски поблагодарил:

— Щикур. Я в Омске о Запусе слышал. Страшно смелый человек, много... да... много...

Олимпиада вышла.

— Его женщины очень любят. Я вам по секрету: когда арестуете его, пошлите за мной. Я приеду. Я посмотрю. У нас в академии малоросс один был, я не помню фамилии его, он чудеса делал.

Атаман вдруг вспомнил, что с инженером раньше, до войны еще, они были на «ты», теперь Балиханов улыбается снисходительно, говорит ему «вы», и на руках его нет колец.

«Украдем, что ли?»—подумал атаман и сказал со злостью:

— Врут очень много. Запуса выдрать и перестанет.

— О, да. Лгут люди много. Я согласен. Я ведь крови не люблю...

— Это к чему же?

Балиханов не ответил. Улыбаясь протяжно, чуть шевеля худыми желтыми пальцами, просидел он еще с полчаса. Артюшка показал ему новую винтовку—винчестер. Киргиз похвалил, а про себя ничего не стал рассказывать. Артюшка вытащил седло, привезенное из степи,—инженер поднял брови, крепко пожал руки и ушел.

Олимпиада сказала:

— Обиделся.

— Повиляла бы перед ним больше, глядишь бы не обиделся.

— Артемий!..

— Молчи лучше, потаскуха!

Ночью, когда Олимпиада опять повторила мужу—не отдавалась она Запусу, только поцеловала, сам же Артюшка просил выведать,—тогда атаман стал врать ей о ненормальностях Запуса; о том, что это сказал ему Балиханов. Олимпиада краснела, отворачивалась.

Атаман дергал ее за плечо, шипел в теплое ухо:

— Молчишь? Ты больше моего знаешь... молчишь! Сознайся, прощу—лучше он меня? Не веришь?..

— Пусти, Артемий,—больно ведь.

Он вспоминал какой-то туманный образ, а за ним слоза старой актрисы, пришедшей на-днях просить пропуск из города: «женщина отдается не из-за чувственности, а из любопытства».

— Потаскуха, потаскуха!..

IX.

Вверху, где тонкие перегородки отделяли людские страдания (не многочисленные страдания), где потели ночью в кроватях (со своей или купленной любовью), где днем было холодно (дров в городок не везли—у лесов сидел Запус)—вверху жила Олимпиада.

Внизу, где в двух заплеванных комнатах толкались люди у биллиарда, где казаки из узких медных чайников пили самогон, днем гогот стоял: над самосудами, над крестьянскими приговорами, над собой,—сюда по скользской—словно вымазанной слюной—проходила Олимпиада.

Были у ней смуглые руки (я уже о них говорил), как вечерние птицы. Платья муж приказывал носить широкие, синие, с высоким воротником. Как и о платье, так же важно упомянуть о холодной осени, о потвердевших песках и о птицах, улетающих медленно, словно неподвижно.

Над такими городками самое главное здание—тюрьма, потому—раньше здесь шли каторжные тракты на рудники, в тачки. Еще—церкви, но церкви (не так как тюрьмы) пусты, их словно не было; они проснулись в революцию. Вкруг тюрьмы—ров с полынью, перед воротами—палисадник—боярышник, тополя, шиповник.

Все это к тому,—в тюрьму казаки водили людей, мужиков из уезда; пахли мужики соломой, волосы были выцветшие, как солома. Как ворох соломы,—осеннее солнце; как выцветшие ситцы,—холодные облака.

И любовь Олимпиады—никому не сказанная—темна, тонка. От каждодневной лжи мужу высыхали груди (старая бабка об'яснила бы, но умерла в поселке Лебяжьем); от раздумий высыхали глаза; губы—об губах ли говорить, когда подле нее весь городок спрыгнул, понесся, затарахтел.

От Пожиловской мельницы (хотя она не одна), сутулясь, бегали сговариваться с Мещанской слободки рабочие; ночью внезапно на кладбищенской

церкви вскрикивал колокол; офицеры образовали союз защиты родины; атаман Артемий Трубычев заявил на митинге:

— Весь город спалим,—большевики здесь не будут.

А внутри сухота и темень, и колокол какой-то бьет внезапно и туго. Ради горя какого ходила Олимпиада городком этим с серыми заборчиками, песками, желтым ветром из-за Иртыша?

X.

Генеральша Саженова пожертвовала драгоценности в пользу инвалидов. На мельнице Пожиловых чуть не случился пожар; прискакали пожарные—нашли между мешков типографский станок и большевистские прокламации. Арестовали прекрасного Франца и еще двоих. Варвара Саженова поступила в сестры милосердия, братья ее—в союз защиты родины. Старик Поликарпыч забил досками ограду, ворота, сидел внутри с дробовиком и вновь купленной сукой. Атаман Трубычев увеличил штаты милиции, из казаков завели ночные об'езды. Три парохода дежурили у пристаней.

И все-таки: сначала лопнули провода,—не отвечал Омск; потом ночью восстала милиция, казаки; загудели пароходы, и—на рассвете в город ворвался Запус.

Исчез Артюшка (говорили—утопил его кто-то). Утром в Народном Доме заседал совет, выбирая Революционный Трибунал для суда над организаторами белогвардейского бунта.

XI.

Надо было-б об'яснить или спросить о чем-то Олимпиаду. Пришел секретарь исполкома т. Спитов и помешал. Бумажку какую-то подписать.

Запус—в другой рубашке только, или та же, но загорела гуще,—как и лицо. Задорно, срывая ладони со стола, спросил:

— Контреволюция?.. Весело было?

Олимпиада у дверей липкими пальцами пошевелила медную ручку. Шатается, торчит из дерева наполовину выскочивший гвоздик:

— Или мне уйти?

Здесь-то и вошел т. Спитов.

— Инженер Балиханов скрылся, товарищ. Джатачники организовали погоню в степь...

— Некогда, с погонями там... Вернуть.

— Есть.

Так же быстро, как и ладони, поднял Запус лицо. На висках розовые полоски от спанья на дерюге. В эту неделю норма быстрого сна—три часа в сутки.

— Куда пойдешь? Останься.

— Останусь. Фиоза где?

— Фиоза? После...

Здесь тоже надо бы опросить. Некогда. Мелькнуло, так, словно падающий лист: «пишут книжки, давал читать. Ерунда. Любовь надо...». Вслух:

— Любовь...

— Что?

— Дома, дома об'ясню. На ключ. Отопри. У меня память твердая, остановился на старом месте... Кирилл Михеич Качанов... Товарищ Спитов!

— Есть.

— Пригласите по делу белогвардейского бунта подрядчика Качанова.

— Это—у вас домохозяин?

— Там найдете.

— Есть.

Еще мелькнули тощенькие книжки: «кого выбирать в Учредительное Собрание», «Демократическая Республика», «Почему власть должна принадлежать трудовому народу». Нарочно из угла комнаты вытащил эту пачку, тряхнул и—под стол. Колыхнулось зеленое сукно.

— Ерунда!

Дальше—делегаты от волостей, от солдат-фронтовиков, приветственные телеграммы Ленину—целая пачка.

— Соединить в одну.

— Есть.

Комиссар Василий Запус занят весь день.

Дни же здесь в городе—с того рассвета, когда ворвалась в дощатые улицы—трескучие, напитанные льдом, ветром. Шуга была—ледоход.

Под желтым яром трещали льдины. Берега пенились—словно потели от напряжения. От розоватой пены, от льдов исходили сладковатые запахи.

И не так, как в прошлые годы—нет по берегу мещан. С пароходов, с барж, хлябая винтовкой по боку, проходили мужики и казаки. На шапках—жирные красные ленты, шаг отпущенный, разудалый, свой.

Кто-то там, между геранями, «голландскими» крутлыми печками и множеством фотографий в альбомах и на стенах,—все-таки надеялся, грезил о том, что ускакало в степь: сытое, теплое, спокойное. Здесь же (по делу) проходил берегом почти всегда один комиссар Запус. Пьяным ему быть для чего же? Он мог насладиться фантазией и без водки. Он и наслаждался.

Мелким, почти женским прыжком, в грязной солдатской шинели и грязной фуражке, вскакивал он на телегу, на связку канатов, на мешки с мукой, на сенокосилки—и говорил, чуть-чуть заикаясь и подергивая верхней—немного припухшей—губой.

— Социальные революции совершаются во всем мире; отнятое у нас, у наших предков возвращается в один день; нет больше ни богатых, ни бедных—все равны; Россия первая, впереди. Нам, здесь особенно тяжело—рядом Китай, Монголия—угнетенные, порабощенные—стонут там. Разве мы не идем спасать, разве не наша обязанность помочь?

На подводах, пешком проходили городом солдаты—дальше в степь. Молча прослушав речь, не разжимая губ, поворачивались и шли к домам!

Запус спать являлся поздно. Про бунт скоро забыли; вызывали для до-

Здесь тоже надо бы спросить. Некогда. Мелькнуло, так, словно падающий лист: «пишут книжки, давал читать. Ерунда. Любовь надо...». Вслух:

— Любовь...

— Что?

— Дома, дома об'ясню. На ключ. Отопри. У меня память твердая, останови́лся на старом месте... Кирилл Михеич Качанов... Товарищ Спитов!

— Есть.

— Пригласите по дёлу белогвардейского бунта подрядчика Качанова.

— Это—у вас домохозяин?

— Там найдете.

— Есть.

Еще мелькнули тощенькие книжки: «кого выбирать в Учредительное Собрание», «Демократическая Республика», «Почему власть должна принадлежать трудовому народу». Нарочно из угла комнаты вытащил эту пачку, тряхнул и—под стол. Колыхнулось зеленое сукно.

— Ерунда!

Дальше—делегаты от волостей, от солдат-фронтовиков, приветственные телеграммы Ленину—целая пачка.

— Соединить в одну.

— Есть.

Комиссар Василий Запус занят весь день.

Дни же здесь в городе—с того рассвета, когда ворвалась в дощатые улицы—трескучие, напитанные льдом, ветром. Шуга была—ледоход.

Под желтым яром трещали льдины. Берега пенились—словно потели от напряжения. От розоватой пены, от льдов исходили сладковатые запахи.

И не так, как в прошлые годы—нет по берегу мещан. С пароходов, с барж, хлябая винтовкой по боку, проходили мужики и казаки. На шапках—жирные красные ленты, шаг отпущенный, разудалый, свой.

Кто-то там, между геранями, «голландскими» круглыми печками и множеством фотографий в альбомах и на стенах,—все-таки надеялся, грезил о том, что ускакало в степь: сытое, теплое, спокойное. Здесь же (по делу) проходил берегом почти всегда один комиссар Запус. Пьяным ему быть для чего же? Он мог насладиться фантазией и без водки. Он и наслаждался.

Мелким, почти женским прыжком, в грязной солдатской шинели и грязной фуражке, вскакивал он на телегу, на связку канатов, на мешки с мукой, на сенокосилки—и говорил, чуть-чуть заикаясь и подергивая верхней—немного припухшей—губой.

— Социальные революции совершаются во всем мире; отнятое у нас, у наших предков возвращается в один день; нет больше ни богатых, ни бедных—все равны; Россия первая, впереди. Нам, здесь особенно тяжело—рядом Китай, Монголия—угнетенные, порабощенные—стонут там. Разве мы не идем спасать, разве не наша обязанность помочь?

На подводах, пешком проходили городом солдаты—дальше в степь. Молча прослушав речь, не разжимая губ, поворачивались и шли к домам!

Запус спать являлся поздно. Про бунт скоро забыли; вызывали для до-

проса Олимпиаду,—сказала она там мало, а ночью в постели спросила Запуса:

— Ты не рассердишься?..

— Что такое?

Потрогала лбом его плечо и с усилием:

— Я хочу рассказать тебе об муже...

Веки Запуса отяжелели—сам удивился и, продолжая удивляться, ответил недоумевающе:

— Не надо.

— Хорошо...

Запус становился как будто грязнее, словно эти проходившие мимо огромные толпы народа оставляли на нем пыль своих дорог. Не брился,—и тонкие губы нужно было искать в рыжеватой бороде.

Если здесь—у руки—каждую минуту не стоял бы рев и визг, просьбы и требования; если бы каждый день не заседал совет депутатов; если б каждый день не нужно было в этих, редко попадавших сюда, газетах искать декреты и декреты,—возможно, подумал бы Запус дольше об Олимпиаде. А то чаще всего мелькала под его руками смуглая теплота ее тела, слова, какие нельзя запоминать. Сказал мельком как-то:

— Укреплять волю необходимо...

Вспомнил что-то, улыбнулся:

— Также и читать. Социальная революция...

— Можно и не читать?—спросила задумчиво Олимпиада.

— Да, можно... Социальная революция вызвана... нет, я пообедаю лучше в Исполкоме...

Фиозу так и не видала. Запус сказал—встретил ее последний раз, когда братались с казаками. Разве нашла Кирилла Михеича,—живет тогда в деревне, ждут когда кончится. А смолчал о том, как, встретив ее тогда между возов в солдатской гимнастерке и штанах, провел ее в лес, и как долго катались они по траве с хохотом. Ноги в мужских штанах у ней стали словно тверже.

Поликарпыч сидел в пимокатной, нанял какого-то солдата написать длинный список инвентаря пимокатной, вывесил список у дверей. Кто приходил, он тыкал пальцем в список:

— Принимай, становой,—сдаю... Ваше!..

Была как-будто еще встреча с Кириллом Михеичем. Отправилась Олимпиада купить у киргиз кизяку. И вот мелькнул будто в киргизском купе маленький немножко сутулый человечек с косой такой походкой. Испуганно втерся куда-то в сено, и, по наученью его что ль, крикнули из-за угла мальчишки.

— За сколько фунтов куплена?.. Комиссариха-а!..

Тогда твердо, даже подымая плечо, спросила Запуса:

— Надолго я с тобой?

Запус подумал: спросила потому, что начал наконец народ выходить

спокойно. Распускают по животу опояски, натянули длинные барнаульские тулупы.

Кивнул. В рыжем волосе золотом отливают его губы.

— Навсегда. Может быть.

— Нравлюсь?

— Терпеть можно.

И сразу: к одному, не забыть бы:

— Дом большой, куда нам двоим? Я вселю.

Хотела еще,—остановилась посреди комнаты, да нет—прошла к дверям:

— Почему детей не было с Артюшкой?

— Дети, когда любят друг друга, бывают.

— Немного было бы тогда детей в мире... Порок?

— Я же об'яснила...

— Э-э...

Перебирая в Исполкоме бумаги с тов. Спитовым,—спросил:

— Следовательно, женщины... а какое к ним отношение?

До этого тов. Спитов был инструктором внешкольного образования. Сейчас на нем был бараний полушубок, за поясом наган. Щеки от усиленной работы впали, и лоб—в поперечных морщинах. Ответил с одушевлением:

— Сколько ни упрекай пролетариат, освобождение женщины диктуется насущностью момента. Раньше предавались любви, теперь же другие социальные моменты вошли в историю человека... Стало быть, отношения...

— Если, скажем, изменила?.. Обманула?..

Спитов ответил твердо:

— Простить.

— Допустим, ваша жена...

— Я холостой.

— А все-таки?

— Прощу.

С силой швырнул фуражку, потер лоб и вздохнул:

— Глубоко интересуют меня различные социальные возможности... Ведь, если да шара-ахнем, а?..

В то же время или позже показалось Запусу, что надо подумать об Олимпиаде, об ее дальнейшем. Тут же ощутил он наплыв теплоты—со спины началось, перешло в грудь и, долго спустя, растаяло в ногах. Махая руками, пробежал он мимо Спитова и в сенях крикнул ему:

— А если нам республику здесь закатить? Республика... Постой! Советская Республика голодной степи... Киргизская... Монгольская... Китайская... Шипка шанго?..

Широколицый солдат в зале, растопив камин, варил в котелке картошку. Тыча штыком в котелок, сказал:

— Бандисты, сказывают, в уезде вырезали шесть семей. Изголяются, тоже... Про-писать бы им.

— Прокламацию?

— Не,—винтовочного чего-нибудь...

— Устроим.

Постоял на улице, подумал—к кому он испытывает злость? Артюшка. Кирилл Михеич, Шмуро—еще кто-то. Их, конечно, нужно уничтожить, а он на них не злится. Теплота еще держалась в ногах, он быстро пошел. Вспомнил—потерял где-то шпоры. Решил—надо достать новые. Опять Кирилл Михеич—не глаза у него, а корни глаз, и тоже нет детей. Пальцы холодели—«надо достать варежки; зимы здесь...». С тех пор как выпал снег, в Павлодаре еще никого не расстреляли.

— Сантиментальности,—плюнул Запус.

И ладонью легонько—три раза хлопнул себя по щеке.

Через три дня, — впервые за всю войну и революцию,—в Павлодаре стали выдавать населению карточки на хлеб, сахар и чай.

XII.

В желтом конверте из оберточной бумаги—предписание «принять все меры к организации в уезде и городе регулярных частей Красной Армии. Инструкции дополнительно».

Дополнительно же приехали не бумажки, а инструктора-спецы и тов. Бритько. Инструктора остановились в гостинице Шмидта, в номере, где жил Артюшка. На раме, у синеватых стекол сохранились рыженькие лапки мух—как-то раздавила Олимпиада. Бритько же ночевал у Запуса. Рос у Бритько по всему рябоватому лицу длинный редкий и мягкий, как на истертых овчинах, волос.

— Женаты?—спросил он Запуса.

— Не пришлось.

— А эта ходит, тонкая?

— Живет со мной. Жена Артемия...

— Атамана?

И тогда, словно на палку натягивая губы, он внезапно стал рассказывать как его морили в ссылке, как хорошие ребята от тоски ссорились и чахли. Губы остановились. Потянулась к подбородку рука:

— Заседания посещать необходимо. В момент напряженнейшей борьбы всякое ослабление... У вас здесь люди неорганизованы.. восстание за восстанием. У нас сил нет посылать к вам... Вы уже сами пытайтесь, чтобы в случае чего без пощады!

На заседании Уисполкома тов. Бритько сначала заметил о дезорганизации, о халатном отношении к буржуазии и кулачеству. Вспомнил тряские дороги, тяжелую доху отдавившую плечи: на мгновение ему стало тоскливо—как в ссылке. Он стукнул кулаком по столу и кашляя хрипло закричал:

— В единении сила, товарищи! Не спускайте победоносного красного знамени...

И вдруг забыл что-то самое важное. Сел, пощупал синию бумагу папки, оторвал быстро кусочек ее и отшвырнул:

— Я кончил.

Дальше говорил инструктор-спец. Желтый полушубок, такой же как у тов. Бритько, морщился в плечах, словно оттуда бились нужные слова.

А Запус сидел с краю стола, рядом с председателем совета т. Яковлевым. Был у того казачий (как челноки в камышах) нос, отцветшие усы и коротконалые желтые руки.

Через щели, в доски декораций врывался ветер. Стены актерской уборной выпачканы красками, исчерканы карандашами. В железную печку театральный сторож подкидывал поленья—осины. «Осиновая изба не греет»—вспомнил Запус.

Слушали: организация в уезде Красной Армии. Постановили: принять все меры. Избрать комиссаром и руководителем начальника революционных отрядов т. Василия Запуса.

А в проходике между кулисами, где толпились делегаты, задевая шинелями и тулупами картоны декораций,—предусовдепа т. Яковлев сказал:

— Мы, дорогой мой, с фактами все, с фактами. А факты за революцию и за товарища Запуса. Ты хоть что мне говори, тем не менее...

Запус глубже на уши шапку, поднимая саблю:

— Каждый отвечает за себя...

— Мне инструктор говорит: в момент напряжения... а я ему: мало у нас баб перешло по рукам, да коли каждой опасаться... Однако, дорогой мой, атаман-то удрал и инженер Балиханов с ним. А?

Протянул ему короткопалую руку и тихо, приблизив к щеке пахнущие табаком усы, шепнул:

— Ты ее не щупал насчет прибывания?..

— Спрашивал.

— Не говорит? Где ей сказать, своя буржуазная... я ихнюю подлую мысль под землей вижу. Может тебя подвести, товарищ?..

У дверей Народного Дома, где снега трепали синие свои гривы,—Запуса одернули:

— Товарищ Василий Антоныч... Товарищ...

Видит: на подбородке, весенним снегом—чуть грязноватым и синим,—бородка. Поверх грязной дурно пахнущей шинели—полушубок. Собачьего меха шапка по-уши, а Запус все ж его узнал:

— Гражданин Качанов, вы на допросе были об организации восстания? Если...

— Я совсем не про жену, я по делу мести... Мое мнение, товарищ Василий Антоныч, самый главный виновник всего злодейства Артюшка... и Олимпиада тут не при чем, пущай живет с кем хочет. Я ради жены убийству подвергся, подряды и имущество потерял...

И, отведя Запуса за фонарь, к сугробу, толкаясь валенком, туманно и длинно стал рассказывать о заговоре в городе. Живет Кирилл Михеич в мещанском домике на окраине и там же прячется в кладовке, «меж капустой»—Артюшка, у него все планы, все нужное и списки. Пахло от него самогоном.

Идя улицей, вслед за Кирилл Михеичем подумал Запус, что пожалуй лучше бы арестовать подрядчика и передать его в Чека. Пусть разбираются, а зачем он Запусу? Здесь—даже не думая, а так как то позади, прошло неудовольствие, высказанное инструктором из центра и предусовдепа Яковлевым: зачем живет с Олимпиадой. Нет, лучше самому раскрыть заговор и привести Артюшку. Злясь недолго,—подумал он о смуглом желтоватом лице атамана, захотелось увидать его напуганным, непременно со сна, чтоб одна щека была еще в следах—от капусты что ли?

— А, сволочь,—сказал он вслух.

— По поводу чего?—спросил Кирилл Михеич.

Запус не просил вести и Кирилл Михеич не звал, а оба они—сгорбившись, скользя по снегу, торопливо шагали к окраине. Еще Запус подумал: «надо бы позвать с собой матроса Топошина»—и вспомнил: зачем-то вернулся тот на ферму Сокой. Позвать с собой—можно было бы многих, хоть бы из своего отряда.

— Сам!

Кирилл Михеич запыхаясь сказал:

— В хорошем хозяйстве все сам делаешь. Трудное...

Спросил Запус,—бьет ли жену Кирилл Михеич? Тот ответил—так как Запус не живет с ней и жить не намерен...

— Не намерен,—подтвердил Запус.

— То, конечно, можно сказать по совести—бил и если найдет ее вновь, бить будет. Казачья у ней кровь. Возможно, из-за битья она ушла, все же в суд жаловаться не пойдет и если вернется,—значит подтверждение: жену бить надо. Олимпиаду муж тоже бил и всегда так бывает: второй муж битьем не занимается. Таков и Запус.

— Второй муж?

— Кому какое счастье, Василий Антоныч. Я на вас не сержусь... Будьте хоть завтра вы подрядчиком на весь уезд.

Квартал недоходя, Кирилл Михеич затянул полы полушубка. Запус тоже вспомнил незастегнутый ворот шинели, застегнул было, а потом улыбнувшись, распустил. Темно, ветрено. Дома как сугробы, дым над ними как снег на гребнях сугробов. Улыбки его Кирилл Михеичу не видно, Запус улыбнулся еще раз, для себя. В кистях рук заныли теплые жилы.

— Собак у них нету, Василий Антоныч. Шашку-то подымите, она на снегу не гремит, а здесь оказывается пол... Шум произойдет.

Старуха какая-то открыла дверь. Тотчас же ушла. Должно быть привыкла к незнакомым. Подрядчик взял руку Запуса, выпрямил и повел ею:

— Там... в кладовой... направо... через два мешка перешагнуть... спит... ведь час, времени?

— Десять.

— Зачем орешь?.. Сей сикунд огня принесу. И ключ от...

Ушел и дверь в избу припер плотно.

Запус подождал, опять выпрямил руку, так как ее выпрямлял подрядчик и опустил. В дверь кто-то поскребся: «мышь... нет мыши в дверь не скре-

бутся... значит кошка». Запахло капустой: кисло и тепло. Запах становился все гуще и гуще. Еще шорох. За ним вслед мысль, что здесь ловушка, заговор. Никто Кирилл Михеича раньше в городе не видел и Чека его не смогла найти. Отступил Запус к стене, нащупал вдруг отяжелевший револьвер и радостно вспомнил, что в револьвере шесть уверенных в себе пуль. Вытащил, чуть приподнял, так Кирилл Михеич сейчас выпрямлял его руку.

Тогда он, сразу приподымаясь на цыпочки, решил пройти в кладовую и если там нет никого: бежать, пока еще не пришли.

Он, с трудом сгибая замерзшую подошву, ощупывая стену пальцами, прошел к тесовой двери. Быстро дернул скобу: замок был плоский и холодный так, что примерзали пальцы. Тогда он накрыл скобу и замок полой шинели. Завернув узлом шинель на саблю — дернул. Укололи пальцы свежие щепы. К запаху капусты примешался запах картошки и человеческой мочи.

«Здесь»...—подумал он быстро.

Он шагнул два раза — наверное через мешки: кочковатое и склизкое. Дальше; он не понимал, что должно быть дальше, но явственно, почувствовал человеческое дыхание. Дышали торопливо, даже капала слюна: трусит. Запус вытянул руки, сабля глухо стукнула о мешки. Тот, другой—совсем близко неразборчиво пробормотал:

— Кыш!.. орп!.. анне!..

Тогда Запус сжал кулак, поднял револьвер выше, шагнул и негромко сказал:

— Арестую.

Человек на капусте метнулся, взвизгнул. Капуста—у ней такой склизкий скрип—покатилась Запусу под ноги. Запус, держа револьвер на отлете, бросился на того, другого. В грудь Запуса толкнулись и тотчас же вяло подломились чужие руки. Подумалось: ножа нет, стрелять тому поздно. Здесь человек ударил коленом между ног Запуса. Револьвер выпал. Освободившимися и вдруг потвердевшими руками Запус охватил шею того, другого, Артюшки, атамана... С револьвером вместе скользнула какая уверенность и необходимость ареста. Запус наклонился совсем к лицу, хотел плюнуть ему—огромный сгусток слюны, заполнивший рот, но не хватило сил. Вся сила ушла в сцепившиеся пальцы и на скользкие потные жилы длинной, необычайно длинной шеи. Словно все тело—одна огромная шея, которую нужно стянуть, сжать, пока не ослабнет.

— Жену!.. жену тебе бить!.. бить!..

И когда уже пальцы Запуса подошли к подбородку, шея ослабла. Пальцы попали на мелкие и теплые зубы. Запус отнял от человека руки и перегибаясь через его тело, нащупал свой револьвер. Хотел всунуть его в кобуру и не мог. Он достал из кармана шинели спички. Зажег. Всунул револьвер. Спичка потухла. Он зажег новую, руку над ней сделал фонариком и поднес ее к подбородку. Бритый рот, светловатые брови—коротенькие, и мокрый нос. По бровям вспомнил («бреет»—рассказывала Олимпиада)—Шмуро, архитектор.

— О, чо-орт!—И он сдавил спичку так, что обжег ладонь. Сжал ее и кинул в лицо, в темноту уже.—Сволочь!..

Потом быстро достал еще несколько, поднял над головой, зажег. Капуста, три кадочки, рваная одежонка и сундук. Еще на рваном одеялишке Шмуро с длинной измятой шеей.

Тогда Запус, гремя саблей и не вынимая револьвера, прошел через сени (он сразу почему-то вспомнил дорогу), в избу.

— Архитектора-то нету?—спросил Кирилл Михеич.—Идет?..

Запус расстегнул кобуру, к рукоятке как-то прилип снег. Он сковырнул его и, кладя револьвер на стол, спросил:

— Артюшка где?

— Артюшки здесь не было, Василий Антоныч. Я его не почитаю и боюсь. Разве я с ним стану жить?.. Я же подрядчик, меня же военную службу по отсрочке... Выпить, с тоски — выпил! Бикметжанов, хозяин был тоже раньше, бардак держал, из него девки к тебе на пароход ездили... Бикметжанов говорит мне: я, говорит, кровь—купеческая, острая; хочу с отчаянным человеком пить; зови, говорит, сюда Запуса. Василия Антоныча-то, мол, друга...

Он отодвинул дуло револьвера на край стола и царапая пальцами бородку, хмельно, туманно, рассмеялся:

— Запуса-то, могу!.. Пошел сначала к Олимпиаде, а та говорит: на заседании, я в Народный Дом... а Шмуро трусит, на картошке, на капусте сидит... Мне Запус что, я с Запусом самогон желаю пить!

— Шмуро был любовником?

— Чьим?

— Фиезы?

— Фиезки-то? а я знаю?.. У ней любовников не было, у ней мужья были. Ты мне вот что скажи, пуганул ты Шмуро?.. Здорово?..

Он, наклонившись, рыгая, достал из-под стола четверть самогона. Тощая старуха принесла синеватые стаканы.

— Надоел он мне... на картошку и ходит!.. Шмуро-о!..

Бикметжанов, азиат,—был в русской поддевке и лаковых сапогах. Глубже, в комнате на сундуке, прикрытом стеганым одеялом, лежала раскрашенная девка. Бикметжанов улыбнулся Запусу и сказал:

— Не подумайте, я теперь—раз закона нет—ни-ни... Это у меня дочь, Вера. Вера, поздоровайся с гостем...

Вера, выпячивая груди и качаясь, медленно прошла к столу.

Запус всунул револьвер и, отворачиваясь от Веры, сказал в лицо Бикметжанову:

— Я вашего гостя, в кладовой, кончил.

Бикметжанов отставил стакан, отрезвленный выпрямился и вышел. Старуха ушла за ним. Вера подвинула табурет и, облокачиваясь на стол, спросила:

— А на войне страшно?

В сенях завизжали. Визг этот как-то мутно отдался внутри Запуса. Вера отодвинулась и лениво сказала:

— Господи, опять беспокойство.

Впопыхах, опять опьяневший, вбежал Бикметжанов и, тряся кулаками, закричал на Кирилл Михеича. Сквозь пьяную, липкую кожу, глянули на Запуса хитрые глазенки—пермские. Скрылись. Кирилл Михеич расплеснул по столу руки и промычал, словно нарочно, длинно:

— Я-я... при-и!.. они!.. меж со-обой... я здесь!..

Тогда Бекметжанов отдернул четверть с самогоном. Пред Запусом, совсем у шинели, метнулось лицо его и крик:

— Господин... господин матрос!.. господин комиссар!.. Ведь я же под приют свой дом отдал, малолетних детей! Добровольно от своего рукомесла отказался! У меня же в Русско-Азиатском банке на текущем счету, вам ведь все, досталось!..

И тут ломая буквы:

— Нэ губи, нэ губи душу!.. скажи—сам убил, собственноручно... Мнэ жэ!.. э-эх!..

И еще ниже к уху, шопотом:

— Девку надо, устрою?.. Ты не думай, это не дочь, кака?.. ширма есть, поставлю... отвернемся... девка с норовом и совсем чистый... а?..

И Вера, тоже шопотом:

— Матросик, душка, идем!

Бикметжанов из стола выхватил тетрадку:

— Собственноручно напиши: убил и за все отвечаю. Зачем тебе порядочного человека губить?.. Я на суде скажу: в пьяном виде. А сюда напиши, не поверят. Я скажу—пьяный. Вот те бог, скажу: в пьяном виде. И девка потвердит. Вера?..

— Вот тебе крест, матросик.

Запус поднял (легкое очень) перо. Чернила мазали и брызгали. Он написал: «Шмуро убил я. За все отвечаю. Василий Запус». Налил два стакана самогона, сплюнул липкую влагу, заполнившую весь рот, выпил один за другим. Придерживая саблю, вышел.

В сенях уже толпились мещане. Кирилл Михеич спал, чуть задевая серенькой бородкой синюю звонкую четверть самогона.

XIII.

Встретила Олимпиада Запуса тихо. Подумал тот:

«Так же встречала мужа»...

Озлился, она сказала:

— Кирилл Михеич приходил, хотела в милицию послать, чтоб арестовали его, не посмела... а если важное что?

Она широко открыла глаза.

— А если бы я к Артюшке пришел, ты бы тоже в милицию послала, чтоб меня арестовали?

— Зачем ты так... Вася? Ты же знаешь...

— Ничего я не знаю. Зачем мне из-за вас людей убивать?

Но здесь злость прошла. Он улыбнулся и сказал:

— На фронте. Окопы брали, с винтовкой бежал, наткнулся — старі кашка мирный как-то попал. Руки кверху поднял и кричит, одно слов должно быть по русски знал: «мирнай... мирнай»... А я его приколол. Не су дили же меня за это?

— Неправда это... Ну, зачем ты на себя так...

— Насквозь!

— Неправда!

— Так и Шмуро...

— Чаю хочешь?

— Кто же после водки чай пьет.

Она наклонилась и понюхала:

— Нельзя, Вася, пить.

— И пить нельзя и с тобой жить нельзя...

— Я уйду. Хочешь?

— Во имя чего мне пить нельзя, а жить и давить можно? Монголия Китай, Желтое море!..

Он подскочил к карте и, стуча кулаком в стену, прокричал:

— Сюда... слева направо... Тут по картам, по черточкам. Как надо итті прямо к горлу! Вот. Поучение, обучение!

Он протянул руку, чтоб сдернуть карту, но, оглянувшись на Олимпиаду отошел. Сел на диван, положил нога на ногу. Веселая, похожая на его золо тистый хохолок, усмешка—смеялась. Сидел он в шинели, сабля тускло бле стела у сапога—отпотела. Олимпиаде было холодно, вышла она в одной коф точке, комнаты топили плохо

— Где же Кирилл Михеич?—спросила она тихо.

— Убил. Его и Шмуро, в одну могилу. Обрадовалась? Комиссар струсил крови пожалел! Ого-о!.. Рано!

Он красным карандашом по всей карте Азии начертил красную звезду положил карандаш, скинул шинель и лег:

— И от того, что убил одного—с тобой не спать? Раскаяние и грусть? Ого! Ложись.

— Сейчас,—сказала Олимпиада,—я подушку принесу из спальни.

XIV.

Бывало—каждый вторник и пятницу за Кладбищенской церковью на площади продавали сено. Возы были пушистые и пахучие, киргизы, завернутые в овчины, любили подолгу торговаться. Из степи с озер везли соль—называлась она экибастукская. Верблюдов гнали, тяжелокурдючных овец. Мясо продавалось по три копейки фунт, а сало курдючное—по двадцать. В степь увозили «Цейлонские» и «№ 42» чаи—крепкие, пахучие, степных трав, оттого-то должно быть любили их киргизы. Везли ситца, цветные, как степные

озера или как табуны; полосатые фаевые кафтаны; бархат на шапки и серебро в косы.

Бывало—торговали этим казаки и татары. Губы у них были толстые и, наверное, пахучие. По вечерам они сидели на заваленках, ели арбузы и дыни и рассказывали о сумасшедшем приискателе Дерове; о конях; о конских бегах и о борцах. (Однажды приехал сюда цирк с борцами. В цирк ехали киргизы со всей степи дарить борцам баранов).

Обо всем ушедшем—горевали (и не мне рассказать и понять это горе, я о другом), обо всем ушедшем—плакали казаки. Что ж?

Радость моя—золотистохохлый Запус, смуглощекая Олимпиада, большевики с мельницы, с поселков новоселов и казаков. Степи, лога,—в травах и снегах—о них скажу, что знаю потому, что в меру свершили они зла и счастья—себе и другим, и в меру любовь им моя!

XV.

Говорили мещане в продовольственной лавке, когда пошла Олимпиада получать по карточке:

— Поди комиссар твой возами возит провьянты... Вон товарищи-то на мельнице Пожиловской всю муку поделили.

— Житье!

Молчала Олимпиада. Если бы отошла от мужа к другому, к офицеру хотя—поднять эту тяжесть ей легко и просто. Помогли б. Здесь же, кроме Запуса, который и к кровати приходил редко (все спал в Совете), нужно было в сердце впустить и тех, что отобрали мельницы, кирпичные заводы, постройки, дома, погоны и жалованье, людей прислуживающих раньше. И когда думала о Запусе, свершалось это вхождение тепло и радостно.

Саженовых встретила как-то на окраине. Мать спросила ее:

— Кирилл Михеич сидит?

— Да, арестован.

— Отнесу хоть ему передачу. Кто о нем позаботится!

Оттянула в сторону длинную, темную юбку и сердито ушла.

Протоиерей Митров, вместо расстрелянного о. Степана, мимо Олимпиады, гневно сложив на груди руки и опустив глаза, проходил.

А у ней тугое и острое полыхало сердце. Хотелось стоять молчаливо под бранью, под насмешками, чтоб вечером, засыпая, находить в ответ смешные и колкие слова и хохотать.

Например:

— Большевики бабами меняются...

— Тебя бы на дню десять раз меняли.

Однажды Запус сказал ей, что Укому нужен заведующий информационным отделом, ее могут взять туда. Олимпиада пошла.

XVI.

Шмуро схоронили Саженовы. Гроб везла коротконогая киргизская лошаденка. Варвара и мать ее, генеральша, плакали не о Шмуро, а об арестованных братьях. Арестованные же сидели в подвалах белых, базарных магазинов.

В Народном Доме, на сцене, где заседал Совет, к декорациям гвоздиками прибили привезенные из Омска плакаты.

На эти плакаты смотрел Запус, когда т. Яковлев, предусовдепа, говорил ему:

— Признаете ли вы виновным себя, товарищ Запус, что в ночь на семнадцатое декабря, в доме Бикметжанова, будучи в нетрезвом виде, убили скрывавшегося от Революционного Суда, архитектора Шмуро?

Смотрел на розовое веселое лицо Запуса предусовдепа т. Яковлев и было ему обидно: в день заседания об организации армии революционной, напился, дрался и убил.

— Убил,—ответил Запус.

— Признаете ли вы, товарищ Запус, что по показаниям гражданина Качанова Кирилла, в уезде, самовольно приговорили его к смерти и занимались реквизициями без санкции штаба?

Поглядел опять Запус на плакат: огромную руку огромный рабочий тянул через колючие проволоки, через трупы другому рабочему в клетчатой кепке. Подумал о Кирилле Михеиче: «наврал», а вслух:

— Сволочь!

Еще радостнее вспомнил наполненной розовой тишиной Олимпиаду, ее легкие и упругие шаги. Сдвинул шапку на ухо, ответил звонко:

— Признаю. Если это вредно революционному народу, раскаиваюсь.

Яковлев свернул из махорки папироску. Ему было неприятно повторять мысли (хотя и по другому), сказанные сегодня, эс-эром городским учителем, Отчерчи. Он оглядел членов Совета и сказал хмуро:

— Садитесь, товарищ Запус.

Закурил, погасил спичку о рукав своего полушубка и начал говорить. Сначала он сказал о непрекращающихся белогвардейских волнениях, о революционном долге, об обязанностях защитников власти советов. Дальше: об агитации над трупом Шмуро: эс-эры положили ему на гроб венок с надписью: «борцу за Учредительное Собрание»; о резолюции лазарета с требованием удаления военкома Запуса; о неправильно приговоренном подрядчике Качанове, который заявил, что арестован был по личным счетам: Запусом увезена жена Качанова, Фиеза Семеновна...

— Курва,—сказал весело Запус.—Вот курва!

— Прошу выслушать.

Говорил, качая лохматыми (полушубок был грязен и рван) плечами, опять о революционном долге, о темных слухах, о необходимости постановки самого важного для республики дела—организации Красной армии—руками

надежными. Предложил резолюцию: отстранить Запуса от должности военкома, начатое дело, из уважения революционным его заслугам, прекратить.

Табурет под Запусом хлябал. За окнами трещали досками заборов снега. Запус думал о крепко решенном: выгонят, зачем же говорят? И оттого должно быть не находилось слов таких, какие говорил всегда на подобных собраниях. Крепким и веселым жаром наполнялось тело и, когда выпячивая грудь, инструктор из Омска, т. Бритько, взял слово в его защиту, Запусу стало совсем жарко. Он расстегнул шинель, закрывая ею выпачканный красками табурет, достал мандат, выданный Советом, сказал:

— У меня все с добра. Грешен. Бабы меня любят, а мужья нет. В центр не отправите? Я отряд могу организовать...

Бритько подумал: «хитрит», надписал на мандате: «счит. недействит. Инстр. Бритько»—вслух же:

— Всякая анархическая организация отрядов прекращена. Мы боремся против анархии посредством Красной армии и подчинения в безусловности центру переферий... ,

— А вы в Китай меня пустите?

Бритько встал и высоким тенором проговорил:

— Революционный народ умеет ценить заслуги, товарищ Запус, однако же говорю вам: не время организовывать единичную борьбу... Пролетариат Китая сам выйдет на широкую дорогу борьбы за социализм...

— Разевай рот пошире!..

— Тише, товарищ Запус!

Встал, надавил на табурет. Пополам. Еще раз и резко, сбивая щепки, отнес табурет к железной печи. Все молчали. Тогда Яковлев кивнул сторожу, тот сложил доски от табурета в печь.

— Смолистый!—сказал тенорком Бритько.

Запус посмотрел на его отмороженную щеку. Вспомнил его ссылку и вяло улыбнулся:

— Извиняюсь, товарищи!.. Сидеть мне перед вами не на чем. Пока пролетариат Китая организуется и подарит товарищу Бритько табуретов... Сейчас... Я стоя скажу...

Он оглянулся и, вдруг надевая шапку, пошел:

— Впрочем, я ничего не имею.

Яковлев узкими казачьими глазками посмотрел ему вслед. Не то обрадовался, не то сгоревал. Сказал же тихо:

— Обидели парня.

Тов. Бритько, очень довольный организующейся массой (он так подумал), проговорил веско и звонко:

— Эпоха авантюров окончена. Конспиративная мерка неуместна, мы должны беспокоиться за всю революцию. Переходим к следующему...

Дорога обледенела. У какого-то длинного палисадника Запус поскользнулся и упал. Под ноги подвернулась сабля. Он сорвал ее вместе с ремнями и матерно ругаясь ударил ею о столб. Ножны долго не разрывались.

А через час вернулся собрал при свете спички, осколки и в мешке принес домой. Мешок, перевязанный бичевкой, спрятал в чемодан. Чемодан же швырнул в кладовую. Накрылся тулупом и заснул на диване.

В спальне тихо—так горит свеча—плакала Олимпиада.

XVII.

Матрос Егорко Топошин принес бумажку от Павлодарского Укома об исключении из партии с.-д. большевиков, комиссара Василия Запуса.

Бумажку приняла Олимпиада, а Запус лежал в кабинете и стрелял в стену из револьвера. Вместо мишени на гвоздик он прикреплял найденные з письменном столе Кирилл Михеича порнографические открытки. Простреляннные открытки валялись по полу. От каждого выстрела покрывались они пылью, щебнем.

— В себя не запустит?—спросил Егорко.

Олимпиада молчаливо посмотрела в пол.

Егорко, словно нарочно раскачиваясь, пошел:

— Парень опытнай, опустошит патронташ и уедет. Не жизнь, а орлянка... Ракообразные!

XVIII.

Расстреляв патроны, Запус не уехал.

Запус обошел комнаты. Для того, чтобы обойти, узнать и запомнить на всю жизнь четыре комнаты, нужна неделя; если делать это быстро—четыре дня. Запусу для чего торопиться? Он запомнил ясно: где, какая и почему стоит мебель, где оцарапаны стены—человеком или кошкой. Отчего в зале замерзает, настегивая синий лед, окно. Как нужно ходить, когда злишься и как—когда сыт: в одном случае мебель попадает под ноги, в другом она бежит мимо.

Запус обошел ограду. В холодной пимокатной спал Поликарпыч. Запус сыграл с ним в карты и обыграл. Старик молчал и почему-то все посматривал на его руки.

— Кирилла Михеича выпустили,—сообщил Запус.

Старик закашлял, замахал руками:

— Не надо мне его... пущай не приходит... ничего я не перепрятывал!

Запус не стал расспрашивать и согласился быстро:

— Смолчу.

— Ты гони... гони его!.. какие они бережители!..

— Выгнать мне теперь ничего не стоит.

— Разве так берегут!.. так?

Запус скоро ушел от него. В пимокатной пахло плохо. «Умрет,—подумал Запус:—чего-нибудь отслужить хочет»...

Хотел сказать Олимпиаде и забыл.

Инструктор из Омска тов. Бритько уехал.

В ограду (из степи должно быть) забегали лохматые мордой, тощие собаки. Запус долго смотрел, как скреблись они на помойке и когда он махал рукой, они далеко отпрыгивали. Тогда он жалел: «растранжирил патроны».

Сугробы подымались выше заборов. В шинели становилось холодно. Олимпиада принесла толстое пальто на сером меху.

— Артюшкино?

— Зачем тебе знать?

— Надену не потому, что от твоего мужа, а потому, что бежавший буржуй. Он мне на пароход контребуцию не приносил? Вместо...

В шубе было тепло. Он положил в карманы руки и стал говорить протяжно:

— Через десять лет революции, Олимпиада, люди в России будут говорить другим языком, чем сейчас. Как газеты... У меня много времени и я привыкаю философствовать... Они будут воевать, а я научусь говорить, как профессор...

Олимпиада заговорила об Упаркоме. Запуса вспоминают часто и дело его будет пересмотрено в Омске. Уныло отозвался:

— До пересмотров им!.. Они буржуев ловят. Газеты принесла?

Он унес газеты. Читать их не стал, а взял нож и обрезал бобровый воротник у шубы. Достал в кухне сала, вымазал воротник и отнес на помойку. Тощие собаки рыча и скребя снег вцепились. Прибежал Поликарпыч и, размахивая поленом, отнял огрызки воротника.

— Берегешь!—крикнул Запус.

— Грабитель!.. Во-ор!..

Старик махал поленом.

Ночью Запус зажег фонарь, взял лом и пошел по пригонам, по амбарам, погребам. Стучал ломом в мерзлую землю, откидывал лом и высоко кричал Поликарпычу:

— Здесь?

Поликарпыч стоял позади его, заложил руки за спину. Лицо у него было сонное, в седых бровях торчала сероватая шерсть. Он кашлял, егозил лицом и притворно смеялся:

— И чо затеял!

— Найду! Клад ваш найду,—кричал Запус.

Уже совсем светало. Поликарпыч засыпал стоя, просыпаясь от звяканья брошенного лома. А не уходил. Запус с силой вбил лом и сказал:

— Здесь, старик!

Поликарпыч отступил, шоркнул пим о пим.

— Копай, посмотрю.

— Через пятьдесят лет, батя, все твои спрятанные сокровища ни чорта ни потянут. Через пятьдесят лет у каждого автомобиль, моторная лодка и прожектор. Сейчас же с этим барахлом распростись. Во имя будущего... Возможно ведь: их этого я бабе какой-нибудь штаны теплые выдам, а она нам Аристотеля родит... в благодарность. Прямая выгода мне потрудиться.

— Вот и копай.

— Тебе прямая выгода после этого умереть. Не уберег и вались колбаской! Преимущество социальных катастроф состоит в уничтожении быстрейшем и вернейшем, всякой дряни и нечисти.

Он внезапно откинул прочь топор. Поднимая лом, сказал, отходя:

— Брошу. Не верю я в клады и не к чему их! Я сколько кладов выкопал, а еще ни одного не пропил. Прямая выгода мне—не копать... пулю в самое сердце чтоб, и на сороковом разе не промахнуться, пули так пускать—тоже клад большой... а говорят не надо, миноги!

Он вышел и со свистом швырнул лом в помойную яму. Воя побежали в снега тощие псы.

Поликарпыч выровнял изрубленную, изломанную землю. Закидал соломой изорванное место. Пошел:

— Балда-а!.. Всю ночь...

Запус говорил с Олимпиадой. Запус говорил с ней о муже ее, о ее любовниках.

Как всегда—она не любила мужа и любовников у нее не было. Она умела тихо и прекрасно лгать. Запус говорил:

— Я начну скоро говорить стихами... На фронте я умел материться лучше всех. Зачем тебе мои матерки, когда ты не веришь, что я мог убивать людей? Убивать научиться, так же легко, как и материться! Революция полюбила детей... Почему у тебя не было ребенка?

— Он не хотел...

Она не всегда говорила одно и то же. Она иногда путалась. Запус не поправлял ее. Запус лежал на диване. Олимпиада ходила в валенках и когда ложилась рядом, долго не могла согреться. У ней были свои обиды, маленькие, женские, она любила их повторять, обиды, причиненные мужем и теми другими, с которыми—«она ничего не имела»...

Запус думал. Запус скоро привык слушать ее и думать о другом. Казаки, например. Станицы в песках, берега Иртыша, тощие глины и камни. Сначала у станиц мчались по бакчам, топтали арбузы, а потом по улицам топтали казачьи головы. Длинные трещащие фургоны в степи—это уже бегство к новоселам. У новоселов мазанки, как на Украйне, и дома у немцев, как в Германии. Запус все это миновал в треске пулеметов, в скрипе и вое фургонов и в пыльном топоте коней. Здесь Запус начинал думать о собаках—бегут они тощие, облепленные снегом, длинными вереницами по улицам. Зеленоватые тени уносят ветер из-под лап. А они бегут, бегут, заполняют улицы.

— Мечтатели насыщаются созерцанием...—прочитал он в отрывном календаре. Календарь сжег.

Рано утром Олимпиада кипятила кофе (из овса). Запус пил. Олимпиада шла на службу в Уком.

Снега подымались выше постройки Кирилла Михеича. На заносимые кирпичи стройки смотрел Запус злорадно.

XIX.

Примечателен был этот день потому:

Хотя такие же голубовато-розовые снега нажимали на город, хотя также ушла Олимпиада—разве голубовато-розовые были у нее губы и особенно упруги руки, обнявшие на ненадолго шею (ей не нравились длинные поцелуи),—но, просыпаясь, Запус ощутил: медвяно натужились жилы. Он сжал кулак и познал («это» долго сбиралось из пылинок, так сбирается вихрь), что он, Василий Запус, необходим и весел миру, утверждается в звании необходимости человеческой любви, которую брал так обильно во все дни и которой как-будто нет сейчас. Он вновь ощутил радость и, поеживаясь, пробежал в кухню.

Он забыл умыться. Он поднял полотенце. Холст был грязен и груб, и это даже обрадовало его. Он торопливо подумал об Олимпиаде: розовой теплотой огустело сердце. Он подумал еще (все это продолжалось недолго: мысли и перекрещивающиеся с ними струи теплоты) и вдруг бросился в кабинет. Перекувыркнулся на диване, ударил каблуками в стену и закричал:

— Возьму вас, стервы, возьму!..

Здесь пришел Егорко Топошин.

Был на нем полушубок из козьего меха и длинные, выше колен, валенки. Матросскую шапочку он перевязал шарфом, чтоб закрыть уши.

— Спишь?

— Сплю,—ответил Запус:—за вас отсыпаюсь.

— У нас, браток, Перу и Мексика. От такой жизни кила в мозгах... Он пощупал лежавший на столе наган.

— Патроны высадил?

— Подсыпь.

Могем. Душа—дым?

— Живу.

— Думал: урвешь. Тут снег выше неба. Она?

— Всё.

— Крой. Ночь сегодня пуста?

— Как бумага.

— Угу!

— Куда?

— Облава.

Топошин закурил, сдернул шарф. Уши у него были маленькие и розовые. Запус захохотал.

— Чего? Над нами?

— Так! Вспомнил.

— Угу! Над нами зря. Народу, коммуны мало. Своих скребу. Идешь?

— Сейчас?

— Зайду. «Подсудимый, слово принадлежит вам. Слушаю, господин прокурор»...

Полновесно харкнув, он ушел.

Запус, покусывая щепочку, вышел (зимой чуть ли не впервые) на улицу.

Базар занесло снегом. Мальчишки батожками играли в глызки.

Запусу нужно было Олимпиаду. Он скоро вернулся домой.

Ее не было. Он ушел с Топошиным, не видав ее. Ключ оставил над дверью—на косяке.

Шло их четверо. Топошин отрывисто, словно харкая, говорил о настроении в уезде—он недавно об'езжал волости и поселки.

Искали оружия и подозрительных лиц (получены были сведения, что в Павлодаре скрываются бежавшие из Омска казачьи офицеры).

К облавам Запус привык. Знал: надо напускать строгости, иначе никуда не пустят. И теперь, входя в дом, морщил лицо в ладонь левую—держал на кобуре. Все ж брови срывала неустанная радость и ее, что ли, заметил какой-то чиновник (отнимали дробовик).

— Изволили вернуться, товарищ Запус?—спросил, длинным чиновничьим жестом расправляя руки.

— Вернулся,—ответил Запус и, улыбаясь широко, унес дробовик.

Но вот, в киргизской мазанке, где стены-плетни облеплены глиной, где печь, а в ней—в пазу, круглый огромный котел-казан. В мазанке этой, пропахшей кислыми овчинами, кожей и киргизским сыром-курт,—нашел Запус Кирилла Михеича и жену его Фиезу Семеновну.

Кирилл Михеич встретил их, не здороваясь. Не спрашивая мандата, провел их к сундуку подле печи.

— Здесь все,—сказал тускло.—Осматривайте.

Плечи у него отступили как-то назад. Киргизский кафтан на нем был грязен, засален и пах псиной. Один нос не зарос сероватым волосом (Запус вспомнил пимокатную). Запус сказал:

— Поликарпыч болен?

Кирилл Михеич не посмотрел на него. Застя ладонью огарок, он, сутулясь и дрожа челюстью, шел за Топошиным.

Топошин указал на печь:

— Здесь?

— Жена, Фиеза Семеновна... Я же показывал документы.

Топошин вспрыгнул на скамью. Пахнуло на него жаром старого накала кирпичей и распаренным женским телом. За воротами уже повел он ошалело руками, сказал протяжно:

— О-обьем!.. Ну-у!..

Опустив за ушедшими крюк, Кирилл Михеич поставил светец на стол, закрыл сундук и поднялся на печь. Медленно намотав на руку женину косу он, потянул ее с печи. Фиеза Семеновна, покорно сгибая огромные зыбкие груди, наклонилась к нему близко:

— Молись,—взвизгнул Кирилл Михеич.

Тогда Фиеза Семеновна встала голыми пухлыми коленями на мерзлый пол. Кирилл Михеич, дернув с силой волосы, опустил. Дрожа пнул ее в бок тонкой ступней.

— Молись!

Фиеза Семеновна молилась. Потом она тяжело прижимая руку к сердцу. упала перед Кириллом Михеичем в земном поклоне. Задыхаясь, она сказала:

— Прости!

Кирилл Михеич поцеловал ее в лоб и сказал:

— Бог простил!.. Бог простит!.. спаси и помилуй!..

И немного спустя, охая, стеня, задыхаясь, задевая ногами стены, сбивая рвань—ласкал муж жену свою и она его также.

XX.

Это все о том же дне, примечательном для Запуса не потому, что встретил Фиезу Семеновну (он думал—она погибла), что важно и хорошо—не обернула она с печи лица, что зыбкое и огромное тело ее не падало куда-то внутрь Запуса (как раньше), чтобы поднять кровь и, растопляя жилы, понести всего его...—Запусу примечателен день был другим.

Снега темны и широки.

Ветер порыжелый в небе.

Запус подходил к сеням. От сеней к нему Олимпиада:

— Я тебя здесь ждала... ты где был?

— Облава. Обыск...

— Арестовали?

— Сам арестовывал.

— Приняли? Опять?

— Никто и никуда. Я один.

— Со мной!..

Запус про себя ответил: «с тобой».

Запус взял ее за плечи, легонько пошевелил и, быстро облизывая свои губы, проговорил:

— За мной они скоро придут. Они уже пришли один раз, сегодня... Я им нужен. Я же им необходим. Они ку-убические... я другой. Развить веревку мальчику можно, тебе, а свивать, чтоб крепко мастер, мастеровой, как называются—бичевочники?.. Как?

— Они пролетарии, а ты не знаешь как веревочники зовутся.

— Я комиссар. Я—чтоб крепко... Для них может быть глупость лучше. Она медленнее, невзыскательнее и покорна. Я...

— А если не придут? Сам?..

— Сами...

— Сами, сладенький!

Этот день был примечателен тем, что Запус, наполненный розовой медвяной радостью, с силой неразрешимой для него самого, сказал Олимпиаде слово, расслышенное ею, нащупанное ею—всем живым—до истоков зарождения человека.

XXI.

Но в следующие дни и дальше—Запуса не звали.

XXII.

Народный Дом. Дощатый сгнивший забор, пахнувший мхом. Кирпичные лавки на базаре (товары из них распределены). Кирпичные белые здания казначейства, городского училища, прогимназии. Все оклеено афишами, плакатами.

Плакаты пишут на обоях. Например: волосатый мужик, бритый рабочий жмут друг другу руки. А из ладоней у них сыпятся раздавленные буржуи, попы, офицеры.

А это значит:

Кирилл Михеич Качанов живет и молится в киргизской мазанке. Почтенное купечество вселено в одну комнатку, сыны и дочери их печатают в Совете на машинках и пишут исходящие. Протоиерей о. Степан расстрелян. Почтенное иерейство колет для нужд, для своих, дрова и по очереди благовестит и моет храмы. Сыновья генеральши Саженовой расстреляны, сам генерал утоплен Запусом. Генеральша торгует из-под полы рубахами и штанами сыновей.

И еще:

Чтоб увидеть плакаты—или за чем иным идут в город розвальни. кошевы верховые.

В Народном Доме заседает Совет Депутатов.

Вопрос, подлежащий обсуждению:

— Наступление белогвардейцев на Советскую Сибирь.

XXIII.

В 1918 году, весной, чешские батальоны заняли города по линии железной дороги: Омск, Петропавловск, Курган, Новониколаевск и другие.

В 1918 году город Павлодар на реке Иртыше занят был казаками, офицерами и киргизами. Руководил восстанием атаман Артемий Трубычев, впоследствии награжденный за доблестное поведение званием полковника.

(Продолжение следует).

Огонь.

1.

Над кручами сопок
В морской простор
Высоко-высоко
Глядит костер.

Кому попутен
Алый маяк? —
С огнем не шутят
В этих краях!

А если откроют
По мысу огонь: —
Горы кровью
Потеют кругом.

Снимется с рейда
Серый пират:
В селах — скорее —
Дома запирать;

Женщины — в горы,
Дети — в леса,
Мужчинам в пору
Со скал свисать.

О берег бацнет
Пушечный гул
И — семьям рыбацким
Бежать в тайгу.

В тумане вспухнет
Крейсера тень, —
И детям из бухты
Осиротеть.

Не потому ли
В морской простор
Над чернью улиц
Огонь простерт?

II.

Токует тетерев
На черном суку,
Японский ветер
Зовется тайфун.

Нет, это не птица
На синей сосне —
Человечий мнится
Облик сквозь снег.

За сопками семьи
Приникли к окну
Выстрел не смеет
В темь полыхнуть.

По веткам трепет...
В тумане морском
Японские цепи
В горы — ползком..

Заходят с тыла,
Скользят с боков,
Душа застыла
У рыбаков.

Крик на дороге
Прянул — и стих,
У горла — широкий
Короткий штык.

Острее трепет
Первых охот:
Черные цепи
Пошли в обход.

Гокует тетерев
На сухом суку...
Знает ли на свете
Такую тоску?

III.

Рабочие порта
Собрались в док;
Провыли четвертый
Тревожный гудок.

Еще не проснулись
Высвисты пуль,
Но дергает улицы
Бешеный пульс.

Шумом артерий
Полны дома,
Скоро зардеет
Заря сама.

Ноет сирена,
Рвутся гудки,
Ветер свирепый
Берет за грудки.

Вдруг — с вокзала
Трели «ура».
Сердце сказало:
— Теперь пора.

— Вырвать панель
— У них из-под ног,
— Мчаться по ней,
— Свиваясь в одно.

Прожектор с рейда
Уперся в грудь...
Кто выдумал бреда
Такого игру?

Цепи встают,
Вокзал окружен,
Орудия бьют
С пятисот сажен.

За грузчиком грузчик,
Сердце спалив,

Бросается с кручи
В черный залив.

Тщетно рабочий
Рвется вперед:
Гочкис на клочья
Режет и рвет.

Острее трепет
Людских охот:
Японские цепи
Зашли в обход.

IV.

В тумане улицы,
В седом, в морском
Китайские кули
Ползут — ползком

Окрик «цуба».
В висок приклад,
Кровь через зубы
Плевком стекла.

Семьсот убитых,
Двести в плену.
От долгих пыток
Судьбу клянут.

Белогвардейский
Веселый шакал
Досыта детской
Крови — лакал.

Серому пирату
Под ноги слег,
Им — император
Японский — бог.

Он и не почуял
Чья жизнь текла,
К серому плечу
Метнув приклад.

Чей токовал тетерев
На сухом суку,
Что разрушил ветер
Японский, тайфун.

Но в чужой казарме
Запел рожок
О тех, кто пожаром
Сердце зажег.

Кому стал попутен
Алый маяк —
Здесь с огнем не шутят
В этих краях.

Ник. Асеев.

Волк.

Наклонились над картой плечо с плечом
Штурман и командир.
— Сперва восточным каналом, потом
Берегом проведи.
Ночью противник дозор несет
У Золотой косы.
Атака будет под утро. Все. —
И посмотрел на часы.

А завтра к вечеру будем здесь
Примерно часов в шесть.
Трос пополз по скользкой воде
И по борту шлепнул. — Есть! —
Отходит пристань, стелется дым,
Мол сгибается серой дугой
И клокочет тугой столб воды
За крепкой тупой кормой.

Адмирал знает в судах толк,
Знает кого послать.
Быстрым ходом бежит волк,
Быстрая волчья стать.
И вентиляторы, по два в ряд,
Густо, по волчьему рычат,
И смотрят вперед глаза волчат,
Смотрят вперед и молчат.

Вынул бинокль, протер: смотри.
Там впереди, на краю воды,
На золотой полосе зари
Черным пятном — дым.
А за дымом тонкая мачта встает.
— Правильно!—командир сказал:—
— Боевая тревога! Полный вперед!
И через минуту: — Залп! —

Эй! волчьи упругие прыжки,
Только вода кругом свистит,
Стучат стальными зубами замки,
Залп, за залпом летит.
А противник медленно повернул,
Блеснул коротким огнем,
И горячий залп по лицу хлестнул,
И шаром рванул гром.

Тишина. А руки еще дрожат.
Светится золотая мгла,
В воздухе неподвижно висят
Деревья из тонкого стекла.
Застыли длинные спины волн,
Вдали голоса протяжно поют, —
Эскадренный миноносец «Волк»
Отдал якорь в раю.

С. Колбасьев.

Петербург.

Посреди его столицы
Петушок сидит на спице.

Спят победившие. Что им в победе?
Возле солдата голодная мать...
Рокотом трубным и голосом меди
Будут столетия их прославлять!

Кто ж это тайно по городу бродит
В мантии рваной, с дырявым лицом?
Метит крестами и мелом обводит
Камень за камнем, дворец за дворцо

Или считает хозяин кровавый
Пришлых наследников в мутную рань —
Дерзких правителей из-за заставы,
Сброд разночинный, фабричную рвань?

— Выпито, с'едено все государство!
Все потерял я, а сколько имел...
В черной дыре мое пышное царство,
В низком подвале, средь тлеющих тел!

Что ж. И последних пора уничтожить —
Город мятежников, город «Не тронь»
Яд не поможет, — железо поможет,
А не поможет, — поможет огонь! —

Будут вам вопли и стоны, и скрежет!
Будет вам звон колокольный в ночи!
Радуйтесь! Всех, кого нож не дорежет —
Жалую властью своей в палачи.

Спят победившие. спят, не услышат —
Сломлены сном как трухлявая трость,
Только петух запевает на крыше —
С дальней слободки непрошенный гость.

«Слушай, бессонная, красная птица,
Сторож, дозорный, патруль, часовой! —
В цепкие руки попала столица: —
Вот он колдует, не мертвый, живой!

Трижды пропой, прокричи свое время!
Сядь ему на плечи, бей что есть сил
Клювом колючим в плешивое темя,
Криком пронзительным, взмахами крыл

Дальше гони его, пусть в агонии
Ветром взметенный уносится прочь
Дальше, все дальше по дебрям России,
В черную, в страшную, в вечную ночь!

Елизавета Полонская.

Мазурские болота.

В убийственном однообразьи сел
Метался полк, насилуя и грабя,
И в дебри непомерные забрел.
И дрогнули, разверзлись эти хляби.
О как внезапно первый шаг увяз.
Рванулись.—Глубже.—Вновь!—и нет опоры!
Себя губили сами. Каждый час
И каждый шаг им были приговоры.
Есть ужас: вдруг почуять глубину.
Что ж! посланные роковым приказом
Монарха-идиота на войну,
Вы предавались ядрам и заразам.
А ныне отходили вы ко сну
Так медленно в тяжелые болота.
И нагло-равнодушная зевота
Вас пожирала. Струнно мошкара
Над вами пела. С музыкою роты
Прошла вдали. И снова вечера.
Здесь забывались отпуски и даты.
И бешено барахтались солдаты.
С немолчным воплем руки простирал
Их сонм. Но дико стыл простор косматый.
И воплей необузданный хорал
Он заглушал и медленно карал.
И если простодушный шел на зовь,
На многодневный гул в лесах единый,
Спасать товарищей он был готов,
Цеплявшихся тянул он из трясины.
Но сам? уже скользит его нога.
Он оттолкнет ударом сапога.
Так отбиваться в этот час звериный
От бреда, прокаженного, врага.
И каждое движенье было промах.
Спасаемый вернее погибал.
И тяжко вздрагивал невольный бал,
Собранье несуразных насекомых!

Валентин Парнах.

Детство в Балаклаве

Туда приехал я в ночи, в июле.
Пять лет я помнил бухт уклон.
Морские ветры между гор не дули,
Когда я вышел на балкон.

Слепящий фосфор волн и берег плоский,
Кометы в небе молодом.
И длинный свет молочный с миноноски
Вливался в этот белый дом.

Соленый дух живил острей, чем росы,
Чем аромат магнольных чаш.
И радостно на пристани матросы
Трубили мой любимый марш!

Валентин Парнах.

Масленица.

Взвились кони, пляшут санки, —
Мигом смерим все концы!
— Голоси мне в лад, тальянка,
Заливайтесь бубенцы!

Сколько смеху! Сколько песен!
Ошалело всё село!
Снег дорожный месим-месим,
Пообгоним всех — на зло!

Алым цветом пышут девки,
Глянут — звонче я зальюсь!
— Да неужто в кои-веки
Пропадет такая Русь!

Голосистую тальянку
Бросил в ноги...
Шибче!.. Эх!..
Пляшут кони, пляшут санки,
Свищет ветер, брызжет снег!

Александр Ширяевец.

Землячка.

— Ведь какая же глазастая!
А в глазах — поля, поля,
Да речные весны пьянствуют
Да запевы ковыля!

И не иначе, как тезки мы!
Не единого ль отца?
Веют ветры Жегулевские
От каленого словца!

Не березки, часты—ельнички,
Шаль сбежала по плечу!
— Перестану я бездельничать,
Ярче солнца расцвечу!

Александр Ширяевец.

Великоросс.

В полях, в степи, по мокрым балкам,
Средь рощ, лесов, озёр и рек,
В избе с котом, с лежанкой, с прялкой —
Понятен русский человек.

Мужик: поля, леса и степи,
Запашка, сев, страда, покос.
Как дуб в лесу, живет и крепнет
В полях ржаной великоросс.

Душа — скирды густой соломы,
Заря в степи, да медь в мошне.
И вот: растут уж Исполкомы
Скирдами в русской стороне.

Весной — соха, возня с загоном,
Хлеб в осень, пузо в кушаке.
И дышит сытым самогоном
Изба в глухом березняке.

Но крепок на ноги сохатый,
Как лес, как пашня, как загон.
И тешится с землей брюхатый
По вёснам, точно с бабой. он.

Родит земля! Какого Бога
Благодарить? — ведь так привык.
И ходит вкруг ржаного стога
Ржаной коричневый мужик.

А завтра, с первою метелью,
Сохатый — в шубе — за столом.
Отпившись квасом от похмелья,—
На суд собрался Исполком.

Сопит: везет такую тягу,
Во век такой не подымал.
И языком дурным от браги
Скоблит: ... Ин-тер-на-цио-нал!

Не русский дух! И вдруг решает:
Какой там Бог! — махнул рукой.
Свист ветра, посвист тонкой ели:
В лесу мужичий Исполком.

Он — сила страшная, ржаная!
Ржаной мужик — сама земля.
Не даром в годы урожая
Снопами пахнет от Кремля!

Петр Орешин.

Зарево песен.

Я просто мастер по стиху,
Тяжелой массы токарь:
Взмахну — и стружками стекут
Словесные потоки.

Взмахну — и песне быть и жить,
Летать и резать будни...
Ах, эти песни, как ножи,
Перелитые в лютни!

Расплескавшихся заревом песен,
Нас немного еще, немного,
Но зато эшелон наш — здесь он
Огневыми плывет дорогами,
Но зато ведь теперь вскудеснится
Даже тем, что молчали века.
Надо каждому ныне песниться,
Надо сердце притубить стихам!

Своими певучими фрондами
Ударим в туманы Лондона,
Чтоб — больше огня и гари! —
Ударим, ударим, ударим.

На спело-пушистых Гаваях,
Где так испечалился смех,
Во всех прозвеним трамваях,
Во всех прозвеним, во всех.

Хотите, в снега Калифорнии
Закинем горланду свою,
Что даже степенные дворники
Запоем запьют — запоют.

Сегодня, услышав стальные романсы,
Каждый из вас — зажигается весь он!
Каждое сердце — радиостанция.
В каждом сердце — приемник песен.

П. Незнамов.

Ты далеко...

Ты далеко, чего же ради
Садишься ночью в головах
«Не передать всего во взгляде,
«Не рассказать всего в словах»

Я закрываю на ночь ставни
И крепко запираю дверь —
Откуда ж по привычке давней
Приходишь ты ко мне теперь?

И гладишь волосы и в шутку
Ладонью зажимаешь рот.
Ты шутишь — мне же душно, жутко —
«Во всем, всегда наоборот». —

Тебя вот нет, а я не верю,
Что не рука у губ, а — луч:
Уйди ж опять и хлопни дверью
И поверни два раз ключ.

Быть может я проснусь: тут рядом —
Я помню — лист и карандаш:
Да много ли расскажешь взглядом
И много ль словом передашь?..

Сергей Клычков.

* * *

Глядят нахмуренные хаты
И вот — ни бедный ни богатый
К себе не пустят на ночлег: —
Не все ль равно: там человек
Иль тень от облака, куда-то
Проплывшая в туман густой, —
Ой, подожек мой суковатый
Обвитый свежей берестой, —
Родней ты мне и ближе брата!
И ниже полевой былинки
Поникла бедная душа:
Густынь лесная и суглинки,
Костырь, кусты и пустоша —
Ой, даль моя, ты хороша,
Но в даль иду, как на поминки!
Заря поля окровянила
И не узнать родимых мест:
Село сгорело, у дороги
Стоят пеньки и, как убогий,
Ветряк протягивает шест.
Не разгадаешь: что тут было —
Вот только спотыкнулся крест
О безымянную могилу.

Сергей Клычков.

Две зари.

Я помню вечер тихий, красный...
Закат был огненно-широк.
А вдалеке, как враг опасный,
Туманный холодел восток.

И неподвижно синим взором
Смотрел, как запад догорал.
Тянулись тени, по простору
Незримый ветерок гулял.

Вдруг задымился край далекий,
И ветерок затрепетал,
И вспыхнула заря востока...
Закат не пал и день настал.

И над землею удивленной
Краями полными огня,
Соединился запад сонный
С горячею зарею дня.

Г. Санников.

Аэлита.

(Закат Марса)

Роман.

Алексей Толстой.

Странное объявление.

В четыре часа дня, в Петербурге, на проспекте Красных Зорь, появилось странное об'явление, — небольшой, серой бумаги листок, прибитый гвоздиками к облупленной стене пустынного дома.

Корреспондент американской газеты, Арчибальд Скайльс, проходя мимо, увидел стоявшую пред об'явлением босую, молодую женщину, в ситцевом, опрятном платье,—она читала, шевеля губами. Усталое и милое лицо женщины не выражало удивления,—глаза были равнодушные, ясные, с сумасшедшинкой. Она завела прядь волнистых волос за ухо, подняла с тротуара корзинку с зеленью и пошла через улицу.

Об'явление заслуживало большого внимания. Скайльс, любопытствуя, прочел его, придвинулся ближе, провел рукой по глазам, перечел еще раз:

— Twenty three, — проговорил он, наконец, что должно было означать: «Чорт возьми меня с моими костями».

В об'явлении стояло:

«Инженер, М. С. Лось, приглашает, желающих лететь с ним 18 августа на планету Марс, явиться для личных переговоров от 6 до 8 вечера. Ждановская набережная, дом 11, во дворе».

Это было написано—обыкновенно и просто, обыкновенным чернильным карандашом. Невольно Скайльс взялся за пульс,—обычный. Взглянул на хронометр: было десять минут пятого, стрелка красненького циферблата показывала 14 августа.

Со спокойным мужеством Скайльс ожидал всего в этом безумном городе. Но об'явление, приколоченное гвоздиками к облупленной стене, подействовало на него в высшей степени болезненно. Дул ветер по пустынному проспекту Красных Зорь. Окна многоэтажных домов, иные разбитые, иные заколоченные досками, казались нежилыми,—ни одна голова не выглядывала на улицу. Молодая женщина, поставив корзинку на тротуар, стояла на той стороне улицы и глядела на Скайльса. Милое лицо ее было спокойное и усталое.

У Скайльса задвигались на скулах желваки. Он достал старый конверт и записал адрес Лося. В это время перед об'явлением остановился рослый,

широкоплечий человек, без шапки, по одежде—солдат, в рубахе без пояса, в обмотках. Руки у него от безделья были засунуты в карманы. Крепкий затылок напрягся, когда он стал читать об'явление:

— Вот этот, вот так, замахнулся,—на Марс!—проговорил он с удовольствием и обернул к Скайльсу загорелое, беззаботное лицо. На виске у него, наискосок, белел шрам. Глаза—ленивые, серо-карие, и так же, как у той женщины,—с искоркой. (Скайльс давно уже подметил эту искорку в русских глазах, и даже поминал о ней в статье: ...«Отсутствие в их глазах определенности, неустойчивость, то насмешливость, то безумная решительность, и, наконец, непонятное выражение превосходства—крайне болезненно действуют на свежего человека».)

— А вот взять и полететь с ним, очень просто,—опять сказал солдат и усмехнулся простодушно, и в то же время быстро, с головы до ног, оглядел Скайльса. Вдруг он прищурился, улыбка сошла с лица. Он внимательно глядел через улицу на босую женщину, все так же неподвижно стоявшую около корзинки. Кивнув подбородком, он сказал ей:

— Маша, ты что стоишь? (Она быстро мигнула.) Ну, и шла бы домой. (Она переступила пыльными, небольшими ногами, и видно было, как вздохнула, нагнула голову.) Иди, иди, я скоро приду.

Женщина подняла корзину и пошла. Солдат сказал:

— В запас я уволился вследствие контузии и ранения. Хожу—вывески читаю,—скука страшная.

— Вы думаете пойти по этому об'явлению?—спросил Скайльс...

— Обязательно пойду.

— Но ведь это—вздор,—лететь в безвоздушном пространстве пятьдесят миллионов километров...

— Что говорить—далеко.

— Это шарлатанство, или—бред.

— Все может быть.

Скайльс, тоже теперь прищурясь, оглянул солдата, вспыхнул гневно и пошел по направлению к Неве,—шагал уверенно и широко. В сквере он сел на скамью, засунул руки в карман, где прямо в кармане, как у старого курильщика и делового человека, лежал табак, одним движением большого пальца набил трубку, закурил и вытянул ноги.

Шумели старые липы в сквере. Воздух был влажен и тепел. На куче песку, один во всем сквере, видимо уже давно,—сидел маленький мальчик в грязной рубашке—горошком, и без штанов. Ветер поднимал, время от времени, его светлые и мягкие волосы. В руке он держал конец веревочки, к другому концу веревочки была привязана за ногу старая, взлохмаченная ворона. Она сидела недовольная и сердитая, и, так же, как и мальчик, глядела на Скайльса.

Вдруг,—это было на мгновение,—будто облачко скользнуло по его сознанию, стало странно, закружилась голова: не во сне ли он все это видит?.. Мальчик, ворона, пустые дома, пустынные улицы, странные взгляды прохо-

жих и приколоченное гвоздиками об'явленьице,—кто-то зовет лететь из этого города в звездную пустыню.

Скайльс глубоко затянулся крепким табаком. Усмехнулся. Развернул план Петербурга, и, водя по нему концом трубки, отыскал Ждановскую набережную.

В мастерской Лося.

Скайльс вошел на плохо мощеный двор, заваленный ржавым железом и боченкам от цемента. Чахлая трава расла на грудах мусора, между спутанными клубками проволок, поломанными частями станков. В глубине двора отсвечивали закатом пыльные окна высокого сарая. Небольшая дверца в нем была приотворена, на пороге сидел на корточках рабочий и размешивал в ведерке кирпично-красный сурик. На вопрос Скайльса—здесь ли можно видеть инженера Лося, рабочий кивнул во внутрь сарая. Скайльс вошел.

Сарай едва был освещен,—над столом, заваленном чертежами и книгами, горела электрическая лампочка в жестяном конусе. В глубине сарая возвышались до потолка леса. Здесь же пылал горн, раздуваемый рабочим. Сквозь балки лесов поблескивала металлическая, с частой клепкой, поверхность сферического тела. Сквозь раскрытые половинки ворот были видны багровые полосы заката и клубы туч, поднявшихся с моря.

Рабочий, раздувавший горн, проговорил вполголоса:

— К вам, Мстислав Сергеевич.

Из-за лесов появился среднего роста, крепко сложенный человек. Густые, шапкой, волосы его были снежно-белые. Лицо—молодое, бритое, с красивым, большим ртом, с пристальными, светлыми, казалось, летящими впереди лица немигающими глазами. Он был в холщевой, грязной, раскрытой на груди, рубахе, в заплатанных штанах, перетянутых веревкой. В руке он держал запачканный, порванный чертеж. Подходя—он попытался застегнуть на груди рубашку, на несуществующую пуговицу.

— Вы по об'явлению? Хотите лететь?—спросил он глуховатым голосом, и указал Скайльсу на стул под конусом лампочки, сел напротив у стола, швырнул чертеж и стал набивать трубку. Это и был инженер, М. С. Лось.

Опустив глаза, он раскуривал трубку,—спичка осветила снизу его крепкое лицо, две морщины у рта,—горькие складки, широкий вырез ноздрей, длинные, темные ресницы. Скайльс остался доволен осмотром. Он об'яснил, что лететь не собирается, но что прочел об'явление на проспекте Красных Зорь и считает долгом познакомить своих читателей со столь чрезвычайным и сенсационным проектом межпланетного сообщения. Лось слушал, не отрывая от него немигающих, светлых глаз.

— Жалко, что вы не хотите со мной лететь, жалко.—он качнул головой.—люди шарахаются от меня, как от бешеного. Через четыре дня я покидаю землю, и до сих пор не могу найти спутника.—Он опять зажег спичку, пустил клуб дыма.—Какие вам нужны данные?

— Наиболее выпуклые черты вашей биографии.

— Это никому не нужно, — сказал Лось, — ничего замечательного.

Учился на медные деньги, с двенадцати лет сам их зарабатываю. Молодость, годы учения, нищета, работа, служба, за тридцать пять лет—ни одной черты, любопытной для ваших читателей, ничего замечательного, кроме...—Лось вытянул нижнюю губу, вдруг насупился, резко обозначились морщины у рта.—Ну, так—вот... Над этой машиной,—он ткнул трубкой в сторону лесов,—работаю давно. Постройку начал год тому назад. Все?

— Во сколько, приблизительно, месяцев вы думаете покрыть расстояние между землей и Марсом?—спросил Скайльс, глядя на кончик карандаша.

— В девять, или десять часов, я думаю, не больше.

Скайльс сказал на это,—ага,—затем покраснел, зашевелились желваки у него на скулах:—я бы очень был вам признателем,—проговорил он с вкрадчивой вежливостью,—если бы у вас было доверие ко мне и серьезное отношение к нашему интервью.

Лось положил локти на стол, закутался дымом, сквозь табачный дым блеснули его глаза:

— Восемнадцатого августа Марс приблизится к земле на сорок миллионов километров,—сказал он,—это расстояние я должен пролететь. Из чего оно складывается? Первое,—высота земной атмосферы — 75 километров. Второе, — расстояние между планетами в безвоздушном пространстве — 40 миллионов километров. Третье,—высота атмосферы Марса — 65 километров. Для моего полета важны только эти 135 километров воздуха.

Он поднялся, засунул руки в карманы штанов, голова его тонула в тени, в дыму,—освещены были только раскрытая грудь и волосатые руки с закатанными по локоть рукавами:

— Обычно называют полетом—полет птицы, падающего листа, аэроплана. Но это не полет, а плавание в воздухе. Чистый полет—это падение, когда тело движется под действием толкающей его силы. Пример—ракета. В безвоздушном пространстве, где нет сопротивления, где ничто не мешает полету,—ракета будет двигаться со все увеличивающейся скоростью, очевидно, там я могу достичь скорости света, если не помешают магнитные влияния. Мой аппарат построен, именно, по принципу ракеты. Я должен буду пролететь в атмосфере земли и Марса 135 километров. С под'емом и спуском это займет полтора часа. Час я кладу на то, чтобы выйти из притяжения земли. Далее, в безвоздушном пространстве я могу лететь с любою скоростью. Но есть две опасности: от чрезмерного ускорения могут лопнуть кровеносные сосуды, и второе—если я с огромной быстротой влечу в атмосферу Марса, то удар в воздух будет подобен тому, как будто я вонзился в песок. Мгновенно аппарат и все, что в нем—превратятся в газ. В междузвездном пространстве носятся осколки планет, нерожденных, или погибших миров. Вонзаясь в воздух, они сгорают мгновенно. Воздух—почти непроницаемая броня. Хотя, на земле, она, однажды, была пробита.

Лось вынул руку из кармана, положил ее, ладонью вверх, на стол, под лампочкой, и сжал пальцы в кулак:

— В Сибири, среди вечных льдов, я откапывал мамонтов, погибших в трещинах земли. Между зубами у них была трава, они паслись там, где те-

перь льды. Я ел их мясо. Они не успели разложиться. Они замерзли в несколько дней,—их замело снегами. Видимо—отклонение земной оси произошло мгновенно. Земля столкнулась с огромным небесным телом, либо у нас был второй спутник, меньший, чем луна. Мы втянули его и он упал, разбил земную кору, отклонил полюсы. Быть может от этого, именно, удара погиб материк, лежавший на запад от Африки в Атлантическом океане. Итак, чтобы не расплавиться, вонзаясь в атмосферу Марса, мне придется сильно затормозить скорость. Поэтому, я кладу на весь перелет в безвоздушном пространстве—шесть-семь часов. Через несколько лет путешествие на Марс будет не более сложно, чем перелет из Москвы в Берлин.

Лось отошел от стола и повернул включатель. Под потолком зашипели, зажглись дуговые фонари. Скайльс увидел на досчатых стенах — чертежи, диаграммы, карты. Полки с оптическими и измерительными инструментами. Скафандры, горки консервов, меховую одежду. Телескоп на лесенке в углу сарая.

Лось и Скайльс подошли к лесам, которые окружали металлическое яйцо. На глаз Скайльс определил, что яйцеобразный аппарат был не менее восьми с половиной метров высоты и шести метров в поперечнике. Посредине, по окружности его, шел стальной пояс, пригибающийся книзу, к поверхности аппарата, как зонт,—это был парашютный тормоз, увеличивающий сопротивление аппарата при падении в воздухе. Под парашютом—расположены три круглые дверцы,—входные люки. Нижняя часть яйца оканчивалась узким горлом. Его окружала двойная, массивной стали, круглая спираль, свернутая в противоположные стороны,—буфер. Таков был внешний вид междупланетного дирижабля.

Постукивая карандашом по клепаной обшивке яйца, Лось стал об'яснять подробности. Аппарат был построен из мягкой и тугоплавкой стали, внутри хорошо укреплен ребрами и легкими фермами. Это был внешний чехол. В нем помещался второй чехол из шести слоев резины, войлока и кожи. Внутри этого, второго, кожаного, стеганого яйца находились аппараты наблюдения и движения, кислородные баки, ящики для поглощения углекислоты, полые подушки для инструментов и провизии. Для наблюдения поставлены, выходящие за внешнюю оболочку аппарата, особые «глазки», в виде короткой, металлической трубки, снабженной призматическими стеклами.

Механизм движения помещался в горле, обвитом спиралью. Горло было отлито из металла «Обин», чрезвычайно упругого и твердостью превосходящего астрономическую бронзу. В толще горла были высверлены вертикальные каналы. Каждый из них расширялся наверху в так называемую взрывную камеру. В каждую камеру проведены искровая свеча от общего магнето и питательная трубка. Как в цилиндры мотора поступает бензин, точно так же взрывные камеры питались «Ультралидитом», тончайшим порошком, необычайной силы взрывчатым веществом, найденном в 1920 году в лаборатории ......ского завода в Петербурге. Сила «Ультралидита» превосходила все до сих пор известное в этой области. Конус взрыва чрезвычайно узок. Чтобы ось конуса взрыва совпадала с осями вертикальных ка-

налов горла,—поступаемый во взрывные камеры «Ультралиддит» пропускался сквозь магнитное поле. Таков, в общих чертах, был принцип движущего механизма: это была ракета. Запас «Ультралиддита»—на сто часов. Уменьшая, или увеличивая число взрывов в секунду—можно было регулировать скорость под'ема и падения аппарата. Нижняя его часть значительно тяжелее верхней, поэтому, попадая в сферу притяжения планеты, аппарат всегда поворачивался к ней горлом.

— На какие средства построен аппарат?—спросил Скайльс.

— Материалы дало правительство. Частью на это пошли мои сбережения.

Лось и Скайльс вернулись к столу. После некоторого молчания Скайльс спросил неуверенно:

— Вы рассчитываете найти на Марсе живых существ?

— Это я увижу утром, в пятницу, 19 августа.

— Я предлагаю вам десять долларов за строчку путевых впечатлений. Аванс—шесть фельетонов, по двести строк, чек можете учесть в Стокгольме. Согласны?

Лось засмеялся, кивнул головой, — согласен. (Скайльс присел на углу стола писать чек.)

— Жаль, жаль, что вы не хотите лететь со мной: ведь это, в сущности, так близко, ближе, чем до Стокгольма.

Спутник.

Лось стоял, прислонившись плечом к верее раскрытых ворот. Трубка его погасла.

За воротами до набережной Ждановки лежал пустырь. Несколько неярких фонарей отражались в воде. Далеко—смутными и неясными очертаниями возвышались деревья парка. За ними догорал и не мог догореть тусклый, печальный закат. Длинные тучи, тронутые по краям его светом, будто острова, лежали в зеленых водах неба. Над ними синело, темнело небо. Несколько звезд зажглось на нем. Было тихо,—по старому на старой земле. Издалека дошел звук гудящего парохода. Серой тенью пробежала крыса по пустырю.

Рабочий, Кузьмин, давеча мешавший в ведерке сурик, тоже стал в воротах, бросил огонек папироски в темноту:

— Трудно с землей расставаться,—сказал он негромко.—С домом и то трудно расставаться. Из деревни, бывало, идешь на железную дорогу,—раз десять оглянешься. Дом,—хижина, соломой крыта, а—свое, прижилое место. Землю покидать—пустыня.

— Вскипел чайник,—сказал Хохлов, другой рабочий, — иди, Кузьмин, чай пить.

Кузьмин сказал:—так-то,—со вздохом, и пошел к горну. Хохлов—суровый человек, и Кузьмин сели у горна на ящики, и пили чай, осторожно ломали хлеб, отдирали с костей вяленую рыбу, жевали не спеша. Кузьмин, сощурившись, мотнув редкой бородкой, сказал в полголоса:

— Жалко мне его. Таких людей сейчас почти что и нет.

— А ты погоди его отпевать.

— Мне один летчик рассказывал: поднялся он на восемь верст,—летом заметь,—и масло, все-таки, замерзло у него в аппарате,—такой холод. А—выше лететь? А там—холод. Тьма.

— А я говорю—погоди еще отпевать,—повторил Хохлов мрачно.

— Лететь с ним никто не хочет, не верят. Об'явление другую неделю висит напрасно.

— А я верю,—сказал Хохлов.

— Долетит?

— Вот, то-то, что—долетит. Вот, в Европе они тогда взовьются.

— Кто взовьется?

— Как, кто взовьется? Враги наши взовьются. На, теперь, выкуси,—Марс-то чей?—русский.

— Да, это бы здорово.

Кузьмин пододвинулся на ящике. Подошел Лось, сел, взял кружку с дымящимся чаем:

— Хохлов, не согласитесь лететь со мной?

— Нет, Мстислав Сергеевич,—важно ответил Хохлов,—не соглашусь, боюсь.

Лось усмехнулся, хлебнул кипяточку, покосился на Кузьмина:

— А вы, милый друг?

— Мстислав Сергеевич, да я бы с радостью полетел, — жена у меня больная, не ест ничего. С'ест крошку,—все долой. Так жалко, так жалко...

— Да, видимо—придется лететь одному,—сказал Лось, поставив пустую кружку, вытер губы ладонью,—охотников покинуть землю—маловато. Он опять усмехнулся, качнул головой. Вчера—барышня приходила по об'явлению: «Хорошо, говорит, я с вами лечу, мне 19 лет, пою, танцую, играю на гитаре, в Европе жить не хочу,—революции мне надоели. Визы на выезд не нужно?». Что у этой барышни было в голове—не пойму до сих пор. Кончился наш разговор,—села барышня и заплакала:—«Вы меня обманули, я рассчитывала, что лететь нужно гораздо ближе». Потом, молодой человек явился, — говорит басом, руки потные: «Вы, говорит, считаете меня за идиота, лететь на Марс невозможно, на каком основании вывешиваете подобные об'явления?». Насилу его успокоил.

Лось оперся локтями о колени и глядел на угли. Лицо его в эту минуту казалось утомленным, лоб сморщился. Видимо, он весь отдыхал от длительного напряжения воли. Кузьмин ушел с чайником за водой. Хохлов кашлянул, сказал:

— Мстислав Сергеевич, самому-то вам, разве, не страшно?

Лось перевел на него глаза, согретые жаром углей:

— Нет, мне не страшно. Я уверен, что опущусь удачно. А если неудача, удар будет мгновенный и безболезненный. Страшно другое. Представьте так,—мои расчеты окажутся неверны, я не попаду в притяжение Марса:—проскочу мимо. Запас топлива, кислорода, еды—мне хватит надолго. И

вот—лечу во тьме. Впереди горит звезда. Через тысячу лет мой окоченелый труп влетит в ее огненные океаны. Но эти тысячу лет—мой летящий во тьме труп! Но эти долгие дни, покуда я еще жив,—а я буду жить только в проклятой коробке,—долгие дни безнадежного отчаяния—один во всей вселенной. Не смерть страшна, но одиночество. Не будет даже надежды, что Бог спасет мою душу. Я—заживо в аду. Ведь ад и есть мое безнадежное одиночество, распростертое в вечной тьме. Это—действительно страшно. Очень мне не хочется лететь одному.

Лось прищурился на угли. Рот его упрямо сжался. В воротах показался Кузьмин, позвал оттуда в полголоса:

— Мстислав Сергеевич, к вам.

— Кто?—Лось быстро поднялся.

— Солдат какой-то вас спрашивает.

В сарай, вслед за Кузьминым, вошел давешний солдат, читавший об'явление на проспекте Красных Зорь. Коротко кивнул Лосю, оглянулся на леса, подошел к столу:

— Попутчика надо вам?

Лось пододвинул ему стул, сел напротив.

— Да, ищу попутчика. Я лечу на Марс.

— Знаю, в об'явлении сказано. Мне эту звезду показали давеча. Далеко, конечно. Условия какие хотел я знать: жалованье, харчи?

— Вы семейный?

— Женатый, детей нет.

Солдат ногтями деловито постукивал по столу, поглядывал кругом с любопытством. Лось вкратце рассказал ему об условиях перелета, предупредил о возможном риске. Предложил обеспечить семью, и выдать жалованье вперед деньгами и продуктами. Солдат кивал, поддакивал, но слушал рассеянно.

— Как, вам известно,—спросил он,—люди там, или чудовища обитают?

Лось крепко почесал в затылке, засмеялся:

— По-моему—там должны быть люди. Приедем, увидим. Дело вот в чем: уже несколько лет на больших радиостанциях в Европе и в Америке начали принимать непонятные сигналы. Сначала думали, что это—следы бурь в магнитных полях земли. Но таинственные звуки были слишком похожи на азбучные сигналы. Кто-то настойчиво хочет с нами говорить. Откуда? На планетах, кроме Марса, не установлено пока жизни. Сигналы могут итти только с Марса. Взгляните на его карту,—он, как сеткой, покрыт каналами. Видимо, там есть возможность установить огромной мощности радиостанции. Марс хочет говорить с землей. Пока мы не можем отвечать на эти сигналы. Но мы—летим на зов. Трудно предположить, что радиостанции на Марсе построены чудовищами, существами, не похожими на нас. Марс и земля,—два крошечные шарика, кружащиеся рядом. Одни законы для нас и для них. Во вселенной носится живоносная пыль, семена жизни, застывшие в анабиозе. Одни и те же семена оседают на Марс и на землю, на все мириады остывающих звезд. Повсюду возникает жизнь, и над жизнью всюду царствует чело-

векоподобный: нельзя создать животное, более совершенное, чем человек, — образ и подобие Хозяина Вселенной.

— Еду я с вами,—сказал солдат решительно,—когда с вещами приходить?

— Завтра. Я должен вас ознакомить с аппаратом. Ваше имя, отчество, фамилия?

— Алексей Гусев, Алексей Иванович.

— Занятие?

Гусев, словно рассеянно, взглянул на Лося, опустил глаза на свои постукивающие по столу пальцы.

— Я грамотный,—сказал он,—автомобиль ничего себе знаю. Летал на аэроплане наблюдателем. С восемнадцати лет войной занимаюсь,—вот, все мое и занятие. Свыше двадцати ранений. Теперь нахожусь в запасе. Он вдруг ладонью шибко потер темя, коротко засмеялся.—Ну и дела были за эти-то семь лет. По совести говоря,—я бы сейчас полком должен командовать,—характер неуживчивый. Прекратятся военные действия,—не могу сидеть на месте: сосет. Отравлено во мне все. Отпрошусь в командировку, или так убегу.—Он опять потер макушку, усмехнулся,—четыре республики учредил, в Сибири да на Кавказе, и городов-то сейчас этих не запомню. Один раз собрал три сотни ребят,—отправились Индию воевать. Хотелось нам туда добраться. Но сбились в горах, попали в метель, под обвалы, побили лошадей. Вернулось нас оттуда немного. У Махно был два месяца, ей-Богу. На тройках, на тачанках гоняли по степи,—гуляй душа! Вина, еды—вволю. Баб—сколько хочешь. Налетим на белых, или на красных,—пулеметы у нас на тачанках,—драка. Обоз отобьем, и к вечеру мы—верст уж за восемьдесят. Погуляли. Надоело,—мало толку, да уж и мужикам махновщина эта стала надоедать. Ушел в Красную армию. Потом поляков гнали от Киева,— тут уж я был в коннице Буденного. Весь поход—рысью. Поляков били с налету, — «Даешь Варшаву»! А под Варшавой сплоховали,—пехота не поддержала. В последний раз я ранен, когда брали Перекоп. Провалялся после этого, без малого, год по лазаретам. Выписался,—куда деваться? Тут эта девушка моя подвернулась,—женился. Жена у меня хорошая, жалко ее, но дома жить не могу. В деревню ехать,—отец с матерью померли, братья убиты, земля заброшена. В городе тоже делать нечего. Войны сейчас никакой нет,—не предвидится. Вы уж, пожалуйста, Мстислав Сергеевич, возьмите меня с собой. Я вам на Марсе пригожусь.

— Ну, очень рад,—сказал Лось, подавая ему руку,—до завтра.

Бессонная ночь.

Все было готово к отлету с земли. Но два последующие дня пришлось, почти без сна, провозиться над укладкой внутри аппарата, в полых подушках, множество мелочей. Проверяли приборы и инструменты. Сняли леса, окружавшие аппарат, разобрали часть крыши. Лось показал Гусеву меха-

низм движения и важнейшие приборы,—Гусев оказался ловким и сметливым человеком. На завтра, в шесть вечера, назначили отлет.

Поздно вечером Лось отпустил рабочих и Гусева, погасил электричество, кроме лампочки над столом, и прилег, не раздеваясь, на железную койку,—в углу сарая, за треногой телескопа.

Ночь была тихая и звездная. Лось не спал. Закинув за голову руки, глядел на сумрак—под затянутой паутиной крышей, и то, от чего она назавтра бежал с земли,—снова, как никогда еще, мучило его. Много дней он не давал себе воли. Сейчас, в последнюю ночь на земле,—он отпустил сердце: мучайся, плачь.

Память разбудила недавнее прошлое... на стене, на обоях—тени от предметов. Свеча заставлена книгой. Запах лекарств, — душно. На полу, на ковре—таз. Когда встаешь и проходишь мимо таза—по стене, по тоскливым, сумасшедшим цветочкам—бегут, колышатся тени предметов. Как томительно! В постели то, что дороже света,—Катя, жена, — часто, часто, тихо дышит. На подушке—темные, спутанные волосы. Подняты колени под одеялом. Катя уходит от него. Изменилось, недавно такое прелестное, кроткое лицо. Оно—розовое, непокойное. Выпростала руку и щиплет пальцами край одеяла. Лось снова, снова берет ее руку, кладет под одеяло. «Ну, раскрой глаза, ну—взгляни, простись со мной». Она говорит жалобным, чуть слышным голосом: «Ской окро, ской окро». Детский, едва слышный, жалобный ее голос хочет сказать:—«открой окно». Страшнее страха—жалость к ней, к этому голосу. «Катя, Катя—взгляни». Он целует ее в щеки, в лоб, в закрытые веки. Но не облегчает ее жалость. Горло у нее дрожит, грудь поднимается толчками, пальцы вцепились в край одеяла. «Катя, Катя, что с тобой?..» Не отвечает, уходит... Поднялась на локтях, подняла грудь, будто снизу ее толкали, мучили. Милая голова отделилась от подушки, закинулась... Она опустилась, ушла в постель. Упал подбородок. Лось, сотрясаясь от ужаса и жалости, обхватил ее, прижался. Забрал в рот одеяло.

На земле нет пощады...

Лось поднялся с койки, взял со стола коробку с папиросами, закурил и ходил некоторое время по темному сараю. Потом, взошел на лесенку телескопа, нашел искателем Марс, поднявшийся уже над Петербургом, и долго глядел на небольшой, ясный, теплый шарик. Он слегка дрожал в перекрещивающихся волосках окуляра.

«Да, на земле нет пощады»,—сказал Лось вполголоса, спустился с лесенки и лег на койку... Память открыла видение. Катюша лежит в траве, на пригорке. Вдали, за волнистыми полями,—золотые точки Звенигорода. Коршуны плавают в летнем зное над хлебами, над гречихами. Катюше—лениво и жарко. Лось, сидя рядом, кусая травинку, поглядывает на русую, простоволосую голову Катюши, на загорелое плечо со светлой полоской кожи между загаром и платьем, на Катюшин, с укусом комара, кулачок, подперевший щеку. Ее серые глаза—равнодушные и прекрасные,—в них тоже плавают коршуны. Кате восемнадцать лет, думает о замужестве. Очень, очень,—опасно мила. Сегодня, после обеда, говорит,—пойдемте лежать на

пригорок, оттуда—далеко видно. Лежит и молчит. Лось думает,—«нет, милая моя, есть у меня дела поважнее, чем, вот. взять на пригорке и влюбиться в вас. На этот крючек не попадусь, на дачу к вам больше ездить не стану».

Ах, Боже мой, какие могли быть дела важнее Катюшиной любви! Как неразумно были упущены эти летние, горячие дни. Остановить бы время, тогда, на пригорке. Не вернуть. Не вернуть!..

Лось опять вставал с койки, чиркал спичками, курил, ходил. Но и хождение вдоль дощатой стены было ужасно: как зверь в яме. Лось отворил ворота и глядел на высоко уже взошедший Марс.

«И там не уйти от себя. Всюду, без меры времени, мой одинокий дух. За гранью земли, за гранью смерти. Зачем нужно было хлебнуть этого яду, любить, пробудиться? Жить бы неразбуженным. Летят же в эфире окоченевшие семена жизни, ледяные кристаллы, летят дремлющие. Нет, нужно упасть и расцвесть,—пробудиться к нестерпимому страданию: жить, к жажде:—любить, слиться, забыться, перестать быть одиноким семенем. И весь этот короткий сон затем, чтобы снова—смерть, разлука, и снова—полет ледяных кристаллов».

Лось долго стоял в воротах, прислонясь к верее плечом и головой. Кровяным, то синим, то алмазным светом переливался Марс,—высоко над спящим Петербургом, над простреленными крышами, над холодными трубами, над закопченными потолками комнат и комнаток, покинутых зал, пустых дворцов, над тревожными изголовьями усталых людей.

«Нет, там будет легче,—думал Лось,—уйти от теней, отгородиться миллионами верст. Вот так же, ночью, глядеть на звезду и знать,—это плывет между звезд—покинутая мною земля. Покинуты пригорок и коршуны. Покинута ее могила, крест над могилой, покинуты темные ночи, ветер, поющий о смерти, только о смерти. Осенний ветер над Катей, лежащей в земле. под крестом. Нет, жить нельзя среди теней. Пусть там будет лютое одиночество,—уйти из этого мира, быть одному».

Но тени не отступали от него всю ночь. Под утро Лось положил на голову подушку и забылся. Его разбудил грохот обоза, ехавшего по набережной. Лось сел, провел ладонью по лицу. Еще бессмысленные от ночных видений глаза его разглядывали карты на стенах. инструменты, очертание аппарата. Лось вздохнул, совсем пробуждаясь, подошел к крану и облил голову студеной водой. Накинул пальто и зашагал через пустырь на Большую Монетную улицу, к себе на квартиру, где полгода тому назад умерла Катя.

Здесь он вымылся, побрился, надел чистое белье и платье, осмотрел—заперты ли все окна. Квартира была нежилая — повсюду пыль. Он открыл дверь в спальню, где, после смерти Кати. он никогда не ночевал. В спальне было почти темно от спущенных штор, лишь отсвечивало зеркало шкафа с Катиными платьями, — зеркальная дверца была приоткрыта. Лось нахмурился, подошел на цыпочках и плотно прикрыл ее. Замкнул дверь спальни. Вышел из квартиры, запер парадное, и плоский ключик положил себе в жилетный карман.

Теперь—все было окончено перед от'ездом.

Тою же ночью.

Этой ночью Маша долго дожидалась мужа,—несколько раз подогревала чайник на примусе. За высокой, дубовой дверью было тихо и жутковато.

Гусев и Маша жили в одной комнате, в когда-то роскошном, огромном, теперь заброшенном доме. Во время революции обитатели покинули его. За четыре года дожди и зимние вьюги сильно попортили его внутренность.

Комната была просторная. На резном, золотом потолке, среди облаков, летела пышная женщина с улыбкой во все лицо, кругом—крылатые младенцы.

«Видишь, Маша,—постоянно говаривал Гусев, показывая на потолок,—женщина какая веселая, в теле, и детей шесть душ, вот это—баба».

Над золоченой, с львиными лапами, кроватью висел портрет старика в пудреном парике, с поджатым ртом, со звездой на кафтане. Гусев прозвал его «Генерал Топтыгин»,—«этот спуска не давал, чуть что не по нем—сейчас топтать». Маша боялась глядеть на портрет. Через комнату была протянута железная труба железной печечки, закоптившей стену. На полках, на столе, где Маша готовила еду,—порядок и чистота.

Резная, дубовая дверь отворялась в двусветную залу. Разбитые окна в ней были заколочены досками, потолок местами обваливался. В ветряные ночи здесь гулял, завывал ветер, бегали крысы.

Маша сидела у стола. Шипел огонек примуса. Издалека ветер донес печальный перезвон часов Петропавловского собора,—пробило два. Гусев не шел. Маша думала:

«Что ищет, чего ему мало? Все чего-то хочет найти, душа не покойна, Алеша, Алеша... Хоть бы раз закрыл глаза, лег ко мне на плечо, как сынок:—не ищи, не найдешь дороже моей жалости».

На ресницах у Маши выступали слезы, она их не спеша вытерла и подперла щеку. Над головой летела, не могла улететь веселая женщина с веселыми младенцами. О ней Маша думала:—«Вот была бы такая—никуда бы от меня не ушел».

Гусев ей сказал, что уезжает далеко, но куда—она не знала, спросить боялась. Она и сама видела, что жить ему с ней в этой чудной комнате, в тишине, без прежней воли,—трудно, не вынести. Ночью приснится ему,—заскрежещет, вскрикнет глухо, сядет на постели и дышит,—зубы стиснуты, в поту лицо и грудь. Повалится, заснет, а на утро—весь темный, места себе не находит.

Маша до того была тихой с ним, так прилащивалась,—умнее матери. За это он ее любил и жалел, но, как утро,—глядел куда бы уйти.

Маша служила, приносила домой пайки. Денег у них часто совсем не было. Гусев хватался за разные дела, но скоро бросал. «Старики сказывали—в Китае есть золотой клин,—говаривал он,—кроме чай такого там нет, но земля, действительно, нам еще неизвестная,—уйду я, Маша, в Китай, поглядеть, как и что».

С тоской, как смерти, ждала Маша того часа, когда Гусев уйдет. Никого на свете, кроме него, у нее не было. С пятнадцати лет служила продавщицей

по магазинам, кассиршей на невских пароходиках. Жила одиноко, не весе Год назад, в праздник, в Павловске, познакомилась с Гусевым в парке, скамейке. Он спросил: «Вижу—одиноко сидите, дозвольте с вами прове время,—одному—скучно». Она взглянула,—лицо славное, глаза—весел добрые, и—трезвый. «Ничего не имею против»,—ответила кротко. Так с и гуляли в парке до вечера. Гусев рассказывал о войнах, набегах, перево тах,—такое, что ни в одной книге не прочтешь. Проводил Машу в Петербу до квартиры, и с того дня стал к ней ходить. Маша просто и спокойно от лась ему. И тогда полюбила,— вдруг, кровью всей почувствовала, что он ей родной. С этого началась ее мука...

Чайник закипел. Маша сняла его, и опять затихла. Уже давно ей чуди какой-то шорох за дверью, в пустой зале. Но было так грустно,—не вслуш валась. Но сейчас—явственно, слышно—шаркали чьи-то шаги.

Маша быстро открыла дверь и высунулась. В одно из окон, в залу, пр бивался свет уличного фонаря и слабо освещал пузырчатыми пятнами н сколько низких колонн. Между ними Маша увидела седого, нагнувшего ло старичка, без шапки, в длинном пальто,—стоял, вытянув шею, и глядел н Машу. У нее ослабели колени.

— Вам что здесь нужно?—спросила она шопотом.

Старичок поднял палец и погрозил ей. Маша с силой захлопнула дверь,- сердце отчаянно билось. Она вслушивалась,—шаги теперь отдалялись: стари чок, видимо, уходил по парадной лестнице вниз.

Вскоре, с другой стороны залы раздались быстрые, сильные шаги муж Гусев вошел веселый, перепачканный копотью.

— Слей ка помыться,—сказал он, расстегивая ворот,—завтра еде прощайте. Чайник у тебя горячий?—это славно.—Он вымыл лицо, крепку шею, руки по локоть, вытираясь—покосился на жену.—Будет тебе, не про паду, вернусь. Семь лет меня ни пуля, ни штык не могли истребить. Мой ча далеко, отметка не сделана. А умирать—все равно не отвертишься: муха на лету заденет лапой, ты—брык и помер.

Он сел к столу, начал лупить вареную картошку,—разломил, окунул в соль.

— На завтра приготовь чистое, две смены,—рубашки, подштанники, под вертки. Мыльца не забудь,—шильца да мыльца. Ты что—опять плакала?

— Испугалась,—ответила Маша, отворачиваясь,—старик какой-то все ходит, пальцем погрозил. Алеша, не уезжай.

— Это не ехать—что старик-то пальцем погрозил?

— На несчастье он погрозил.

— Жалко я уезжаю, я бы этого старикашку засыпал. Это непременно кто-нибудь из бывших, здешних, бродит по ночам, нашептывает, выживает.

— Алеша, ты вернешься ко мне?

— Сказал—вернусь, значит—вернусь. Фу ты, какая беспокойная.

— Далеко едешь?

Гусев засвистал, кивнул на потолок и, посмеиваясь глазами, налил горячего чая на блюдце:

— За облака, Маша, лечу, вроде этой бабы.

Маша только опустила голову. Гусев лег в постель. Маша неслышно прибирала посуду, села штопать носки,—не поднимала глаз. А когда скинула платье и подошла к постели,—Гусев уже спал, положив руку на грудь, спокойно закрыв ресницы. Маша прилегла рядом и глядела на мужа. По щекам ее текли слезы,—так он был ей дорог, так тосковала она по его неспокойному сердцу: «Куда летит, чего ищет?—не ищи, не найдешь дороже моей любви».

На рассвете Маша поднялась, вычистила платье мужа, собрала чистое белье. Гусев проснулся. Напился чаю,—шутил, гладил Машу по щеке. Оставил денег,—большую пачку. Вскинул на спину мешок, задержался в дверях, и перекрестил Машу. Ушел. Так она и не узнала,—куда он уезжает.

Отлет.

В пять часов дня на пустыре перед мастерской Лося стал собираться народ. Шли с набережной, бежали из переулков, бубнили, сбивались в кучки, лежали на чахлой траве,—поглядывали на низкое солнце, пустившее сквозь облака широкие лучи.

Перед толпой, не допуская близко подходить к сараю, стояли солдаты милиции. Двое конных, скуластые, в острых шапках, раз'езжая шагом, свирепо поглядывали на зевак.

Кричал на пустыре мороженщик. Толкались между людьми мальчишки с припухшими от дрянной жизни глазами,—продавцы папирос и жулики. Затесался сюда же сутулый старик, из'еденный чахоткой,—принес продавать две пары штанов. День был теплый, августовский, летел над городом клин журавлей.

Подходившие к толпе, к бубнящим кучкам,—начинали разговор:

— Что это народ собрался,—убили кого?

— На Марс сейчас полетят.

— Вот тебе дожили,—этого еще не хватало!

— Что вы рассказываете? Кто полетит?

— Двоих арестантов, воров, из тюрьмы выпустили, запечатают их в цинковый бидон и—на Марс, для опыта.

— Бросьте вы врать, в самом деле.

— То есть, как это я—вру?

— Да—ситец сейчас будут выдавать.

— Какой ситец, по скольку?

— По восьми вершков на рыло.

— Ах, сволочи. На дьявол мне восемь вершков,—на мне рубашка сгнила, третий месяц хожу голый.

— Конечно,—издевательство.

— Ну, и народ дурак, Боже мой.

— Почему народ дурак? Откуда вы решили?

— Не решил, а вижу.

— Вас бы отправить, знаете куда, за эти слова.

— Бросьте, товарищи. Тут, в самом деле, историческое событие, а Бог знает что несете.

— А для каких это целей на Марс отправляют?

— Извините, сейчас один тут говорит:—25 пудов погрузили они одн агитационной литературы и два пуда кокаину.

— Ну, уж—кокаин вы тут ни к селу ни к городу приплели.

— Это экспедиция.

— За чем?

— За золотом.

— Совершенно верно,—для пополнения золотого фонда.

— Много думают привезти?

— Неограниченное количество.

— Слушайте,—с утра английский фунт упал.

— Что вы говорите?

— Вот вам,—ну. Вон—в крайнем доме, в воротах, один человек,—щек у него подвязана,—фунты ни по чем продает.

— Тряпье он продает из Козьмодемьянска, три вагона,—накладную.

— Гражданин, долго нам еще ждать?

— Как солнце сядет, так он и ахнет.

До сумерек переливался говор, шли разные разговоры в толпе, ожидак щей необыкновенного события. Спорили, ссорились, но не уходили.

На набережной Ждановки зажглись фонари. Тусклый закат багровы светом разлился на пол-неба. И вот, медленно раздвигая толпу, появилс большой автомобиль комиссара Петербурга. В сарае изнутри осветилис окна. Толпа затихла, придвинулась.

Открытый со всех сторон, поблескивающий рядами заклёпок, яйцевид ный аппарат стоял на цементной, слегка наклоненной, площадке, посреді сарая. Его ярко освещенная внутренность из стеганой ромбами, желтой кожі была видна сквозь круглое отверстие люка.

Лось и Гусев были уже одеты в валеные сапоги, в бараньи полушубки, і кожаные, пилотские шлемы. Члены правительства, члены академии, инженеры, журналисты,—окружали аппарат. Напутственные речи были уже сказаны, магниевые снимки сделаны. Лось благодарил провожающих за внимание. Его лицо было бледно, глаза, как стеклянные. Он обнял Хохлова и Кузьмина. Взглянул на часы:

— Пора.

Провожающие затихли. У иных тряслись губы. Кузьмин стал креститься. Гусев нахмурился и полез в люк. Внутри аппарата он сел на кожаную подушку, поправил шлем, одернул полушубок.

— К жене зайди, не забудь,—крикнул он Хохлову и сильнее нахмурился. Лось все еще медлил, глядел себе под ноги. Вдруг, он поднял голову и.

обращаясь, почему-то только к Скайльсу, сказал глуховатым, взволнованным голосом:

— Я думаю, что удачно опущусь на Марс,—оттуда я постараюсь телеграфировать. Я уверен—пройдет немного лет и сотни воздушных кораблей будут бороздить звездное пространство. Вечно, вечно нас толкает дух искания и тревоги. И меня гонит тревога, быть может отчаяние. Но, уверяю вас,—в эту минуту победы—я лишь с новой силой чувствую свою нищету. Не мне—первому нужно лететь,—это преступно. Не я первый должен проникнуть в небесную тайну. Что я найду там?—ужас самого себя. Мой разум горит чадным огоньком над самой темной из бездн, где распростерт труп любви. Земля отравлена ненавистью, залита кровью. Недолго ждать, когда пошатнется даже разум,—единственные цепи на этом чудовище. Так вы и запишите в вашей книжечке, Арчибальд Скайльс,—я не гениальный строитель, не новый конкистадор, не смельчак, не мечтатель:—я—трус, беглец. Гонит меня безнадежное отчаяние.

Лось вдруг оборвал, странным взором оглянул провожающих,—все слушали его с недоумением и страхом. Надвинул на глаза шлем:

— Не кстати сказано, но через минуту меня не будет на земле. Простите за последние слова. Прошу вас—отойти как можно дальше от аппарата.

Лось повернулся и полез в люк, и сейчас же с силой захлопнул его за собой. Провожающие, теснясь, взволнованно перекидываясь словами, побежали из сарая к толпе на пустырь. Чей-то голос протяжно начал кричать:

— Осторожнее, отходите, ложитесь.

В молчании теперь тысячи людей глядели на квадратные, освещенные окна сарая. Там было тихо. Тишина и на пустыре. Так прошло несколько минут,—нестерпимый срок ожидания. Много людей легло на траву. Вдруг, звонко, вдалеке, заржала лошадь конного стражника. Кто-то крикнул страшным голосом:

— Тише!

В сарае оглушающе треснуло, будто сломалось дерево. Сейчас же раздались более сильные, частые удары. Задрожала земля. Над крышей сарая поднялся тупой нос, и заволокся облаком дыма и пыли. Треск усилился. Черный аппарат появился весь над крышей и повис в воздухе, будто примериваясь. Взрывы слились в сплошной вой, и четырехсаженное яйцо, наискось, как ракета, взвилось над толпой, устремилось к западу, ширкнуло огненной полосой, и исчезло в багровом, тусклом зареве туч.

Только тогда в толпе начался крик, полетели шапки, побежали люди, обступили сарай.

В черном небе.

Завинтив входной люк, Лось сел напротив Гусева и стал глядеть ему в глаза,—в колючие, как у пойманной птицы, точки зрачков.

— Летим, Алексей Иванович?

— Пускайте.

Тогда Лось взялся за рычажек реостата и слегка повернул его. Раздался

глухой удар,—тот первый треск, от которого вздрогнула на пустыре тысячная толпа. Повернул второй реостат. Глухой треск под ногами и сотрясение аппарата стали так сильны, что Гусев схватился за сиденье, выкатил глаза. Лось включил оба реостата. Аппарат рванулся. Удары стали мягче, сотрясение уменьшилось. Лось прокричал:

— Поднялись.

Гусев отер пот с лица. Становилось жарко. Счетчик скорости показывал—50 метров в секунду, стрелка продолжала передвигаться вперед.

Аппарат мчался по касательной, против вращения земли. Центробежная сила относила его к востоку. По расчетам, на высоте ста километров, он должен был выпрямиться и лететь по диагонали, вертикальной к поверхности земли.

Двигатель работал ровно, без сбоев. Лось и Гусев расстегнули полушубки, сдвинули на затылок шлемы. Холодный пот катился по их лицам. Электричество было потушено, и бледный свет проникал сквозь стекла глазков.

Преодолевая слабость и начавшееся головокружение, Лось опустился на колени и сквозь глазок глядел на уходящую землю. Она расстилалась огромной, без краев, вогнутой чашей,—голубовато-серая. Кое-где, точно острова, лежали на ней гряды облаков,—это был Атлантический океан.

Понемногу чаша суживалась, уходила вниз. Правый край ее начал светиться, как серебро, на другой находила тень. И вот, чаша уже казалась шаром, улетающим в бездну.

Гусев, прильнувший к другому глазку, сказал:

— Прощай, матушка, пожито на тебе, полито кровушки.

Он поднялся с колен, но, вдруг, зашатался, повалился на подушку. Рванул ворот:

— Помираю, Мстислав Сергеевич, мочи нет.

Лось чувствовал:—сердце бьется чаще, чаще, уже не бьется,—трепещет мучительно. Бьет кровь в виски. Темнеет свет.

Он пополз к счетчику. Стрелка стремительно поднималась, отмечая невероятную быстроту. Кончался слой воздуха. Уменьшалось притяжение. Компас показывал,—земля была—вертикально внизу. Аппарат, с каждой секундой наддавая скорость, с сумасшедшей быстротой вносился в мировое, ледяное пространство.

Лось, ломая ногти, едва расстегнул ворот полушубка,— сердце стало.

. . . .

Предвидя, что скорость аппарата и, стало быть, находящихся в нем тел, достигнет такого предела, когда наступит заметное изменение скорости биения сердца, обмена крови и соков, всего жизненного ритма тела,—предвидя это, Лось соединил счетчик скорости одного из жироскопов (их было два в аппарате) электрическими проводами с кранами баков, которые в нужную минуту должны выпустить большое количество кислорода и аммиачных солей.

Лось очнулся первым. Грудь резало, голова кружилась, сердце шумело,

как волчек. Мысли появились и исчезли,—необычайные, быстрые, ясные. Движения легки и точны.

Лось закрыл лишние краны в баках, взглянул на счетчик. Аппарат покрывал около пятисот верст в секунду. Было светло. В один из глазков входил прямой, ослепительный луч солнца. Под лучом, навзничь, лежал Гусев,—зубы оскалены, стеклянные глаза вышли из орбит.

Лось поднес ему к носу едкую соль. Гусев глубоко вздохнул, затрепетали веки. Лось обхватил его под мышками и сделал усилие приподнять, но тело Гусева повисло, как пузырь с воздухом. Он разжал руки,—Гусев медленно опустился на пол, вытянул ноги на воздух, поднял локти,—сидел как в воде, озирался:

— Вот штука то,—гляди—сейчас полечу.

Лось сказал ему—лезть, наблюдать в верхние глазки. Гусев встал, качнулся, примерился и полез по отвесной стене аппарата, как муха,—хватался за стеганую обивку. Прильнул к глазку:

— Темень, Мстислав Сергеевич, как есть ничего не видно.

Лось надел дымчатое стекло на окуляр, обращенный к солнцу. Четким очертанием, огромным, косматым клубком солнце висело в пустой темноте. С боков его, как крылья, были раскинуты две световые туманности. От плотного ядра отделился фонтан и расплылся грибом: это было, как раз, время, когда начали распадаться солнечные пятна. В отдалении от светлого ядра располагались, еще более бледные, чем зодиакальные крылья,—световые спирали: океаны огня, отброшенные от солнца и вращающиеся вокруг него, как спутники.

Лось с трудом оторвался от этого зрелища,—живоносного огня вселенной. Прикрыл окуляр колпачком. Стало темно. Он придвинулся к глазку, противоположному световой стороне. Здесь была тьма. Он повернул окуляр, и глаз укололся о зеленоватый луч звезды. Затем—снова тьма, и—новая точка звезды. Но вот, в глазок вошел голубой, ясный, сильный луч,—это был Сириус, небесный алмаз, первая звезда северного неба.

Лось пополз к третьему глазку. Повернул окуляр, взглянул, протер его носовым платком. Всмотрелся. Сжалось сердце, стали чувствительны волосы на голове.

Невдалеке, в тьме, плыли, совсем близко, неясные: туманные пятна. Гусев проговорил с тревогой:

— Какая-то штука летит рядом с нами.

Туманные пятна медленно уходили вниз, становились отчетливее, светлее. Побежали изломанные, серебристые линии, нити. И вот, стало проступать яркое очертание рваного края, скалистого гребня. Аппарат, видимо, сближался с каким-то небесным телом, вошел в его притяжение и, как спутник, начал поворачиваться вокруг него.

Дрожащей рукой Лось пошарил рычажки реостатов и повернул их до отказа, рискуя взорвать аппарат. Внутри, под ногами все заревело, затрепетало. Пятна и сияющие, рваные края быстрее стали уходить вниз. Освещенная поверхность увеличивалась, приближалась. Теперь уже ясно можно было

видеть резкие, длинные тени от скал,—они тянулись через оголенную; ле: ную равнину.

Аппарат летел к скалам,—они были совсем близко, залитые сбоку со: цем. Лось подумал (сознание было спокойное и ясное),—через секунду, аппарат не успеет повернуть к притягивающей его массе горлом,—через ‹ кунду—смерть.

В эту долю секунды Лось заметил на ледяной равнине, близ скал,· словно развалины города. Затем, аппарат скользнул над остриями л дяных пиков... но там, по ту их сторону,—был обрыв, бездна, тьма. Свер нули на рваном, отвесном обрыве жилы металлов. И осколок разбитой, нев домой планеты остался далеко позади,—продолжал свой мертвый путь вечности. Аппарат снова мчался среди пустыни черного неба.

Вдруг, Гусев крикнул:

— Вроде, как луна перед нами.

Он обернулся, отделился от стены, и повис в воздухе, раскорячился л: гушкой, и, ругаясь шопотом скверными словами, силился приплыть к стен Лось отделился от пола и, тоже повиснув, держась за трубку глазка,—гл: дел на серебристый. ослепительный диск Марса.

Спуск.

Серебристый, кое-где словно подернутый облачками, диск Марса за метно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов южного полюса Ниже его расстилалась изогнутая туманность. На востоке она доходила д: экватора, близ среднего меридиана—поднималась, огибая полого более свет лую поверхность и раздваивалась, образуя у западного края диска второй мыс.

По экватору были расположены, ясно видны,—пять темных точек, круг лых пятен. Они соединялись прямыми линиями, которые начертывали два равносторонних треугольника и третий—удлиненный. Подножие восточного треугольника было охвачено правильной дугой. От середины ее до крайней, западной точки шло второе полукружие. Несколько линий, точек и полукружий разбросано к западу и востоку от этой, экваториальной, группы. Северный полюс тонул во мгле.

Лось жадно вглядывался в эту сеть линий:—вот они, сводящие с ума астрономов, постоянно меняющиеся, геометрически правильные, непостигаемые каналы Марса. Лось различал теперь под этим четким рисунком вторую, едва проступающую, словно стертую, сеть линий. Он начал набрасывать примерный рисунок ее в записной книжке. Вдруг, диск Марса дрогнул и поплыл в окуляре глазка. Лось кинулся к реостатам:

— Попали, Алексей Иванович, притягиваемся, падаем.

Аппарат поворачивал горлом к планете. Лось уменьшил и совсем выключил двигатель. Перемена скорости была теперь менее болезненна. Но наступила тишина, настолько мучительная, что Гусев уткнулся лицом в руки, зажал уши.

Лось лежал на полу, наблюдая, как увеличивается, растет, становится все более выпуклым серебряный диск. Казалось,—из черной бездны он сам теперь летел на них.

Лось снова включил реостаты. Аппарат затрепетал, преодолевая тягу Марса. Скорость падения замедлилась. Марс закрывал теперь все небо. тускнел, края его выгибались чашей.

Последние секунды были страшными,—головокружительное падение. Марс закрыл все небо. Внезапно, стекла глазков запотели. Аппарат прорезывал облака над тусклой равниной, и, ревя и сотрясаясь, медленно теперь опускался.

— Садимся!—успел только крикнуть Лось и выключил двигатель. Сильным толчком его кинуло на стену, перевернуло. Аппарат грузно сел, и повалился на бок.

. . . .

Колени тряслись, руки дрожали, сердце замирало. Молча, поспешно Лось и Гусев приводили в порядок внутренность аппарата. Сквозь отверстие одного из глазков высунули наружу полуживую мышь, привезенную с земли. Мышь понемногу ожила, подняла нос, стала шевелить усами, умылась. Воздух был годен для жизни.

Тогда отвинтили входной люк. Лось облизнул губы, сказал еще глуховатым голосом:

— Ну, Алексей Иванович, с благополучным прибытием. Вылезаем.

Скинули валенки и полушубки. Гусев прицепил маузер к поясу (на всякий случай), усмехнулся и распахнул люк.

Марс.

Темно-синее, как море в грозу, ослепительное, бездонное небо увидели Гусев и Лось, вылезя из аппарата.

Пылающее, космагое солнце стояло высоко над Марсом. Такое солнце видывали в Петербурге, в мартовские, ясные дни, когда талым ветром вымыто все небо.

— Веселое у них солнце,—сказал Гусев и чихнул,—до того ярок был свет в густо-синей высоте. Покалывало грудь, стучала кровь в виски, но дышалось легко,—воздух был тонок и сух.

Аппарат лежал на оранжево-апельсиновой, плоской равнине. Горизонт кругом—близок, подать рукой. Почва сухая, потрескавшаяся. Повсюду на равнине стояли высокие кактусы, как семисвечники,—бросали резкие, лиловые тени. Подувал сухой ветерок.

Лось и Гусев долго озирались, потом пошли по равнине. Итти было необычайно легко, хотя ноги и вязли по щиколотку в рассыпающей почве. Огибая жирный высокий кактус, Лось протянул к нему руку. Растение, едва его коснулось, затрепетало, как под ветром, и бурые его, мясистые отростки потянулись к руке. Гусев пхнул сапогом ему под корень,—ах, погань,—кактус повалился, вонзая в песок колючки.

Шли около получаса. Перед глазами расстилалась все та же оранжевая равнина,—кактусы, лиловые тени, трещины в грунте. Когда повернули к югу и солнце стало сбоку,—Лось стал присматриваться,—словно что-то соображая,—вдруг остановился, присел, хлопнул себя по колену:

— Алексей Иванович, почва-то ведь вспаханная.

— Что вы?

Действительно, теперь ясно были видны широкие, полуобсыпавшиеся борозды пашни и правильные ряды кактусов. Через несколько шагов Гусев споткнулся о каменную плиту, в нее было ввернуто большое, бронзовое кольцо с обрывком каната. Лось шибко потер подбородок, глаза его блестели.

— Алексей Иванович, вы ничего не понимаете?

— Я вижу, что мы—в поле.

— А кольцо—зачем?

— Чорт их в душу знает, зачем они кольцо ввинтили.

А затем, чтобы привязывать бакен. Видите—ракушки. Мы—на дне канала.

Гусев приставил палец к ноздре, высморкался. Они повернули к западу и шли поперек борозд. Вдалеке над полем поднялась и летела, судорожно взмахивая крыльями, большая птица с висячим, как у осы, телом. Гусев приостановился, положил руку на револьвер. Но птица взмыла, сверкнув в густой синеве, и скрылась за близким горизонтом.

Кактусы становились выше, гуще, добротнее. Приходилось осторожно пробираться в их живой, колючей чаще. Из-под ног выбегали животные, похожие на каменных ящериц,—ярко оранжевые, с зубчатым хребтом. Несколько раз в гуще лапчатой заросли скользили, кидались в сторону, какие-то щетинистые клубки. Здесь шли осторожно.

Кактусы кончились у белого, как мел, покатого берега. Он был обложен, видимо, древними, тесаными плитами. В трещинах и между щелями кладки висели высохшие волокна мха. В одну из плит ввернуто такое же, как на поле, кольцо. Хребтатые ящерицы грелись на припеке.

Лось и Гусев взобрались по откосу наверх. Отсюда была видна холмистая равнина того же апельсинового, но более тусклого цвета. Кое-где разбросаны на ней кущи низкорослых, подобных горным соснам, деревьев. Кое-где белели груды камней, очертания развалин. Вдали, на северо-западе, поднималась лиловая гряда гор, острых и неровных, как застывшие языки пламени. На вершинах сверкал снег.

— Вернуться нам надо, поесть, передохнуть,—сказал Гусев,—умаемся,— тут, видимо, ни одной живой души нет.

Они стояли еще некоторое время. Равнина была пустынна и печальна,— сжималось сердце.—Да, заехали,—сказал Гусев.

Они спустились с откоса и пошли к аппарату, и долго блуждали, разыскивая его среди кактусов.

Вдруг Гусев стал:

— Вот он!

Привычной хваткой расстегнул кобур, вытащил револьвер:

— Эй,—закричал он,—кто там у аппарат, так вашу эдак! Стрелять буду.

— Кому кричите, Алексей Иванович?

— Видите—аппарат поблескивает.

— Вижу теперь, да.

— А вон—правее его—сидит.

Лось, наконец, увидел, и они, спотыкаясь, побежали к аппарату. Существо, сидевшее около аппарата, двинулось в сторону, запрыгало между кактусами, подскочило, раскинуло длинные, перепончатые крылья, с треском поднялось и, описав полукруг, взмыло над людьми. Это было то самое, что давеча они приняли за птицу. Гусев повел револьвером, ловчась срезать на лету крылатого зверя. Но Лось, вдруг, вышиб у него оружие крикнул:

— С ума сошел. Это человек!

Закинув голову, раскрыв рот, Гусев глядел на удивительное существо, описывающее круги в кубово-синем небе. Лось вынул носовой платок и помахал им птице.

— Мстислав Сергеевич, поосторожнее, как бы он в нас чем-нибудь не шарахнул оттуда.

— Спрячьте, говорю, револьвер.

Большая птица снижалась. Теперь ясно было видно человекообразное существо, сидящее в седле летательного аппарата. По пояс тело сидящего висело в воздухе. На уровне его плеч взмахивали два изогнутых, подвижных крыла. Под ними, впереди, крутился теневой диск,—видимо, воздушный винт. Позади седла—хвост с раскинутыми вилкой рулями. Весь аппарат—подвижен и гибок, как живое существо.

Вот, он нырнул и пошел у самой земли,—одно крыло вниз, другое—вверх. Показалась голова марсианина в шапке—яйцом, с длинным козырьком. На глазах—очки. Лицо—кирпичного цвета, узкое, сморщенное, с острым носом. Он разевал большой рот и кричал что-то. Часто, часто замахал крыльями, снизился, пробежал по земле, и соскочил с седла—шагах в тридцати от людей.

Марсианин был, как человек среднего роста,—одет в темную, широкую куртку. Сухие ноги его, выше колен, прикрыты плетеными гетрами. Он с сердцем стал указывать на поваленные кактусы. Но, когда Лось и Гусев двинулись к нему, он живо вскочил в седло, погрозил оттуда длинным пальцем, взлетел, почти без разбега, и сейчас же опять сел на землю, и продолжал кричать писклявым, тонким голосом, указывая на поломанные растения.

— Чудак, обижается,—сказал Гусев, и крикнул марсианину,—да плюнь ты на свои чортовы кактусы, будет тебе орать, тудыть твою в душу.

— Алексей Иванович, перестаньте ругаться, он не понимает по-русски. Сядьте, иначе он не подойдет.

Лось и Гусев сели на горячий грунт. Лось стал показывать, что хочет пить и есть. Гусев закурил папиросу, сплюнул. Марсианин некоторое время глядел на них, и кричать перестал, но все еще сердито грозил длинным, как

карандаш, пальцем. Затем, отвязал от седла мешок, кинул его в сторону людей, поднялся кругами на большую высоту, и быстро ушел на север, скрылся за горизонтом.

В мешке оказались две металлические коробки и плетеная фляжка с жидкостью. Гусев вскрыл коробки ножом,—в одной было сильно пахучее желе, в другой,—студенистые кусочки, похожие на рахат-лукум. Гусев понюхал:

— Тьфу, сволочи, что едят.

Он вытащил из аппарата корзину с провизией, набрал сухих обломков кактуса и запалил их. Поднялся легкой струйкой желтый дымок, кактусы тлели, но жара было много. Разогрели жестянку с солониной, разложили еду на чистом платочке. Ели жадно, только сейчас почувствовали нестерпимый голод.

Солнце стояло над головой, ветер утих, было жарко. По оранжевым кочкам прибежала ящерица. Гусев кинул ей кусочек сухаря. Она поднялась на передних лапах, подняла треугольную рогатую головку, и застыла, как каменная.

Лось попросил папироску и прилег, подперев щеку,—курил, усмехался.

— Алексей Иванович, знаете,—сколько времени мы не ели?

— Со вчерашнего вечера, Мстислав Сергеевич, перед отлетом, я картошки наелся.

— Не ели мы с вами, друг милый, двадцать три, или двадцать четыре дня.

— Сколько?—

— Вчера в Петербурге было 18 августа,—сказал Лось,—а сегодня в Петербурге 11 сентября: вот чудеса какие:

— Этого, вы мне голову оторвите, я не пойму, Мстислав Сергеевич.

— Да, этого и я хорошенько-то не понимаю—как это так. Вылетели мы в семь. Сейчас—видите—два часа дня. Девятнадцать часов тому назад мы покинули землю,—по этим часам. А по часам, которые остались у меня в мастерской—прошло около месяца. Вы замечали,—едете вы в поезде, спите, поезд останавливается, вы либо проснетесь от неприятного ощущения, либо во сне вас начинает томить. Это потому, что, когда вагон останавливается—во всем ваше теле происходит замедление скорости. Вы лежите в бегущем вагоне, и ваше сердце бьется и ваши часы идут скорее, чем если бы вы лежали в недвигающемся вагоне. Разница неуловимая, потому что скорости очень малы. Иное дело—наш перелет. Половину пути мы пролетели почти со скоростью света. Тут уже разница ощутима. Биение сердца, скорость хода часов, колебание частиц в клеточках тела—не изменились по отношению друг друга, покуда мы летели в безвоздушном пространстве:—мы составляли одно целое с аппаратом, все двигалось в одном с ним ритме. Но, если скорость аппарата превышала в пятьсот тысяч раз нормальную скорость движения тела на земле, то скорость биения моего сердца один удар в секунду,—если считать по часам, бывшим в аппарате,—увеличилась в пятьсот тысяч раз, то есть—мое сердце билось во время полета пятьсот тысяч ударов в секунду,

считая по часам, оставшимся в Петербурге. По биению моего сердца, по движению стрелки хронометра в моем кармане, по ощущению всего моего тела—мы прожили в пути десять часов сорок минут. И это на самом деле—были десять часов сорок минут. Но по биению сердца петербургского обывателя, по движению стрелки на часах Петропавловского собора—прошло со дня нашего отлета три с лишком недели. Впоследствии можно будет построить большой аппарат, снабдить его на полгода запасом пищи, кислорода и ультралиддита, и предлагать каким-нибудь чудакам:—вам не нравится жить в наше время,—войны, революции, мятежи—хаос. Хотите жить через сто лет? Для этого нужно только запастись терпением на полгода, посидеть в этой коробке, но зато—какая жизнь? Вы перескочите через столетие. И отправлять их со скоростью света на полгода в междузвездное пространство. Поскучают, обрастут бородой, вернутся, а на земле—золотой век. И школьники учат:—сто лет тому назад вся Европа была потрясена войнами и революциями. Столицы мира погибли в анархии. Никто ни во что и ничему не верил. Земля еще не видела подобных бедствий. Но вот, в каждой стране стало собираться ядро мужественных и суровых людей, они называли себя «Справедливыми». Они овладели властью, и стали строить мир на иных, новых законах—справедливости, милосердия и законности желания счастья,—это, в особенности, важно, Алексей Иванович:—счастье. А ведь все это так и будет, когда-нибудь.

Гусев охал, щелкал языком, много удивлялся:

— Мстислав Сергеевич, а как вы думаете насчет этого питья—мы не отравимся?—Он зубами вытащил из марсианской плетеной фляжки затычку, попробовал жидкость на язык, сплюнул:—пить можно.—Хлебнул, крякнул.—Вроде нашей мадеры, попробуйте.

Лось попробовал: жидкость была густая, сладковатая, с сильным запахом мускатного ореха. Пробуя, они выпили половину фляжки. По жилам пошло тепло и особенная, легкая сила. Голова же оставалась ясной.

Лось поднялся, потянулся, расправился: хорошо, легко, странно было ему под этим иным небом,—несбыточно, дивно. Будто он выкинут прибоем звездного океана,—заново рожден в неизведанную, новую жизнь.

Гусев отнес корзину с едой в аппарат, плотно завинтил люк, сдвинул картуз на самый затылок:

— Хорошо, Мстислав Сергеевич, не жалко, что поехали.

Решено было опять пойти к берегу и побродить до вечера по холмистой равнине. Весело переговариваясь, они пошли между кактусами, иногда перепрыгивали через них длинными, легкими прыжками. Камни набережного откоса скоро забелели сквозь заросль.

Вдруг, Лось стал. Холодок омерзения прошел по спине. В трех шагах, у самой земли, из-за жирных листьев глядели на него большие, как лошадиные, полуприкрытые рыжими веками глаза. Глядели пристально, с лютой злобой.

— Вы что?—спросил Гусев, и тоже увидел глаза. И, не размышляя, сейчас же выстрелил в них,—взлетела пыль. Глаза исчезли.

— Вон он!—Гусев повернулся и выстрелил еще раз в низко—по земле стремительно бегущее животное:—углами подняты восемь ног, бурое, ред полосое, жирное тело. Это был огромный паук, какие на земле водятся ли на дне моря. Он ушел в заросль.

Заброшенный дом.

От берега до ближайшей кущи деревьев Лось и Гусев шли по горелом бурому праху,—перепрыгивали через обсыпавшиеся, неширокие каналы, от бали высохшие прудки. Кое-где, в полузасыпанных руслах, из песка торча. ржавые ребра барок. Кое-где на мертвой, унылой равнине поблескивали выпу лые диски,—крышки. Пробовали их поднимать,—они оказались привинче ными. Отсвечивающие пятна этих дисков тянулись от зубчатых гор по хо. мам к древесным кущам, к развалинам.

Среди двух холмов стоял ближайший лесок: куща низкорослых, с раск дистыми, плоскими вершинами, бурых деревьев. Их ветви были корявы крепки, листва напоминала мелкий мох, стволы—жилистые и шишковаты На опушке, между деревьями, висели обрывы колючей сети.

Вошли в лесок. Гусев нагнулся и пхнул ногой,—из-под праха покатилс проломанный, человеческий череп, в зубах его блеснуло золото. Здесь был душно. Мшистые ветви бросали в безветренном зное скудную тень. Через не сколько шагов опять наткнулись на выпуклый диск,—он был привинчен основанию круглого, металлического колодца. В конце леска стояли жи лища:—это были развалины,—толстые, кирпичные стены, словно разорван ные взрывом, горы щебня, торчащие концы согнутых, металлических балок

— Дома взорваны, Мстислав Сергеевич, посмотрите,—сказал Гусев.— Тут у них, видимо, были дела, эти штуки мы знаем.

На куче мусора появился большой паук, и побежал вниз по рваному краю стены. Гусев выстрелил. Паук высоко подскочил и упал, перевернувшись. Сейчас же второй паук побежал из-за дома к деревьям, поднимая коричневую пыльцу, и ткнулся в колючую сеть, стал биться в ней, вытягивая ноги.

Из рощицы Гусев и Лось вышли на холм и стали спускаться ко второму леску, туда, где издалека виднелись кирпичные постройки и одно, выше других, каменное здание—с плоскими крышами. Между холмом и поселком лежало несколько дисков. Указывая на них, Лось сказал:

— По всей вероятности, это—колодцы подземных, электрических проводов. Но все это брошено. Весь край покинут.

Они перелезли через колючую сеть, пересекли лесок и подошли к широкому, мощенному плитами, двору. В глубине его, упираясь в рощу, стоял дом, необыкновенной и мрачной архитектуры. Гладкие его стены сужались кверху и заканчивались массивным карнизом из черно-кровяного камня. В гладких стенах—узкие, как щели, глубокие отверстия окон. Две квадратные, сужающиеся кверху, колонны из того же черно-кровяного камня поддерживали скульптурное перекрытие входа. Плоские, во всю ширину здания, ступени вели к низким, массивным дверям. Высохшие волокна ползучих расте-

ний висели между темными плитами стен. Дом напоминал гигантскую гробницу.

Гусев стал пробовать плечом дверь, окованную бронзой. Дверь подалась. Они минули темный вестибюль и вошли в многоугольную высокую залу. Свет проникал в нее сквозь забранные стеклом отверстия сводчатого купола. Зала была почти пуста. Несколько опрокинутых табуретов, стол с откинутой в одном углу мохнатой скатертью и блюдом с истлевшими остатками еды, несколько низких диванов у стен, на каменном полу—консервные жестянки, разбитые бутыли, какая-то, странной формы, машина, не то орудие—из дисков, шаров и металлической сети, стоящая близ дверей,—все было покрыто слоем пыли.

Пыльный свет с купола падал на желтоватые, точно мраморные, стены. Вверху они были опоясаны широкой полосой мозаики. Очевидно, она изображала древнейшие события истории, — борьбу желтокожих великанов с краснокожими:—морские волны с погруженной в них по пояс человеческой фигурой, та же фигура, летящая между звезд, затем,—картины битв, нападение хищных зверей, стада длинношерстных животных, гонимые пастухами, сцены быта, охоты, пляски, рождения и погребения,—мрачный пояс этой мозаики смыкался над дверьми изображением постройки гигантского цирка.

— Странно, странно,—повторял Лось, влезая на диваны, чтобы лучше рассмотреть мозаику,—Алексей Иванович, видите рисунок головы на щитах, понимаете, что это такое?

Гусев, тем временем, отыскал в стене едва приметную дверь,—она открывалась на внутреннюю лестницу, ведущую в широкий, сводчатый коридор, залитый пыльным светом. Вдоль стен и в нишах коридора стояли каменные и бронзовые фигуры, торсы, головы, маски, черепки ваз. Украшенные мрамором и бронзой порталы дверей вели отсюда во внутренние покои.

Гусев пошел заглядывать в боковые, низкие, затхлые, слабо освещенные комнаты. В одной был высохший бассейн, в нем валялся дохлый паук. В другой—вдребезги разбитое зеркало, закрывающее одну из стен, на полу—куча истлевшего тряпья, опрокинутая мебель, в шкафах—лохмотья одежд.

В третьей комнате, низкой, закутанной коврами, на возвышении, под высоким колодцем, откуда падал свет, стояла широкая кровать. С нее до половины свешивался скелет марсианина. Повсюду—следы жестокой борьбы. В углу, тычком, лежал второй скелет. Здесь среди мусора и тряпья Гусев отыскал несколько вещиц из чеканного, тяжелого металла,—видимо золота. Это были предметы женского обихода,—украшения, ларчики, флакончики. Он снял с истлевшей одежды скелета два, соединенные цепочкой, больших граненых камня, прозрачных и темных, как ночь. Добыча была не плоха.

Лось осматривал скульптуру в коридоре. Среди востроносых, каменных голов, изображений маленьких чудовищ, раскрашенных масок, склеенных ваз, странно напоминающих очертанием и рисунком древнейшие этрусские амфоры,—внимание его остановила большая, поясная статуя. Она изображала обнаженную женщину со всклокоченными волосами и свирепым, неправильным лицом. Острые груди ее торчали в стороны. Голову обхватывал зо-

лотой обруч из звезд, надо лбом он переходил в тонкую параболу,—внутри ее заключалось два шарика: рубиновый и красновато-кирпичный, глиняный. В чертах чувственного и властного лица было что-то волнующе знакомое, выплывающее из непостижимой памяти.

С боку статуи, в стене, темнела, небольшая ниша, забранная решеткой. Лось запустил пальцы сквозь прутья, но решетка не подалась. Он зажег спичку и увидел в нише, на истлевшей подушечке, золотую маску. Это было изображение широкоскулого, человеческого лица со спокойно закрытыми глазами. Лунообразный рот улыбался. Нос—острый, клювом. На лбу, между бровей,—припухлость в виде плоских пчелиных сот.

Лось сжег половину коробки спичек, с волнением рассматривая эту удивительную маску. Незадолго до отлета с земли он видел снимки подобных масок, открытых недавно среди развалин гигантских городов по берегам Нигера, в той части Африки, где теперь предполагают следы культуры исчезнувшей расы.

Одна из боковых дверей в коридоре была приоткрыта. Лось вошел в длинную, очень высокую комнату с хорами и каменной балюстрадой. Внизу и наверху — на хорах стояли плоские шкафы и тянулись полки, уставленные маленькими, толстыми книжечками. Украшенные тиснением и золотой чеканкой корешки их тянулись однообразными линиями вдоль серых стен. В шкафах стояли металлические цилиндрики, в иных—огромные, переплетенные в кожу или в дерево—книги. Со шкафов, с полок, из темных углов библиотеки глядели каменными глазами морщинистые, лысые головы ученых марсиан. По комнате расставлено несколько глубоких кресел, несколько ящичков на тонких ножках с приставленным с боку круглым экраном.

Затаив дыхание, Лось оглядывал эту, с запахом тления и плесени, сокровищницу, где молчала, закованная в книги, мудрость тысячелетий, пролетевших над Марсом.

На цыпочках он подошел к полке и стал раскрывать книги. Бумага их была зеленоватая, шрифт геометрического очертания, мягкой, коричневой окраски. Одну из книг, с чертежами под'емных машин, Лось сунул в карман, чтобы просмотреть на досуге. В металлических цилиндрах оказались вложенными желтоватые, звучащие под ногтем, как кость, валики, подобные валикам фонографа, но поверхность их была гладкая, как стекло. Один из таких валиков лежал на ящике с экраном, видимо приготовленный для заряжения и брошенный во время гибели дома.

Затем, Лось открыл черный шкаф, взял наугад одну из переплетенных в кожу, из'еденную червями, легкую, пухлую книгу и рукавом осторожно отер с нее пыль. Желтоватые, ветхие листы ее шли сверху вниз непрерывной, сложенной зигзагами, полосою. Эти, переходящие одна в другую, страницы были покрыты цветными треугольниками, величиною с ноготь. Они бежали слева направо и в обратном порядке неправильными линиями, то падая, то сплетаясь. Они менялись в очертании и цвете. Спустя несколько страниц между треугольниками появились цветные круги, меняющейся, как медузы, формы и окраски. Треугольники стали складываться в фигуры. Сплетения и

переливы цветов и форм этих треугольников, кругов, квадратов, сложных фигур бежали со страницы на страницу. Понемногу в ушах Лося начала наигрывать, едва уловимая, тончайшая, пронзительно печальная музыка.

Он закрыл книгу, прикрыл глаза рукой и долго стоял, прислонившись к книжным полкам, взволнованный и одурманенный никогда еще не испытанным очарованием:—поющая книга.

— Мстислав Сергеевич,—раскатисто по дому пронесся голос Гусева,—идите ка сюда, скорее.

Лось вышел в коридор. В конце его, в дверях, стоял Гусев, испуганно улыбаясь:

— Посмотрите-ка, что у них творится.

Он ввел Лося в узкую, полутемную комнату, в дальней стене было сделано большое, квадратное, матовое зеркало, перед ним стояло несколько табуретов и кресел.

— Видите—шарик висит на шнурке, думаю,—золотой, дай сорву, глядите, что получилось.

Гусев дернул за шарик. Зеркало озарилось, появились уступчатые очертания огромных домов, окна, сверкающие закатным солнцем, машущие ветви деревьев, глухой гул толпы наполнил темную комнату. По зеркалу, сверху вниз, закрывая очертания города, скользнула крылатая тень. Вдруг огненная вспышка озарила экран, резкий треск раздался под полом комнаты, туманное зеркало погасло.

— Короткое замыкание, провода перегорели,—сказал Гусев,—а ведь нам надо бы итти, Мстислав Сергеевич, ночь скоро.

Закат.

Раскинув узкие, туманные крылья, пылающее солнце клонилось к закату.

Лось и Гусев бежали по тускнеющей, теперь еще более пустынной и дикой равнине к берегу канала. Солнце быстро уходило за близкий край поля, и кануло. Ослепительно алое сияние разлилось на месте заката. Резкие лучи его озарили полнеба, и быстро, быстро покрывались серым пеплом,—гасли. Небо густо темнело.

В пепельном закате, низко над Марсом, встала большая, красная звезда. Она всходила, как гневный глаз. Несколько мгновений темнота была насыщена лишь ее мрачными лучами.

Но уже по всему непроглядному небу начали высыпать звезды, сияющие, зеленоватые созвездия,—ледяные лучи их кололи глаза. Мрачная звезда, восходя, разгоралась.

Добежав до берега, Лось остановился и, указывая рукой на красную звезду, сказал:

— Земля.

Гусев снял картуз, вытер пот со лба. Закинув голову, глядел на плыву-

щую между созвездиями далекую родину. Его лицо было печально и побледневшее.

Так, они долго стояли на белеющем в звездном свету древнем берегу канала.

Но вот, из-за темной и резкой черты горизонта появился светлый серп, меньше лунного, и стал подниматься над кактусовым полем. Длинные тени легли от лапчатых растений.

Гусев локтем толкнул Лося.

— Позади-то нас, поглядите.

Позади них над холмистой равниной, над рощами и развалинами, стоял второй спутник Марса. Круглый, желтоватый диск его, так же меньший луны, клонился за зубчатые горы. Отблескивали на холмах металлические диски.

— Ну и ночь,—прошептал Гусев,—как во сне.

Они осторожно спустились с берега в темные заросли кактусов. Из-под ног шарахнулась чья-то тень. Мохнатый клубок побежал по лунным пятнам. Заскрежетало. Пискнуло—пронзительно, нестерпимо тонко. Шевелились, поблескивающие в мертвом свету листья кактусов. Липла к лицу паутина, упругая, как сеть.

Вдруг, вкрадчивым, ужасным, раздирающим воем огласилась ночь. Оборвало. Все стихло. Гусев и Лось большими прыжками, содрогаясь от отвращения и ужаса бежали по полю, перескакивали через ожившие растения.

Наконец, в свету восходящего серпа блеснула стальная обшивка аппарата. Добежали. Присели, отпыхиваясь.

— Ну, нет, по ночам в эти паучиные места я не ходок,—сказал Гусев, отвинтил люк и полез в аппарат.

Лось еще медлил. Прислушивался, поглядывал. И вот, он увидел—между звезд черным фантастическим силуэтом плыла крылатая тень корабля.

Лось глядит на землю.

Тень воздушного корабля исчезла. Лось влез на обшивку аппарата, закурил трубочку и поглядывал на звезды. Тонкий холодок слегка знобил тело.

Внутри аппарата возился, бормотал Гусев, рассматривал, прятал найденные вещицы. Потом голова его высунулась из люка:

— Что вы ни говорите, Мстислав Сергеевич, а это все золото, а камушкам—цены нет. Эти вещи в Петербурге продать—десять вагонов денег. Вот дуреха-то моя обрадуется.

Голова скрылась, и вскоре он совсем затих. Счастливый был человек, Гусев.

Но Лось спать не мог,—сидел, помаргивал на звезды, посасывал трубочку. Чорт знает что такое! Откуда на Марс могли попасть африканские маски с этим отличительным, третьим глазом в виде сот в междубровной впадине? А мозаика? Погибающие в море, летящие между звезд великаны? Изображение головы сфинкса на щитах? А знак параболы:—рубиновый шарик,—земля и кирпичный,—Марс? Знак власти над двумя мирами. Непости-

жимо. А поющая книга? А странный город, появившийся в туманном зеркале? Затем,—почему весь этот край покинут, заброшен?

Лось выколотил трубку о каблук и снова набил ее табаком. Скорее бы настал день. Очевидно, что марсианин-летчик даст знать куда-нибудь в населенный центр. Быть может, их уже и сейчас разыскивают, и проплывший перед звездами корабль, именно, послан за ними.

Лось оглянул небо. Свет красноватой звезды-земли бледнел, она приближалась к зениту, лучик от нее шел в самое сердце.

Бессонной ночью, стоя в воротах сарая, Лось, точно так же, с холодной печалью глядел на восходивший Марс. Это было позапрошлой ночью. Лишь одна ночь отделяла его от земли, от мучительных теней. Но какая ночь!

Земля, земля, зеленая, то в облаках, то в прорывах света, пышная, многоводная, так расточительно жестокая к своим детям, политая горячей кровью, и—все же любимая,—родина...

Ледяным ужасом сжало мозг: Лось ясно увидел себя, сидящего среди чужой пустыни на железной коробке, как дьявол одинокого, покинутого Духом земли. Тысячелетия прошлого и тысячелетия грядущего—не одна ли это непрерывная жизнь одного тела, освобождающегося от хаоса? Быть может, этот красноватый шарик земли, плывущий в звездной пустыне,—лишь живое, плотское сердце великого Духа, раскинутого в тысячелетиях? Человек, эфемерида, пробуждающийся на мгновение к жизни, он—Лось, один, своей безумной волей оторвался от великого Духа, и вот, как унылый бес, презренный и проклятый, один сидит на пустыре.

Было от чего замерзнуть сердцу. Вот оно, вот оно—одиночество. Лось соскочил с аппарата и влез в люк, лег рядом с похрапывающим Гусевым. Так, стало легче. Этот простой человек не предал родины, прилетел за тридевять земель, на девятое небо, и только и смотрит, что бы ему захватить, привезти домой, Маше. Спит покойно, совесть чиста.

От тепла, от усталости Лось понемногу задремал. Во сне сошло на него утешение. Он увидел берег земной реки, березы, шумящие от ветра, облака, искры солнца и воде, и на той стороне кто-то в белом машет ему, зовет, манит.

Лося и Гусева разбудил сильный шум воздушных винтов.

Марсиане.

Ослепительно розовые гряды облаков, как жгуты пряжи, висевшей с востока на запад, покрывали утреннее небо. То появляясь в густо синих просветах, то исчезая за розовыми грядами, опускался, залитый солнцем, летучий корабль. Очертание его трехмачтового остова напоминало карфагенскую галеру. Три пары острых, гибких крыльев простирались с боков его.

Корабль прорезал облака, и, весь влажный, серебристый, сверкающий, повис над кактусами. На крайних его коротких мачтах мощно ревели вертикальные винты, не давая ему опуститься. С бортов откинулись лесенки, и корабль сел на них. Винты остановились.

По лесенкам вниз побежали щуплые фигуры марсиан. Они были в одинаковых, яйцевидных шлемах, в серебристых, широких куртках, с толстыми воротниками, закрывающими шею и низ лица. В руках у каждого было оружие, в виде короткого, с диском посредине, автоматического ружья.

Гусев, насупившись, стоял около аппарата. Держа руку на маузере, поглядывал, как марсиане выстроились в два ряда. Их ружья лежали дулом на согнутой руке.

— Оружие, сволочи, как бабы держат,—проворчал он. Лось стоял, сложив руки на груди, улыбаясь. Последним с корабля спустился марсианин, одетый в черный, падающий большими складками, халат. Открытая голова его была лысая, в шишках. Безбородое, узкое лицо—голубоватого цвета.

Увязая в рыхлой почве, он прошел мимо двойного ряда солдат. Выпуклые, светлые, ледяные глаза его остановились на Гусеве. Затем, он глядел только на Лося. Приблизился к людям, поднял крошечную руку в широком рукаве, и сказал тонким, стеклянным, медленным голосом птичье слово:

— Талцетл.

Еще более расширились его глаза, осветились холодным возбуждением. Он повторил птичье слово и повелительно указал на небо. Лось сказал:

— Земля.

— Земля,—с трудом повторил марсианин, поднял кожу на лбу. Шишки его потемнели. Гусев выставил ногу, кашлянул и сказал сердито:

— Из России, мы—русские. Мы, значит, к вам, здрасте,—он дотронулся до козырька,—мы вас не обижаем, вы нас не обижайте... Он, Мстислав Сергеевич, ни чорта по-нашему не понимает.

Голубоватое, умное лицо марсианина было неподвижно, лишь на покатом лбу его, между бровей, стало вздуваться от напряжения красноватое пятно. Легким движением руки он указал на солнце и проговорил знакомый звук, прозвучавший странно:

— Соацр.

Он указал на почву, развел руками, как бы обхватывая шар:

— Тӯма

Указал на одного из солдат, стоявших полукругом позади него, указал на Гусева, на себя, на Лося:

— Шо̀хо.

Так, он назвал словами несколько предметов, выслушал их значение на языке земли. Приблизился к Лосю и важно коснулся безымянным пальцем его лба, впадины между бровями. Лось нагнул голову в знак приветствия. Гусев, после того, как его коснулись, дернул на лоб козырек:

— Как с дикарями обращаются.

Марсианин подошел к аппарату и долго, со сдержанным удивлением, затем, поняв, видимо, его принцип,—с восхищением рассматривал огромное, стальное яйцо, покрытое коркой нагара. Вдруг, всплеснул руками, обернулся к солдатам и быстро, быстро стал говорить им, подняв к небу стиснутые руки.

— Аиу,—ответили солдаты завывающими голосами.

Он же положил ладонь на лоб, вздохнул глубоко,—овладел волнением и, повернувшись к Лосю, уже без холода, потемневшими, увлаженными глазами взглянул ему в глаза:

— Аиу,—сказал он,—аиу утара шóхо, дáциа тума ра гéо талцетл.

Вслед за этим он рукою закрыл глаза и поклонился низко. Выпрямился, подозвал солдата, взял у него узкий нож и стал царапать по обшивке аппарата: начертил яйцо, над ним крышу, сбоку—фигурку солдата. Гусев, смотревший ему через плечо, сказал:

— Предлагает кругом аппарата палатку поставить и охрану, только, Мстислав Сергеевич, как бы они у нас вещи не растаскали, люки-то без замков.

— Бросьте, в самом деле, дурака валять, Алексей Иванович.

— Так ведь там золото. А я с одним, вот с тем, солдатешком переглянулся,—рожа у него самая ненадежная.

Марсианин слушал этот разговор с вниманием и почтением. Лось знаками показал ему, что согласен оставить аппарат под охраной. Марсианин поднес к большому, тонкому рту свисток, свистнул. С корабля ответили таким же пронзительным свистом. Тогда марсианин стал высвистывать какие-то сигналы. На верхушке средней, более высокой, мачты поднялись, как волосы, отрезки тонких проволок, раздалось потрескиванье искр.

Марсианин указал Лосю и Гусеву на корабль. Солдаты придвинулись, стали кругом. Гусев оглянулся на них, усмехнулся криво, пошел к аппарату, вынул из него два мешка с бельишком и мелочами, крепко завинтил люк, и, указывая на него солдатам,—хлопнул по маузеру, погрозил пальцем, скосоротился ужасно. Марсиане с изумлением наблюдали за этими движениями.

— Ну, Алексей Иванович, пленники мы, или гости—податься нам некуда,—сказал Лось, засмеялся, вскинул мешок на плечо, и они пошли к кораблю.

На мачтах его с сильным шумом закрутились вертикальные винты. Крылья опустились. Завыли пропеллеры. Гости, быть может пленники, взошли по хрупкой лесенке на борт.

По ту сторону зубчатых гор.

Корабль летел невысоко над Марсом в северо-западном направлении. Лось и лысый марсианин остались на палубе. Гусев сошел во внутрь корабля к солдатам.

В светлой, соломенного цвета, рубке, он сел в плетеное кресло и некоторое время глядел на востроносых, щуплых солдатиков, помаргивающих, как птицы, рыжими глазами. Затем вынул жестяной, с тисненной на нем царь-пушкой, заветный портсигар,—с ним он семь лет не расставался на всех фронтах,—хлопнул по царь-пушке,—«покурим, товарищи»,—и предложил папирос.

Марсиане с испугом затрясли головами. Один, все-таки, взял папироску, рассмотрел, понюхал и спрятал в карман белых штанов. Когда же Гусев за-

курил, солдаты в величайшем страхе попятились от него, зашептали птичьими голосами:

— Шо̀хо та̀о ха̀вра, шо̀хо-ом.

Красноватые, востренькие лица их с ужасом следили, как «шохо» глотает дым. Но понемногу они принюхались и успокоились, и снова подсели к человеку.

Гусев, не особенно затрудняясь незнанием марсианского языка, стал рассказывать новым приятелям про Россию, про войну, революцию, про свои подвиги,—хвастался чрезвычайно:

— Гусев—это моя фамилия. Гусев—от гусей: здоровенные у нас такие птицы на земле, вы таких птиц сроду и не видали. А зовут меня—Алексей Иваныч. Я не только полком—я конной дивизией командовал. Страшный герой, ужасный. У меня тактика: пулеметы, не пулеметы,—шашки на голо,— «даешь, сукин сын, позицию».—И рубить. И я весь сам изрубленный, мне наплевать. У нас в военной академии даже особый курс читают: «Рубка Алексея Гусева», ей-Богу,—не верите? Корпус мне предлагали.—Гусев ногтем сдвинул картуз, почесал за ухом.—Надоело, нет, извините. Семь лет воевал, хоть кому очертеет. А тут Мстислав Сергеевич меня зовет, умоляет: «Алексей Иванович, без вас хоть на Марс не лети». Вот, значит,—здрасте. Так-то.

Марсиане слушали, дивились. Один принес фляжку с коричневой, мускатного цвета, жидкостью. Другой открыл консервы. Гусев вынул из мешка полбутылки спирту, захваченному с земли. Марсиане выпили и залопотали. Гусев стал целоваться, хлопал их по спинам, шумел. Потом начал вытаскивать из карманов разную дребедень,—предлагал меняться. Марсиане с радостью отдавали ему золотые вещицы за перочинный ножик, за огрызок карандаша, за удивительную, сделанную из ружейного патрона, зажигалку. Со всеми Гусев уж был на ты.

Тем временем Лось, облокотившись о решетчатый борт корабля, глядел на уплывающую внизу, унылую, холмистую равнину. Он узнал дом, где побывали вчера. Повсюду лежали такие же развалины, островки деревьев, тянулись высохшие каналы.

Указывая на эту пустыню, Лось изобразил недоумение,—почему целый край покинут и мертв? Выпуклые глаза лысого марсианина вдруг стали злыми. Он подал знак, и корабль поднялся, описал дугу и летел теперь к вершинам зубчатых гор.

Солнце взошло высоко, облака исчезли. Ревели пропеллеры, при поворотах и под'емах поскрипывали, двигались гибкие крылья, шумели вертикальные винты. Лось заметил, что кроме шума винтов и посвистыванья ветра в крыльях и прорезных мачтах—не было слышно иных звуков: машины работали бесшумно. Не было видно и самих машин. Лишь на оси каждого винта крутилась круглая коробка, подобная кожуху динамы, да на верхушках передней и задней мачт потрескивали две элиптические корзины из серебристой проволоки.

Лось спрашивал у марсианина название предметов и записывал их. Затем вынул из кармана давешнюю книжку с чертежами, прося указать звуки

геометрических букв. Марсианин с изумлением смотрел на эту книгу. Снова глаза его похолодели, тонкие губы скривились брезгливо. Он осторожно взял книгу из рук Лося и швырнул за борт.

От высоты, разреженного воздуха у Лося начало ломить грудь, слезами застилало глаза. Заметив это, марсианин дал знак снизиться. Корабль летел теперь над кроваво-красными, пустынными скалами. Извилистый и широкий горный хребет тянулся с юго-востока на северо-запад. Тень от корабля летела внизу по рваным обрывам, искрящимся жилами руд и металлов, по крутым склонам, поросшим лишаями, срывалась в туманные пропасти, покрывала тучкой сверкающие, как алмазы, ледяные пики, зеркальные глетчеры. Край был дик и безлюден.

— Лизиазира,—кивнув на горы, сказал марсианин,—оскалил мелкие, блеснувшие золотом, зубы.

Глядя вниз на эти скалы, так печально напоминившие ему мертвый пейзаж разбитой планеты, Лось увидел в пропасти на камнях опрокинутый корабельный остов, обломки серебристого металла были раскиданы кругом него. Далее, из-за гребня скалы поднималось сломанное крыло второго корабля. Направо, пронзенный гранитным пиком, висел третий, весь изуродованный, корабль. Повсюду, в этих местах, виднелись остатки огромных крыльев, разбитых остовов, торчащих ребер. Это было место битвы, казалось, демоны были повержены на эти бесплодные скалы.

Лось покосился на соседа. Марсианин сидел, придерживая халат у шеи, и спокойно глядел на небо. Навстречу кораблю летели длиннокрылые птицы, вытянувшись в линию. Вот, они взмыли, сверкнув желтыми крыльями в темной синеве, и повернули. Следя за их снижающимся полетом, Лось увидел черную воду круглого озера, глубоко лежащего между скал. Кудрявые кусты лепились по его берегам. Желтые птицы сели у воды. Озеро начало ходить зыбью, закипело и из средины его поднялась сильная струя воды, раскинулась и опала.

— Соам,—проговорил марсианин торжественно.

Горный хребет кончался. На северо-западе сквозь прозрачные, зыбкие волны зноя виднелась канареечно-желтая равнина, блестели большие воды. Марсианин протянул руку в направлении туманной, чудесной дали и с длинной улыбкой сказал:

— Азора.

Корабль слегка поднялся. Влажный, сладкий воздух шел в лицо, шумел в ушах. Азора расстилалась широкой, сияющей равниной. Прорезанная полноводными каналами, покрытая оранжевыми кущами растительности, веселыми, канареечными лугами, Азора, что означало—радость, походила на те цыплячьи, весенние луга, которые вспоминаются во сне, в далеком детстве.

По каналам плыли лодки и барки. По берегам разбросаны белые домики, узорные дорожки садов. Повсюду ползали фигурки марсиан. Иные снимались с плоской крыши и летучей мышью летели через воду, или за рощу. Крути-

лись ветряные диски на прозрачных башенках. Повсюду, в лугах, блестели лужи, сверкали ручьи. Чудесный был край Азора.

В конце равнины играла солнечная зыбь огромного, водного пространства, куда уходили извилистые линии всех каналов. Корабль летел в ту сторону, и Лось увидел, наконец, большой, прямой канал. Дальний берег его тонул во влажной мгле. Желтоватые, мутные воды его медленно текли вдоль каменного откоса.

Летели долго. И вот, в конце канала начал подниматься из воды ровный край стены, уходящей концами за горизонт. Стена вырастала. Теперь были видны огромные глыбы кладки, поросшей кустами и деревьями между щелями. Они подлетали к гигантскому цирку. Он был полон воды. Над поверхностью, во многих местах, поднимались пенными шапками фонтаны...

— Ро,—сказал марсианин, важно подняв палец.

Лось вытащил из кармана записную книжку, отыскал в ней, наспех, вчера набросанный, чертеж линий и точек на диске Марса. Рисунок он протянул соседу и указал вниз, на цирк. Марсианин всмотрелся, сморщившись, понял, радостно закивал и ногтем мизинца отчеркнул одну из точек на чертеже.

Перегнувшись через борт, Лось увидел расходящиеся от цирка две прямые и одну изогнутую линии наполненных водою каналов. Так вот она — тайна: круглые пятна на диске Марса были цирками — водными хранилищами, линии треугольников и полукружий — каналами. Но какие существа могли построить эти циклопическе стены? Лось оглянулся на своего спутника. Марсианин выпятил нижнюю губу, поднял разведенные руки к небу:

— Тао хацха уталицитл.

Корабль пересекал теперь выжженную равнину. На ней лежало розово-красной, весьма широкой, цветущей полосой безводное русло четвертого канала, покрытое, словно посевом, правильными рядами растительности. Видимо,—это была одна из линий второй сети каналов—бледного рисунка на диске Марса.

Равнина переходила в невысокие, мягкие холмы. За ними стали проступать голубоватые очертания решетчатых башен. На средней мачте корабля поднялись и защелкали искрами отрезки проволок. За холмами вставали все новые и новые очертания решетчатых башен, уступчатых зданий. Огромный город выступал серебристыми тенями из солнечной мглы. Марсианин сказал:

— Соацèра.

Соацера.

Голубоватые очертания Соацеры, уступы плоских крыш, решетчатые стены, покрытые зеленью, овальные зеркала прудов, прозрачные башни,— выходя из-за холмов, занимали все большее пространство, тонули за мглистым горизонтом. Множество черных точек летело над городом навстречу кораблю.

Цветущий канал ушел к северу. На восток от города расстилалось пустынное, покрытое кучами щебня, изрытое поле. У края этой пустыни, бросая резкую, длинную тень, возвышалась гигантская статуя человека,—потрескавшаяся, покрытая лишаями.

Каменный, обнаженный человек стоял во весь рост, ноги его были сдвинуты, руки прижаты к узким бедрам, рубчатый пояс подпирал выпуклую грудь, на солнце тускло мерцал его ушастый шлем, увенчанный острым гребнем, как рыбий хребет. Скуластое лицо с закрытыми глазами улыбалось лунообразным ртом.

— Магацитл,—сказал марсианин и указал на небо.

Вдали за статуей виднелись огромные развалины цирка, унылые очертания рухнувших арок акведука. Всматриваясь, Лось понял, что кучи щебня на равнине, ямы, холмы—были остатками древнейшего города. Новый город, Соацера, начинался за сверкающим озером, на запад от этих развалин.

Черные точки в небе приближались, увеличивались. Это были сотни марсиан, летевших навстречу в крылатых лодках и седлах, на парусиновых птицах, в корзинах с парашютами. Первой домчалась, описала крутой заворот и повисла над кораблем сияющая, золотая, четырехкрылая, как стрекоза, узкая сигара. С нее посыпались цветы, разноцветные бумажки на палубу корабля,—свешивались молодые, взволнованные лица.

Лось встал, держась за тросс, снял шлем,—ветер поднял его белые волосы. Из рубки вылез Гусев и стал рядом. Охапки цветов полетели на них из лодок. На голубоватых, то смуглых, то кирпичных, лицах подлетающих марсиан было неистовое возбуждение, восторг, ужас.

Теперь, над головой, спереди, с боков, вдогонку за медленно плывущим кораблем, летели сотни воздушных экипажей. Вот, скользнул, сверху вниз, в корзине под парашютом размахивающий руками толстяк в полосатом колпаке. Вот, мелькнуло бородатое лицо, глядящее в трубку. Вот, озабоченный, с развевающимися волосами, востроносый марсианин, вертясь перед кораблем на крылатом седле, наводил какой-то крутящийся ящичек на Лося. Вот, пронеслась, вся в цветах, плетеная лодка,—три женских, большеглазых, худеньких лица, голубые чепцы, голубые, летящие рукава, белые шарфы.

Пение винтов, шум ветра в крыльях, тонкие свистки, сверкание золота, пестрота одежд в воздушной синеве, внизу—пурпуровая, то серебристая, то канареечная листва парков, сверкающие отблесками солнца окна уступчатых домов,—все было, как сон. Кружилась голова. Гусев озирался, повторял шопотом:

— Гляди, гляди, эх ты...

Корабль проплыл над висячими садами и плавно опустился на большую, круглую площадь. Тотчас, посыпались, горохом с неба, сотни лодок, корзин, птичищ,—садились, шлепались на белые плиты площади. В улицах, расходящихся от нее звездою, шумели толпы народа, бежали, кидали цветы, бумажки, махали платочками.

Корабль сел у высокого и тяжелого, как пирамида, мрачного здания из

черно-красного камня. На широкой лестнице его, между квадратных, суженых кверху, колонн, доходивших только до трети высоты дома, стояла кучка марсиан. Они были все в черных халатах, в круглых шапочках. Это был, как Лось узнал впоследствии, Верховный Совет Инженеров,—высший орган управления всеми странами Марса.

Марсианин-спутник указал Лосю—ждать. Солдаты сбежали по лесенкам на площадь и окружили корабль, сдерживая напиравшие толпы. Гусев с восхищением глядел на пеструю от одежд, волнующуюся площадь, на вздымающееся над головами множество крыльев, на громады сероватых, или черно-красных зданий, на прозрачные, за крышами, очертания башен.

— Ну, город, вот это—город,—повторял он, притоптывая.

На лестнице марсиане в черных халатах раздвинулись. Появился высокий, сутулый марсианин, также одетый в черное, с длинным, мрачным лицом, с длинной, узкой, черной бородой. На круглой шапочке его дрожал золотой гребень, как рыбий хребет.

Сойдя до середины лестницы, опираясь на трость, он долго смотрел запавшими, темными глазами на пришельцев с земли. Глядел на него и Лось,—внимательно, настороженно.

— Дьявол, уставился,—шепнул Гусев. Обернулся к толпе и уже беспечно крикнул:—Здравствуйте, товарищи марсиане, мы к вам с приветом, принимайте гостей.

Толпа изумленно вздохнула, заропотала, зашумела, надвинулась. Мрачный марсианин захватил горстью бороду и перевел глаза на толпу, окинул тусклым взором площадь. И под его взглядом стало утихать взволнованное море голов. Он обернулся к стоявшим на лестнице, сказал несколько слов и, подняв трость, указал ею на корабль.

Тотчас к кораблю сбежал один из марсиан и тихо и быстро проговорил что-то нагнувшемуся к нему через борт лысому марсианину. Раздались сигнальные свистки, двое солдат взбежали на борт, завыли винты, и корабль, грузно отделившись от площади, поплыл над городом в северном направлении.

В лазоревой роще.

Солцера утонула далеко за холмами. Корабль летел над равниной. Кое-где виднелись однообразные линии построек, столбы и проволоки подвесных дорог, отверстия шахт, груженые шаланды, двигающиеся по узким каналам.

Но вот, из лесных кущ все чаще стали подниматься скалистые пики. Корабль снизился, пролетел над дымным ущельем и сел на луг, покато спускающийся к темным и пышным зарослям.

Лось и Гусев взяли мешки, и вместе с лысым их спутником пошли по лугу вниз, к роще.

Водяная пыль, бьющая из боковых отверстий переносных труб, играла радугами над сверкающей влагою, кудрявой травой. Стадо низкорослых,

длинношерстых животных, черных и белых, паслось по склону. Было мирно. Тихо шумела вода. Подувал ветерок.

Длинношерстые животные лениво поднимались, давая дорогу людям, и отходили, переваливаясь медвежьими лапами, оборачивали плоские, кроткие морды. Мальчик пастух, в длинной, красной рубахе, сидел на камне, подперев подбородок, и тоже лениво глядел на проходивших. Опустились на луг желтые птицы и распушились, отряхиваясь под радужным фонтаном воды. Вдали бродил на длинных ногах ярко зеленый журавль-меланхолик.

Подошли к роще. Пышные, плакучие деревья были лазурно-голубые. Смолистая, небесная листва шелестела мягко, шумели повисшие ветви. Сквозь пятнистые стволы играла вдали сияющая вода озера. Пряный, сладкий зной в этой голубой чаще кружил голову.

Рощу пересекало много тропинок, посыпанных оранжевым песком. На скрещении их, на круглых полянах, стояли старые, иные поломанные, в лишаях, большие статуи из песчаника. Над зарослями поднимались обломки колонн, остатки циклопической стены.

Дорожка загибала к озеру. Открылась его темно-синяя, зеркальная поверхность с опрокинутой вершиной далекой, скалистой горы. Чуть шевелились в воде отражения плакучих деревьев. Сияло пышное солнце. В излучине берега, с боков мшистой лестницы, спускающейся в озеро, сидели две огромные, человеческие статуи, потрескавшиеся, поросшие ползучей растительностью.

На ступенях лестницы появилась молодая женщина, выходившая из воды. Голову ее покрывал желтый, острый колпачок. Она казалась юношески тонкой,—бело-голубоватая, рядом с грузным очертанием, покрытого мхом, вечно улыбающегося сквозь сон, сидящего Магацитла. Вот, она поскользнулась, схватилась за каменный выступ, подняла голову.

— Аэлита,—прошептал марсианин, прикрыл глаза рукавом и потащил Лося и Гусева с дорожки в чащу.

Скоро они вышли на большую поляну. В глубине ее, в густой траве, стоял угрюмый, с покатыми стенами, серый дом. От звездообразной, песчаной площадки, перед его фасадом, прямые дорожки бежали через луг, вниз, к роще, где между деревьями виднелись кирпичные, низкие постройки.

Лысый марсианин свистнул. Из-за угла дома появился низенький, толстенький марсианин в полосатом халате. Багровое лицо его было точно натерто свеклой. Морщась от солнца, от подошел, но, услышав—кто такие приезжие, сейчас же приноровился удрать за угол. Лысый марсианин заговорил с ним повелительно, и толстяк, садясь на ноги от страха, оборачиваясь, показывая желтый зуб из беззубого рта,—повел гостей в дом.

Отдых.

Гостей отвели в светлые, маленькие, почти пустые комнаты, выходившие узкими окнами в парк. Стены столовой и спален были обтянуты соломенного цвета циновками. В углах стояли кадки с цветущими деревцами.

Гусев нашел помещение подходящим: «Вроде багажной корзины, очень славно».

Толстяк в полосатом халате, управляющий домом, суетился, лопотал, катался из двери в дверь, вытирал коричневым платком череп, и, время от времени, каменел, выкатывая на гостей склерозные глаза,—тайно устраивал пальцами рожки, огораживался.

Он напустил воду в бассейн и привел Лося и Гусева, каждого, в свою ванную,—со дна ее поднимались густые клубы пара. Прикосновение к безмерно уставшему телу горячей, пузырящейся, легкой воды, было так сладко, что Лось едва не заснул в мраморном бассейне. Управляющий вытащил его за руку.

Лось едва доплелся до столовой, где был накрыт стол множеством тарелочек с печеной рыбой, паштетами, птицей, крошечными яйцами, засахаренными фруктами. Хрустящие, величиной с орех, шарики хлеба таяли во рту.

Кушали крошечными лопаточками. Управляющий каменел, глядя, как люди с земли пожирают блюда деликатнейшей пищи. Гусев вошел в аппетит и лопаточку оставил, ел руками, похваливал. Особенно хорошо было вино,—белое, отдающее синевой, с запахом сырости и смородины. Оно испарялось во рту и огненным зноем текло по жилам.

Приведя гостей в спальни, управляющий долго еще хлопотал, подтыкая одеяла, подсовывая подушечки. Но уже крепкий и долгий сон овладел «белыми гигантами». «Они дышали и сопели так громко, что дрожали стекла, трепетали растения в углах, и кровати трещали под их не по-марсиански могучими телами».

Лось открыл глаза. Синеватый, искусственный свет лился с потолка, как из чаши. Было тепло и приятно лежать. «Что случилось? Где я лежу?». Но он так и не сделал усилия—вспомнить. «Боже, какая усталость»,—подумал он с наслаждением, и снова закрыл глаза.

Поплыли какие-то лучезарные пятна,—словно вода играла сквозь лазурную листву. Предчувствие изумительной радости, ожидание, что вот-вот из этих сияющих пятен что-то должно войти сейчас в его сон,—наполняло его чудесной тревогой.

Сквозь дрему, улыбаясь, он хмурил брови,—силился проникнуть за эту тонкую пелену скользящих, солнечных пятен. Но еще более глубокий сон прикрыл его облаком.

Лось скинул ноги с постели. Сел. Так, сидел некоторое время, опустив голову. Поднялся, дернул в бок толстую штору. За узким окном горели ледяным светом огромные звезды,—незнакомый их чертеж был странен и дик.

— Да, да, да,—проговорил Лось,—я не на земле. Земля осталась там.

Ледяная пустыня, бесконечное пространство. Уйти так далеко! Я—в новом мире. Ну, да: я же—мертв. Ведь я это знаю. Душа моя—там.

Он сел на кровать. Вонзил ногти в грудь, там—где сердце. Затем, лег ничком.

— Это ни жизнь, ни смерть. Живой мозг, живое тело. Но весь я—покинут, я—пуст. Вот он, вот он—ад.

Он закусил подушку, чтобы не закричать. Он сам не мог понять, почему вторую ночь его так невыносимо мучает тоска по земле, по самому себе, жившему там за звездами. Словно—оторвалась живая нить, и душа его задыхается в ледяной, черной пустоте.

— Кто здесь?

Лось вскочил. В окно бил луч утреннего света. Соломенная, маленькая комната была ослепительно чиста. Шумели листья, свистали птицы за окном. Лось провел рукой по глазам, глубоко вздохнул. Сердце было тревожно, но радостно.

В дверь опять легонько постучали. Лось распахнул дверь,—за нею стоял полосатый толстяк, придерживая обеими руками на животе охапку лазоревых, осыпанных росою, цветов:

— Аиу утара аэлита,—пропищал он, протягивая цветы.

Туманный шарик.

За утренней едой Гусев сказал:

— Мстислав Сергеевич, ведь это выходит не дело. Летели чорт ее знает какую даль, и, пожалуйте,—сиди в захолустье. В город они небось нас не пустили,—видели, как бородатый-то, черный, насупился. Ох, Мстислав Сергеевич, опасайтесь его. У меня в спальней его портрет висит. Пока нас поят, кормят, а потом что? Пить, есть, в ванных прохлаждаться—за этим, ведь, и лететь не стоило.

— А вы не торопитесь, Алексей Иванович,—сказал Лось, поглядывая на лазоревые цветы, пахнущие горьковато и сладко,—поживем, обсмотримся, увидят, что мы не опасны, пустят и в город.

— Не знаю, как вы, Мстислав Сергеевич, а я сюда не прохлаждаться приехал.

— Что же, по-вашему, мы должны предпринимать?

— Странно от вас это слышать, Мстислав Сергеевич, уж не нанюхались ли вы чего-нибудь сладкого.

— Ссориться хотите?

— Нет, не ссориться. А сидеть—цветы нюхать: этого и у нас на земле сколько в душу влезет. А я думаю,—если мы первые сюда заявились, то Марс теперь наш, русский. Это дело надо закрепить.

— Чудак вы, Алексей Иванович.

— А вот посмотрим, кто из нас чудак.—Гусев одернул ременный пояс, повел плечами, глаза его хитро прищурились.—Это дело трудное, я сам понимаю: нас только двое. А вот надо, чтобы они бумагу нам выдали о желании вступить в состав Российской Федеративной Республики. Спокойно эту бумагу нам не дадут, конечно, но вы сами видели: на Марсе, у них не все в порядке. Глаз у меня на это наметанный.

— Революцию, что ли, хотите устроить?

— Как сказать, Мстислав Сергеевич, там посмотрим.

— Нет, уж, пожалуйста, обойдитесь без революции, Алексей Иванович.

— Мне что революция, мне бумага нужна, Мстислав Сергеевич. С чем мы в Петербург-то вернемся? Паука, что ли, сушеного привезем? Нет, вернуться и пред'явить: пожалуйте документик о присоединении Марса. Это не то, что губернию, какую-нибудь, оттяпать у Польши,—целиком планету. Вот, в Европе тогда взовьются. Одного золота здесь, сами видите, кораблями вози. Так-то, Мстислав Сергеевич.

Лось задумчиво поглядывал на него: нельзя было понять—шутит Гусев, или говорит серьезно,—хитрые, простоватые глазки его посмеивались, но где-то пряталась в них сумасшединка. Лось покачал головой, и, трогая прозрачные, восковые, лазоревые лепестки больших цветов, сказал задумчиво:

— Мне не приходило в голову,—для чего я лечу на Марс. Лечу, чтобы прилететь. Были времена, когда мечтатели-конквистадоры снаряжали корабль и плыли искать новые земли. Из-за моря показывался неведомый берег, корабль входил в устье реки, капитан снимал широкополую шляпу и называл землю своим именем: великолепная минута. Затем, он грабил берега. Да, вы, пожалуй, правы: приплыть к берегу еще мало,—нужно нагрузить корабль сокровищами. Нам предстоит заглянуть в новый мир. Какие сокровища. Мудрость, мудрость,—вот что, Алексей Иванович, нужно вывезти на нашем корабле. А у вас все время руки чешутся,—это не хорошо.

— Трудно нам будет с вами сговориться, Мстислав Сергеевич. Не легкий вы человек.

Лось засмеялся:

— Нет, я тяжелый только для самого себя,—сговоримся, милый друг.

В дверь поскреблись. Слегка садясь на ноги от страха и почтения, появился управляющий и знаками попросил за собою следовать. Лось поспешно поднялся, провел ладонью по белым волосам. Гусев решительно закрутил усы—торчком. Гости пошли по коридорам и лесенкам в дальнюю часть дома.

Управляющий постучал в низенькую дверь. За ней раздался торопливый, точно детский, голос. Лось и Гусев вошли в длинную, белую комнату. Лучи света с танцующей в них пылью, падали сквозь потолочные окна на мозаичный пол, в котором отражались ровные ряды книг, бронзовые статуи, стоящие между плоскими шкафами, столики на тоненьких, острых ножках, облачные зеркала экранов.

Недалеко от двери, прислонившись к книжным полкам, стояла пепельноволосая, молодая женщина, в черном платье, закрытом от шеи до пола, до кистей рук. Над высоко поднятыми ее волосами танцовали пылинки в луче, упавшем, как меч, в золоченые переплеты книг. Это была та, кого вчера на озере марсианин назвал Аэлита.

Лось низко поклонился ей. Аэлита, не шевелясь, глядела на него огромными зрачками пепельных глаз. Ее бело-голубоватое, удлиненное лицо чуть-чуть все дрожало. Слегка приподнятый нос, слегка неправильный рот были по-детски нежны. Точно от под'ема на крутизну дышала ее грудь под черными и мягкими складками.

— Эллио утара гео,—легким, как музыка, нежным голосом, почти шопотом, проговорила она, и наклонила голову так низко, что стал виден ее затылок.

В ответ Лось только хрустнул пальцами. Сделав усилие, сказал, непонятно почему, напыщенно:

— Пришельцы с земли приветствуют тебя, Аэлита.

Сказал и покраснел. Гусев проговорил с достоинством:

— Позвольте познакомиться,—полковник Гусев, инженер — Мстислав Сергеевич Лось. Пришли поблагодарить вас за хлеб, за соль.

Выслушав человеческую речь, Аэлита подняла голову,—ее лицо стало спокойнее, зрачки—меньше. Она молча вытянула руку, обернула узенькую кисть руки ладонью кверху, и так держала ее некоторое время. Лосю и Гусеву стало казаться, что на ладони ее появился бледно-зеленый, беловатый шар. Аэлита быстро перевернула ладонь и пошла вдоль книжных полок в глубину библиотеки. Гости последовали за ней.

Теперь Лось рассмотрел, что Аэлита была ему по плечо, тонкая и легкая, как девочка. Подол ее широкого платья летел по зеркальной мозаике. Оборачиваясь, она улыбалась,—но глаза оставались взволнованными, холодноватыми.

Она указала на кожаную скамью, стоявшую в полукруглом расширении комнаты. Лось и Гусев сели. Сейчас же Аэлита присела напротив них у читального столика, положила на него локти и стала мягко и пристально глядеть на гостей.

Так они молчали небольшое время. Понемногу Лось начал чувствовать покой и сладость,—сидеть вот так и созерцать эту чудесную, странную девушку. Гусев вздохнул, сказал в полголоса:

— Хорошая барышня, очень приятная барышня.

Тогда Аэлита заговорила, точно дотронулась до музыкального инструмента,—так чудесен был ее голос. Строка за строкою повторяла она какие-то слова. Вздрагивала, поднималась у нее верхняя губа, смыкались пепельные ресницы. Лицо озарялось прелестью и радостью.

Она снова протянула перед собою руку, ладонью вверх. Почти тотчас же Лось и Гусев увидели в углублении ее ладони бело-зеленоватый, туманный шарик, с большое яблоко величиной. Внутри своей сферы он весь двигался и переливался.

Теперь оба гостя и Аэлита внимательно глядели на это облачное, опаловое яблоко. Вдруг, струи в нем остановились, проступили темные пятна. Вглядевшись, Лось вскрикнул: на ладони Аэлиты лежал земной шар.

— Талцетл,—сказала она, указывая на него пальцем.

Шар медленно начал крутиться. Проплыли очертания Америки, Тихоокеанский берег Азии. Гусев заволновался:

— Это—мы, мы—русские, это—наше,—сказал он, тыча ногтем в Сибирь. Извилистой тенью проплыла гряда Урала, ниточка нижнего течения Волги. Очертились берега Белого моря.

— Здесь,—сказал Лось и указал на Финский залив. Аэлита удивленно подняла на него глаза. Вращение шара остановилось. Лось сосредоточился, в памяти возник кусок географической карты,—и сейчас же, словно отпечаток его воображения, появились на поверхности туманного шара—черная клякса, расходящиеся от нее ниточки железных дорог, надпись на зеленоватом поле—«Петербург» и с боку — большая красная буква начала слова «Россия».

Аэлита всмотрелась и заслонила шар,—он теперь просвечивал сквозь ее пальцы. Взглянув на Лося, она покачала головой:

— Оцео хо суа,—сказала она, и он понял:—«Сосредоточьтесь и вспоминайте».

Тогда он стал вспоминать очертание Петербурга,—гранитную набережную, студеные, синие волны Невы, ныряющую в них лодочку с каким-то чахоточным чиновником, повиснувшие в тумане длинные арки Николаевского моста, густые дымы заводов, дымы и тучи тусклого заката, мокрую улицу, вывеску мелочной лавочки—«чай, сахар, кофе», старенького извозчика на углу.

Аэлита, подперев подбородок, тихо глядела на шар. В нем проплывали воспоминания Лося, то отчетливые, то, словно, сдвинутые, стертые. Выдвинулась колонада и тусклый купол Исаакиевского собора, и уже на месте его поступала гранитная лестница у воды, полукруг скамьи, печально сидящая какая-то барышня с зонтиком, а над нею—два сфинкса в тиарах. Поплыли колонки цифр, рисунок чертежа, появился пылающий горн, угрюмый Хохлов, раздувающий угли.

Долго глядела Аэлита на странную жизнь, проходящую перед ней в туманных струях шара. Но вот, изображения начали путаться: в них настойчиво вторгались какие-то, совсем иного очертания, картины,—полосы дыма, зарево, скачущие лошади, какие-то бегущие, падающие люди. Вот, заслоняя все, выплыло бородатое, залитое кровью, страшное лицо. Гусев шумно вздохнул. Аэлита с тревогой обернулась к нему, и сейчас же перевернула ладонь. Шар исчез.

Аэлита сидела несколько минут, облокотившись, закрыв рукою глаза. Встала, взяла с полки один из цилиндров, вынула из него костяной валик и вложила в читальный, с экраном, столик. Затем, она потянула за шнур, и верхние окна в библиотеке задернулись синими шторами. Она придвинула столик к скамье и повернула включатель.

Зеркало экрана осветилось, сверху вниз поплыли по нему фигурки марсиан, животных, дома, деревья, утварь. Аэлита называла каждую фигурку именем. Когда фигурки двигались и совмещались—она называла глагол. Иногда изображения перемежались цветными, как в поющей книге, знаками и раздавалась, едва уловимая, музыкальная фраза,—Аэлита называла понятие

Она говорила тихим голосом. Не спеша плыли изображения предметов этой странной азбуки. В тишине, в голубоватом сумраке библиотеки, глядели на Лося пепельные глаза, голос Аэлиты сильными и мягкими чарами проникал в сознание. Кружилась голова.

Лось чувствовал,—мозг его яснеет, будто поднимается туманная пелена, и новые слова и понятия отпечатлеваются в памяти. Так продолжалось долго. Аэлита провела рукой по лбу, вздохнула и погасила экран. Лось и Гусев сидели, как в тумане.

— Идите и лягте спать,—сказала Аэлита гостям на том языке, звуки которого были еще странными, но смысл уже сквозил во мгле сознания.

На лестнице.

Прошло семь дней.

Когда, впоследствии, Лось вспоминал это время, — оно представлялось ему синим сумраком, удивительным покоем, где на яву проходили вереницы чудесных сновидений.

Лось и Гусев просыпались рано поутру. После ванной и легкой еды шли в библиотеку. Внимательные, ласковые глаза Аэлиты встречали их на пороге. Она говорила почти уже понятные слова. Было чувство невыразимого покоя в тишине и полумраке этой комнаты. в тихих словах Аэлиты,—влага ее глаз переливалась, глаза раздвигались в сферу, и там шли сновидения. Бежали тени по экрану. Слова, вне воли, проникали в сознание.

Совершалось чудо: слова, сначала только только звуки, затем сквозящие, как из тумана, понятия,—понемногу наливались соком жизни. Теперь, когда Лось произносил имя—Аэлита—оно волновало его двойным чувством: печалью первого слога АЭ, что означало—«видимый в последний раз», и ощущением серебристого света—ЛИТА. что означало свет звезды. Так, язык нового мира тончайшей материей вливался в сознание, и оно тяжелело.

Семь дней продолжалось это обогащение. Уроки были—утром и после заката—до полуночи. Наконец. Аэлита. видимо, утомилась. На восьмой день гостей не пришли будить и они спали до вечера.

Когда Лось поднялся с постели,—в окно были видны длинные тени от деревьев. Хрустальным, однообразным голосом посвистывала какая-то птичка. Кружилась слегка голова. Было чувство переполненности неизлитой радостью. Лось быстро оделся и, не будя Гусева, пошел в библиотеку, но на стук никто не ответил. Тогда Лось вышел на двор, первый раз за эти семь дней.

Поляна полого опускалась к роще, к красноватым и низким постройкам. Туда, с унылым перевыванием, шло стадо неуклюжих, длинношерстых живот-

ных,—хаши,—полумедведей, полукоров. Косое солнце золотило кудрявую траву,— весь луг пылал влажным золотом. Пролетели на озеро изумрудные журавли. Вдали выступил, залитый закатом, снежный конус горной вершины. Здесь тоже был покой, чудесная печаль уходящего в мире и золоте дня.

Лось пошел к озеру по знакомой дорожке. Те же стояли с обеих сторон плакучие, лазурные деревья, те же увидел он развалины за пятнистыми стволами, тот же был воздух—тонкий, холодеющий. Но Лосю казалось, что только сейчас он увидел эту чудесную природу,—раскрылись глаза и уши, он узнал имена вещей.

Пылающими пятнами сквозило озеро сквозь ветви. Но, когда Лось подошел к воде,—солнце уже закатилось, огненные перья заката, языки легкого пламени побежали, охватили полнеба таким неистовым золотом, что сердце на минуту стало. Быстро, быстро огонь покрывался пеплом, небо очищалось. темнело, и вот уже зажглись звезды. Странный рисунок созвездий отразился в воде. В излучине озера, у лестницы, возвышались черными очертаниями два каменные гиганта, сторожа тысячелетий,—сидели, обращенные лицами к созвездиям.

Лось подошел к лестнице. Глаза еще не привыкли к быстро наступившей темноте. Он облокотился о подножие статуи и вдыхал сыроватую влагу озера,—горьковатый запах болотных цветов. Отражения звезд расплывались,—над водою закурился тончайший туман. А созвездия горели все ярче. и теперь ясно были видны заснувшие ветви, поблескивающие камушки и улыбающееся во сне лицо сидящего Магацитла.

Лось глядел и стоял так долго, покуда не затекла рука, лежавшая на камне. Тогда он отошел от статуи, и сейчас же увидел внизу, на лестнице, Аэлиту. Она сидела, опустив локти на колени, подперев подбородок.

— Аиу ту ира хасхе Аэлита,—проговорил Лось, с изумлением прислушиваясь к странным звукам своих слов. Он выговорил их, как на морозе, с трудом. Его желание,—могу ли я быть с вами, Аэлита?—само претворилось в эти чужие звуки.

Аэлита медленно обернула голову, сказала:—Да,—и снова опустила подбородок в стиснутые кисти рук. Лось сел рядом на ступень. Волосы Аэлиты были покрыты черным колпачком,—капюшоном плаща. Лицо хорошо различимо в свете звезд, но глаз не видно,—лишь большие тени в глазных впадинах.

Холодноватым голосом, спокойно, она спросила:

— Вы были счастливы там, на земле?

Лось ответил не сразу,—всматривался: ее лицо было неподвижно, рот печально сложен.

— Да,—ответил он, и почувствовал холодок в сердце,—да, я был счастлив.

— В чем счастье у вас на земле?

Лось опять всмотрелся. Опустил голову.

— Должно быть в том счастье у нас на земле, чтобы забыть самого себя

Тот счастлив, в ком—полнота, согласие, радость и жажда жить для того, кто дает эту полноту, согласие, радость.

Теперь Аэлита обернулась к нему. Стали видны ее огромные глаза, с изумлением глядящие на этого белоголосого великана, человека.

— Такое счастье приходит в любви к женщине,—сказал Лось. Аэлита отвернулась. Задрожал острый колпачок на ее голове. Не то она смеялась,—нет. Не то заплакала,—нет. Лось тревожно заворочался на мшистой ступени, потер переносицу. Аэлита сказала чуть дрогнувшим голосом:

— Зачем вы покинули землю?

— Та, кого я любил—умерла,—сказал Лось.—Жизнь для меня стала ужасна. Я остался один, сам с собой. Не было силы побороть отчаяние, не было охоты—жить. Нужно много мужества, чтобы жить, так на земле все отравлено ненавистью. Я—беглец и трус.

Аэлита выпростала руку из-под плаща и положила ее на большую руку Лося,—коснулась и снова убрала руку под плащ:

— Я знала, что в моей жизни произойдет это,—проговорила она, словно в раздумьи.—Еще девочкой я видела странные сны. Снились высокие, зеленые горы. Светлые, не наши, реки. Облака, облака, огромные, белые, и—дожди,—потоки воды. И люди—великаны. Я думала, что схожу с ума. Впоследствии мой учитель говорил, что это—АШХЕ, второе зрение. В нас, потомках Магацитлов, живет память об иной жизни, дремлет ашхе, как не проросшее зерно. Ашхе—страшная сила, великая мудрость. Но я не знаю что—счастье?

Аэлита выпростала из-под плаща обе руки, всплеснула ими, как ребенок. Колпачок ее опять задрожал:

— Уж много лет, по ночам, я прихожу на эту лестницу, гляжу на звезды. Я много знаю. Уверяю вас—я знаю такое, что вам никогда нельзя и не нужно знать. Но счастлива я была, когда в детстве снились облака, облака, потоки дождя, зеленые горы, великаны. Учитель предостерегал меня: он сказал, что я погибну.—Она обернула к Лосю лицо, и вдруг усмехнулась. Лосю стало жутко: так чудесно красива была Аэлита, такой опасный, горьковато-сладкий запах шел от воды, от плаща с капюшоном, от рук, от лица, от дыхания, от ее платья.

— Учитель сказал: «ХАО погубит тебя». Это слово означает нисхождение.

Аэлита отвернулась и надвинула колпачок плаща ниже, на глаза. После молчания Лось сказал:

— Аэлита, расскажите мне о вашем знании.

— Это тайна,—ответила она важно,—но вы человек, я должна буду вам рассказать многое.

Она подняла лицо. Большие созвездия, по обе стороны млечного пути, сияли и мерцали так, будто ветерок вечности проходил по их огням. Аэлита вздохнула:

— Слушайте,—сказала она,—слушайте меня внимательно и покойно.

(Окончание следует).

Демократическая контр-революция.

И. Майский.

(Продолжение.)

8. Типы русского социализма.

В противоположность германскому социализму, который родился и вырос в пролетарских низах, русский социализм на первых ступенях своего развития носил по преимуществу интеллигентский характер. Истоки всех трех больших социалистических партий, на протяжении последних двадцати лет действовавших на политической арене,—большевиков, меньшевиков и социалистов-революционеров,—одинаково восходят не к хижине рабочего, а к квартире интеллигентного «разночинца». Именно этот сравнительно немногочисленный слой людей, мелко-буржуазный по условиям своего экономического бытия и по своей психологии, первый в России воспринял идеи западного социализма и в течение известного периода играл роль «лейденской банки», заряженной большим запасом революционной энергии. Только в процессе дальнейшего развития, с середины 90-х г.г. прошлого столетия, произошла встреча социалистической интеллигенции с «народом» в лице, главным образом, городских рабочих масс, встреча, спаявшая социалистическую теорию с социалистической практикой и положившая начало тому мощному социалистическому движению, которое в лице своей большевистской ветви достигло таких беспримерных успехов в наши дни.

Если, таким образом, все три больших социалистических партии России вышли из одного и того же социального источника, то чем об'ясняется группировка интеллигентных «разночинцев» по трем различным лагерям?

Это очень интересный вопрос, на который до сих пор обращалось чрезвычайно мало внимания. Мне кажется, причин данного явления было несколько. Так, например, замечалось, что люди, своим прошлым или настоящим связанные с деревней, чаще шли к с.-р. в то время, как чистые горожане тяготели преимущественно к большевикам и меньшевикам. Точно так же наблюдалось, что выходцы из более привилегированных слоев интеллигенции чаще шли к народникам в то время, как дети ее менее привилегированных групп скорее попадали к марксистам. Отдельные представители буржуазии и дворянства, иногда забредавшие в социалистический лагерь, по общему правилу, легче ассимилировались с социалистами-революционерами, чем с со-

циал-демократами. Вообще связь с элементами более высокого социального порядка у эс-эров всегда была крепче, чем у эс-деков,—не даром в дореволюционные времена эс-эры не без основания считались самой богатой из всех социалистических партий.

Однако, на-ряду с указанными причинами, обусловливавшими распределение революционной интеллигенции по различным социалистическим лагерям, действовала еще одна и, на мой взгляд, самая существенная, это—темперамент, склад ума и характера каждого революционера. Мелкая буржуазия вообще отличается отсутствием ярко выраженного классового интереса,—оттого она так легко дробится на части под влиянием факторов второстепенного порядка. Особенно верно это по отношению к такой специфической группе мелкой буржуазии, как интеллигенция. Что ж удивительного, если личные свойства отдельного индивидуума играли крупную, даже решающую роль в выборе того или иного социалистического течения? Каждый естественно искал того, что было более созвучно его натуре.

И, действительно, в рядах революционной интеллигенции постепенно отслоились и сложились три различных типа: большевистский, меньшевистский и эс-эровский. Три типа настолько характерных и особенных, что нередко их можно было отличить даже по внешности. Я знал людей, которые по костюму, манерам, складу лица, интонации голоса безошибочно определяли партийную принадлежность собеседника.

Не вдаваясь в детали, можно утверждать, что с конца прошлого столетия вся русская революционная интеллигенция делилась на две основные группы: одна—рационалистического склада, у которой разум, сознание доминировали над чувством,—шла в лагерь марксизма, закладывая фундамент социал-демократического движения; другая—более эмоционального склада, в психологии которой крупную роль играли элементы чувства,—не удовлетворялась «узостью», «сухостью» и «доктринерством» марксизма и пополняла ряды народнического течения, нашедшего несколько позднее свое политическое выражение в лице партии социалистов-революционеров. В дальнейшем первая «рационалистическая» группа тоже разбилась на две части, но уже по признаку «активности»: все более активные и революционные представители марксистской интеллигенции ушли к большевикам, все более пассивные и умеренные элементы нашли себе убежище у меньшевиков. Так создались те три партийно-психологических типа, о которых я говорил выше. Подчеркиваю «партийно-п с и х о л о г и ч е с к и х», так как здесь меня интересует именно психологическая, а не идейная сторона вопроса.

Каждый из трех партийно-психологических типов имел свои особые характерные черты. Б о л ь ш е в и к и больше всего поражали своей необычайной революционной активностью. Это были люди действия прежде всего, часто резкие, грубые, бесцеремонные, но зато всегда смелые, самоотверженные и решительные. Большевики отличались исключительной цельностью натуры. Они,—что так редко встречается в жизни,—прекрасно умели сочетать революционную теорию с не менее революционной практикой. Внимание большевиков никогда не рассеивалось по сторонам, оно всегда было сконцен-

трировано на одном пункте. Это часто квалифицировалось, как узость. но это давало им огромную силу. Большевики действовали обычно в «ударном» порядке и потому очень часто побеждали своих политических и идейных противников даже тогда, когда сами находились в меньшинстве. Дисциплина, сплоченность, умелое руководство, чрезвычайная энергия наступления—вот те моменты, которые обеспечивали большевикам их успехи. Особенно хорошо все эти качества большевистской стратегии были известны меньшевикам, не раз испытавшим их сокрушительную силу на своих костях. В годы, непосредственно следовавшие за вторым с'ездом партии 1903 г., появилось немало карикатур на ту внутрипартийную борьбу—между большевиками и меньшевиками, которая тогда составляла главную злобу дня в лагере российской социал-демократии. Я помню в их числе картинку, изображавшую эту борьбу в виде инсценировки известной сказки «Как мыши кота хоронили», при чем роль кота играл Ленин, а роль мышей—Плеханов, Мартов, Мартынов и др. лидеры меньшевистского течения. Карикатура била не в бровь, а в глаз: она необыкновенно метко схватила как характеры действовавших лиц, так и самый тон их взаимоотношений.

Революционная активность удачно сочеталась в большевиках с ярко выраженной волей к власти и необыкновенной чуткостью к настроениям широких масс. Большевики никогда не боялись ответственности за обладание властью,—в собственной ли партии или в государстве при условии, что им будет обеспечено господствующее положение. Убеждение в правоте собственных взглядов всегда так глубоко переполняло большевиков, что исключало с их стороны всякие сомнения и колебания. При этом чутье масс у них было поразительное. Большевики раньше и крепче других социалистических течений сумели связаться с рабочими низами, при чем их сторонники всегда вербовались не столько из верхов, сколько из самой гущи пролетариата. Как люди с практической сметкой, они умели брать быка за рога и обыкновенно нащупывали в своей агитации такие пункты, на которые откликались самые широкие массы. Философствующие меньшевики с невольной завистью изумлялись необыкновенной ловкости большевиков в выборе выдвигаемых ими лозунгов: эти лозунги всегда были чрезвычайно ясны и просты, хорошо понятны массам и неизменно били в точку. Таких замечательных лозунгов большевики немало выбросили и на протяжении нынешней революции. Достаточно вспомнить хотя бы знаменитое «грабь награбленное», давшее могучий толчок той ломке старых социальных отношений, которая представляла важнейшую задачу революции в первый ее период. В тесной связи с тонко развитым чутьем масс стояла и большая политическая гибкость большевиков. Твердые и несгибаемые в теории, они обнаруживали вдумчивость и осторожность в тактике. Они всегда шли к одной и той же цели, но в выборе путей никогда не были доктринерами. Вместе с тем они никогда не позволяли тактике увлекать себя на путь слишком рискованных для партии экспериментов. Я помню, какую сенсацию в социалистических кругах вызвало решение большевиков участвовать в выборах в III Гос. Думу, после того как они бойкотировали выборы в I Думу и лишь на половину приняли участие в выборах во II Думу. Эс-эры бой-

котировали выборы в первые две Думы и остались при своем мнении и во время выборов в третью, а большевики послали в третью думу своих представителей. Тогда многим казалось, что эс-эры—истинные революционеры, а большевики—оппортунисты. Последствия, однако, показали, что большевики действительно служили революционному делу, а эс-эры лишь кокетничали революционными жестами. Пожалуй, не меньшую сенсацию в 1920 г. вызвало решение большевиков, этих страстных защитников советской системы, образовать дальне-восточную буферную республику, построенную на основах «демократической» конституции. А между тем, уже сейчас несомненно, что это решение сослужило серьезную службу социалистической революции.

Сильные и энергичные, способные понимать массы и руководить массами, умеющие властвовать и бороться за власть, большевики были созданы не для затхлой обстановки парламентской легальности, а для горячей атмосферы баррикад, восстаний, революций. Судьба оказала им величайшую милость: она дала им жить в эпоху одной из наиболее грандиозных бурь в истории человечества.

Полную противоположность большевикам представляли *меньшевики*. Связанные с большевиками общностью теоретического мировоззрения психологически, они представляли совсем иной тип людей. В меньшевиках совсем или почти совсем не было той концентрированной революционной активности, которая составляла такую отличительную черту большевиков. Меньшевики, были ученые книжники, которые прекрасно знали Маркса, но которые не умели устроить ни одной сколько-нибудь удачной партийной интриги. Это были люди кабинетного склада и культурно-политических устремлений, хорошие пропагандисты в рабочих кружках, значительно худшие агитаторы на массовых собраниях и уже совсем никуда не годные организаторы. В боевой обстановке меньшевики обычно выглядели как мокрые курицы. Зато дискуссии на отвлеченные темы умели вести как никто. Мне вспоминается такой случай. Дело происходило в 1907 г. Трое членов Петербургского Совета Рабочих Депутатов 1905 г. бежали с поселения из Обдорска. По условию, я встретил их на берегу Иртыша, верстах в десяти ниже Тобольска. Со мной был еще один спутник-меньшевик, вызвавшийся помогать мне в предстоящем предприятии. Приезжие валились с ног от усталости. Последние две ночи они не спали, так как торопились добраться в срок до Тобольска, плыть приходилось на лодке против течения, притом все время в крайне напряженном состоянии из боязни погони. Я развел костер, и мы устроили упрощенный походный ужин. Среди беглецов случайно оказались представители всех трех социалистических партий—большевик, меньшевик и эс-эр,—после ужина большевик и эс-эр тотчас повалились на прибрежный песок и заснули. А меньшевик... ну, что мог сделать меньшевик?.. Меньшевик, конечно, вступил в теоретический спор! Приехавший со мной товарищ в то время изучал Бем-Баверка. Случайно он упомянул о Бем-Баверке в разговоре за ужином,—этого было достаточно. Меньшевик, у которого глаза слипались от утомления, сейчас же вцепился мертвой хваткой в моего спутника, и пошла писать губерния. Они проспорили до утра и, вставая среди ночи

подложить валежнику в костер, я все время слышал горячие тирады о трудовой теории ценности и о теории предельной полезности. Так преданы были меньшевики прекрасной богине абстракции.

Зато практической жилки чутья действительности в них почти совершенно не было. Когда меньшевики выдвигали «лозунги»,—это было всегда нечто такое сложное, запутанное и неясное, что тотчас же требовало издания пространных и глубокомысленных комментариев. Впрочем, меньшевики больше любили оперировать не с «лозунгами», а с «кампаниями», и здесь их непреодолимое стремление к политическим мудрствованиям находило себе уже вполне безбрежное выражение. Вообще это были люди не практики, а теории—образованные, культурные, необыкновенно усидчивые, но мало пригодные для активной революционной борьбы. Не даром их последователи среди пролетариата вербовались, главным образом, из тоненького слоя рабочей интеллигенции, да притом еще почти исключительно среди печатников—этого наименее революционного отряда в мировом движении пролетариата. Меньшевистских рабочих обыкновенно постигала жестокая судьба: они как-то незаметно отрывались от массы и сами до такой степени «об'интеллигентивались», что становились хуже всякого интеллигента. Тесной связи с подлинными пролетарскими массами меньшевики никогда не имели, да, по правде сказать, они немножко боялись этих масс: они их плохо понимали, не умели с ними разговаривать и как-то терялись в их присутствии.

В соответствии с общим складом своей натуры меньшевики никогда не имели хорошей, сплоченной партийной организации. Дисциплина в их рядах всегда была слаба, идейные споры и разногласия весьма многочисленны; единство партийного действия редко достигалось; тактическое же руководство, по общему правилу, было так «тонко», что вся сеть политических построений партии обыкновенно «рвалась» в самый критический момент. Воли к власти у меньшевиков не было никакой, наоборот, была «идиосинкразия» к власти. Меньшевики были рождены для роли мирной социалистической оппозиции в каком-нибудь не очень демократическом парламенте (вроде старого прусского ландтага), где они симулировали бы революционность, с пафосом громя закрывшего собрание полицейского, но они совершенно не годились в кормчие государственного корабля, особенно в бурную погоду. Надо отдать меньшевикам справедливость, они никогда и не стремились занять место на капитанском мостике, они, напротив, старались бежать этого опасного места. Они все время смертельно боялись «ответственности», связанной с властью, и чувствовали себя воистину несчастными, когда обстоятельства вынуждали их принимать участие в правительстве. В эпоху Керенского я сотни раз слышал из уст ответственнейших меньшевиков, до Мартова и Церетели включительно, горькие жалобы на жестокую судьбу, сводившиеся в конечном счете к возгласу:

— Хоть бы кто-нибудь пришел и взял у нас власть! Поскорей бы освободиться от этого бремени!

Да и что удивительного? Меньшевики не любят жизни, они любят тео-

ретизировать о жизни. Мартову, этому характернейшему представителю меньшевистского психологического типа, весь мир рисуется в виде газетного листа, который должен быть заполнен меньшевистскими письменами. Писать статьи—об империализме, об угрозе новой войны, о голоде, об экономической разрухе—это его дело, но поднять руку для практической, действенной борьбы против бедствий настоящего и будущего... Организовать восстание пролетариата против капитала... Закупить хлеб в Америке для голодающих... Снабдить Донбасс продовольствием, а Урал—новыми прокатными машинами... Нет, это Мартова не интересует! Этого Мартов не станет делать. пусть это делает кто-нибудь другой! Мартов лучше сядет за стол и займется вычислениями, как можно совершить социалистическую революцию, не разбив при этом ни одного мелко-буржуазного носа.

Третий психологический тип в стане русского социализма представляют *социалисты-революционеры*. Они непохожи на первые два. Если большевики являются суровыми солдатами революции, а меньшевики—ее учеными бухгалтерами, то эс-эры всегда были и остались ее шумливыми и легкомысленными романтиками. Романтиками, которые на заре своей жизни грозились небо зажечь, а кончили тем, что свалились в гниющее болото реакции.

При встрече с эс-эрами в начале вы всегда испытывали очень приятное чувство. Хорошие люди, благородные стремления и притом масса активности,—чего же больше? Казалось, здесь именно формируются подлинные кадры революции, здесь растет и зреет полное веры и энергии ядро будущей освободительной армии. Среди эс-эров не было ни меньшевистского начетничества, ни большевистского «доктринерства», которое и человека-то за человека не считало, если он не был пролетарием. И это многих располагало в их пользу. А затем великие традиции: ведь именно эс-эры являлись наследниками героической эпохи народничества, ведь именно к ним перешли весь блеск и все обаяние, связанные с именами Лизогуба, Степняка, Перовской. Желябова, Фигнер и многих других. Словом, говоря словами поэта, у эс-эров:

И мантии блеск, и на шляпе перо,
И чувства — все было прекрасно!

Неудивительно, что в начале своего политического пути эс-эры пользовались большой популярностью в революционных кругах. Неудивительно, что они обладали огромной силой притяжения, в особенности для интеллигентной молодежи, такой падкой на все благородное, возвышенное, слегка скрытое дымкой романтической неясности.

Однако, при более близком знакомстве, это первое хорошее впечатление начинало портиться. Ибо вы очень скоро замечали, что основной чертой эс-эровского характера является ярко выраженная *эмоциональность*. И если в обиходе личной жизни это преобладание чувства над рассудком могло доставлять приятные моменты, то, наоборот, в области теории и практики революционной борьбы оно приносило только одни кислые плоды. Присматриваясь ближе к идеологии, тактике, организации эс-эров, вы неизменно открывали, как основную, повсюду красной нитью проходящую черту,—крайнюю

сумбурность, недисциплинированность мысли и действия, связанные притом с поразительной бесхарактерностью и даже трусостью.

Возьмем область теоретических воззрений. У большевиков и меньшевиков была стройная, цельная и глубоко продуманная программа, служившая становым хребтом всей их деятельности. А у эс-эров? У эс-эров такой программы никогда не было. Спросите, в самом деле, во что верит Виктор Чернов? Боюсь, что на этот вопрос будет очень трудно ответить не только в применении к настоящему времени, но и в применении к его более благополучному прошлому. Немножко Канта, немножко Маркса, немножко Маха, немножко Михайловского и Лаврова, немножко синдикализма, немножко отсебятины,—такова программа Виктора Чернова, а вместе с тем и программа эс-эровской партии. Конечно, курочка по зернышку клюет,—сыта бывает, однако, если и партия, и ее лидер в течение двух десятилетий способны удовлетворяться подобной идеологической окрошкой,—не свидетельствует ли это о том, что основной чертой их характера являются какие-то органические хаотичность, сумбурность, недисциплинированность?

Не иначе и в области приложения теории к практике. Марксисты всегда стояли на классовой точке зрения, они доказывали, что исторически единственным носителем идей социализма может считаться лишь пролетариат. И потому они строили политическую партию пролетариата, как основу всякого революционного движения в России. Эс-эры с этим не были согласны. Они упрекали марксистов в непростительных «узости» и «доктринерстве». По мнению эс-эров, пролетариат представлял слишком узкую базу для социалистического строительства. Дело надо было ставить шире, гораздо шире. К чему строгие классовые перегородки? К чему идеологические рогатки? Это лишь проявление недоверия к народу. Прийдите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я создам из вас армию социалистической революции!—примерно так думал и чувствовал настоящий эс-эр. В соответствии с этим, двери эс-эровской партии гостеприимно распахивались не только пред пролетариатом, но и пред «трудовой интеллигенцией» и пред «трудовым крестьянством». Пред последним в особенности. Эс-эры брались сочетать в единой политической организации все эти разнородные социальные элементы и притом сохранить неуклонную верность революционному социализму! Настоящая квадратура круга, но эс-эров это нисколько не смущало. Еще бы!

В 1917 г. все царские генералы записались в эс-эровскую партию, и Виктор Чернов даже не поморщился. Наоборот, эс-эры были довольны: вот, мол, какова неодолимая сила наших идей! Даже генеральские умы прошибает! Впрочем, почему же нет? Ведь, если разобрать хорошенько, генерал тоже служащий, т.-е. представитель «трудовой интеллигенции», а «трудовая интеллигенция»—один из социалистических классов. Стало быть, вступление генералов в партию ничего сомнительного из себя не представляет. Это вполне естественное и законное явление, а раз так, его надо приветствовать... Кто гонится сразу за тремя или более зайцами, тот рискует не поймать ни одного. Эта грубая народная поговорка полностью осуществилась на эс-эрах.

Какой социалистический класс представляет сейчас Виктор Чернов в берлинских кафе?

А в сфере организации? Эс-эровская партия существует около 20 лет, но в сущности она никогда не была настоящей партией. Какая партия! Всегда это был какой-то пестрый цыганский табор, в котором громко шумели люди самого различного племени и звания. Слишком широка была сеть, которую закидывали эс-эры, слишком неоднороден и улов. Единого мнения в партии никогда не существовало, всегда были течения, группы, подгруппы, кружки и, наконец, отдельные индивидуумы, которые рассуждали по принципу: партия—это я! Конечно, в каждой большой партии неизбежны разноречия во мнениях, без них вообще не может итти здоровое развитие партии, но то, что делалось у эс-эров, был настоящий разврат. Вспомним 1917 год,—группа «Воли Народа», с такими махровыми представителями, как Савинков и Авксентьев, черновский «центр», левые эс-эры... Разве мыслимо было их совместное существование под одной крышей? Конечно, нет. Это ясно было и в то время. А между тем все они оставались членами единой эс-эровской партии! Вспомним последующие годы,—группа «Народ», группа цекистов в России, группа цекистов за рубежом, Сибирский Крестьянский Союз, тамбовские повстанцы, заграничный Административный Центр... И опять-таки все в одной партии! Каждая группа недовольна соседней, каждая обвиняет другую в узурпации партийного имени, и все-таки не расходятся! Эс-эры с гордостью говорят о свободе мнений, господствующей у них в партии, о свободе, которая является матерью истины. Громкие слова!

Два десятилетия существует эс-эровская партия, а до сих пор никакой истины не открыла. Зато политической бестолковщины и неразберихи породила на целое столетие. И тут она остается верна себе. И тут, обычно, эс-эровские хаотичность, сумбурность, недисциплинированность, тесно связанные с расслаблением воли, с бесхарактерностью.

Но, несомненно, ярче всего типичные свойства эс-эровской натуры сказываются в области тактики. Это проявилось уже в самом выборе методов революционной борьбы. Марксисты говорили: мы признаем только такие методы борьбы, которые вовлекают в эту борьбу массу. Поэтому мы отвергаем террор против отдельных представителей власти, как специфически индивидуалистический способ борьбы. Это было ясно и последовательно, но именно поэтому эс-эрам и не нравилось. Помилуй бог, как просто! Никакой сложности, запутанности, хаотичности! Так эс-эры поступить не могут. И вот в соответствии с своей «интегральной» идеологией они начинают строить «интегральную» тактику. Они не могут быть столь «узкими», как марксисты. Они не могут из чисто «доктринерских» соображений отказаться от острого оружия борьбы против самодержавия, освященного кровью стольких героев революции... И затем следует вывод: эс-эры применяют все методы массовой борьбы, признаваемые марксистами—пропаганду, агитацию, стачки, демонстрации, восстания и т. д.,—а сверх того они применяют еще метод индивидуального террора, как средство дезорганизации противника и воодушевле-

ния масс. Этого требовала органическая сумбурность эс-эровской натуры и еще... их болезненная любовь к внешне-романтическим эффектам.

Но в тактике проявлялась не только эс-эровская сумбурность, в ней проявлялась также и эс-эровская бесхарактерность, переходящая нередко в простую трусость. В годы, предшествовавшие нынешней эпохе, как часто эс-эры нападали на меньшевиков за их «буржуазность» в оценке характера будущей революции! Меньшевики, как известно, считали, что пред революцией, неизбежность которой давно уже всеми ощущалась, стоят задачи превращения полу-феодальной царской монархии в буржуазно-демократическую республику, которая откроет широкую дорогу для развития капитализма и, таким образом, подготовит почву для грядущего социалистического переворота. Социалистические задачи предстоящей революции они отрицали, как вредные утопические мечтания. На этой точке зрения меньшевики остались и до сих пор. Эс-эры в прежние годы смеялись над меньшевиками и не без основания говорили:

— Разве можно предписывать революции правила хорошего поведения? Разве можно ограничивать ее задачи исключительно лишь буржуазными достижениями? Наоборот, есть все основания полагать, что ближайшая революция далеко выйдет за рамки буржуазных возможностей, что она явится если не социалистической, то во всяком случае полусоциалистической.

И тут обыкновенно эс-эры начинали развивать свои проекты социализации земли, осуществление которых, по их мнению, должно было составить важнейшую задачу надвигающейся революции. Отдельные представители эс-эров шли еще дальше и высказывались за установление диктатуры трудящихся и за немедленную социализацию фабрик и заводов. Вот один любопытный пример.

В декабре 1905 г., в самом начале московского восстания, когда по России пошел неизвестно кем пущенный слух о полной победе московских революционеров, Совет Рабочих Депутатов г. Саратова обсуждал вопрос о программе своих ближайших действий. Настроение было очень приподнятое и даже восторженное, час великого освобождения казался стоящим у ворот. Один из эс-эровских рабочих поднялся с места и горячо воскликнул:

— Товарищи! Я предлагаю немедленно итти к дворцу и арестовать Столыпина!

— Да, да,—раздалось со всех сторон,—пойдем и покончим с этим кровопийцем!

Столыпин, бывший в то время саратовским губернатором, жил в каменном двух'этажном особняке и день и ночь охранялся сотней казаков. У нас же не было ничего, кроме пары браунингов. Предложение было явно нелепо, и мне, присутствовавшему в Совете в качестве официального представителя с.-д. организации (в то время в Саратове раскола на большевиков и меньшевиков еще не произошло), сравнительно легко удалось убедить присутствовавших отказаться от немедленной попытки штурмовать губернаторский дворец. Решено было отложить дело до завтра, а пока принять ряд необходимых подготовительных мер. Вслед затем я поставил вопрос о том, что будет де-

лать Совет, если власть в городе перейдет в его руки. Завязались жаркие прения. В согласии с инструкцией, данной мне с.-д. организацией, я доказывал, что в этом случае Совет должен будет созвать на основе четырехчленной формулы городскую думу и передать ей захваченную им власть.

— Как,—с негодованием воскликнул один рабочий, считавшийся у нас меньшевиком,—снова отдать власть в руки разных толстосумов, капиталистов? Так для чего же мы боролись? Для чего кровь проливали?

Меньшевика шумно поддержали другие члены Совета. Никто не хотел менять Совет на городскую думу. Какой-то рабочий-анархист, бог весть откуда забредший на Волгу, вдруг вскочил с места и, пламенно жестикулируя, произнес горячую речь, в которой доказывал необходимость захвата и удержания власти самим Советом.

— Мы должны не только захватить власть,—воскликнул оратор, потрясая сжатыми кулаками,—мы должны использовать ее в интересах рабочих! Мы должны немедленно национализировать все находящиеся в городе фабрики и заводы и прогнать вон их теперешних владельцев. Да, я сознаю, что нам может быть не удастся удержаться, и что сила реакции нас, в конце концов, сомнет,—что ж? Пусть мы погибнем, но зато мы укажем путь грядущим поколениям!

Речь анархиста имела необыкновенный успех, ей восторженно аплодировали все рабочие без различия партийных оттенков и группировок. Положение мое, обязанного отстаивать данную мне организацией директиву, становилось все более трудным. Но совершенно критическим оно стало, когда выступил официальный представитель с.-р. в Совете А. И. Альтовский (тот самый, что недавно судился по эс-эровскому процессу) и полностью присоединился к голосам рабочих. Альтовский, подобно последним, требовал передачи власти Совету Рабочих Депутатов и настаивал на немедленном обобществлении фабрик и заводов. Эс-эровский оратор смеялся над «буржуазной умеренностью» с.-д. и, срывая шумные аплодисменты собрания, говорил о социалистических задачах революции.

Последующий ход событий, к сожалению, снял с очереди обсуждавшийся вопрос, но факт все-таки остается фактом: видный эс-эр еще в 1905 г. считал возможным ставить вопрос о социалистическом перевороте в плоскости практической политики сегодняшнего дня. И он был в то время не единственный

И вот пришла, наконец, так долго жданная и желанная революция. Пришла в грозе и буре мировой войны, пришла полная мощи и энтузиазма, невиданных в истории, и смело ударила мечом в самые основы капиталистического общества. Да, эта революция далеко вышла за пределы буржуазных достижений, она стала социалистической революцией!

Что же эс-эры? Приветствовали ее восторженными кликами? Бросили все свои силы и энергию на укрепление ее позиций? Поклялись защищать до последней капли крови ее завоевания?

Ничего подобного. Увидев грозный лик, так долго и настойчиво призываемой ими бури, эти высокопарные фразеры смертельно перетрусили и, за-

быв свои вчерашние слова, бросились вместе с помещиками, фабрикантами, генералами, офицерами и прочей черной сотней рвать зубами живое тело социалистической революции.

А вот другой пример. На протяжении минувших шести лет пред всеми социалистическими партиями не раз становился вопрос о власти,—как решали эс-эры этот вопрос? Вспомним факты. В течение всей эпохи Керенского, эс-эры повсюду в прессе, на митингах, на совещаниях и с'ездах не уставали воспевать «революционную демократию» и указывать на нее, как на единственную опору страны. Но когда в июле 1917 г. петроградский пролетариат предложил эс-эрам (и меньшевикам) установить господство «революционной демократии», что они сделали? Они в ужасе отпрянули назад. А когда двумя месяцами позже тот же вопрос был в упор поставлен на «Демократическом Совещании» в Петербурге, что сделал Виктор Чернов? Виктор Чернов воздерживался от голосования! То же самое было и в Самаре: не успели эс-эры здесь притти к власти, как им сделалось жутко от собственной смелости, и они стали тревожно оглядываться по сторонам в поисках за товарищами, которые согласились бы разделить с ними бремя «шапки Мономаха». Конечно, эс-эры не жалели при этом громких фраз—о благе народа, о государственной ответственности, о демократии, но кто же не знает, что Виктору Чернову слова даны для того, чтобы скрывать свои мысли? Просто в эс-эрах и на этот раз говорила обычная политическая трусость, всегда составлявшая одну из отличительнейших черт их характера.

Трусость и половинчатость—мать компромисса. Не того здорового компромисса, который, делая неизбежные уступки в путях и методах, никогда не уступает в преследуемых целях, а того гнилого компромисса, который есть компромисс ради компромисса, который не знает ни пределов, ни границ. Эс-эры всегда были и доныне остались подлинными виртуозами гнилого компромисса. Еще бы! Ведь связывать воедино ту идеологическую, тактическую, организационную и классовую окрошку, которая в сумме составляет эс-эровскую партию, можно было только с помощью перманентного компромисса, возведенного в принцип. Было где Чернову и К° научиться тонкой мудрости соглашательства! Они и научились, привыкнув не только внутрипартийные вопросы, но и все сложнейшие проблемы современности решать в плоскости гнилого компромисса, под флагом выеденного яйца. Постепенно у них сложилась своеобразная психика, не терпящая острых углов и прямых линий, везде ищущая чего-то среднего, округлого, неопределенно-бесцветного. Эс-эры органически не могут сказать: «да» или «нет». Они непременно скажут так, что выйдет «ни да, ни нет, а понимай как знаешь». Это делается даже тогда, когда собственно не вызывается обстоятельствами, делается просто так, по привычке, по принципу, в убеждении, что каши маслом не испортишь. И так как связь с пролетариатом у эс-эров была всегда очень слаба, и так как они никогда не имели сдерживающего момента в лице достаточно «доктринерской» программы, то надо ли удивляться, что эс-эровские компромиссы неизменно давали крен направо? Надо ли удивляться, что они подчас заходили слишком далеко? Так далеко, что в 1921 г. лидеры эс-эровской партии

оказались на службе у французской контр-разведки. Трусость и бесхарактерность эс-эров здесь дошли до своего логического конца.

Таковы три типа социализма, выработанных российской действительностью. История уже подвела некоторые итоги их работе и дала им оценку, как творческим силам человеческой эволюции. Достоинства и недостатки каждого типа особенно ярко выявлены эпохой революции, и мне здесь нет необходимости подробно останавливаться на данной теме.

Для меня достаточно будет указать, что Комитет членов Учредительного Собрания, как уже упоминалось выше, состоял, главным образом, из эс-эров и поддерживался меньшевиками. Этим сказано очень многое. Самый действенный и революционный тип русского социализма, тип, способный к борьбе за власть и к государственному строительству, в Самаре отсутствовал. Больше того, он вел против Комитета открытую войну. На сцене, в качестве носителей «демократической идеи» выступали люди эс-эровско-меньшевистского склада, т.-е. представители наиболее бесхарактерных, непрактичных и фантазерских элементов русского социализма. Комитет подобного состава едва ли справился бы с задачей создания демократической государственной власти даже при самых благоприятных внешних условиях. Тем не менее, на это можно было рассчитывать при тех внешних условиях, в которых фактически протекала работа Комитета. Обратимся теперь к ознакомлению с этими условиями.

9. Соотношение социальных сил.

С.-р. неоднократно пытались доказывать (в последний раз на недавнем процессе), что за Комитетом стояли широкие народные массы. Некоторые даже утверждали, что самый Комитет явился продуктом стихийного движения анти-большевистски настроенных рабочих и крестьянских низов. Из пред'идущего ясно, как мало соответствует истине это последнее утверждение. Но все-таки, стояли ли за Комитетом широкие народные массы?

Посмотрим, что говорят факты.

Обратимся сначала к городу. Как относился к Комитету фабрично-заводский пролетариат?

Я уже упоминал, что большевистский Совет Рабочих Депутатов тотчас по занятии Самары чехо-словацкими войсками был распущен. Однако, вскоре после переворота, была созвана обще-городская рабочая конференция, на которой присутствовали представители от всех промышленных, торговых и транспортных предприятий г. Самары. В это время сотни большевиков уже сидели в тюрьмах, большевистской прессы не существовало, свобода слова и собраний для большевиков была уничтожена. В руках с.-р. и меньшевиков находились все легальные средства воздействия на массы, и однако конференция, в подавляющем большинстве, оказалась анти-комитетской. Она не решилась, правда, открыто выкинуть коммунистического знамени, да это при господстве чехо-словаков в городе было невозможно, но она обнаружила свое враждебное к Комитету отношение настолько очевидно, что эс-эров-

ские и меньшевистские лидеры невольно хватались за голову. Уже знакомый нам член Учредительного Собрания Климушкин, в своей речи на митинге, посвященном истории самарского переворота, вполне определенно заявил: «Рабочие нас совершенно не поддержали». А Брушвит на том же митинге прибавил: «Поддержка нам была оказана только со стороны крестьян, небольшой кучки интеллигенции, офицерства и чиновничества. Все остальные стояли в стороне». Пролетариат, как видим, и здесь не упомянут. Его настроение сразу и очень резко определилось.

В начале августа был создан новый Совет Рабочих Депутатов, о котором упоминалось выше. Политическое руководство в нем принадлежало меньшевикам, однако руководители никак не могли совладать с руководимыми. Это выявилось в самом же начале работы нового учреждения при обсуждении вопроса о задачах Совета. Чувствуя враждебное настроение большинства делегатов, меньшевики, с помощью разных хитростей, пытались оттянуть принятие решения по столь кардинальному пункту. Однако наступил момент, когда оттягивать дольше было нельзя. Тогда случилось то, что было неизбежно, но что совсем не входило в расчеты Комитета: Совет Рабочих Депутатов в заседании 30 августа принял большевистскую резолюцию. Она гласила следующее:

«Принимая во внимание поход реакции, расчищающей дорогу военной диктатуре, Совет считает своим долгом для предотвращения ее провозгласить:

1. Всеобщее вооружение рабочих.

2. Снятие военного положения.

3. Немедленное прекращение политических арестов, расстрелов, самосудов и пр.

4. Немедленное освобождение из тюрьмы всех политических заключенных.

5. Отстаивание всех декретов, изданных Совнаркомом, как-то: 8-часовой рабочий день, контроль рабочих над производством, страхование от болезни, безработицы, инвалидности за счет предпринимателя и т. д.

6. Отстаивание постановления III Всероссийского С'езда Советов о земле.

7. Неприкосновенность личности и жилищ, свобода слова, печати, собраний, стачек, профессиональных союзов и партийных организаций.

Провозглашенные выше лозунги С. Р. Д. Самары будет отстаивать всеми имеющимися у него средствами».

Кажется, достаточно определенно. Не удивительно, что после принятия резолюции, меньшевики, стоявшие во главе Совета, пришли в полное смятение, а эс-эры (многие из них относились к возрождению Совета с большим опасением) набросились на меньшевиков, как на главных виновников всей этой «неудачной затеи».

Такое же настроение господствовало и среди профсоюзов. С пришествием Комитета, профсоюзы не исчезли. Как я уже указывал выше, Комитет оставил в силе все рабочее законодательство большевиков, впредь до пересмотра его новой властью. Остались в силе все старые коллективные дого-

юры, остались существовать и работать, правда, в иной роли, и профессиональные союзы. Я, с своей стороны, как управляющий ведомством труда, стремился всеми мерами обеспечить нормальную работу профсоюзов в том духе, как это понимается меньшевиками, и могу констатировать, что мои усилия не оставались безуспешными. Тем не менее, большинство профсоюзов относилось с самой нескрываемой враждебностью к Комитету. В правлениях профсоюзов почти везде работали большевики, скрывавшиеся под фирмой «интернационалистов» или беспартийных, на профессиональных собраниях вечно подымались вопросы о сидящих в тюрьме коммунистах и красноармейцах, в профессиональной прессе то-и-дело проскальзывали статьи, направленные против смертной казни, расстрелов, репрессий и т. п., и прямые и косвенные восхваления порядков, установленных в Советской России.

Непосредственные впечатления от столкновения с рабочей массой были не менее показательны. Каждый раз, как ко мне приходила депутация от рабочих, я переживал тяжелые минуты. Я чувствовал глухую стену, стоявшую между мной и моими собеседниками. Я ловил косые взгляды, недоверчивые улыбки, враждебный огонек, мелькавший в глубине глаз. Точно рабочие хотели сказать:

— Да, мы с тобою разговариваем потому, что нужда заставляет нас пока это делать. Но ты наш враг. Мы стоим по разные стороны баррикад.

Мне вспоминается одно мое выступление в Совете Рабочих Депутатов. Вскоре после приезда из Москвы я сделал, по просьбе меньшевиков, доклад о положении дел в Советской России. Я изображал хозяйственный развал, господствовавший по ту сторону фронта, рассказывал о восьмушке хлеба, выдаваемой в день московским рабочим, изображал большевистский террор, наполняющий тюрьмы тысячами арестованных, и призывал самарский пролетариат поддержать Комитет членов Учредительного Собрания, как власть, могущую создать царство истинной демократии. В течение всего моего доклада в зале «Триумфа», где заседал Совет, царило враждебно настороженное молчание. Когда я кончил, раздалось несколько жидких хлопков с «меньшевистских скамей». Вся остальная масса сидела насупившись, угрюмо глядя в землю. Вдруг из задних рядов чей-то громкий голос вызывающе крикнул:

— Не верим!

Этот возглас подействовал точно электрическая искра: внезапно обширный зал огласился бурными рукоплесканиями.

Вспоминается мне и еще одно большое рабочее собрание. Дело происходило в начале сентября, накануне издания закона о 8-часовом рабочем дне. Между рабочими железнодорожных мастерских и железнодорожной администрацией произошел конфликт по вопросу о заработной плате. Вопрос рассматривался в ведомстве труда, потом был вынесен на собрание заинтересованных рабочих. Оно состоялось в огромном корпусе мастерских, среди паровозов, вагонов и слесарных верстаков. Народу было очень много. Рабочие сидели, стояли и висели, на полу, на окнах, на колоннах, поддерживавших здание, на токарных станках, на под'емных кранах, густой массой заливая пронизанное солнечными брызгами пространство. Меньшевики-про-

фессионалисты изо всех сил старались побудить рабочих принять предлож ный ведомством труда компромисс. Рабочие шумно протестовали. В кон концов, пришлось выступить мне и категорически заявить, что на дальн шее повышение заработной платы Комитет не может пойти.

— У Комитета сейчас денег нет,—сказал я,—и вы, как сознательн граждане, должны понять это и не настаивать на осуществлении невыпол мых требований.

Едва я успел произнести эти слова, как из толпы рабочих раздал громкий возглас:

— Вот придут большевики,—деньги найдутся!

В ответ со всех сторон понеслось шумное:

— Верно, верно, найдутся!

И опять собрание огласилось бурными рукоплесканиями.

Итак, совершенно ясно, что пролетариат не стоял за Комитетом. Да что удивительного? Что мог предложить Комитет пролетариату? В лучше случае 8-часовой рабочий день, который у него уже был. А большевики да вали ему власть, власть в государстве, которая делала его *хозяином* стран всемогущим творцом ее жизни. Сравнение было слишком не в пользу Коми тета, и рабочие, естественно, мечтали о большевиках.

Справедливость требут признать, что отдельные группы последних, при мыкавшие к меньшевикам, поддерживали «власть демократии», но это был совершенно ничтожная величина. Насколько помню, в Самарской с.-д. орга низации того периода насчитывалось около 200 членов, из которых, во всяком случае, не менее половины было интеллигентов. Такое же положе ние господствовало и во всех других промышленных центрах «территории Учредительного Собрания». Рабочие массы Поволжья и Урала были против Комитета, они открыто стремились к восстановлению Советской власти.

Менее определенно было настроение крестьянства. Крестьянин по натуре анархичен. Он большой индивидуалист и очень не любит, когда кто-нибудь вмешивается в его дела, особенно, когда кто-нибудь пытается наложить руку на его хозяйство. Не подлежит сомнению, что продовольственная политика, проводившаяся Советской властью в 1918 году, вызывала не малое раздраже-ние в рядах деревенского населения. При том об'ективном положении, в ко-тором тогда находилась Рабоче-крестьянская республика, эта политика, мо-жет быть, и была неизбежна, но ее психологический эффект в сознании зе-мледельца от этого не менялся. Раздражение подчас принимало острые формы, чем ловко пользовались различные контр-революционные элементы. То там, то сям вспыхивали крестьянские восстания, шедшие под лозунгом: «Долой Со-ветскую власть!». Подобные настроения, несомненно, имелись и в районе Поволжья и, конечно, облегчили возможность появления Комитета. На-сколько знаю, однако, крестьянство особенной активности в этом отноше-нии не проявило. Еще до самарского переворота, эс-эрам кое-где удалось сформировать небольшие крестьянские дружины, не игравшие, впрочем, крупной роли при низвержении Советской власти в Самарской губернии.

После прихода чехо-словаков, кулацкие элементы деревни подняли голову, повсюду стали уничтожать советы и восстанавливать прежнее сельское управление. Однако сколько-нибудь значительного притока добровольцев в войска Комитета из крестьянской среды не наблюдалось, и так как вскоре после самарского переворота наступил период полевых работ, то деревня, забывши про политику, целиком погрузилась в свои хозяйственные дела. Крестьяне были довольны, что никто их не тревожит, и на первый взгляд могло казаться, что они глубоко сочувствуют власти Комитета.

Однако такое положение продолжалось недолго. 30-го июня Комитет об'явил призыв на военную службу родившихся в 1897 и 1898 годах, и это сразу испортило отношение между деревней и новой властью. Данное мероприятие было воспринято крестьянством, как покушение на свободу от всяких государственных повинностей, которая, казалось им, только что была завоевана. Деревня стала отказываться давать своих сыновей, Комитет вынужден был принимать репрессивные меры,—это, конечно, обостряло положение. И так как репрессии осуществлялись руками старых царских генералов и офицеров, то очень часто они принимали характер диких расправ и издевательств над беззащитным деревенским населением. Тем больше масла подливалось в огонь. До какой степени остроты доходила борьба, может свидетельствовать история убийства видного с.-р. Цодикова. Он был командирован в Бузулукский уезд для урегулирования вопроса о выдаче рекрутов. Явившись в одно из непокорных сел с отрядом солдат, Цодиков созвал сход и потребовал подчинения приказу Комитета. Внезапно из толпы крестьян раздался выстрел, и Цодиков упал, как подкошенный. Несмотря на присутствие военного отряда, крестьяне категорически отказались выдать стрелявшего, и убийца Цодикова так и остался неразысканным.

Чем дольше продолжалось господство Комитета, тем сильнее росло оппозиционное настроение в деревне. В середине сентября в Самаре происходил губернский крестьянский с'езд,—на нем положение эс-эров оказалось воистину критическим. Приехавшие делегаты не скрывали своего враждебного отношения к Комитету и в резких речах давали волю своему негодованию по поводу различных мероприятий новой власти. Я сам был раза два на заседаниях с'езда и видел, что ситуация становится определенно угрожающей. Эс-эровские руководители с'езда были в большом смущении. Многие боялись, чтобы крестьянский с'езд не вырвался так же из-под опеки эс-эров, как вырвался из-под опеки меньшевиков Совет Рабочих Депутатов. На счастье эс-эров, в самый трудный момент, в Самаре появился Виктор Чернов. Его, как тяжелое орудие, немедленно бросили в зал заседаний крестьянского с'езда. Маневр оказался удачным, и с.-р. небольшим большинством голосов удалось кое-как провести резолюцию поддержки Комитету членов Учредительного Собрания. Однако это была Пиррова победа. В рядах лидеров Комитета она вызывала лишь мрачные предчувствия в отношении будущего.

Как видим, и крестьянство не могло считаться опорой Комитета. В лучшем случае оно было нейтрально, чаще—враждебно новой власти.

Таким образом то, что принято называть народными массами, были не за, а против Комитета.

Но может быть Комитету сочувствовали имущие классы? Может быть его поддерживала буржуазия и те остатки поместного дворянства, которые еще имелись на-лицо?

Обратимся опять к фактам.

Самарский переворот буржуазия встретила с нескрываемым восторгом. Более дальновидные из ее политиков, с самого возникновения Комитета понимали, что господство «демократии» явится лишь переходною ступенью к господству черной сотни, которая собственно и являлась основной целью их стремлений. Однако, из тактических соображений, они считали необходимым до поры до времени скрывать свои истинные намерения под защитным цветом Учредительного Собрания. Широкая масса буржуазии рассуждала проще. Она ненавидела большевиков, которые поставили ее в положение гонимого класса, и готова была приветствовать низвержение Советской власти, откуда бы оно ни пришло. Так как это низвержение пришло со стороны чехо-словаков и эс-эров, то буржуазный обыватель на первых порах готов был целовать и тех и других. Действительно, в начале господства Комитета, городские имущие классы оказывали ему нескрываемую поддержку, что ярче всего проявлялось в ассигновании торгово-промышленниками значительных сумм на содержание армии и государственного аппарата Комитета. В тот период и политические представители буржуазии, в лице кадетской партии, дружески похлопывали эс-эров по плечу и обещали им вполне лойяльное отношение к новой власти. С своей стороны, Комитет принимал все меры к привлечению буржуазных элементов в правительство. Переговоры об этом велись как до моего приезда в Самару, так и во время моего там пребывания. Беда была только в том, что кадеты упрямились. Если в Самаре, таким образом, не состоялась «коалиция» направо, то вина в этом падает не на Комитет, а на буржуазию. Комитет-то, с своей стороны, сделал все возможное для достижения этой цели.

Однако именины буржуазного сердца продолжались недолго. Буржуазия, как класс, очень мстительна, она не прощает попрания своих прав. Она не забывает убытков, причиненных ей восстанием народных масс. Это доказано июньскими днями 1848 года в Париже, это доказано историей Коммуны, это доказано подавлением Венгерской и Финляндской революций в 1918 году. Буржуазия, напуганная призраком социального переворота, приходит в бешенство. Она теряет рассудок и в своем кровавом безумии часто действует во вред своим же собственным правильно понятым классовым интересам. Она требует военного диктатора тогда, когда в сущности для нее было бы выгоднее помириться на умеренной демократии. Но такова уж логика буржуазной психики.

Выше мы видели, что программа Комитета членов Учредительного Собрания была не чем иным, как программой буржуазной демократии. В рамках ее капитал совершенно свободно мог бы заниматься эксплоатацией труда и беспрепятственным накоплением прибылей и процентов. Выйдя из полосы

бурь, комитетская государственность, конечно, значительно поправела бы и в конечном счете дала бы политический режим, напоминающий режим Франции или Германии. За спиной у Комитета буржуазия могла бы жить, как у Христа за пазухой и, рассуждая здраво, она должна была бы употребить всю свою силу и влияние на укрепление его власти. Но толстосум, переживший унижения эпохи конфискаций и выселений 1918 года, жаждал мести и крови. «Демократический» Комитет его не удовлетворял, он хотел белого генерала, который стер бы с лица земли все «советы» и «комитеты» и покарал бы большевиков и сочувствующих большевикам вплоть до седьмого колена. Поэтому естественно, что, когда медовый месяц увлечения Комитетом прошел, буржуа стал ворчать и с каждым днем находить все больше недостатков в деятельности новой власти. Решающим моментом в переломе настроения имущих классов явилось, как уже упоминалось выше, постановление Комитета о созыве нового Совета Рабочих Депутатов в Самаре.

— Как, опять Совет?—раздраженно вопрошали люди торгово-промышленного и вообще капиталом владеющего класса.

Сторонники Комитета пытались им доказывать, что это будет «Федот, да не тот». Однако буржуа ничего не хотел слушать и огорченно восклицал:

— Стоило ли свергать большевиков для того, чтобы на их место посадить полу-большевиков?

Приблизительно с конца июля буржуазия «территории Учредительного Собрания» перешла в открытую оппозицию к Комитету. Ее пресса, в особенности самарский «Волжский День», повела бешеную атаку против власти Учредительного Собрания. Ее политические лидеры все чаще стали выступать на с'ездах и собраниях с резкой критикой «демократического» правительства.

В конце июня в Омске состоялся с'езд торгово-промышленников, на котором кадетский адвокат Жардецкий определенно поставил вопрос о военной диктатуре. С'езд согласился с ним и открыто выдвинул лозунг единоличной власти, как спасительницы России. В течение июля и августа эти черносотенно-монархические настроения, распространяясь с востока на запад, успели пустить прочные корни в кругах урало-поволжской буржуазии и к началу сентября выкристаллизовались в совершенно определенную черносотенную программу.

Как раз накануне уфимского государственного совещания, в Уфе происходил новый с'езд торгово-промышленников, на который явились 139 делегатов от Урала, Поволжья и Сибири. Первоначально, по замыслу инициаторов, этот с'езд должен был заседать в Самаре. Однако управляющий ведомством внутренних дел Климушкин, достаточно знакомый с политической ориентацией буржуазии, запретил его созыв на подведомственной Комитету территории. Тем не менее с'езд состоялся в Уфе, так как... уфимское военное командование, вопреки прямой воле центральной власти, гарантировало «купеческому совдепу» полную безопасность.

Уфимский с'езд состоялся и на нем буржуазия полностью открыла свое

лицо. Председатель с'езда казанский промышленник А. А. Кропоткин в приветственной речи заявил:

«Лица, участвовавшие в разрушении армии, в разрушении нашей родины (намек на с.-р. *И. М.*), не могут быть у власти, они должны быть устранены от нее. Теперь *другие руки* должны восстановить армию.

«Для того, чтобы сохранить Россию, нужна *сильная* власть с каменным сердцем и твердым разумом. Так как Россия воюет, так как фронт раскинут по всей России, не может быть в ней двух властей—должна быть единая власть—*военная*».

Не менее характерно было выступление на этом с'езде бывшего оберпрокурора Синода в правительстве Керенского, В. Н. Львова.

«Меня послали сюда,—заявил Львов,—тысячи мелких хуторян и крестьян-посевщиков, и это дает мне право говорить от имени демократии. Не той демократии, которая в течение нашей революции свои идеи видела только в том, что отнимала имущества других, но той, которая приобрела свое достояние кровным трудом и хочет сохранить его. Эта демократия есть истинный народ.

«Социалисты обманули народ. Они вовлекли его в величайшие несчастья. Народу, который тяготится общиной и гибнет от нее, они навязали социализацию. Ради чуждых народу идей Маркса и Энгельса, социалисты погубили страну. Ради идей Интернационала Россия была принесена в жертву».

Обрушившись далее на с.-р., как на главных виновников постигших Россию «несчастий», Львов продолжал:

«Нужно вернуться на старый проторенный и верный путь. В строительстве государственности мы должны положить основным принципом право собственности. И необходимо, чтобы каждый воин, идя в бой, знал, что идет защищать свой домашний очаг, *свое имущество*. Но это может сделать не мечущаяся власть, которая сегодня гонит большевиков, а завтра готова звать их обратно. Если социалисты заявляют нам, что они одни справиться с государственным строительством не могут и ищут нашей помощи, то государственная мудрость торгово-промышленников должна им ответить: *освободите ваши места, мы справимся и без вас!* Необходима твердая единая власть. Такой властью может быть только власть *военного диктатора*».

После целого ряда речей подобного же рода, с'езд вынес следующую красноречивую резолюцию о власти:

«Во имя спасения России, восстановления ее чести, единства и возрождения ее экономического благосостояния, все военное и гражданское управление должно быть об'единено в лице верховного главнокомандующего, обладающего полнотой власти и ответственного только перед будущим Учредительным Собранием нового созыва, которое должно быть созвано не позднее одного года со дня заключения всеобщего мира.

«Первейшей задачей этой власти является воссоздание армии мощной, способной встать на защиту родины, воссоздать Российскую державу в ее законных границах и оградить ее от всякого посягательства на ее самостоятельность и государственность.

«Для создания армии необходим простор личного творчества, а это возможно лишь при уверенности для всякого гражданина, что личность его будет уважаема, а плоды трудов и его собственность обеспечена от захватов и насилий» [1]).

И резолюция и речи настолько определенны, что не требуют каких-либо дальнейших комментарий.

Наконец, для того, чтобы получить представление о политических настроениях, господствовавших в тот период среди остатков помещичьего класса, достаточно будет процитировать резолюцию «Союза земельных собственников Оренбургской губернии», принятую им накануне того же уфимского государственного совещания. В названной резолюции между прочим говорится:

«Необходимо немедленно и определенно указать населению, что страна управляется на точном основании законов бывшей Российской империи до февральской революции 1917 года...

«По установлении порядка в стране Всероссийское Учредительное Собрание должно быть переизбрано и выбрано на началах, в полной мере обеспечивающих нормальное отражение русской действительности по интеллекту, правопорядку и хозяйственности...

«Впредь до Всероссийского Учредительного Собрания необходимо восстановление цензового земства, как отражение воли хозяйственного большинства населения Оренбургской губернии» [2]).

Как видим, имущие классы были также против Комитета. С Комитетом произошла история, которая всегда случается с теми, кто садится между двумя стульями: им были недовольны и слева и справа. Для рабочих он был недостаточно революционен, для буржуазии он был недостаточно черносотен. В результате для Комитета создавалось воистину трагическое положение: ни один из социально-мощных классов не поддерживал его, наоборот, все они выступали его противниками.

Сочувствовала Комитету только городская интеллигенция, да небольшие группы рабочих и крестьян, примыкавшие к меньшевистской и эс-эровской партиям, но это была слишком узкая база и держаться на ней долго, конечно, было невозможно. Вся беспочвенность Комитета была ярко демонстрирована результатом выборов в городские думы, происходивших в августе и сентябре месяце на «территории Учредительного Собрания».

В Самаре, где выборы происходили в середине августа, т.-е. в момент наивысшего расцвета власти Комитета (7-го августа была взята Казань), социалистическому блоку, включавшему в себя, главным образом, с.-р. и меньшевиков, удалось собрать около половины всех поданных голосов. Точные цифры таковы: из 40.837 голосовавших за социалистов подали бюллетени 19.191. Если принять при этом во внимание, что абсентеизм был громадный

---

[1]) Отчет о съезде торгово-промышленников см. в уфимском „Голосе Рабочего“ от 10 сентября 1918 г.

[2]) „Голос Рабочего“ от 1 сентября 1918 г.

(в Самаре. всего числилось 120.000 избирателей), то станет совершенно очевидным, как слабо было влияние Комитета даже в «столице Учредительного Собрания». В Оренбурге социалисты собрали 14.000 голосов из поданных 26.000—это было сравнительно прилично. В Уфе дело сложилось уже гораздо хуже,—здесь из 98 гласных Городской Думы на долю с.-р. и меньшевиков приходилось только 31, а в Симбирске из 65 гласных думы к социалистам примыкали только 20. Аналогичная картина была и в большинстве других городов.

Ясно, что Комитет, не имея нигде прочной опоры, в сущности висел в воздухе. Надо ли при таких условиях удивляться, что, не располагая ни твердостью характера, ни, что особенно важно,—реальной силой, он не был в состоянии осуществить на практике даже ту скромную програму буржуазной демократии, которая была написана на его знамени?

10. Армия.

Бессилие Комитета осуществлять на практике свою демократическую програму прежде всего сказалось в области военного дела.

Проблема взаимоотношений между государственною властью и армией принадлежит, несомненно, к числу труднейших проблем всех времен и народов. Теоретически армия должна быть лишь орудием государства, практически же армия во всех странах сильно развитого милитаризма всегда являлась чем-то гораздо бо́льшим. чем простой инструмент исполнительной власти. Армия, держащая в своих руках в наиболее непосредственном смысле силу принуждения, слишком часто из слуги государства превращалась в господина над государством и, если обнаруживала притом достаточные гибкость и благоразумие, на долгие годы и десятилетия закрепляла за собой свое привилегированное положение. Достаточно вспомнить хотя бы ту роль, которую милитаризм играл в старой императорской Германии, или ту роль, которую он сейчас играет во Франции. Повторяю, проблема взаимоотношений между государством и армией вообще очень трудна, но труднее всего она становится в моменты острой гражданской войны, когда все вопросы политики, в сущности, сводятся к вопросам штыка.

В 1918 году для каждого из существовавших тогда в России правительств, вопрос об армии ставился так: кто кого? Правительство ли сумеет взять в руки защищающую его армию, превратив ее в инструмент своей власти, или же, наоборот, армия возьмет в свои руки охраняемое ею правительство, превратив его в простую этикетку на своей винтовке?

Большевистское правительство сумело взять армию в свои руки, потому что оно опиралось на горячую поддержку со стороны широчайших масс рабочих и крестьян. Корни его власти лежали глубоко в народной толще. Его существование не зависело от желания или нежелания военных крутов. Поэтому большевики могли превратить вооруженную силу в простой инструмент своего господства, несмотря даже на то, что на первых порах им при-

ходилось пользоваться для организации армии силами старого контр-революционного офицерства.

Комитет членов Учредительного Собрания оказался в неизмеримо худшем положении. Сочувствия широких масс за ним не было, серьезных корней ни в одной влиятельной социальной группе он не имел. Вдобавок люди, стоявшие у власти, отличались крайней непрактичностью и мягкотелостью, которые в обстановке гражданской войны являются просто преступлением. В результате, Комитет не сумел подчинить себе армию, а наоборот сам превратился в ее игрушку. Практически это произошло следующим образом:

Как мы знаем, самарский переворот был произведен силами чехо-словаков. Однако тотчас после образования комитета членов Учредительного Собрания началось формирование анти-большевистских войск русского происхождения. Уже 8 июня, т.-е. в первый день своего существования, Комитет опубликовал «Приказ № 2» об организации «Народной Армии». Правила, на основе которых должна была комплектоваться эта армия, гласили следующее:

«1) Армия комплектуется призывом добровольцев.

«2) Минимальный срок службы—3 месяца, каждый записавшийся на службу не имеет права оставить ее ранее этого срока под страхом ответственности перед судом.

«3) Доступ в ряды Народной Армии открыт для всех граждан не моложе 17 лет, готовых отдать жизнь и силы для защиты родины и свободы.

«4) Все без исключения добровольцы состоят на готовом полном довольствии и получают жалованье 15 р. в месяц.

«5) Ввиду различных условий службы, ответственности и знаний добровольцев, устанавливаются следующие суточные деньги: рядовому бойцу—1 р. в сутки, отделенному командиру—2 р., взводному—3 р., ротному—5 р., батальонному—6 р., полковому—8 р., инспекторам по обучению войск—8 р.

«6) Сверх того, каждый доброволец, имеющий на своем иждивении семью, независимо от занимаемой должности, получает пособие на содержание семьи сто рублей в месяц. В случае многосемейности (более 3 детей)—ставка увеличивается.

«7) Добровольцы, бросившие ради защиты родины должности в общественных и государственных учреждениях, сохраняют за собою должности до окончания срока службы».

Итак, в основу «Народной Армии» был положен принцип добровольчества. Одновременно были выпущены обращения к «Храбрым Солдатам», к «Гражданам г. Самары», к «Крестьянам Самарской губ.» и некоторые другие с призывом вступать в войска Комитета «на защиту поруганных прав народа и Учредительного Собрания». Отличительным знаком «Народной Армии» была принята георгиевская ленточка, о чем было особо об'явлено в следующем витиеватом приказе:

«Воин, добровольно принявший на себя обязательство защищать свободу и родину от насилия, является выразителем идеи беззаветного мужества.

«Поэтому Комитет членов Учредительного Собрания постановляет уста-

новить для добровольцев Народной Армии отличительный знак—Георгиевскую ленту наискось околыша».

Формирование армии началось, и с первого же момента Комитет,—этот пламенный рыцарь прекрасной дамы «демократии,—стал сдавать без боя одну демократическую позицию за другой.

Прежде всего необходимо было решить вопрос о лице, которое возглавляло бы всю военную работу. Если бы лидеры Комитета были настоящими революционерами, они, конечно, поставили бы на это, в тот момент наиболее ответственное место, вполне *своего* надежного человека. Такой человек имелся на-лицо,—это был уже упоминавшийся выше полковник Махин. Правда, в момент самарского переворота он находился в Уфе, но уже к началу июля, после падения Уфы, Махин оказался в рядах своих партийных товарищей, и мог бы быть назначен начальником штаба «Народной Армии». Сделал ли это Комитет? Нет, не сделал. И вот по какой причине.

Та небольшая военная сила, на которую самарские с.-р. опирались до свержения большевиков, состояла из подпольной офицерской организации, руководимой подполковником Галкиным. Организация слыла «беспартийной», на самом деле она была переполнена черносотенцами и монархистами. Эта организация сыграла роль кадра при формировании «Народной Армии». Галкинские офицеры не могли простить Махину его «сотрудничества с большевиками», несмотря на то, что, как мы уже знаем, Махин попал в Красную армию по прямому приказу эс-эровского Ц. К. и что он сдал Уфу Комитету. Они считали его недостойным своего общества и отказывались работать вместе с ним. Конечно, это были ни на чем не основанные претензии и в начале их было довольно легко переломить. Надо было только обнаружить твердость и решительность. Но ведь Комитет состоял из эс-эров, из благовоспитанных интеллигентов и прекраснодушных болтунов, и, конечно, он не сумел во-время показать кому следует кулак. Наоборот, сам Комитет капитулировал пред офицерством: Махин был отправлен командовать фронтом в Вольском направлении, а во главе «Народной Армии» был поставлен подполковник Галкин, типичный солдафон царского времени, скрытый монархист и враг демократии, открыто заявлявший:

— С рабочими нечего миндальничать!

Сознавая всю опасность данного назначения, Комитет пытался парировать ее назначением в штаб армии в помощь Галкину эс-эров Боголюбова, Лебедева и Фортунатова. Однако Боголюбов вскоре ушел из штаба, Лебедев и Фортунатов же все время дрались на фронтах и в органической работе военного ведомства никакого участия не принимали. В Самаре все время сидел Галкин, назначенный в дальнейшем управляющим военным ведомством, и строил «Народную Армию» так, как ему хотелось. Галкину же хотелось создать армию старо-монархического типа, построенную на палочной дисциплине, готовую быть слепым орудием в руках командующих классов. И он планомерно и сознательно стремился к достижению манившей его цели.

Для этого он прежде всего постарался убедить комитет, что вооруженная сила должна быть построена на принципе «Армия вне политики». Кое-кто

из эс-эров вздумал было протестовать против столь далеко идущего нейтрализма, но Галкина поддержали Фортунатов, Лебедев и другие эс-эровские «военспецы», и бесхарактерное большинство Комитета, конечно, уступило. Тем самым эс-эровская партия отрезала себе возможность действительного контроля над положением дел в армии и на фронте.

Как известно, принцип «Армия вне политики» всегда до сих пор на практике означал «Армия для реакционной политики». Именно это самое произошло и в Самаре. Забронировав себя от слишком явного вмешательства Комитета в военные дела, полковник Галкин упрямо повел свою линию. Все командные места в частях «Народной Армии» он заполнял офицерами старого закала, отливавшими всеми цветами монархической окраски. Наиболее ответственные места были даны махровым черносотенцам, не перестававшим мечтать о возвращении царских времен. Комитет неоднократно пред'являл Галкину требования представлять ему на утверждение важнейших кандидатов на командные должности, но Галкин систематически игнорировал эти требования. В результате, вся головка армии оказалась составленной из врагов демократии, с трудом переносивших господство комитета. Даже наиболее популярный из военачальников самарского правительства, ставший впоследствии столь известным, Каппель, не скрываясь, говорил, что по взглядам он, собственно, монархист, и что он идет с Комитетом только до тех пор, пока не будет свергнута власть большевиков. Бесконтрольное хозяйничание Галкина в вопросе о назначении офицеров приводило, подчас, к настоящим скандалам. Так, вскоре после захвата власти Комитетом выяснилось, что во главе военно-судебной части «Народной Армии» был поставлен генерал Тыртов, прославившийся тем, что в старой царской армии в качестве «председателя военно-полевого суда осудил к повешению большое число борцов за свободу». Такого издевательства не мог стерпеть даже беспозвоночный Комитет, и особым «Приказом № 66» от 1-го июля Тыртов был уволен от занимаемой им должности. Однако это был единичный случай. Как общее правило, торжествовал Галкин, а не Комитет.

Формируя кадры черносотенных заговорщиков, Галкин не забывал вводить в армии и старые, милые сердцу этих заговорщиков, порядки. Были восстановлены старые чины, введен в действие старый дисциплинарный устав, возрождены старые зубодробительные приемы в воспитании солдат. Галкину очень хотелось также украсить офицерство старыми золотыми погонами, но пока он не решался этого сделать и до поры до времени пошел на компромисс: погоны были установлены, но маленькие и притом защитного цвета. Их было почти не видно, но Галкин был доволен, что Комитетом признан самый «принцип погон»—за принципом уже естественно должны были последовать и самые галуны и звездочки.

Нельзя сказать, чтобы Комитет не видел надвигавшейся на него опасности. Нет, Комитет эту опасность сознавал и даже пытался с ней бороться, но беда была в том, что в своем стремлении обуздать монархические тенденции в армии, он неизменно обнаруживал поистине вопиющую бесхарактерность. Я помню такой случай. Воспользовавшись от'ездом Галкина на челябинское

совещание об организации всероссийской власти, комитет произвел в офицерские чины ряд партийных эс-эров, желая таким путем несколько ослабить монархическое засилие в рядах командного состава «Народной Армии». Когда Галкин вернулся, он устроил грандиозный скандал по поводу того, что эти назначения были произведены без его ведома. Комитет перетрусил и... уступил: назначения были аннулированы, а заместителю Галкина, санкционировавшему назначения, был об'явлен выговор.

Для характеристики положения в высшей степени показателен следующий красноречивый эпизод. Над зданием Комитетов развевался красный флаг. Как-то раз, во второй половине августа, в Самару ночью приехала группа сибирских офицеров. Отправившись бродить по городу, они наткнулись на здание Комитета и с удивлением, во мгле предрассветных сумерек, увидали реющее над головой красное знамя. Вызвавши дежурного коменданта, офицеры в весьма нахальном тоне задали ему вопрос:

— Что это за красная тряпка болтается над зданием?

Комендант пытался их урезонить, но напрасно. Произошла перебранка. Комендант хотел арестовать офицеров, но вместо того сам был ими арестован. Инцидент привлек внимание других лиц, находившихся в это время в здании Комитета. Затрещали звонки телефонов, явился управделами Комитета и, узнав в чем дело, отправился к Галкину с предложением немедленно арестовать сибирских офицеров. Однако, Галкин заявил:

— Я сам неоднократно говорил, что эту тряпку надо убрать.

Конечно, никаких действительных мер к обузданию сибирских офицеров Галкиным принято не было. Узнав обо всей этой истории, члены Комитета сильно вспылили. На заседании Комитета 18 августа управляющему военным ведомством было выражено неодобрение за проявленные им во время описанного инцидента слабость и нераспорядительность. Галкин взбеленился и пригрозил своей отставкой. Это подействовало: на другой день, 19 августа, постановлением того же самого Комитета Галкин был произведен из полковников в генерал-майоры, и на этом весь инцидент был признан исчерпанным.

Припоминая теперь взаимоотношения между Галкиным и Комитетом, я должен констатировать, что этот бездарный и ограниченный офицер сумел положительно терроризировать «избранников народа» и совершенно подчинить их своему влиянию. Единственным оружием его было нахальство, но это оружие почти никогда не давало промаха. В каком унизительном положении находился Комитет, можно судить по тому, что он никак не мог добиться регулярного получения оперативных сводок. Вольский вел неоднократно переговоры об этом с штабом, Комитет делал не раз формальные постановления о доставлении ему сведений с театра военных действий, один раз Комитет даже об'явил выговор Галкину за неполучение им информации с фронта,— все было тщетно. Военное командование не желало считаться с высшим органом государственной власти, а этот орган не находил в себе ни силы, ни решимости для того, чтобы принудить к повиновению непокорных офицеров. Когда, после падения Самары, Комитет переехал в Уфу, положение стало еще скандальнее: штаб категорически отказывался давать Комитету какие бы то

ни было сведения о положении на фронте, и членам Комитета приходилось узнавать о ходе военных операций «частным путем» через знакомых офицеров, служивших в штабе. Так велик был авторитет той власти, которая считала себя единственно правомочной говорить от имени русского народа!

А между тем на «территории Учредительного Собрания», особенно на первых порах, имелись элементы, которые могли бы явиться серьезным противовесом Галкину и его офицерам. Состав «Народной Армии» был довольно пестр: на-ряду с монархическими офицерами там имелось достаточное количество интеллигенции, учащейся молодежи, крестьян и даже рабочих. Так, в районе Вольска и Николаевска на фронте оперировали отряды, составленные, главным образом, из крестьян. Отряды эти были не очень многочисленны и отличались большой неустойчивостью, но все-таки они представляли известную реальную силу, настроенную анти-монархически. В Уфе существовал рабочий отряд, под командой Шоломенцова, состоявший преимущественно из уфимских железнодорожников, в Ижевском и Воткинском районах оперировали довольно многочисленные пролетарские части, вербовавшиеся из среды рабочих двух имевшихся здесь оружейных заводов. Образование рабочих анти-большевистских отрядов об'яснялось теми ошибками, которые были сделаны первыми представителями Советской власти на Урале, и представляет собой, конечно, одну из досадных гримас революции. Но во всяком случае эти рабочие отряды армии Комитета были и являлись, конечно, решительными врагами черносотенного офицерства. Далее, имелись небольшие эс-эровские отряды (например, конный отряд Фортунатова, насчитывавший 150 сабель), студенческие части, сильно сочувствовавшие эс-эрам, и некоторые другие, стоявшие на платформе демократии. Как видим, даже в среде добровольческих элементов «Народной Армии» было достаточно сил для того, чтобы поставить в должные рамки монархическое офицерство. Нужны были только смелость и решимость, только планомерная работа по об'единению демократических элементов в армии. Но лидерами Комитета были эс-эры... и, конечно, они капитулировали пред натиском черной сотни.

Я хорошо помню, какой переполох произошел как-то на частном совещании наиболее влиятельных работников Комитета, когда член Учредительного Собрания Н. И. Ракитников высказал мысль о необходимости, в целях борьбы с реакционным духом в армии, командировать членов Комитета в отдельные войсковые части в качестве комиссаров, наделенных широкими полномочиями. Мысль была, несомненно, здоровая: таким путем можно было, хотя бы до некоторой степени, ослабить монархическое засилие в рядах войск. Но присутствовавшие на совещании эс-эры пришли в сильное смятение. Принять предложение Ракитникова это значило, во-первых, поссориться с Галкиным, а, как я уже указывал, Комитет был терроризирован Галкиным, и, во-вторых, это слишком напоминало Красную армию... большевиков... Советскую власть, которые Комитет собирался сокрушать совсем иными «демократическими» средствами. Предложение Ракитникова так и не было осуществлено.

Формируемая Галкиным «Народная Армия» представляла собой такую

возмутительную картину, что с протестом, наконец, выступили... чехо-словаки. Их командный состав открыто указывал Комитету на черносотенную опасность, гнездящуюся в «Народной Армии», и решительно настаивал на необходимости демократизации всего военного дела. Чтобы показать, как надо строить «демократическую» армию, чехо-словаки предложили организовать особые русско-чешские полки, которые комплектовались бы из русских добровольцев, но находились бы под командой чешских офицеров. Русско-чешские полки сразу приобрели значительную популярность, так как господствовавший в них дух сильно отличался от духа, вносимого в армию галкинской бандой, и стали быстро усиливаться. Монархическое офицерство забило тревогу. Военное ведомство начало систематически саботировать формирование русско-чешских полков, задерживать снабжение их оружием, продовольствием и проч. После падения Самары, русско-чешские части были фактически сведены на-нет и затем вскоре исчезли. Комитет не сумел отстоять даже эту многообещавшую попытку, за которой стояла сила чешских штыков.

До сих пор я говорил лишь о добровольческих элементах «Народной Армии», но она не исчерпывалась только ими. Правда, в начале Комитет надеялся, что сможет ограничиться одним добровольным набором, однако надежда эта не оправдалась. Добровольцев об'явилось всего лишь 5—6 тысяч и, так как потребности борьбы требовали значительно больших военных сил, то Комитету уже 30 июня пришлось об'явить мобилизацию двух годов—1897 и 1898. Предполагалось, что таким путем будет получено около 50 тысяч человек. Мобилизация с самого начала пошла туго—крестьяне не желали давать своих сыновей в армию—и вместо ожидаемых 50 тысяч было набрано не больше 12—15 тысяч [1]). Их заперли в казармы и начали обучать военному искусству по методам царского времени. Результат получился весьма плачевный. Мобилизованные крестьяне и рабочие сражаться против большевиков не желали, они либо разбегались при первом удобном случае по домам, либо сдавались в плен советским войскам, предварительно перевязав своих офицеров. Как боевая единица, эти мобилизованные войска оказались никуда не годными, и Комитет, в конце концов, вынужден был держать их в тылу в расчете, что дальнейшая «учоба» выбьет у них дурь из головы. На фронте дрались чехи и добровольцы.

Не представляя таким образом никакой ценности для борьбы с большевиками, мобилизованные войска могли бы, однако, оказаться пригодными для борьбы с монархическим засилием в армии. Но для этого надо было уметь к ним подойти. Для этого надо было действительно «демократизировать» военные порядки, надо было ввести тот институт комиссаров, который так пугал эс-эровских лидеров, надо было обуздать монархических офицеров в их черносотенно-зубодробительных устремлениях. Ничего этого Комитет не

---

[1]) Общая численность войск Комитета в момент наивысшего расцвета достигала приблизительно 30.000, не считая чехов. Число чехов на Волжском фронте колебалось между 5—10 тысячами чел.

сумел и не решился сделать. Лишенный воли и энергии, он просто плыл по течению, предоставляя хозяйничать Галкину и К°. В результате в мобилизованных войсках начали вспыхивать восстания, за которыми следовали жестокие расправы (например, восстание Самарского полка, состоявшего главным образом из рабочих, восстание, подавленное штабом с чрезвычайной свирепостью).

Всякий раз, когда более дальновидные из эс-эров, особенно из их военных работников, указывали лидерам Комитета на недопустимость положения в армии и требовали принятия решительных мер для предупреждения грозящей катастрофы, партийные генералы благочестиво заявляли:

— Мы люди штатские и в военные дела не считаем возможным вмешиваться.

Попросту они трусили. Эти маргариновые демократы, готовые десять раз на дню клясться именем Учредительного Собрания, боялись шевельнуть пальцем для осуществления действительной демократизации армии. Они отдали без боя эту огромную силу в руки монархистов и тем самым подготовили свою собственную гибель. Воистину они заслужили эту гибель.

(Продолжение следует).

Записка Дурново.

Вступительная статья.

Прилагаемый документ, являющийся воспроизведением меморандума, представленного в феврале 1914 г. Николаю II членом Госуд. Совета, бывшим министром внутренних дел в кабинете Витте, П. А. Дурново, был напечатан в *извлечениях* в статье Е. В. Тарле «Германская ориентация и П. Н. Дурново» в № 19-м «Былого».

Е. В. Тарле сопроводил извлечения из этого документа комментариями, основной смысл которых сводится к доказательству, будто единственным виновником мировой войны является Германия. «Нелепые стремления Вильгельма II и его друзей,—говорит Тарле,—доказать, будто Антанта (и, в частности, Россия) начала войну, именно оттого с самого начала и осуждены были на безнадежную неудачу, что ни Антанта вообще, ни особенно Россия, в 1914 г., не желали войны ни в каком случае, вследствие явно сознавашейся несовершенной подготовленности. Германия же была в полной боевой готовности, и ждать далее ей становилось невыгодным».

Но зачем ссылаться только на Дурново? Противники войны с Германией, сторонники «германской ориентации», как укоризненно называет их профессор Е. В. Тарле, имелись не только в России. Во всех западно-европейских государствах существовало накануне мировой войны довольно сильное буржуазно-пацифистское движение, боровшееся против призрака надвигавшейся войны. Кто не знает, какую роль во Франции играл одно время знаменитый министр финансов Кайо, являвшийся горячим сторонником соглашения с Германией и ярым противником идеи войны с последней и потому обвиненный в измене, «германской ориентации» и пр., и проч. И Кайо отнюдь не был одиноким. Он опирался на поддержку многих влиятельных французских промышленников и финансистов. Так, главный директор сильнейшего французского банка «Генеральное общество» (Société Générale) Доризон поддерживал политику Кайо в вопросе о Германии и играл неоднократно роль посредника в переговорах между обеими странами. Существовала сильная тяга к сближению с Германией, страх перед будущей войной и в буржуазных кругах Англии. Известно, какой необычайный успех в этих кругах имела книга Нормана Анджеля «The Great illusion» («Великая иллюзия»), доказывавшая всю опасность и «невыгодность» войны между мировыми державами. Известно, что

английский военный министр лорд Эльден перед войной, в 1912 г., приезжал в Берлин для переговоров с Германией о взаимном ограничении вооружений для избежания войны. Однако эти «пацифистские» тенденции, или «германская ориентация», как их называет проф. Тарле, в некоторых кругах правящих классов Англии, Франции, Италии, России отнюдь не мешали тому, что Антанта лихорадочно готовилась к войне и тратила на вооружения даже больше, чем Германия и Австрия.

В 1912 г. израсходовали на свои военные бюджеты (армия и флот):

Четверное Согласие:		Центральные державы:	
Россия	1.924.863.669 фр.	Германия	1.647.886.560 фр.
Англия	1.765.175.000 „	Австро-Венгрия	587.892.893 „
Франция	1.217.031.929 „		2.235.779.453 фр.
Италия	648.408.742 „		
	5.555.479.340 фр.		

Итак, в 1912 г. державы Четверного Согласия затратили на вооружение 3 миллиарда фр.—*почти в 2½ раза больше,* чем Германия и Австро-Венгрия, вместе взятые.

В 1913 г. Четверное Согласие и Центральные державы израсходовали на свои армии и флоты:

(в миллионах франков)

Четверное Согласие:		Центральные державы:	
Россия	1.938	Германия	1.623
Англия	1.815	Австро-Венгрия	661
Франция	1.343		2.284
Италия	638		
	5 734		

Стало быть, и в 1913 г. четыре державы, вступившие через год в войну с Германией и Австро-Венгрией, израсходовали на свои армии и флоты *в 2¼ раза больше, чем враждебные им государства.* Смешны замечания Тарле, будто Германия в 1914 г. была в полной боевой готовности в отличие от ее противников. Насколько Германия была подготовлена в *военном* отношении к победе над грозными соперниками, доказывает первое же поражение немецких войск на Марне и затем целый ряд неудачных попыток австро-германских войск покончить с русской армией, чтобы иметь возможность сосредоточить все силы на западном фронте, попыток, которые совершенно обескровили германскую и австрийскую армии. Истина заключается в том, что Германия и Австро-Венгрия не были подготовлены в 1914 г. к победе над Антантой, но так как перевес сил с каждым годом склонялся на сторону последней (вспомним многочисленные статьи в русской, английской и французской печати, например, статьи Сухомлинова в «Биржевых Ведомостях»: *Мы готовы,* статьи Стефани Лозанна и Жюля Гейдемана в «Matin», доказывавшие, что в 1916 г. можно будет разбить Германию вдребезги, что *Россия к началу 1916 г. будет располагать армиями, превосходящими численно армии всех европейских го-*

сударств, вместе взятых). Немецкая военщина решила сыграть va-banque и ускорила войну. Неизбежность войны именно в 1914 г. была предсказана многими военными специалистами.

Так, военный специалист «Речи» в статье от 28 апреля 1913 г. доказывал, что Германия готовится к важным событиям не *далее весны 1914 г.*, ибо весна 1914 г. явится кульминационным пунктом военного могущества Германии, и после весны 1914 г. соотношение морских сил Германии и Англии, как и сухопутных сил в отношении Франции, *изменится к невыгоде Германии.* Сотрудник «Речи» не ошибся на много. Война началась не весной 1914 г., а после окончания весны.

Возможно, что и будущая война вспыхнет в аналогичных условиях. Когда правительство одной из великих держав, борющихся за мировую гегемонию,— Англия, Франция, Америка, Япония—придет к заключению, что в скором времени перевес сил в военном отношении, несомненно, будет на стороне противника, держава, имеющая некоторые шансы на победу в данный момент, спровоцирует своего врага, чтобы не быть вынужденной воевать позже при очевидном перевесе сил на стороне последнего.

Возвращаясь к вопросу о виновниках мировой войны 1914 г., следует заметить, что наиболее удачно из буржуазных ученых охарактеризовал ответственность правительств всех капиталистических держав в этой войне известный французский писатель и ярый патриот Густав Лебон. Конечно, говорит Лебон, Германия первая начала войну 1914 г. Она бросила в наполненную до краев чашу ту последнюю каплю, благодаря которой эта чаша, наконец, переполнилась. Но ведь для об'ективного наблюдателя,—замечает Лебон,— вопрос заключается именно в том, *кто наполнил* эту чашу, а не в том, кто влил последнюю роковую каплю. Эта простая истина чужда профессору Тарле. Но оставим нашего профессора и перейдем к записке Дурново, которую мы печатаем здесь ввиду ее крайней важности in extenso (целиком), а не в извлечениях, как у Тарле, извлечениях, отделенных одна цитата от другой профессорской отсебятиной, не представляющей особого интереса и лишь ослабляющей впечатление, производимое цитируемым документом.

* * *

Многие места записки Дурново поражают правильностью анализа международного положения накануне войны и носят «пророческий» характер. Автор верно намечает не только основные группировки в грядущей войне: «Россия, Франция, Англия,—с одной стороны, Германия, Австрия и Турция, с другой», но и безошибочно определяет как роль Румынии, Греции, Болгарии, Сербии Италии в этой войне, так и враждебность Японии и Америки по отношению к Германии. Заслуживает внимания и указание Дурново насчет политики Японии, которая, как островная держава и притом страна небогатая, не имеющая возможности содержать одновременно сильную армию и могучий флот, вынуждена будет отказаться от продвижения на север и в Сибирь и пойдет по пути усиления, именно морской силы для продвижения на юг, в сторону Фи-

липпинских островов, Индокитая, Явы, Суматры, Борнео. Мы знаем, что в данный момент в Японии победила партия Сацу-бацу, партия морских вооружений, настаивавшая на сокращении расходов на сухопутную армию, на отказе от оккупации Сибири и требующая сосредоточения всего внимания Японии на сохранении морского могущества, именно, в целях экспансии в южном направлении.

Совершенно правильным оказалось и предсказание Дурново насчет того, что главная тяжесть войны выпадет на долю России, которой придется играть роль тарана, пробивающего самую толщу немецкой обороны. Ход войны блестяще оправдал этот прогноз Дурново. В настоящее время многие об'ективные французские и немецкие военные авторитеты признают, что русская армия, сыграв роль оттяжного пластыря и приняв на себя главные удары австро-венгерской и германской армий, обескровила последние в ряде жестоких маневренных боев и этим спасла и Англию, и Францию, и Италию, и Сербию от окончательного разгрома. По признанию французского генерала Рампона: Россия спасла Париж в августовские дни 1914 г., погубив для этой цели лучшую свою 500-тысячную армию в Мазурских болотах. Равным образом, именно русское наступление, по признанию того же Рампона, спасло Верден. Для борьбы с русской армией германское командование только за 8 месяцев с конца ноября 1914 г. по август 1915 г. перебросило с французского фронта на русский 15 пехотных дивизий и 9 кавалерийских. В награду за свои жертвы русская армия ни разу не получила за все время какой-либо серьезной помощи, помощи, которая заставила бы немцев и австрийцев в какой-либо критический для русской армии момент перебросить свои силы с восточного фронта на западный. Равным образом, союзники категорически отказывались помочь русской армии вооружением из своих запасов [1]). Тактика союзников была очень проста: заставить русскую армию беспрерывно *таранить*, как предвидел Дурново, австрийскую и германскую армии, чтобы иметь возможность—пока и русская и австро-германские армии будут истекать кровью—увеличить союзные силы, приготовить новые тысячи пулеметов, аэропланов, танков и т. д., и затем перейти в решительное наступление, когда немецкая армия будет уже достаточно истощена.

Заслуживают внимания и замечания Дурново насчет проливов, замечания, приобретающие в данный момент злободневный характер. Дурново указывает, что для России выгодна такая комбинация, ***«которая, не передавая непосредственно в наши руки проливов, обеспечила бы нас от прорыва в Черное море неприятельского флота»***. Совершенно правильно указывает Дурново, что выход из Черного моря закрывала нам не Германия, а Англия, и что если бы Россия даже овладела проливами, это не дало бы последней свободного выхода, ибо Англия в любой момент сумела бы фактически закрыть для нас все входы и выходы, независимо от проливов.

Особенно замечательны предвидения Дурново насчет исхода войны и ха-

---

[1]) Подробнее об этом см. нашу работу: „Советская Россия и капиталистическая Франция".

рактера будущей русской революции. Дурново прекрасно понимал то, чего не могли уразуметь наши кадеты, эс-эры и меньшевики, именно, что *русская революция* будет *революцией социалистической*. Он правильно подметил беспочвенность нашей либеральной оппозиции, недоверие народных масс к интеллигенции...

Заключительный абзац записки Дурново, в котором последний доказывает, что делу мира между народами более всего угрожает стремление Англии удержать ускользающее от нее господство над морями, в основном верен и для настоящего момента.

Во время упомянутых нами выше переговоров в 1912 г., между Англией и Германией о взаимном ограничении вооружений, Германия предлагала Англии установить соотношение сил в 16 английских линейных судов на 10 германских. Но Англия отвергла это предложение, считая, что такое соотношение сил даст-де Великобритании недостаточный перевес. Теперь морская сила Германии окончательно уничтожена, зато мы были недавно свидетелями острых конфликтов между Англией и Францией на Вашингтонской конференции и в Каннах из-за вопроса о соотношении морских сил Англии и Франции, из-за стремления Великобритании добиться сокращения подводного флота Франции. И нынешнее стремление Англии удержать во что бы то ни стало в своих руках проливы, грозящее вызвать новую мировую войну, об'ясняется в значительной степени тем же мотивом, на который указывал Дурново в 1914 г., именно, желанием Англии удержать ускользающее от нее господство над морями.

Дурново был черносотенцем и реакционером, но, несомненно, в оценке характера будущей войны, роли в ней Антанты, с одной стороны, России, с другой, в предвидении исхода войны он обнаружил недюжинный ум и способность к правильному прогнозу. По сравнению с Дурново все светила нашей либеральной оппозиции и эс-эровской партии, Милюковы, Маклаковы, Керенские и др. с их Дарданельским проектом и войной до конца оказываются жалкими пигмеями в умственном отношении, совершенно не понимавшими смысла мировой войны и не предугадавшими ее неизбежного исхода.

М. Павлович.

Будущая англо-германская война превратится в вооруженное столкновение между двумя группами держав.

Центральным фактором переживаемого нами периода мировой истории является соперничество Англии и Германии. Это соперничество неминуемо должно привести к вооруженной борьбе между ними, исход которой, по всей вероятности, будет смертельным для побежденной стороны. Слишком уж несовместимы интересы этих двух государств, и одновременное великодержавное их существование, рано или поздно, окажется невозможным. Действительно, с одной стороны, островное государство, мировое значение которого зиждется на владычестве над морями, мировой торговле и бесчислен-

ных колониях. С другой стороны—мощная континентальная держава, ограниченная территория которой недостаточна для возросшего населения. Поэтому она прямо и открыто заявила, что будущее ее на морях, со сказочной быстротой развила огромную мировую торговлю, построила, для ее охраны, грозный военный флот и знаменитой маркой Made in Germany создала смертельную опасность промышленно-экономическому благосостоянию соперницы. Естественно, что Англия не может сдаться без боя, и между нею и Германией неизбежна борьба не на жизнь, а на смерть. Предстоящее в результате отмеченного соперничества вооруженное столкновение ни в коем случае не может свестись к единоборству Англии и Германии. Слишком уж не равны их силы и, вместе с тем, недостаточно уязвимы они друг для друга. Германия может вызвать восстание в Индии, в Южной Америке и в особенности опасное восстание в Ирландии, парализовать путем каперства, а может быть, и подводной войны, английскую морскую торговлю и тем создать для Великобритании продовольственные затруднения, но, при всей смелости германских военачальников, едва ли они рискнут на высадку в Англии, разве счастливый случай поможет им уничтожить или заметно ослабить английский военный флот. Что же касается Англии, то для нее Германия совершенно неуязвима. Все, что для нее доступно—это захватить германские колонии, прекратить германскую морскую торговлю, в самом благоприятном случае, разгромить германский военный флот, но и только, а этим вынудить противника к миру нельзя. Несомненно, поэтому, что Англия постарается прибегнуть к не раз с успехом испытанному ею средству и решиться на вооруженное выступление не иначе, как обеспечив участие в войне на своей стороне стратегически более сильных держав. А так как Германия, в свою очередь, несомненно, не окажется изолированной, то будущая англо-германская война превратится в вооруженное между двумя группами держав столкновение, придерживающимися одна германской, другая английской ориентации.

Трудно уловить какие-либо реальные выгоды, полученные Россией в результате сближения с Англией.

До русско-японской войны русская политика не придерживалась ни той, ни другой ориентации. Со времени царствования императора Александра III Россия находилась в оборонительном союзе с Францией, настолько прочном, что им обеспечивалось совместное выступление обоих государств, в случае нападения на одно из них, но, вместе с тем, не настолько тесном, чтобы обязывать их непременно поддерживать вооруженною рукою все политические выступления и домогательства союзника. Одновременно русский двор поддерживал традиционно дружественные, основанные на родственных связях, отношения с Берлинским. Именно, благодаря этой кон'юнктуре, в течение целого ряда лет мир между великими державами не нарушался, несмотря на обилие наличного в Европе горючего материала. Франция союзом с Россией обеспечивалась от нападения Германии, эта же последняя испытанным миролюбием и дружбою России от стремлений к реваншу со стороны Франции,

Россия необходимостью для Германии поддерживать с нею добрососедские отношения—от чрезмерных происков Австро-Венгрии на Балканском полуострове. Наконец, изолированная Англия, сдерживаемая соперничеством с Россией в Персии, традиционными для английской дипломатии опасениями нашего наступательного движения на Индию и дурными отношениями с Францией, особенно сказавшимися в период известного инцидента с Фашодою, с тревогою взирала на усиление морского могущества Германии, не решаясь, однако, на активное выступление.

Русско-японская война в корне изменила взаимоотношения великих держав и вывела Англию из ее обособленного положения. Как известно, во все время русско-японской войны, Англия и Америка соблюдали благоприятный нейтралитет по отношению к Японии, между тем как мы пользовались столь же благожелательным нейтралитетом Франции и Германии. Казалось бы, здесь должен был быть зародыш наиболее естественной для нас политической комбинации. Но после войны наша дипломатия совершила крутой поворот и определенно стала на путь сближения с Англией. В орбиту английской политики была втянута Франция, образовалась группа держав тройственного согласия, с преобладающим в ней влиянием Англии, и столкновение с группирующимися вокруг Германии державами сделалось, рано или поздно, неизбежным.

Какие же выгоды сулили и сулят нам отказ от традиционной политики недоверия к Англии и разрыв испытанных если не дружественных, то добрососедских отношений с Германией?

Сколько-нибудь внимательно вдумываясь и присматриваясь к происшедшим после Портсмутского договора событиям, трудно уловить какие-либо реальные выгоды, полученные нами в результате сближения с Англией. Единственный плюс—улучшившиеся отношения с Японией—едва ли является последствием русско-английского сближения. В сущности, Россия и Япония созданы для того, чтобы жить в мире, так как делить им решительно нечего. Все задачи России на Дальнем Востоке, правильно понятые, вполне совместимы с интересами Японии. Эти задачи, в сущности, сводятся к очень скромным пределам. Слишком широкий размах фантазии зарвавшихся исполнителей, не имевший под собой почвы действительных интересов государственных—с одной стороны, чрезмерная нервность и впечатлительность Японии, ошибочно принявшей эти фантазии за последовательно проводимый план, с другой стороны, вызвали столкновение, которое более искусная дипломатия сумела бы избежать. России не нужна ни Корея, ни даже Порт-Артур. Выход к открытому морю, несомненно, полезен, но ведь море, само по себе, не рынок, а лишь путь для более выгодной доставки товаров на потребляющие рынки. Между тем у нас на Дальнем Востоке нет и долго не будет ценностей, сулящих сколько-нибудь значительные выгоды от их отпуска за границу. Нет там и рынков для экспорта наших произведений. Мы не можем рассчитывать на широкое снабжение предметами нашего вывоза ни развитой, и промышленно, и земледельчески, Америки, ни небогатой и также промышленной Японии, ни даже приморского Китая и более отдаленных рынков, где

наш экспорт неминуемо встретился бы с товарами промышленно более сильных держав-конкурентов.

Остается внутренний Китай, с которым наша торговля преимущественно ведется сухим путем. Таким образом открытый порт более способствовал бы ввозу к нам иностранных товаров, нежели вывозу наших отечественных произведений. С другой стороны и Япония, что бы ни говорили, не зарится на наши дальневосточные владения. Японцы, по природе своей, народ южный, и суровые условия нашей дальневосточной окраины их не могут прельстить. Известно, что и в самой Японии северный Иезо населен слабо; повидимому, и на отошедшей по Портсмутскому договору к Японии южной части Сахалина японская колонизация идет малоуспешно. Завладев Кореею и Формозою, Япония севернее едва ли пойдет, и ее вожделения, надо полагать, скорее будут направлены в сторону Филиппинских островов, Индокитая, Явы, Суматры и Борнео. Самое большое, к чему она, быть может, устремились бы—это к приобретению, в силу чисто коммерческих соображений, некоторых дальнейших участков Маньчжурской железной дороги.

Словом, мирное сожительство, скажу более, тесное сближение России и Японии на Дальнем Востоке вполне естественно, помимо всякого посредничества Англии. Почва на соглашение напрашивается сама собою. Япония страна небогатая, содержание одновременно сильной армии и могучего флота для нее затруднительно. Островное ее положение толкает ее на путь усиления именно морской своей мощи. Союз с Россией даст возможность все свое внимание сосредоточить на флоте, столь необходимом при зародившемся уже соперничестве с Америкой, предоставив защиту интересов своих на материке России. С другой стороны, мы, располагая японским флотом для морской защиты нашего Тихоокеанского побережья, имели бы возможность навсегда отказаться от непосильной для нас мечты о создании военного флота на Дальнем Востоке. Таким образом, в смысле взаимоотношений с Японией, сближение с Англией. никакой реальной выгоды нам не принесло. Не дало оно нам ничего и в смысле упрочения нашего положения ни в Маньчжурии, ни в Монголии, ни даже в Урянхайском крае, где неопределенность нашего положения свидетельствует о том, что соглашение с Англиею, во всяком случае, рук нашей дипломатии не развязало. Напротив того, попытка наша завязать сношения с Тибетом встретила со стороны Англии резкий отпор.

Не к лучшему, со времени соглашения, изменилось наше положение в Персии. Всем памятно преобладающее влияние наше в этой стране при Шахе Наср-Эдине, то-есть, как раз в период наибольшей обостренности наших отношений с Англией. С момента сближения с этой последнею, мы оказались вовлеченными в целый ряд непонятных попыток навязывания персидскому населению совершенно ненужной ему конституции, и, в результате, сами способствовали свержению преданного России монарха, в угоду закоренелым противникам. Словом, мы не только ничего не выиграли, но напротив того, потеряли по всей линии, погубив и наш престиж, и многие миллионы рублей, и даже драгоценную кровь русских солдат, предательски умерщвленных и, в угоду Англии, даже не отомщенных.

Но наиболее отрицательные последствия сближения с Англией,—а следовательно и коренного расхождения с Германией,—сказались на ближнем Востоке. Как известно, еще Бисмарку принадлежала крылатая фраза о том, что для Германии Балканский вопрос не стоит костей одного померанского гренадера. Впоследствии Балканские осложнения стали привлекать несравненно большее внимание германской дипломатии, взявшей под свою защиту «больного человека», но, во всяком случае, и тогда Германия долго не обнаруживала склонности из-за Балканских дел рисковать отношениями с Россией. Доказательства на-лицо. Ведь как легко было Австрии, в период русско-японской войны и последовавшей у нас смуты, осуществить заветные свои стремления на Балканском полуострове. Но Россия в то время не связала еще с Англией своей судьбы, и Австро-Венгрия вынуждена была упустить наиболее выгодный для ее целей момент.

Стоило, однако, нам стать на путь тесного сближения с Англией, как тотчас последовало присоединение Боснии и Герцеговины, которое так легко и безболезненно могло быть осуществлено в 1905 или 1906 году, затем возник вопрос Албанский и комбинация с принцем Видом. Русская дипломатия попробовала ответить на австрийские происки образованием Балканского союза, но эта комбинация, как и следовало ожидать, оказалась совершенно эфемерною. По идее направленная против Австрии, она сразу же обратилась против Турции и распалась на дележе захваченной у этой последней добычи. В результате получилось только окончательное прикрепление Турции к Германии, в которой она не без основания видит единственную свою покровительницу. Действительно, русско-английское сближение, очевидно, для Турции равносильно отказу Англии от традиционной ее политики закрытия для нас Дарданелл, а образование, под покровительством России, Балканского союза явилось прямой угрозой дальнейшему существованию Турции, как Европейского государства. Итак, англо-русское сближение ничего реально-полезного для нас до сего времени не принесло. В будущем оно неизбежно сулит нам вооруженное столкновение с Германией.

Основные группировки в грядущей войне.

В каких же условиях произойдет это столкновение и каковы окажутся его вероятные последствия? Основные группировки при будущей войне очевидны: это—Россия, Франция и Англия, с одной стороны, Германия, Австрия и Турция—с другой.

Более, чем вероятно, что примут участие в войне и другие державы, в зависимости от тех или других условий, при которых разразится война. Но послужит ли ближайшим поводом к войне новое столкновение противоположных интересов на Балканах, или же колониальный инцидент вроде Алжезирасского, основная группировка останется все та же. Италия, при сколько-нибудь правильно понятых своих интересах, на стороне Германии не выступит.

В силу политических и экономических причин, она, несомненно, стремится к расширению нынешней своей территории. Это расширение может быть

достигнуто только за счет Австрии, с одной, и Турции, с другой стороны. Естественно, поэтому, что Италия не выступит на той стороне, которая обеспечивает территориальную целость государства, за счет которых она желала бы осуществить свои стремления. Более того не исключена, казалось бы, возможность выступления Италии на стороне противогерманской коалиции, если бы жребий войны склонился в ее пользу, в видах обеспечения себе наиболее выгодных условий участия в последующем дележе. В этом отношении позиция Италии сходится с вероятною позицией Румынии, которая, надо полагать, останется нейтральной, пока весы счастья не склонятся на ту или другую сторону. Тогда она, руководствуясь здоровым политическим эгоизмом, примкнет к победителям, чтобы быть вознагражденною либо за счет России, либо за счет Австрии. Из других Балканских государств, Сербия и Черногория, несомненно, выступят на стороне, противной Австрии, а Болгария и Албания,—если к тому времени не образует хотя бы эмбриона государства,—на стороне, противной Сербии. Греция, по всей вероятности, останется нейтральной или выступит на стороне, противной Турции, но лишь тогда, когда исход будет более или менее предрешен.

Участие других государств явится случайным, при чем следует опасаться Швеции, само собою разумеется в рядах наших противников. При таких условиях борьба с Германией представляет для нас огромные трудности и потребует неисчислимых жертв. Война не застанет противника врасплох и степень его готовности вероятно превзойдет самые преувеличенные наши ожидания. Не следует думать, чтобы эта готовность проистекала из стремления самой Германии к войне. Война ей не нужна, коль скоро она и без нее могла бы достичь своей цели—прекращения единоличного владычества над морями. Но раз эта жизненная для нее цель встречает противодействие со стороны коалиции, то Германия не отступит перед войною и, конечно, постарается даже ее вызвать, выбрав наиболее выгодный для себя момент.

Главная тяжесть войны выпадет на долю России.

Главная тяжесть войны, несомненно, выпадет на нашу долю, так как Англия к принятию широкого участия в континентальной войне едва ли способна, а Франция, бедная людским материалом, при тех колоссальных потерях, которыми будет сопровождаться война при современных условиях военной техники, вероятно, будет придерживаться строго оборонительной тактики. Роль тарана, пробивающего самую толщу немецкой обороны, достанется нам, а между тем сколько факторов будет против нас и сколько на них нам придется потратить и сил, и внимания.

Из числа этих неблагоприятных факторов следует исключить Дальний Восток. Америка и Япония, первая по существу, а вторая в силу современной политической своей ориентации, обе враждебны Германии, и ждать от них выступления на ее стороне нет основания. К тому же война, независимо даже от ее исхода, ослабит Россию и отвлечет ее внимание на Запад, что, конечно, отвечает японским и американским интересам.

Поэтому тыл наш со стороны Дальнего Востока достаточно обеспечен, и, самое большее, с нас за благожелательный нейтралитет сорвут какие-нибудь уступки экономического характера. Более того, не исключена возможность выступления Америки или Японии на противной Германии стороне, но, конечно, только в качестве захватчиков тех или других, плохо лежащих германских колоний. Зато несомненен взрыв вражды против нас в Персии, вероятные волнения среди мусульман на Кавказе и в Туркестане, не исключена возможность выступления против нас, в связи с последними, Афганистана, наконец, следует предвидеть весьма неприятные осложнения в Польше и в Финляндии. В последней неминуемо вспыхнет восстание, если Швеция окажется в числе наших противников. Что же касается Польши, то следует ожидать, что мы не будем в состоянии во время войны удерживать ее в наших руках. И вот, когда она окажется во власти противников, ими, несомненно, будет сделан попытка вызвать восстание, в существе для нас и не очень опасное, но которое все же придется учитывать в числе неблагоприятных для нас факторов, тем более, что влияние наших союзников может побудить нас на такие шаги в области наших с Польшей взаимоотношений, которые опаснее для нас всякого открытого восстания.

Готовы ли мы к столь упорной борьбе, которою, несомненно, окажется будущая война европейских народов? На этот вопрос приходится, не обинуясь, ответить отрицательно. Менее чем кто-либо, я склонен отрицать то многое, что сделано для нашей обороны со времени японской войны. Несомненно, однако, что это многое является недостаточным при тех невиданных размерах, в которых неизбежно будет протекать будущая война. В этой недостаточности, в значительной мере, виноваты наши молодые законодательные учреждения, дилетантски интересовавшиеся нашею обороною, но далеко не проникшиеся всей серьезностью политического положения, складывающегося под влиянием ориентации, которой, при сочувственном отношении общества, придерживалось за последние годы наше министерство иностранных дел.

Доказательством этого служит огромное количество остающихся нерассмотренными законопроектов военного и морского ведомств и, в частности, представленный в Думу еще при статс-секретаре Столыпине план организации нашей государственной обороны. Бесспорно, в области обучения войск мы, по отзывам специалистов, достигли существенного улучшения по сравнению с временем, предшествовавшим японской войне. По отзывам тех же специалистов, наша полевая артиллерия не оставляет желать лучшего: ружье вполне удовлетворительно, снаряжение удобно и практично. Но бесспорно также, что в организации нашей обороны есть и существенные недочеты.

В этом отношении нужно, прежде всего, отметить недостаточность наших военных запасов, что, конечно, не может быть поставлено в вину военному ведомству, так как намеченные заготовительные планы далеко еще не выполнены полностью из-за малой производительности наших заводов. Эта недостаточность огневых запасов имеет тем большее значение, что, при зачаточном состоянии нашей промышленности, мы во время войны не будем

иметь возможности домашними средствами восполнить выяснившиеся недохваты, а между тем с закрытием для нас как Балтийского, так и Черного морей,—ввоз недостающих нам предметов обороны из-за границы окажется невозможным.

Далее неблагоприятным для нашей обороны обстоятельством является вообще чрезмерная ее зависимость от иностранной промышленности, что, в связи с отмеченным уже прекращением сколько-нибудь удобных заграничных сообщений, создаст ряд трудноодолимых затруднений. Далеко недостаточно количество имеющейся у нас тяжелой артиллерии, значение которой доказано опытом японской войны, мало пулеметов. К организации нашей крепостной обороны почти не приступлено, и даже защищающая подступ к столице Ревельская крепость еще не закончена.

Сеть стратегических железных дорог недостаточна, и железные дороги обладают подвижным составом, быть может, достаточным для нормального движения, но несоответствующим тем колоссальным требованиям, которые будут пред'явлены к нам в случае европейской войны. Наконец, не следует упускать из вида, что в предстоящей войне будут бороться наиболее культурные, технически развитые нации. Всякая война неизменно сопровождалась доселе новым словом в области военной техники, а техническая отсталость нашей промышленности не создает благоприятных условий для усвоения нами новых изобретений.

Жизненные интересы Германии и России нигде не сталкиваются.

Все эти факторы едва ли принимаются к должному учету нашей дипломатией, поведение которой, по отношению к Германии, не лишено, до известной степени, даже некоторой агрессивности, могущей чрезмерно приблизить момент вооруженного столкновения с Германией, при английской ориентации, в сущности неизбежного. Верна ли, однако, эта ориентация и обещает ли нам даже благоприятный период войны такие выгоды, которые искупили бы все трудности и жертвы, неизбежные при исключительной по вероятной своей напряженности войны?

Жизненные интересы России и Германии нигде не сталкиваются и дают полное основание для мирного сожительства этих двух государств. Будущее Германии на морях, то есть там, где у России, по существу наиболее континентальной из всех великих держав, нет никаких интересов. Заморских колоний у нас нет и, вероятно, никогда не будет, а сообщение между различными частями империи легче сухим путем, нежели морем. Избытка населения, требующего расширения территории, у нас не ощущается, но даже с точки зрения новых завоеваний, что может дать нам победа над Германией? Познань, Восточную Пруссию? Но зачем нам эти области, густо населенные поляками, когда и с русскими поляками нам не так легко управляться. Зачем оживлять центробежные стремления, не заглохшие по сию пору в Привислинском крае, привлечением в состав Российского государства беспокойных познанских и восточно-прусских поляков, национальных требова-

ний которых не в силах заглушить и более твердая, нежели русская, германская власть?

Совершенно то же и в отношении Галиции. Нам явно невыгодно, во имя идеи национального сентиментализма, присоединять к нашему отечеству область, потерявшую с ним всякую живую связь. Ведь на ничтожную горсть русских по духу галичан, сколько мы получим поляков, евреев, украинизированных униатов? Так называемое украинское или мазепинское движение сейчас у нас не страшно, но не следует давать ему разрастаться, увеличивая число беспокойных украинских элементов, так как в этом движении несомненный зародыш крайне опасного малороссийского сепаратизма, при благоприятных условиях могущего достигнуть совершенно неожиданных размеров. Очевидная цель, преследуемая нашей дипломатией при сближении с Англией—открытие проливов, но, думается, достижение этой цели едва ли требует войны с Германией. Ведь Англия, а совсем не Германия, закрывала нам выход из Черного моря. Не заручившись ли содействием этой последней, мы избавились в 1871 году от унизительных ограничений, наложенных на нас Англией по Парижскому договору?

И есть полное основание рассчитывать, что немцы легче, чем англичане, пошли бы на предоставление нам проливов, в судьбе которых они мало заинтересованы и ценою которых охотно купили бы наш союз.

Не следует к тому же питать преувеличенных ожиданий от занятия нами проливов. Приобретение их для нас выгодно лишь постольку, поскольку ими закрывается вход в Черное море, которое становится с той поры для нас внутренним морем, безопасным от вражеских нападений.

Выхода же в открытое море проливы нам не дают, так как за ними идет море, почти сплошь состоящее из территориальных вод, море, усеянное множеством островов, где, например, английскому флоту ничего не стоит фактически закрыть для нас все входы и выходы, независимо от проливов. Поэтому Россия смело могла бы приветствовать такую комбинацию, которая, не передавая непосредственно в наши руки проливов, обеспечила бы нас от прорыва в Черное море неприятельского флота. Такая комбинация, при благоприятных обстоятельствах вполне достижимая без всякой войны, обладает еще и тем преимуществом, что она не нарушила бы интересов Балканских государств, которые не без тревоги и вполне понятного ревнивого чувства отнеслись бы к захвату нами проливов.

В Закавказье мы, в результате войны, могли бы территориально расшириться лишь за счет населенных армянами областей, что, при революционности современных армянских настроений и мечтаниях великой Армении, едва ли желательно, и в чем, конечно, Германия еще меньше, чем Англия, стала бы нам препятствовать, будь мы с нею в союзе. Действительно же полезные для нас и территориальные, и экономические приобретения доступны лишь там, где наши стремления могут встретить препятствия со стороны Англии, а отнюдь не Германии. Персия, Памир, Кульджа, Кашгария, Джунгария, Монголия, Урянхайский край—все это местности, где интересы России

и Германии не сталкиваются, а интересы России и Англии сталкивались неоднократно.

Совершенно в том же положении по отношению к России находится и Германия, которая, равным образом, могла бы отторгнуть от нас, в случае успешной войны, лишь малоценные для нее области, по своей населенности мало пригодные для колонизации: Привислинский край, с польско-литовским, и Остзейские губернии с латышско-эстонским, одинаково беспокойным и враждебным к немцам населением.

В области экономических интересов русские пользы и нужды не противоречат германским.

Но могут возразить, территориальные приобретения, при современных условиях жизни народов, отступают на второй план и на первое место выдвигаются экономические интересы. Однако и в этой области русские пользы и нужды едва ли настолько, как это принято думать, противоречат германским. Не подлежит, конечно, сомнению, что действующие русско-германские торговые договоры невыгодны для нашего сельского хозяйства и выгодны для германского, но едва ли правильно приписывать это обстоятельство коварству и недружелюбию Германии.

Не следует упускать из вида, что эти договоры, во многих своих частях выгодны для нас. Заключавшие в свое время договоры русские делегаты были убежденными сторонниками развития русской промышленности какою бы то ни было ценою и, несомненно, сознательно жертвовали, хотя бы отчасти, интересами русского земледелия в пользу интересов русской промышленности. Далее не надо упускать из вида, что Германия сама далеко не является прямым потребителем большей части предметов заграничного отпуска нашего сельского хозяйства. Для большей части произведений нашей земледельческой промышленности Германия является только посредником, а следовательно, от нас и от потребляющих рынков зависит войти в непосредственные сношения и тем избегнуть дорого стоящего германского посредничества. Наконец, необходимо принять в соображение, что условия торговых взаимоотношений могут изменяться в зависимости от условий политического сожительства договаривающихся государств, так как ни одной стране невыгодно экономическое ослабление союзника, а напротив выгодно разорение политического противника. Словом, хотя несомненно, что действующие русско-германские торговые договоры для нас невыгодны и что Германия, при заключении их, использовала удачно сложившуюся для нее обстановку, то-есть попросту прижала нас, но поведение это не может учитываться как враждебное и является заслуживающим подражания и с нашей стороны актом здорового национального эгоизма, которого нельзя было от Германии не ожидать и с которым надлежало считаться. Во всяком случае мы на примере Австро-Венгрии видим земледельческую страну, находящуюся в несравненно большей, нежели мы, экономической зависимости от Герма-

нии, что, однако, не препятствует ей достигнуть в области сельского хозяйства такого развития, о котором мы можем только мечтать.

В силу всего изложенного заключение с Германией вполне приемлемого для России торгового договора, казалось бы, отнюдь не требует предварительного разгрома Германии. Вполне достаточно добрососедских с нею отношений, вдумчивого взвешивания действительных наших экономических интересов в различных отраслях народного хозяйства и долгой упорной торговли с германскими делегатами, несомненно, призванными охранять интересы своего, а не нашего отечества. Скажу более, разгром Германии в области нашего с нею товарообмена был бы для нас невыгодным.

Разгром ее, несомненно, завершился бы миром, продиктованным с точки зрения экономических интересов Англии. Эта последняя использует выпавший на ее долю успех до самых крайних пределов, и тогда мы в разоренной и утратившей морские пути Германии только потеряем все же ценный для нас потребительный рынок для своих, не находящих другого сбыта продуктов.

В отношении к экономическому будущему Германии интересы России и Англии прямо противоположны друг другу.

Англии выгодно убить германскую морскую торговлю и промышленность Германии, обратив ее в бедную, по возможности, земледельческую страну. Нам выгодно, чтобы Германия развила свою морскую торговлю и обслуживаемую ею промышленность в целях снабжения отдаленнейших мировых рынков и в то же время открыла бы внутренний рынок произведениям нашего сельского хозяйства для снабжения многочисленного своего рабочего населения.

Но, независимо от торговых договоров, обычно принято указывать на гнет немецкого засилья в русской экономической жизни, и на систематическое внедрение к нам немецкой колонизации, представляющей будто бы явную опасность для русского государства. Думается, однако, что такого рода опасения в значительной мере преувеличены. Пресловутый Drang nach Osten был в свое время естественен и понятен, раз территория Германии не вмещала возросшего населения, избыток которого и вытеснялся в сторону наименьшего сопротивления, т.-е. в менее густо населенную, соседнюю страну.

Германское правительство вынуждено было считаться с неизбежностью этого движения, но само едва ли могло признавать его отвечающим своим интересам. Ведь как никак, из сферы германской государственности уходили германские люди, сокращая тем живую силу своей страны. Конечно, германское правительство, употребляя все усилия, чтобы сохранить связь переселенцев со своим прежним отечеством, пошло даже на столь оригинальный прием, как допущение двойного подданства. Но несомненно, однако, что значительная часть германских выходцев все же окончательно и бесповоротно оседала на своем новом месте и постепенно порывала с прежнею родиною. Это обстоятельство, явно не соответствующее государственным интересам Германии, очевидно, и явилось одним из побудительных для нее сти-

мулов стать на путь столь чуждых ей прежде колониальной политики и морской торговли.

И вот, по мере умножения германских колоний и тесно связанного с тем развития германской промышленности и морской торговли, немецкая колонистская волна идет на убыль, и недалек тот день, когда Drang nach Osten отойдет в область исторических воспоминаний. Во всяком случае, немецкая колонизация, несомненно, противоречащая нашим государственным интересам, должна быть прекращена, и в этом дружественные отношения с Германией нам не помеха. Высказываться за предпочтительность германской ориентации не значит стоять за вассальную зависимость России от Германии, и, поддерживая дружественную, добрососедскую с нею связь, мы не должны приносить в жертву этой цели наших государственных интересов. Да и Германия не будет возражать против борьбы с дальнейшим наплывом в Россию немецких колонистов. Ей самой выгоднее направить волну переселения в свои колонии. К тому же даже и тогда, когда этих последних не было, и германская промышленность не обеспечивала еще заработка всему населению, оно все-таки не считало себя в праве протестовать против принятых в царствовании Александра III ограничительных мер по отношению к иностранной колонизации. Что же касается немецкого засилья в области нашей экономической жизни, то едва ли это явление вызывает те нарекания, которые обычно против него раздаются. Россия слишком бедна и капиталами, и промышленною предприимчивостью, чтобы могла обойтись без широкого притока иностранных капиталов. Поэтому известная зависимость от того или другого иностранного капитала неизбежна для нас до тех пор, пока промышленная предприимчивость и материальные средства населения не разовьются настолько, что дадут возможность совершенно отказаться от услуг иностранных предпринимателей и их денег. Но, пока мы в них нуждаемся, немецкий капитал выгоднее для нас, чем всякий другой.

Прежде всего этот капитал из всех наиболее дешевый, как довольствующийся наименьшим процентом предпринимательской прибыли. Этим в значительной мере и об'ясняется сравнительная дешевизна немецких произведений и постепенное вытеснение ими английских товаров с мирового рынка. Меньшая требовательность в смысле рентабельности немецкого капитала имеет своим последствием то, что он идет на такие предприятия, в которые, по сравнительной их малой доходности, другие иностранные капиталы не идут. Вследствие той же относительной дешевизны немецкого капитала, прилив его в Россию влечет за собой отлив из России меньших сумм предпринимательских барышей по сравнению с английским и французским и, таким образом, большее количество русских рублей остается в России. Мало того, значительная доля прибылей, получаемых на вложенные в русскую промышленность германские капиталы, и вовсе от нас не уходит, а проживается в России.

В отличие от английских или французских, германские капиталисты большею частью, вместе со своими капиталами, и сами переезжают в Россию. Этим их свойством в значительной степени и об'ясняется поражающая нас

многочисленность немцев-промышленников, заводчиков и фабрикантов, п сравнению с англичанами и французами.

Те сидят себе за границей, до последней копейки выбирая из Росс вырабатываемые их предприятиями барыши. Напротив того, немцы предпр ниматели подолгу проживают в России, а нередко там оседают навсегда. Чт бы ни говорили, но немцы, в отличие от других иностранцев, скоро осваив ются в России и быстро русеют. Кто не видал, напр., французов и англича чуть не всю жизнь проживающих в России, и, однако, ни слова по-русски н говорящих? Напротив того, много ли видно немцев, которые бы хотя с ак центом, ломаным языком, но все же не об'яснялись по-русски? Мало того кто не видал чисто русских людей, православных, до глубины души предан ных русским государственным началам и, однако, всего в первом или во вто ром поколении происходящих от немецких выходцев? Наконец, не следуе забывать, что Германия, до известной степени, и сама заинтересована в эко номическом нашем благосостоянии. В этом отношении Германия выгодно отли чается от других государств, заинтересованных исключительно в получени возможно большей ренты на затраченные в России капиталы, хотя бы це ною экономического разорения страны. Напротив того, Германия в качестве постоянного—хотя разумеется и не бескорыстного—посредника в наше внешней торговле заинтересована в поддержании производительных сил на шей родины, как источника выгодных для нее посреднических операций.

Даже победа над Германией сулит России крайне неблагоприятные перспективы.

Во всяком случае, если даже признать необходимость искоренения немецкого засилья в области нашей экономической жизни, хотя бы ценою совершенного изгнания немецкого капитала из русской промышленности, то соответствующие мероприятия, казалось бы, могут быть осуществлены и помимо войны с Германией. Эта война потребует таких огромных расходов, которые во много раз превысят более чем сомнительные выгоды, полученные нами вследствие избавления от немецкого засилья. Мало того, последствием этой войны окажется такое экономическое положение, перед которым гнет германского капитала покажется легким.

Ведь не подлежит сомнению, что война потребует расходов, превышающих ограниченные финансовые рессурсы России. Придется обратиться к кредиту союзных и нейтральных государств, а он будет оказан не даром. Не стоит даже говорить о том, что случится, если война окончится для нас неудачно. Финансово-экономические последствия поражения не поддаются ни учету, ни даже предвидению и, без сомнения, отразятся полным развалом всего нашего народного хозяйства. Но даже победа сулит нам крайне неблагоприятные финансовые перспективы: вконец разоренная Германия не будет в состоянии возместить нам понесенные издержки. Продиктованный в интересах Англии мирный договор не даст ей возможности экономически оправиться настолько, чтобы даже впоследствии покрыть наши военные

расходы. То немногое, что может быть удастся с нее урвать, придется делить с союзниками, и на нашу долю придутся ничтожные, по сравнению с военными издержками, крохи. А между тем военные займы придется платить не без нажима со стороны союзников. Ведь, после крушения германского могущества, мы уже более не будем им нужны. Мало того, возросшая вследствие победы, политическая наша мощь побудит их ослабить нас хотя бы экономически. И вот неизбежно, даже после победоносного окончания войны, мы попадем в такую же финансовую экономическую кабалу к нашим кредиторам, по сравнению с которой наша теперешняя зависимость от германского капитала покажется идеалом. Как бы печально, однако, ни складывались экономические перспективы, открывающиеся нам как результат союза с Англией, следовательно и войны с Германией,—они все же отступают на второй план перед политическими последствиями этого по существу своему противоестественного союза.

Борьба между Россией и Германией глубоко нежелательна для обеих сторон, как сводящаяся к ослаблению монархического начала.

Не следует упускать из вида, что Россия и Германия являются представительницами консервативного начала в цивилизованном мире, противоположного началу демократическому, воплощаемому Англией и, в несравненно меньшей степени, Францией. Как это ни странно, Англия, до мозга костей монархическая и консервативная дома, всегда во внешних своих сношениях выступала в качестве покровительницы самых демагогических стремлений, неизменно потворствуя всем народным движениям, направленным к ослаблению монархического начала.

С этой точки зрения борьба между Германией и Россией, независимо от ее исхода, глубоко нежелательна для обеих сторон, как, несомненно, сводящаяся к ослаблению мирового консервативного начала, единственным надежным оплотом которого являются названные две великие державы. Более того, нельзя не предвидеть, что, при исключительных условиях надвигающейся общеевропейской войны, таковая, опять-таки независимо от ее исхода, представит смертельную опасность и для России, и для Германии. По глубокому убеждению, основанному на тщательном многолетнем изучении всех современных противогосударственных течений, в побежденной стране неминуемо разразится социальная революция, которая, силою вещей, перекинется и в страну-победительницу.

Слишком уж многочисленны те каналы, которыми, за много лет мирного сожительства, незримо соединены обе страны, чтобы коренные социальные потрясения, разыгравшиеся в одной из них, не отразились бы и в другой. Что эти потрясения будут носить именно социальный, а не политический характер,—в этом не может быть никаких сомнений, и это не только в отношении России, но и в отношении Германии. Особенно благоприятную почву для социальных потрясений представляет, конечно, Россия, где народные массы, несомненно, исповедуют принципы бессознательного социализма. Не-

смотря на оппозиционность русского общества, столь же бессознательну: как и социализм широких слоев населения, политическая революция в Ро сии невозможна, и всякое революционное движение неизбежно выродится социалистическое. За нашей оппозицией нет никого, у нее нет поддержки народе, не видящем никакой разницы между правительственным чиновнико и интеллигентом. Русский простолюдин, крестьянин и рабочий одинаков не ищет политических прав, ему и ненужных, и непонятных.

Крестьянин мечтает о даровом наделении его чужою землею, рабочий— передаче ему всего капитала и прибылей фабриканта, и дальше этого их во жделения не идут. И стоит только широко кинуть эти лозунги в население стоит только правительственной власти безвозбранно допустить агитацию этом направлении,—Россия, несомненно, будет ввергнута в анархию, пере житую ею в приснопамятный период смуты 1905—1906 годов. Война с Герма нией создаст исключительно благоприятные условия для такой агитации Как уже было отмечено, война эта чревата для нас огромными трудностями и не может оказаться триумфальным шествием в Берлин. Неизбежны и воен ные неудачи,—будем надеяться, частичные,—неизбежными окажутся и те или другие недочеты в нашем снабжении. При исключительной нервности на шего общества, этим обстоятельствам будет придано преувеличенное зна чение, а при оппозиционности этого общества, все будет поставлено в вину правительству.

Хорошо, если это последнее не сдастся и стойко заявит, что во время войны никакая критика государственной власти не допустима и решительно пресечет всякие оппозиционные выступления. При отсутствии у оппозиции серьезных корней в населении, этим дело и кончится. Не пошел в свое время и народ за составителями Выборгского воззвания, точно так же не пойдет он за ними и теперь.

Но может случиться и худшее: правительственная власть пойдет на уступки, попробует войти в соглашение с оппозицией и этим ослабит себя к моменту выступления социалистических элементов. Хотя и звучит парадоксом, но соглашение с оппозицией в России безусловно ослабляет правительство. Дело в том, что наша оппозиция не хочет считаться с тем, что никакой реальной силы она не представляет. Русская оппозиция сплошь интеллигентна, и в этом ее слабость, так как между интеллигенцией и народом у нас глубокая пропасть взаимного непонимания и недоверия. Необходим искусственный выборный закон, мало того, нужно еще и прямое воздействие правительственной власти, чтобы обеспечить избрание в Гос. Думу даже наиболее горячих защитников прав народных. Откажи им правительство в поддержке, предоставь выборы их естественному течению,—и законодательные учреждения не увидели бы в самых стенах ни одного интеллигента, помимо нескольких агитаторов-демагогов. Как бы ни распинались о народном доверии к ним члены наших законодательных учреждений, крестьянин скорее поверит безземельному казенному чиновнику, чем помещику-октябристу, заседающему в Думе; рабочий с большим доверием отнесется к живущему на

жалование фабричному инспектору, чем к фабриканту-законодателю, хотя бы тот исповедывал все принципы кадетской партии.

Более, чем странно при таких условиях требовать от правительственной власти, чтобы она серьезно считалась с оппозицией, ради нее отказалась от роли беспристрастного регулятора социальных отношений и выступила перед широкими народными массами в качестве послушного органа классовых стремлений интеллигентно-имущего меньшинства населения. Требуя от правительственной власти ответственности перед классовым представительством и повиновения ею же искусственно созданному парламенту (вспомним знаменитое изречение В. Набокова: «Власть исполнительная да подчинится власти законодательной!»), наша оппозиция, в сущности, требует от правительства психологию дикаря, собственными руками мастерящего идола и затем с трепетом ему поклоняющегося.

г

Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой трудно предвидеть.

Если война окончится победоносно, усмирение социалистического движения в конце концов не представит неопреодолимых затруднений. Будут аграрные волнения на почве агитации за необходимость вознаграждения солдат дополнительной нарезкой земли, будут рабочие беспорядки при переходе от вероятно повышенных заработков военного времени к нормальным расценкам—и, надо надеяться, только этим и ограничится, пока не докатится до нас волна германской социальной революции. Но в случае неудачи, возможность которой, при борьбе с таким противником, как Германия, нельзя не предвидеть,—социальная революция, в самых крайних ее проявлениях, у нас неизбежна.

Как уже было указано, начнется с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная кампания против него, как результат которой в стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, единственные, которые могут поднять и сгруппировать широкие слои населения, сначала черный передел, а засим и общий раздел всех ценностей и имуществ. Побежденная армия, лишившаяся, к тому же, за время войны наиболее надежного кадрового своего состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованною, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишенные действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентные партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению.

Германии, в случае поражения, предстоит пережить неменьшие социальные потрясения, чем России.

Как это ни странно может показаться на первый взгляд, при исключительной уравновешенности германской натуры, но и Германии, в случае поражения, предстоит пережить неменьшие социальные потрясения. Слишком уж тяжело отразится на населении неудачная война, чтобы последствия ее не вызывали на поверхность глубоко скрытые сейчас разрушительные стремления. Своеобразный общественный строй современной Германии построен на фактически преобладающем влиянии аграриев, прусского юнкерства и крестьян-собственников.

Эти элементы являются оплотом глубоко консервативного строя Германии, под главенствующим руководительством Пруссии. Жизненные интересы перечисленных классов требуют покровительственной по отношению к сельскому хозяйству экономической политики, ввозных пошлин на хлеб и, следовательно, высоких цен на все сельско-хозяйственные произведения. Но Германия, при ограниченности своей территории и возросшем населении, давно уже из страны земледельческой превратилась в страну промышленную, а потому покровительство сельскому хозяйству сводится, в сущности, к обложению в пользу меньшей по численности половины населения большей половины. Компенсацией для этого большинства и является широкое развитие вывоза произведений германской промышленности на отдаленнейшие рынки, дабы извлекаемые этим путем выгоды давали возможность промышленникам и рабочему населению оплачивать повышенные цены на потребляемые дома продукты сельского хозяйства.

С разгромом Германии она лишится мировых рынков и морской торговли, ибо цель войны,—со стороны действительного ее зачинщика Англии,—это уничтожение германской конкуренции. С достижением этого лишенные не только повышенного, но и всякого заработка, исстрадавшиеся во время войны, и, естественно, озлобленные рабочие массы явятся восприимчивой почвой противоаграрной, а затем и антисоциальной пропаганды социалистических партий.

В свою очередь, эти последние, учитывая оскорбленное патриотическое чувство и накопившееся вследствие проигранной войны народное раздражение против обманувших надежды населения милитаризма и феодально-бюргерского строя, свернут с пути мирной революции, на котором они до сих пор так стойко держались, и станут на чисто революционный путь. Сыграет свою роль, в особенности в случае социалистических выступлений на аграрной почве в соседней России, и многочисленный в Германии безземельный класс сельско-хозяйственных батраков. Независимо от сего оживятся таящиеся сейчас сепаратистские стремления в южной Германии, проявится во всей своей полноте затаенная враждебность Баварии к господству Пруссии, словом, создастся такая обстановка, которая мало чем будет уступать, по своей напряженности, обстановке в России.

Мирному сожительству культурных наций более всего угрожает стремление Англии удержать ускользающее от нее господство над морями.

Совокупность всего вышеизложенного не может не приводить к заключению, что сближение с Англией никаких благ нам не сулит, и английская ориентация нашей дипломатии по своему существу глубоко ошибочна. С Англией нам не по пути, она должна быть предоставлена своей судьбе, и ссориться из-за нее с Германией нам не приходится.

Тройственное согласие—комбинация искусственная, не имеющая под собой почвы интересов, и будущее принадлежит не ей, а несравненно более жизненному тесному сближению России, Германии, примиренной с последнею Франции и связанной с Россией строго оборонительным союзом Японии Такая лишенная всякой агрессивности по отношению к прочим государствам, политическая комбинация на долгие годы обеспечит *мирное сожительство культурных наций,* которому угрожают не воинственные замыслы Германии, как силится доказать английская дипломатия, а лишь вполне естественное стремление Англии во что бы то ни стало удержать ускользающее от нее господство над морями. В этом направлении, а не в бесплодных исканиях почвы для противоречащего самым своим существом нашим государственным видам и целям соглашения с Англией, и должны быть сосредоточены все усилия нашей дипломатии.

При этом, само собой разумеется, что и Германия должна пойти навстречу нашим стремлениям восстановить испытанные дружественно-союзные с нею отношения и выработать, по ближайшему соглашению с нами, такие условия нашего с нею сожительства, которые не давали бы почвы для противогерманской агитации со стороны наших конституционно-либеральных партий, по самой своей природе вынужденных придерживаться не консервативно-германской, а либерально-английской ориентации.

Февраль 1914 г.

П. Н. Дурново.

Курс лекций по историческому материализму.

Л. И. Аксельрод (Ортодокс).

Предисловие.

Предлагаемый читателям «Курс лекций» по историческому материализму был прочитан в 1919 г. в Тамбове учителям Тамбовской губ.

Группа слушателей тогда же обратилась в правление наробраза, по приглашению которого я читала этот курс, с предложением стенографировать лекции. Предложение было принято, и в результате я получила полную стенограмму курса. Правление наробраза предложило мне далее печатать этот курс, на что я согласилась, представив для печати первые четыре лекции. Но в это время Тамбов подвергся нашествию Мамонтова. Некоторые учреждения были разгромлены. Было, повидимому, не до печатания моего курса, и я взяла свою работу назад.

Мысль о напечатании курса не была мною оставлена, но рядом с этим возникли ряд соображений и неизбежные колебания.

Встало прежде всего сомнение о целесообразности и необходимости такой работы. Ведь существуют по этому предмету такие классические произведения, как «Антидюринг» Энгельса, «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю и «Основные вопросы марксизма» Плеханова и «Исторический материализм» Антония Лабриолы. Кроме того, есть ряд статей о материалистическом понимании истории Каутского, Меринга, несколько брошюр как в Западной Европе, так и у нас в России, трактующих все тот же предмет. А затем, не так давно вышла интересная книга тов. Н. Бухарина, в которой сделана попытка положительного и систематического изложения основ марксистского мировоззрения.

Тщательно взвесив все указанные обстоятельства, я все же пришла к заключению, что и моя работа может быть не совсем бесполезна. Дело в том, что классические призведения «Антидюринг» и «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» не вполне доступны современному поколению, благодаря своему полемическому характеру. Настоящее понимание этих произведений возможно лишь при условии основательного знания тех идеологических течений, против которых Энгельс и Плеханов вели борьбу. «Основные вопросы марксизма» превосходное, конечно, произведение, но оно отличается чрезвычайной сжатостью.

Замечательная книга А. Лабриолы занимается, главным образом, одной стороной материалистического понимания истории,—его монизмом. Кроме того, за последнее время наросла критика, с которой следует считаться.

Далее, что касается статей и брошюр по этому предмету, то хотя каждая из них представляет собою ту или иную ценность, но материалистическое понимание истории представляется в них все же конспективно и, главным образом, совершенно независимо от критики и других направлений в философии истории и социологии.

Остается, таким образом, ответить на вопрос, нуждается ли читатель в новой работе по историческому материализму раз имеется книга тов. Бухарина. Очень трудно, конечно, отвечать за читателя, и я не берусь дать за него ответ. Если вообще человеку свойственно ошибаться, то тем более это свойственно писателю в таком щекотливом вопросе. Тем не менее, я все же решаюсь печатать работу, исходя из следующих двух соображений.

Во-первых, основные методологические принципы, развернутые в книге тов. Бухарина, значительно на мой взгляд отличаются от основных принципов ортодоксального марксизма. И сам тов. Бухарин категорически заявляет в предисловии следующее: «В некоторых довольно существенных пунктах автор отступает от обычной трактовки предмета, в других он считает возможным не ограничиваться уже известными положениями, а развивать их дальше». И хотя тов. Бухарин тут же прибавляет, что он «всюду и везде продолжает традиции наиболее ортодоксального, материалистического и революционного марксизма», отступление от «существенных пунктов» дает себя чувствовать весьма сильно в понимании метода, т.-е. в главной основе материалистического об'яснения истории.

Я же остаюсь на старой позиции ортодоксального марксизма без всяких отступлений. Признавая вместе с тов. Бухариным необходимость дальнейшего развития некоторых важных проблем диалектического материализма, я вместе с тем не вижу никакой надобности в отступлении «от некоторых существенных пунктов». Наоборот, мой скромный марксистский опыт все более и более укрепляет и утверждает старую ортодоксальную позицию во всех ее важных и «существенных пунктах». Мы, следовательно, расходимся с тов. Бухариным. И это расхождение служит основанием, почему я невзирая на существование интересной книги тов. Бухарина, решаюсь предложить благосклонному читателю мою работу.

Во-вторых, знакомство с марксистской мыслью привело меня к убеждению, что каждый теоретик марксизма, какого калибра он бы ни был, проверял и утверждал марксистское мировоззрение на разработке, анализе и решении отдельных проблем.

Поэтому работа марксиста по историческому материализму может выявить применение марксистского метода с наибольшей выпуклостью к тем областям, которые его занимали по преимуществу.

Удалось ли мне и в какой мере удалось выявить применение метода диалектического материализма к решению тех вопросов, над которыми мне пришлось работать, главным образом об этом пусть судит читатель.

Москва, 29 ноября 1922 г. **Л. Аксельрод-Ортодокс.**

ЛЕКЦИЯ 1.

Возможны ли исторические законы.

Материалистическое понимание истории—очень сложное, всеоб'емлющее миросозерцание. Оно начинается с философских предпосылок и заканчивается принципам социально-политической тактики. Оно, таким образом, обнимает собой и теорию, и практику, теоретические принципы исторического развития и принципы воли и действия общественного человека. Оно, следовательно, соединяет в себе об'яснение деятельности, выражаясь философским языком, теоретического и практического разума. Само собой понятно, что это мировоззрение во всем его целом не может быть изложено законченным и исчерпывающим образом. Самым верным и настоящим изложением материалистического взгляда на историю было бы критическое рассмотрение всей истории культуры, т.-е. всей исторической деятельности человечества с точки зрения этого мировоззрения. Такая задача не выполнима даже для первоклассного гения, тем более не должен за нее браться обыкновенный смертный. Эта задача выполняется по частям всемирным марксизмом, который достиг в этой области довольно значительных результатов.

Я постараюсь на основании этих результатов развить перед вами основные принципы методологического свойства, т.-е. те начала и предпосылки, которые необходимы каждому марксисту для того, чтобы быть в состоянии методологически разобраться в исторических и общественных явлениях и вопросах.

Материалистическое понимание истории ищет прежде всего установления исторических законов, и не только ищет, но его великие основатели Маркс и Энгельс их открыли. Является, следовательно, прежде всего вопрос: что такое закон. Сущность закона сформулирована на мой взгляд вполне правильно одним из выдающихся политических мыслителей XVIII столетия Монтескье. В его знаменитом сочинении «Дух законов» Монтескье определяет сущность закона таким образом: «Законы в самом обширном значении этого слова суть необходимые отношения, вытекающие из природы вещей, и в этом смысле все существующее имеет свои законы». В области естествознания никем в настоящее время не оспаривается, что существуют об'ективные законы, вытекающие из природы вещей и выражающие постоянство взаимоотношений этих последних. Возьмите закон притяжения. Мы знаем, что каждое тело, падающее с известной высоты, притягивается центром земли. Этот закон выведен на основании бесконечного количества повторных явлений. Нам хорошо известен всеоб'емлющий закон сохранения вещества или материи. Этот закон гласит, что материя во время реакции не исчезает и не творится, а лишь только видоизменяется, всегда и неизменно оставаясь материей. Или, другими словами, при всех химических превращениях вес веществ, вступающих в реакцию, всегда равен весу полученных в результате реакций. Еще иначе общий вес изменяющихся качественно ве-

ществ, а, следовательно, их общая масса или материя сохраняется. Или другой всеоб'емлющий закон о сохранении энергии. Этот закон сводится к следующему: какое бы явление или процесс, происходящий в природе, мы ни взяли, каким бы превращениям ни подвергалась в нем энергия, всегда оказывается, что сумма ее во всех телах, участвовавших в этих превращениях до процесса, после процесса и в любой момент процесса остается всегда постоянной. Иначе говоря, нельзя ни создать энергию, ни уничтожить ее. На всякое количество возникающей энергии одновременно исчезает соответствующее, или, выражаясь химическим термином, эквивалентное, количество другого вида энергии, и, наоборот, никакое количество энергии не исчезает без того, чтобы одновременно не возникло эквивалентного количества какой-нибудь другой ее формы. Это обобщение является одним из основных законов современного естествознания.

Оба закона выведены на основании строго проверенного опыта при различных условиях, но вот встает вопрос, возможно ли найти и установить такие общие и общепризнанные законы в исторической области? Существует целый ряд ученых, которые вообще отрицают такую возможность. Основания, ими высказываемые, в общем и главном следующие. Во-первых, явления природы отличаются несравненно меньшей степенью сложности, нежели явления общественно-исторической жизни. Во-вторых, в области наблюдения над процессами природы мы замечаем постоянное повторение одних и тех же явлений. В-третьих, естествознание пользуется экспериментом, т.-е. искусственным воспроизведением явлений. Мы имеем возможность в физической и химической лабораториях воспроизвести некоторые из тех явлений, которые мы подсмотрели и подслушали в жизни природы. Между тем как при изучении общественной и исторической деятельности человечества мы лишены этой возможности. Нельзя произвести в лаборатории Великую французскую революцию, мы не в состоянии воссоздать эпоху греко-персидских войн, в ее конкретности, или время реформации со всеми последствиями этих великих событий, имевших такое глубокое влияние на ход исторического развития. В историческом процессе, утверждают далее противники возможности исторических законов, нет повторности явления. Ни одно историческое событие и ни одно историческое явление не похоже на другие. В исторической действительности всякое событие бывает только один раз. Кроме указанных причин в исторических событиях действуют и могут оказать решающее влияние случайности. Если бы, например, отсутствовала та или другая выдающаяся гениальная личность или тот или другой закон крупного государственного деятеля, возможно, что вся история приняла бы другой вид. В этом отношении может оказывать влияние даже мелкий и с виду совершенно незначительный факт. Если бы, утверждали историки старой школы, у египетской царицы Клеопатры форма носа была иная, ход развития Римской империи принял бы иное направление, а вместе с тем пошла бы по другому руслу вся европейская цивилизация. Или, если бы во время семилетней войны, маркиза Дюбари не была бы фавориткой Людовика XV, весьма возможно, что вся западно-европейская жизнь XIX столетия приняла

бы совершенно другой оборот. Ибо в семилетней войне Франция и Голландия потеряли свое значение на море. А ход и исход войны обусловливались действием бездарных французских генералов, которым покровительствовала маркиза Дюбари. Выходит таким образом, что если бы король Франции не отличался слабостью к женскому полу, а маркиза Дюбари не была так привлекательна, история Европы пошла бы другим путем. Следовательно, такие мелкие непредвиденные и совершенно неподдающиеся никакому учету случайности могут определить собою судьбы всемирной истории.

О значении случайности и о влиянии личности в истории я буду говорить особо, когда речь пойдет о свободе и необходимости, об отношении личности к действиям масс и о роли крупных людей в ходе исторического развития. А сейчас остановимся на первых отмеченных возражениях и начнем с вопроса о сложности исторических событий.

Несомненный факт чрезвычайной сложности общественных и исторических явлений и событий не может служить принципиальным препятствием к нахождению и определению исторической закономерности. И в общей цепи расположения естественных наук мы видим восхождение от простого к сложному и от менее сложного к более сложному. Химия, например, сложнее физики, потому что она включает в себе и законы физики и плюс ее собственные законы, биология сложнее и физики, и химии, так как эта сложная отрасль знания воплощает в себе законы физики, химии, анатомии, физиологии и т. д. То же самое относится к психологии, которая, кроме законов из области естествознания должна считаться с обществоведением в самом широком значении этого понятия.

Тем не менее эти соображения не заставляют же представителей указанных областей отказаться от установления и признания возможности и наличности законов в биологии и психологии. Факт сложности той или другой отрасли науки не является методологической преградой на пути к исканию законов, а требует лишь полноты сознания исследователя трудности задачи. Нет и не может быть сомнения в том, что общественно-историческая жизнь являет собой необычайную сложность во всех ее проявлениях. Но это бесспорное положение обязывает исследователя этой многооб'емлющей отрасли знания к ясному и отчетливому пониманию условий своей трудной задачи и *сугубой осторожности в своих выводах*. Тут вполне уместно напомнить слова Бэкона, что к чрезмерному стремлению разума к обобщению следует подвесить оловянные гири. Эти требования, требования сознания и ответственности—очень большие и очень серьезные требования.

Перехожу к другому возражению, к вопросу о повторяемости исторических явлений. Утверждение, будто в истории события и явления не повторяются, просто ошибочно. Наоборот, в исторической жизни народов мы встречаемся с бесконечным количеством повторений, давшим полное основание философу пессимисту Шопенгауэру горько жаловаться на томительную скуку в истории человечества. Возьмем сперва для примера социально-экономическую область. В настоящее время нам очень хорошо известно, что почти всем народам на первых ступенях их общественного развития свой-

ственен родовой коммунистический быт [1]). Мы знаем также, что этот ро-родовой коммунизм имел везде сходные однообразные причины, сводящиеся в общем к групповым способам производства, которыми определялась и коммунистическая форма распределения. Нам далее известно, что феодальный порядок пережили все европейские государства, и что хотя в несколько иной форме и при других географических и исторических условиях тот же феодальный порядок был присущ и русскому государству. Если затем бросить взгляд на политическую область (замечу в скобках, что мы отрываем политическую область от экономической структуры лишь для удобства, и что по существу эти области неразрывны), то и тут нам бросаются в глаза неизбежные постоянные повторения. Мы видим, например, политические революции во всех почти странах европейского запада и России. Как бы ни различались по своему содержанию и характеру все имевшие место в истории революции, во всех революциях можно отметить целый ряд крупных и совершенно сходных по своей сущности явлений, дающих полную возможность выводить общие законы в такой важной и серьезной сфере, как сфера революционной борьбы и революционных катастрофических переворотов. И фактически все историки революций, признают ли они принципиально повторяемость исторических явлений или не признают, всегда приводят параллели, дающие материал для установления исторической закономерности.

Пойдем дальше, и бросим с этой точки зрения беглый взгляд на идеологию. К какой бы отрасли идеологии мы ни подошли, мы везде видим все ту же повторяемость. Возьму для иллюстрации историю искусства в его культурно-завершенном виде. Эта область наиболее знакомая вам. Это—во-первых, во-вторых, искусство является такой отраслью человеческой деятельности, где случайность, каприз, настроение, вдохновение, интуиция, или даже бессознательность творца художественных ценностей является почти что общепризнанным фактом. Тем не менее, и в этой отрасли явления до поразительности повторяются. По основному существу в истории художественного творчества повторяется два жанра: классический и реалистический, и другой жанр—романтический. Первый заключается в том, что художник стремится воспроизвести типичные обобщающие черты об'ективной действительности. Это есть реализм в настоящем подлинном значении этого слова. Другой жанр—романтический—заключается в стремлении художника выразить свое собственное суб'ективное настроение. Там преобладает об'ективное начало, тут—суб'ективный момент. И вот эти два главных течения в искусстве повторяются и часто следуют друг за другом с заметной правильностью, начиная с классической древности и кончая нашей эпохой. Мы видим эпохи, когда господствует реализм в искусстве, и другие периоды, в которые преобладающим течением становится суб'ективизм, т.-е. романтика. Сравнительная правильность чередования этих двух родов в искусстве дала

[1]) Появилось теперь течение, отрицающее этот факт. Доводы этого течения будут рассмотрены в лекции о происхождении и развитии частной собственности.

возможность Гете сделать такое важное и интересное обобщение. В эпохи под'ема творчества живых общественных сил, думал величайший мировой поэт-философ, господствует реализм, в периоды же общественного упадка—суб'ективизм—романтика [1]).

Обращаясь к истории философии, мы видим, что и эта область, область человеческой отвлеченной мысли, полна повторений. Философские системы возникают, создаются школы, разрабатываются отдельные ее положения, но проходят некоторые периоды времени,—система подвергается полному разрушению, а затем как будто окончательному и оскорбительному забвению. А далее через столетие, а иногда и через более значительные промежутки времени, система возрождается и часто выдается за нечто совершенно новое и совершенно оригинальное. Приводить примеры, подтверждающие это положение, было бы даже безвкусно, так как в этом отношении история философии почти что не знает исключения.

Да, история полна повторений и во всех областях. Касаясь вопроса о возможности исторических законов, и отражая доводы тех, которые отрицают их возможность, на основании мнимого отсутствия повторяемости явлений, Вундт говорит в своем «Введении в философию» следующее:

> «Этот формальный признак (повторяемость явлений в природе и якобы неповторяемость в области истории. *Орт.*) не верен с двоякой точки зрения: во-первых, совершенно неверно, что единичные явления (das Singulare) не играют роли в естественных науках. Например, почти вся геология состоит из единичных фактов, тем не менее никто не станет утверждать, что—исследование ледяного периода потому только, что он, по всей вероятности, существовал только раз, не относится к естественной науке, а должен быть отдан историку для мечтательного созерцания. Во-вторых, совершенно неверно также и то, что в истории явления не повторяются. Начиная с Полибия, историки, поскольку они не были хроникерами, редко упускали случай, чтобы не указать на одновременные события и аналогичные ряды явлений, которые имели место в различное время и которым присуща одинаковая внутренняя связь. Такими историческими параллелями историки пользовались для известных выводов».

История повторяется. Более того, она повторяется подчас, как бы с очевидным намерением дать почувствовать и понять историческим деятелям, что ее обмануть нельзя. «Если,—говорит она,—вы совершили и вызвали событие, которое не соответствует еще данному состоянию общественных сил, вам придется повторить или, если ваша власть и влияние исчерпаны до дна, ваша попытка возобновить их тщетна и повторения напрасны». Очень хорошо и глубокомысленно говорит знаменитый историк новой философии Куно Фишер о *смысле* повторений исторических событий:

[1]) Вернее будет с нашей точки зрения характеризовать направления в искусстве не состоянием эпохи, а положением определенного класса.

«Повидимому,—пишет историк философии,—всемирная история в великих вопросах, от которых зависит будущее мира, должна повторять доказательства необходимости или невозможности противоположного, чтобы утвердить окончательно новое положение; она дважды доказывала необходимость римского цезаризма и безуспешность умерщвления цезаря; битвою при Филиппах и битвою при Акциуме. Точно так же Бурбоны должны были дважды подвергнуться изгнанию и Наполеон был дважды побежден».

История также полна экспериментов, и в известном смысле и она представляет собою лабораторию, в которой производятся опыты. Но исторический эксперимент отличается от естественно-научного эксперимента тем, что экспериментатор естествоиспытатель, имея дело с неодушевленными телами или животными, отчетливо сознает, что он производит *опыт* и потому с самого начала готов на неудачу. Исторический деятель, руководящий теми или иными событиями, экспериментирует бессознательно. Имея дело с живыми людьми, а не с пассивным, бессознательным материалом, он должен действовать с уверенностью в успехе, и так именно действует исторический деятель и тогда, когда опыт завершился неудачей. К этому надо еще прибавить, что в историческом эксперименте всегда так или иначе принимают участие массы. Сознание приходит post factum. Сова Минервы вылетает в сумерках, как говорит Гегель.

Дальше. Кроме указанных мотивов, якобы лишающих возможности установления исторических законов, выдвигается суб'ективистами еще одно самое сильное с их точки зрения доказательство в тщетности искания исторического об'ективизма.

Каждый историк, или социолог, является человеком определенного сословия, группы, партии, он — продукт своей среды, воспитания, так или иначе, историк или социолог—заинтересованное лицо, а потому в историческое исследование вносятся неизбежно суб'ективные элементы, окрашивающие желательным цветом исследуемые события. А суб'ективная оценка событий и фактов естественно приводит к общим суб'ективным ошибочным выводам.

В нашей русской социологической литературе это возражение выдвигалось и пространно обосновывалось родоначальниками суб'ективной школы в социологии П. Л. Лавровым и Н. К. Михайловским. Оба мыслителя утверждали, что каждая партия и каждый ее представитель может найти в истории достаточное количество фактов для оправдания и подтверждения своего общественного идеала. Протестант, исследующий историческую жизнь, найдет в ней достаточное количество фактов, на основании которых он сумеет доказать, что история человечества имела своей миссией осуществить идею Лютера; католик в свою очередь придет также при помощи внушительных фактов и событий к выводу, что принципы католицизма были и являются главными двигателями в ходе исторического развития. Или революционер найдет полное основание для защиты той идеи, что революционные пере-

вороты рождают новые творческие силы, радикально разрушая ветхие, отжившие социальные формы и государственные учреждения, стоящие преградой на пути к прогрессу. Консерватор в свою очередь остановит главное внимание на таких культурных ценностях, которые необходимо следует хранить, и отсюда сделает заключение, что прогресс обусловливается бережным и тщательным сохранением всего существующего, и т. д. Исходя из этой суб'ективной точки зрения, представители русской суб'ективной социологии приходили к общему выводу, что всякое стремление установить исторические об'ективные законы обречено на полную неудачу.

Только буржуазные ученые, утверждали они, руководимые неутомимым стремлением оправдать существующий порядок вещей, могут искать и страстно ищут почвы и опоры в мнимых законах истории, якобы научным путем установленных. Передовой же человек, социалист, т.-е. истинный защитник интересов народа и прогресса, должен сделать точкой исхода своего социалистического мышления и практической программы не теоретический разум, не об'ективную историческую закономерность, а разум практический, т.-е. нравственную волю. Нравственная воля, творящая идеальные цели, является главным источником и истинной философской основой социалистического идеала, к осуществлению которого стремится критически мыслящая личность. Социалист оценивает исторический ход развития не с точки зрения научной закономерности, а берет за критерий всего совершившегося свой нравственный идеал. Он подвергает строгому нравственному суду историческое зло, несправедливость, все формы эксплоатации человека человеком, с одной стороны, а с другой—он черпает силу и вдохновение в положительных идеальных проявлениях и событиях исторической действительности. Нравственный суд над злодеями в истории и восторг перед ее героями, вот истинные воспитатели критически мыслящей личности, т.-е. социалиста, а не немые цифры и равнодушные факты. Лишь этот сознательно суб'ективный метод, метод нравственных оценок [1]) ведет социалиста к сокровенной цели. Научный же об'ективный взгляд на движение мировой истории, утверждение, будто в исторической действительности господствует безусловная закономерность, на которую должна опираться практическая деятельность, приводит к пассивности, бездеятельности или, как любили выражаться наши суб'ективные социологи, к квиэтизму.

Вопрос об отношении практической деятельности к научному пониманию истории мы пока оставим неразрешенным. Об этом довольно сложном вопросе будет речь впереди. В данной же общей связи нас интересует утверждение, будто историеведение в отличие от естествознания не может

---

[1]) Историческая теория Виндельбанда-Риккерта обнаруживает большое сходство с субъективной теорией наших субъективных социологов. И неудивительно, так как философская основа субъективной социологии и историческая теория упомянутых немецких мыслителей имеют своим общим источником этику Канта. Тут же отмечу, что в известном смысле еще большее сходство с русской субъективной социологией мы замечаем в этическом социализме марбургской школы. Об этих направлениях в философско-исторической мысли будет речь впереди.

стать настоящей наукой, благодаря неминуемому и неизбежному суб'ективному отношению исследователя к вопросам общежития человечества.

Это утверждение не выдерживает ни малейшей критики по той простой и очевидной причине, что и естествознанию присущи все роды суб'ективизма. В действительности всякий вновь открытый закон, всякая добытая истина, безразлично из какой области, утверждались и приобретали всеобщее признание путем упорной, серьезной, а подчас и героической борьбы, проходя, если можно так выразиться, через чистилище суб'ективных отношений и наслоений, которые составляли тем более серьезное препятствие, чем основательнее, значительнее и плодотворнее был данный закон и данная истина.

Утверждать, что естественные науки составляют исключение, значит либо нарочно закрывать глаза на общеизвестные исторические факты, или же, что, конечно, чаще всего, бессознательно упускать их из вида, не отдавая себе ясного отчета в их значении. Что касается индивидуально-суб'ективных черт и склонностей исследователя, то естествоиспытатели, которые, как известно, не падают с неба, а рождаются, растут и развиваются на грешной земле, в определенной социальной обстановке, принадлежат к определенному классу и определенным общественным группам, могут точно так же, как и социологи, и философы истории приступать к изучению природы с огромным запасом предрассудков и разного рода беспросветного суеверия. И в настоящее время теоретические отделы произведений по естествознанию полны мистическими уклонами мысли. При изложении и оценке успехов современной положительной науки можно легко встретить благочестивое утверждение, что в конечном итоге познанные нами известные законы природы, открывающие человечеству такие грандиозные ободряющие перспективы, суть не что иное, как мысли божии. Подобная орнаментика не так уж невинна, как это может казаться на первый взгляд. Бог всегда вызывает логическую паузу, обрывающую нить критической пытливой мысли, и неизбежно служит веским препятствием на пути к научному исследованию. И все эти мистические тенденции в философии естествознания вытекают из тех же источников, которыми обусловливается суб'ективизм в общественной науке.

Еще Бэкон делал указания на те родовые индивидуальные и вытекающие из общественной среды суб'ективные свойства и склонности исследователя, которые являются величайшим тормозом на пути к об'ективному познанию явлений природы. Анализируя и подчеркивая эти суб'ективные начала, требуя от естествоиспытателя, чтобы он от них освободился, основоположник точного знания намечал вместе с тем методы, при помощи которых возможно достижение точного опытного знания. И нет ни малейшего сомнения, что со времени Бэкона естествознание добилось таких успехов, о которых не мечтал ни Бэкон, несмотря на его пылкую фантазию, ни Гоббс, ни другие основатели современной положительной науки.

Все больше и больше укрепляющееся, преимущественно в буржуазной идеологии, суеверие, что в естествознании об'ективное исследование и на-

учное предсказание возможны, а в общественно-исторической науке невоз можны, имеет своим поводом тот факт, что естествознание в настояще время обладает многими общепризнанными законами, между тем как закон и выводы общественных наук составляют предмет страстных и ожесточен ных споров. Но это различие не принципиального свойства, а историческог характера. Нет почти ни одного из известных нам законов природы, не почти ни одной значительной истины, которые не подвергались в свое врем таким же страстным и ожесточенным нападкам, каким подвергается в наш время учение Маркса о стоимости, о борьбе классов и все положения и вы воды научного социализма. Возможность, хотя далеко не безусловная, сво бодного беспрепятственного развития естествознания в нашу эпоху обусл вливается тем, что познание природы и победа над ее силами необходим и выгодны буржуазным классам, между тем как об'ективное беспристраст ное выяснение общественных отношений становится все более и более угр жающим явлением для теперешнего общественного порядка. И точно та кой же острый критический момент переживало естествознание, когда он являлось могучим орудием в борьбе против общественного порядка средни веков. Выражая классовые интересы господствующего духовенства, инкви зиция сожгла Джиордано Бруно на костре, а Галилея держала тридцать ле в заточении: первого—за проповедь и за вершение системы Коперника второго—за учение о вращении земли. Идеологи современных привилеги рованных классов, признающие теперь движение земли, изыскивают всевоз можные софистические доводы, чтобы с их помощью задержать историче ское движение вперед современного человечества. Но как бы там ни было историческая наука все же делает огромные успехи, завоевывая одну терри торию за другой.

(Продолжение следует).

Людвиг Фейербах.

(1872—1922).

Н. Сретенский.

В сентябре 1922 года исполнилось пятидесятилетие со дня смерти немецкого философа Людвига Фейербаха. Неоспоримо право этого мыслителя на благодарную память со стороны всех поборников положительной научно-философской культуры, свободной от призраков мистицизма и трусости половинчатого мышления. В частности нельзя забыть, что русская общественная мысль от сороковых до семидесятых годов прошлого века в лице своих передовых и талантливейших вождей находилась под сильным влиянием Фейербаха. К числу таких идейных его данников относятся Герцен, Чернышевский, Лавров [1]). Более молодые идеологи научного социализма (Плеханов, Богданов, Деборин) постоянно обращаются к Фейербаху, как к виднейшему основоположнику материалистической диалектики.

Среди различных форм юбилейных «поминок» нам показалось нелишним расширить возможность непосредственного знакомства русского читателя с литературным наследством Фейербаха, и мы даем отсутствовавший до сего времени перевод трех важнейших его статей по вопросам философии [2]). Многое из высказанного в этих статьях может рассчитывать не только на удовлетворение исторической любознательности. Здесь найдется что приобщить к активу творческой работы современной мысли, перед которой стоят задачи усовершенствованного согласования последних выводов

---

[1]) У Герцена натуралистические идеи Фейербаха и его сенсуализм проникают в „Письма об изучении природы". Чернышевский в диссертации „Эстетические отношения искусства к действительности" развил принципы Фейербаха в той области, которой последний почти не коснулся. Лавров даже в наименования своего мировоззрения „антропологизмом" удержал термин Фейербаха; фейербаховские психологические и этические взгляды наиболее заметны в ранних „Беседах о современном значении философии" Лаврова и в более позднем труде его „Опыт истории мысли".

[2]) Издается Госиздатом в ближайшее время. Из произведений Фейербаха на русском языке имеются, насколько нам известно, лишь знаменитая книга „Сущность христианства" в переводе Ю. М. Антоновского, СПБ. 1908, изд. „Прометей", и „О дуализме и бессмертии" (сводный перевод статей Фейербаха „Против дуализма духа и тела" и „Вопрос о бессмертии с антропологической точки зрения") в переводе Н. А. Алексеева, Петербург 1908.

общефилософской теории с данными растущего специального научного знания и социального опыта. Здоровая тенденция наибольшего сближения философской мысли с жизнью, с конкретной действительностью, при всей условности и неизбежной ограниченности «истин» учения Фейербаха, делает его сочинения, яркие и живые по языку, прекрасным материалом для философского самообразования в форме чтения образцовых авторов. Наконец, прямая и трезвая мысль Фейербаха может принести пользу в качестве известного «противоядия» дурману тех мистических, теургических и теософских разглагольствований, какие под разными «соусами» не перестают заявлять о себе и в наши дни.

Дальнейшие страницы нашего очерка уделяются краткой характеристике жизни и деятельности Фейербаха, обрисовке пути его философского развития и необходимым пояснениям к предлагаемым в переводе статьям.

Людвиг Фейербах родился 28 мая 1804 года в даровитой семье баварского государственного деятеля, криминалиста Ансельма Фейербаха. Старший брат Людвига Ансельм был известным археологом, а сын последнего прославился как выдающийся художник. Людвиг Фейербах поступил в 1823 г. в Гейдельбергский университет и с большим рвением отдался изучению богословия. В этой области он соприкоснулся с модным гегельянским направлением умозрительного богословия, выражавшим учение протестантской церкви на почве философии и по методу последней. Увлеченный гегельянством, Фейербах сознательно перенес центр тяжести своих интересов на вопросы общей философии и переселился в Берлин с целью слушать там самого Гегеля, находившегося в ту пору в зените своей славы. (В одном из студенческих писем к отцу Фейербах сообщает, что он прослушал все, читанные Гегелем курсы, кроме эстетики, а логику, этот, по его словам, «corpus juris» философии, слушал даже дважды). С 1828 года Фейербах начинает читать в Эрлангене в качестве доцента философии, оставаясь искреннейшим и горячим гегельянцем. Но смелый темперамент и независимая мысль быстро обрекли Фейербаха на непоправимую порчу официальной карьеры. Изданное им сочинение «Мысли о смерти и бессмертии» с богословско-сатирическими двустишиями, где содержались острые выпады против церковного богословия, закрыло для Фейербаха путь к профессуре. В 1832 году Фейербах отказался от преподавательской деятельности, не переставая, однако, работать над крупными исследованиями в области истории философии. Р 1883 году вышел первый том его истории новой философии (Бэкон-Спиноза), а в 1837 г. второй том, посвященный философии Лейбница (Это—одно из лучших, какие по сию пору существуют, критических изложений системы Лейбница). В следующем году появилась крупная монография о Пьере Бэйле, оригинальном скептике и провозвестнике исторической критики в области религиозных проблем. С 1836 года Фейербах окончательно порвал с городской жизнью и уединился в сельском захолустье средней Франконии, в тесном семейном кругу.

Здесь на основе своих богатых знаний по истории философской мысли Фейербах приходит к своей «переоценке всех ценностей», и вырабатывает

совершенно самостоятельную точку зрения «новой» реалистической философии и в 1839 году пишет большую статью «К критике философии Гегеля» [1]). Эта работа была отрицательным выражением разрыва Фейербаха с традицией немецкого умозрительного идеализма, а в частности с учением Гегеля, былого кумира Фейербаха. Параллельно нашим философом подготовлялся основной труд, положительный результат эмпирико-психологического освещения христианских представлений и верований: то была «Сущность христианства». Появившись в печати в 1841 году, книга вызвала огромную тревогу в охранительном лагере богословов и не менее шумное сочувствие в кругах радикальной молодежи. Шум, поднятый вокруг книги Фейербаха, превзошел, пожалуй, подобное же явление за пять лет до того при выходе в свет «Жизни Иисуса» Давида Штрауса, посвященной критике легендарной биографии Христа и евангельского изложения его учения. Достаточно вспомнить слова Энгельса, который так резюмирует основные идеи труда Фейербаха: «Природа существует независимо от какой бы то ни было философии. Она есть основание, на котором вырастаем мы, люди,—ее произведения. Вне природы и человека нет ничего. Высшие существа, созданные нашей религиозной фантазией,—это лишь отражения нашей собственной сущности»...

... Кто—говорит дальше Энгельс—не пережил освободительного влияния этой книги, тот не может и представить его себе. Мы все были в восторге и все мы стали на время последователями Фейербаха» (Ф. Энгельс. «Людвиг Фейербах», русск. пер., стр. 36). Успех книги, помимо прочих ее достоинств, был вызван красотою, выразительностью и ясностью писательских приемов Фейербаха. Ближайшие за выходом «Сущности христианства» годы Фейербах отдает работам, в которых сводит окончательные счеты с умозрительной философией и устанавливает программу своего «антропологизма». Таковы «Предварительные тезисы к реформе философии» (1842 г.) и «Основоположения философии будущего» (1843 г.). Кроме того, он продолжал детализировать и дополнять свою работу по философии христианства [2]) и, наконец, в большой статье «Сущность религии» (1845 г.) обращается к анализу дохристианских примитивных религиозных воззрений.

Революционная волна 1848—1849 г.г. извлекла Фейербаха из его отшельничества, и он выступил с огромным успехом в качестве публичного лектора в гейдельбергской ратуше, собрав многочисленную аудиторию своим трехмесячным курсом «чтений о религии». В 1849 г. Фейербах принял участие в демократическом конгрессе во Франкфурте. Последовавшие затем годы реакции вернули Фейербаха к замкнутой кабинетной работе, но это была уже полоса упадка творческой энергии. Потеряв интерес ко всестороннему детальному развитию своего философского учения, Фейербах почти всецело

---

[1]) Как журнальный писатель, шедший вразрез с реакционными литературными и общественными силами Германии, Фейербах нашел единственный приют в „Галлеском ежегоднике“ свободомыслящего представителя „Молодой Германии“ Арнольда Руге, где и помещал статьи с 1837 по 1843 г.г., когда был закрыт цензурою орган Руге.

[2]) Между прочим, в этот же период Фейербаху пришлось отгораживать свое моральное учение от проповеди анархо-индивидуалистического эгоизма М. Штирнером.

обращается к популяризации и снабжению обильным фактическим материалом своей философии религии. Последний крупный труд Фейербаха в этом направлении, под заглавием «Теогония», вышел в 1857 году. Удаленность от книжных богатств и живых влияний общественности, физические недуги и, в довершение всего, материальные неудачи, доводившие Фейербаха порою до крайней нищеты,—все это, вместе взятое, парализовало продуктивную научную работу. В шестидесятых годах круг деятельности мыслителя ограничивается лишь отрывочными набросками по вопросам этики и частной перепиской с небольшой группой его ревностных друзей и почитателей. После нескольких апоплексических ударов Фейербах умер 13 сентября 1872 года.

Историческое положение Фейербаха в философском движении XIX века двузначно. Его можно рассматривать, как «последнее звено» в цепи немецкого умозрения, начинающегося Лейбницем и завершающегося распадением Гегелевой школы на «правую» и «левую». С другой стороны он наследник англо-французского эмпиризма XVII и XVIII в. и виднейший зачинатель возродившейся в середине XIX в. позитивно-научной философской культуры материалистической окраски. Эта двузначность приобретает внутреннее единство, если на Фейербаха посмотреть как на посредника между диалектическим идеализмом Гегеля и диалектическим материализмом Маркса—Энгельса. Пережив увлечение абсолютным идеализмом Гегеля, усвоив это учение во всей его исторической необходимости и прочных связях с предшествующими фазами идеализма, Фейербах пришел к сокрушающей критике Гегеля. Последняя, однако, коснулась не столько метода системы Гегеля, сколько ее претензии на исчерпывающую полноту и абсолютность ее истин, а прежде всего на ядро ее содержания, где под покровом строгой рациональности и безукоризненности диалектики угнездились мистические, супранатуралистические верования и беспочвенные умозрительные измышления. В соответствии с этим смысл и цель своей философской «реформы» Фейербах определил, как превращение идеалистической интерпретации мира в реалистическое, с материалистическим уклоном, истолкование действительности. Не «сознание определяет бытие, а бытие определяет сознание»,—этот лозунг диалектического материализма в его теоретико-познавательном значении был совершенно отчетливо формулирован Фейербахом. Что обособило Фейербаха от Маркса и Энгельса, о том еще придется сказать дальше.

Как всякая глубокая внутренняя жизнь, развитие мировоззрения Фейербаха было исполнено тонких переходов, известных колебаний и постепенной «подпочвенной» подготовки резкого разрыва с идеализмом. Фейербах был настолько откровенной и «честной» в научном отношении натурой, что не только не прятал противоречий и оттенков различия, какие замечаются между отдельными периодами его умственной работы, но даже сам пошел навстречу читателям и критике. Он издал (в собрании сочинений) очень живой и любопытный дневник своих мыслей под заголовком: «Отрывки к характеристике моего философского curriculum vitae (жизнеописания)». Здесь в вы-

борках-афоризмах, письмах и заметках к отдельным своим сочинениям Фейербах год за год проследил путь своего движения от идеализма к реализму материалистического уклада.

«Начинающий» Фейербах был глубоко проникнут *панлогизмом* Гегеля, иначе говоря, убежден, что «дух или разум составляет истинную основу всех вещей». Понятие—сущность мира. Все высшее содержание духовной жизни (право, религия, искусство, наука) только кажется произведением отдельных людей в их эмпирической деятельности, но в действительности уже предполагает свое абсолютное вне-индивидуальное начало. Мышление есть нечто предполагаемое суб'ектом, его субстанция. Можно мыслить мышление без суб'екта, но нельзя мыслить суб'ект без мышления. Чувственное воззрение сообщает нам только кажущееся, видимость, тогда как «действительность», вещи, как они существуют, познается единственно мышлением. Отсюда задача философии состоит в том, чтобы определять явления, поскольку они отвечают самодовлеющей идее, этой подлинной «разумной» действительности [1]).

Таковы «умозрительные» утверждения, под коими Фейербах за время до 1835—1836 г.г. расписывается, как правоверный гегельянец. Однако уже с первых шагов сильный ум Фейербаха вырывается из слепого увлечения догматизмом Гегеля. Уже в 1827—1828 г.г. замечается проявление скептического отношения Фейербаха к двум самым шатким особенностям учения Гегеля: к попытке вывести реальное об'ективное содержание природы из мнимой чистоты логического развития идеи и к самоуверенному поставлению гегелевой системы на ступень абсолютной, завершенной мировой мудрости. Фейербах спрашивает: «Как относится мышление к бытию, логика к природе? Где необходимость и обоснование этого перехода? Ведь логика сама из себя знает исключительно о себе самой, о мышлении? Наличность совсем другого элемента, природы, бытия не может быть выведена логически... Мыслящий суб'ект независимо от всякой логики наталкивается на непосредственное наличное бытие и вынужден его признать» [2]). Эта проблема позднее составит один из главных пунктов критики Фейербахом всего спекулятивного произвола Гегелевой системы. С другой стороны, отдавая должное всеоб'емлющей доктрине Гегеля, итогу векового развития философской мысли, Фейербах задается вопросом: «Как относится философия Гегеля к настоящему и будущему? Не есть ли она, как мир мысли, мир уже прошлого? Не воспоминание ли она человечества о том только, чем оно было,

---

[1]) Разбирая (в 1835 г.) книгу эмпирика Бахмана „Антигегель", где автор пытался указать на невыводимость своеобразных отдельных феноменов действительности из общих и абстрактных понятий чистой логики, т.-е. диалектики идей, Фейербах указывает на частое несоответствие эмпирической действительности понятию, но игнорирует это „случайное", эмпиритическое, как безразличное для выявления в мире „истинной разумности". Идея поэзии, замечает, например, он, определяется по „образцовому" творчеству Гете и Шиллера, а не по заурядной деятельности Постелей, Готшедов и т. под. „случайностей" художественной литературы. (Werke, Bd. II, S. 36).

[2]) Werke, Bd. II, S. 385.

но теперь уже перестало быть?» [1]). И эту тему мы встретим в исчерпываю щем развитии значительно позже, в статье «К критике философии Гегеля

Указанные бреши в гегельянстве Фейербаха были, однако, лишь первым толчками к дальнейшему освобождению его мысли от односторонности идеализма. Особенно помогла в этом отношении изначальная сосредоточенност Фейербаха на конкретно-исторической проблеме сущности и развития религиозного сознания. Вокруг этой проблемы постепенно сгруппировались вс мотивы расхождения с умозрительной философией. Прежде всего из навязчивых и безысходных противоречий догмы бессмертия души, уклончиво затемненной в рациональной мистике Гегеля, Фейербах вышел к решительном утверждению в качестве единственной истинной действительности конкретно чувственного человека в противоположность безжизненной идее отвлеченного человека, как родовой специфически-разумной сущности. Отсюда в дальнейшем вытекала высокая оценка значения эмпиризма новой философии от Бэкона до Юма и французских сенсуалистов. «Необходимо,—говорил Фейербах,—сводить все сверхчувственное через посредство человека на природу и все сверхчеловеческое через посредство природы на человека... Необходимо постоянно связывать возвышенное с тем, что кажется будничным, далекое с близким, абстрактное с конкретным, умозрительное с эмпирическим, философию с жизнью» [2]).

Предпринятое Фейербахом сопоставление идейного кругозора новой философии с богословскими догматами привело его к утверждению, что противоречие между верою и разумом является характерным противоречием христианского мира, в котором искони вера обманывала разум, а разум в свою очередь обманывал веру [3]). Поэтому всякая попытка оправдания исторических фактов веры доводами рассудочного умозрения, всякое посредничество между философией и искренней догматикой стало представляться Фейербаху двойною ложью и против чистой непосредственной веры, и против разума. Между тем система Гегеля как раз и заявляла притязание стать исчерпывающим философским истолкованием и оправданием традиционных религиозных представлений в их абсолютной об'ективной значимости. Она настаивала на тожестве содержания положительной религии и философии, различая их лишь по форме: религию, как конкретно-образное творчество, философию, как отвлеченно-рассудочное. Но как возможно отнять от религии образ, представление, возникшее на почве чувства и продуцированное воображением, не уничтожая тем самым содержания религии? Этот вопрос, вскользь еще намечавшийся в двустишиях 1830 г., в книге о Бэйле и в статьях «О

---

[1]) Ibid. S 386.

[2]) „Отрывки“, также Werke, II, 173 (письмо к Риделю).

[3]) Werke, Bd. V, S. 7. Позднее Фейербах выражается еще резче и картиннее: „Христианство уже давно перестало отвечать требованиям разума и человеческой жизни, и есть не что иное, как idée fixe, резко противоречащая нашим страховым обществам, железным дорогам и пароходам, нашим пинакотекам и глиптотекам, нашим театрам и физическим кабинетам“ (предисл. ко 2 издан. „Сущн. христианства“, русск. пер., стр. XXXIII).

чуде» и «Философия христиан» преобразуется у Фейербаха в категорическое обособление религии от науки и философии, как суб'ективного человеческого опыта с его не теоретическим, познавательным, а с чисто практическим назначением удовлетворять чувству. Сердце человека—источник религии, смысл религии—отображение человеком вовне своих существенных свойств и типических переживаний. Тожество религии и философии возможно принимать в том только смысле, что они призваны выражать интересы и жизненные запросы *единой* сложной природы человека. А человек, с такой точки зрения, перестает быть бесплотным носителем «всеобщего» духа, но требует признания, как чувственное существо. «Абстрактные науки урезывают человека и только одно естествознание восстановляет его целостность, обращается ко всему человеку, ко всем его силам и чувствам» [1]). В перспективе исторической жизни критический взгляд усмотрит как бы функциональную связь научно-философского миропонимания и религиозной культуры. «Новое Время,—замечает Фейербах,—отлично от средневековья тем, что оно возвысило материю, природу, мир до божественной реальности или сущности, поняло и признало божественную абстрактную сущность не за отличную от мира, потустороннюю, небесную, но за действительно тожественную с миром сущность. Только пантеистическому воззрению на мир мы обязаны всеми открытиями и успехами нового времени в сфере искусства и науки» [2]). Пантеизм—спутник философской мысли от Спинозы до Шеллинга и Гегеля.

Оставалось довести до полной ясности «тайну» религии, вскрыть ее природный источник, и вот, окончательно освободившись от транссуб'ективных, внеопытных предпосылок идеализма, от рассудочного мифотворчества об Абсолюте-боге, Фейербах выполняет эту задачу в «Сущности христианства». Здесь всесторонне раскрывается антропологический принцип религиозного сознания. Тайна религии—обожествление человеком своей собственной сущности. Религия есть первое и при том косвенное самосознание человека. Она всегда предшествует философии не только в истории человечества, но и в истории личности. Прежде чем искать свою сущность в себе, человек ищет ее вне себя. Ты приписываешь богу любовь, потому что любишь сам, ты находишь бога мудрым и благим, потому что считаешь разум и доброту своими высшими качествами, ты веришь в то, что бог существует, что он—суб'ект, потому что ты сам существуешь и являешься суб'ектом. Уверенность в существовании бога обусловливается единственно уверенностью в качествах бога: реальность свойств—единственный залог существования. Качество божественно не потому, что оно свойственно богу, а напротив оно свойственно богу потому, что божественно само по себе, как положенное безграничным то или иное реальное свойство человека. В процессе религиозного творчества все, что отнимает человек у себя, чего он лишается, служит для него источником наслаждения в созерцании образа бога. Развитие религии заклю-

[1]) Werke, Bd. II, S. 403.
[2]) Ibid., S. 401.

чается в том, что человек все более и более удаляется от бога и приближается к себе [1]). И тайна бога-разума, и тайна бога-любви, и тайны воплощения, искупления, чуда, промысла—все это зеркальные отображения фантазией тех действительных или потенциальных свойств и отношений, какими владеет или окружен в природе и культуре опознающий себя суб'ект, как представитель человеческого рода. Мистерии христианского культа, крещение и причащение, особенно выразительно охарактеризованы Фейербахом в их генезисе, как материальные символы, полные глубокого значения для самоопределения человеком своего положения в органическом и социальном мирах [2]).

«Сущность христианства» в своих положительных выводах явилась как бы «частью вместо целого» новой реалистической и антропологической философии Фейербаха. И в своей основе и в дальнейших следствиях тема религиозной философии выдвигала начала общего миропонимания, резко противоположные догматизму умозрительной философии вообще. В теории познания Фейербах заявил себя принципиальным сенсуалистом-материалистом. Чувственная интуиция, по его мнению, неизбежно предваряет всякую рассудочную деятельность, и все мышление человека определяется об'ективными данными его чувственного познания. «Я мыслю при помощи чувств, главным образом зрения, основывая свои суждения на материалах, познаваемых нами посредством внешних чувств; произвожу *не предмет от мысли, а мысль от предмета;* предмет же есть только то, что существует вне моей головы» [3]). По методу точка зрения Фейербаха определилась, как генетически-критическая философия, сводящая всякий продукт духовного творчества к корням суб'ективно-психологической интуиции (воззрения); панлогизм с гипотезой внесуб'ективного развития идеи испарился в строго-эмпирической психологии или, если угодно, конкретной феноменологии Фейербаха. Это и дало ему право называть себя «духовным естествоиспытателем». Наконец, нормативно-отвлеченная этика долга и абсолютного идеала сверхличного блага и совершенства превратилась в новую мораль любви, живого голоса физических и социальных связей человека с человеком [4]).

---

[1]) Русск. пер., стр. 13, 20, 24, 28 и др.

[2]) „Вода, как всеобщий элемент жизни, напоминает нам о нашем происхождении от природы, и это напоминание роднит нас с растениями и животными... При крещении мы преклоняемся пред могуществом чистых сил природы... Вино и хлеб по своему веществу суть продукты природы, но по форме—продукты человека... В вине и хлебе мы поклоняемся силе духа и сознания человеческого... Вино и хлеб принадлежат к древнейшим изобретениям человека. Они объективируют, символизируют ту истину, что человек есть бог и спаситель человека". Ibid., стр. 249—250.

[3]) Ibid., стр. XXIV.

[4]) „Любовь, породившая веру в потусторонний мир,—это любовь, исцеляющая больного после его смерти, подкрепляющая голодного и жаждущего, когда он уже погиб... Оставим мертвых и позаботимся о живых! Когда мы не будем верить в лучшую жизнь, а будем ее хотеть, и хотеть не в одиночку, а соединенными силами, тогда мы и создадим лучшую жизнь, по крайней мере, устраним те взывающие к небу и раздирающие душу несправедливости и злоупотребления, от которых до сей поры стра-

Суммарно очерченный нами состав положительных идей Фейербаха возник и организовался путем теоретического преодоления воззрений предшествующих философских учений. Воспитанный в духе гегелевой диалектики и историзма, Фейербах смотрел на свое учение как на естественный «антитетический» исход или «разрешение» (Auflösung) умозрительного направления немецкой мысли, оплодотворенной англо-французским эмпиризмом и сенсуализмом. Прием «обращения» утверждений спекулятивной философии в отрицания антропологизма и отрицаний первой в утверждения последнего—самая приметная черта диалектического метода мысли Фейербаха. Освободить себя от этого планомерно-боевого, диалектически-критического приема развития своих взглядов Фейербах не находил возможным даже в трудах, рассчитанных на наибольшую простоту и популярность, хотя бы в той же «Сущности христианства». Поэтому вполне понятною становится оговорка философа в предисловии ко второму изданию этой книги: «кто не знаком с историческими предпосылками моего сочинения, тот не будет в состоянии уловить связь между моими аргументами и мыслями». Отсюда ясно, что более яркое освещение учения Фейербаха и материал для точного определения «удельного веса» и исторического значения его идей дают те работы, где не в скрытой и эпизодической форме, как в «Сущности христианства», а открыто и с наибольшею обстоятельностью собственная философия Фейербаха вводится им в координацию с системами прошлого, от Декарта до Гегеля включительно. Такими чертами и отмечены три избранные нами для издания статьи. Они как бы составляют фундамент, внутренние скрепы и наружные строительные леса для здания основной книги Фейербаха. Статья «К критике философии Гегеля», уже упоминавшаяся выше, по времени написания совпадает с подготовкою первого издания «Сущности христианства». «Предварительные тезисы к реформе философии» и «Основоположения философии будущего» сопровождают выход в свет этой книги и потребовавшихся к ней дополнений и раз'яснений.

Обратимся к содержанию статьи «К критике философии Гегеля». Первый удар Фейербаха направлен здесь на противоречие, числящееся в извращенном понимании диалектикою Гегеля «развития» действительности. Оперируя понятием «различия» (Differenz), опираясь исключительно на время и игнорируя пространство, столь же общую форму созерцания, Гегель вытянул многообразие природы в линию сплошного последования, как бы отрицая за явлениями конкретную самобытность их сосуществования. При этом у Гегеля все устремлено в конечной ступени в развитии той или иной сферы действительности, и такая ступень полагается, как нечто абсолютное, поглощающее без остатка все предыдущие моменты развития; эти последние сохраняют у Гегеля только как бы «теневое», мнимое, историческое значение. Нет, утверждает Фейрбах: ступени развития в природе—моменты «совместной це-

---

дало человечество... Мы должны поставить на место любви к богу любовь к человеку, как единственно истинную религию; на место веры в бога—веру в человека в самого себя, в свою силу. Vorlesungen über Religion, № 30; ср. также Werke, I, S. 123.

ляостности» природы. Никакой отдельный момент не может быть предици руем, как абсолютная всепоглощающая целостность: он необходимо отли чен, как «особный» (besondere), определенный [1]). Если так обстоит дело і области фактов природы, то еще заметнее это обнаруживается в сфере развития духовной культуры. Так, христианство в религиозно-философской схеме Гегеля определяется, как абсолютная религия, при чем он оставляет без внимания общую природу религии, т.-е. то, что лежит в основе всех прочих религий [2]). Таково же посягательство гегельянцев, внушенное самим Гегелем, считать его систему «абсолютным осуществлением идеи философии». Очевидна тщетность и противоестественность подобных попыток. Невозможно, чтобы род осуществлялся полностью в индивидуальном существовании. Это было бы чудом, нарушало бы природные рамки пространственной и временной ограниченности явлений, упраздняло бы историю, вело бы к гибели мира. Как всякое историческое явление, как продукт определенного времени и условий, христианство—определенный вид религиозного сознания, а философия Гегеля—определенная, отнюдь не абсолютная истина.

Несостоятельно в силу этого и притязание Гегеля на абсолютную беспредпосылочность его системы. Под видом начала философии, ненуждающегося якобы в дальнейшем обосновании, Гегель вводит понятие бытия во всей его неопределенной всеобщности. Тогда критик может спросить: почему бы не начинать прямо с действительного бытия конкретных вещей, либо с бытия разума. сознания? Мнимо абсолютное начало философствования Гегеля есть условное начало системного мышления. А всякое системное мышление пробегает по кругу внутренно замкнутых, взаимно связанных положений, возвращающихся к исходной, заранее уже предпосланной, принятой за истину точке отправления. Системное мышление не есть непосредственное «сущностное мышление», направляемое интуициями опыта в бесконечность. Оно лишь «представляющее себя мышление» (рефлексия). Логика предполагает непосредственную деятельность мышления, как самодеятельность. Всякое доказательство есть не что иное, как опосредствование между моим и чужим, конкретным, чувственно-самодостоверным мышлением. Знание социально по природе и доказательство не есть «отношение мыслителя или замкнутого в себе мышления к самому себе, но отношение мыслителя к другим. Отсюда вытекает и условное, а не абсолютное, онтологическое значение логических

---

[1]) Лист существует в своей „особности" на-ряду с цветком; животное не лишается своей самостоятельной сущности при наличии высшей ступени человека,—как „истинности животного".

[2]) Это место может, между прочим, служить к защите Фейербаха от слишком резкого и необоснованного упрека Г. Кунова, будто Фейербах „стоит далеко позади религиозно-исторических построений Гегеля. Христианство для Фейербаха не одна из религий наряду с многочисленными другими, а до известной степени религия в себе" („Возникновение религии и веры в бога", Москва 1919, стр. 22). В данном случае дело обстоит, как видно, совсем иначе. И если Фейербах действительно при иллюстрировании религиозного сознания сосредоточился почти исключительно на христианстве, то это объясняется прежде всего необходимой для него и увлекшей его борьбой с идеалистической метафизикой новой философии, союзницею христианского богословия.

форм рассудка, суждений и умозаключений. Каждая философская система есть только зеркальное отражение, образ внутренней работы мысли индивидуума. Система же понятий, понятая как незыблемая самоцель, лишь мертвый дух, убивает такое начало познания тех, к кому она обращается. Между тем у Гегеля суб'ективное движение логического опосредствования идей навязывается в качестве об'ективного развития предсуществующего абсолютного разума. Гегель вознамерился как бы предвосхитить и охватить в своей системе, как нечто данное, а не «заданное» только, всю жизнь разума, отрицая инициативу и свободный опыт мысли конкретного суб'екта.

Итак, полагание диалектических форм идеи в начальных построениях логики Гегеля не безусловно, а условно: оно неминуемо апеллирует к высшей априорной инстанции: «первое начало» логики будет определяться мыслями «известными само по себе», прежде и независимо от какой бы то ни было философии. «Исчезновение», «покой», «тожество», «различие»—все это понятия, без коих для Гегеля невозможно ни самое высказывание о первоначале, ни его ближайшее определение, являются именно такими предположениями непосредственного сознания уж данными на-лицо до систематического философствования. «Бытие», с которого начинается логика Гегеля, отсылает нас, с одной стороны, к феноменологии, т.-е. данным конкретного сознания, а с другой стороны к «абсолютной идее», догматически заранее положенной как основа всех ступеней логической диалектики. Логика не в состоянии освободиться от раздвоения между видимостью и истиною. Логика Гегеля может быть убедительною только для того, кто уже заранее согласится принять неопределенное «бытие» («всеобщее») за реальность, иначе говоря признает реальность общих понятий. Логика Гегеля в своих первых положениях противоречит чувственному воззрению и его адвокату рассудку. Как у Фихте с самого начала обнаруживается противоречие между чистым и эмпирическим «я», так у Гегеля не разрешен конфликт чистого бытия и эмпирической действительности. Рассудок по своей природе может считать бытием только «определенное» бытие. Лишение понятия его определенности уничтожает положительный реальный смысл понятия.

Никакая философия не может, по мнению Фейербаха, доказывать своей истинности и реальности, не разрешив своего противоречия с чувственной реальностью. Диалектика должна быть не умозрительным монологом, а диалогом умозрения и опыта. Поэтому «единственная беспредпосылочная философия—та, которая имеет свободу и мужество усомняться в себе самой, которая производит себя из своей противоположности». И против этого требования грешили все новейшие философские системы. Каждый из мыслителей был критичен в отношении к постулатам своих предшественников и догматичен в своих собственных конструкциях: это одинаково касается Канта и Фихте, Шеллинга и Гегеля. Непоправимый порок систем Шеллинга и Гегеля заключался в некритической вере в об'ективное существование абсолютного начала. Отсюда у Гегеля создается трагическое положение: абсолютная идея доказывается раньше, чем становится формально доказанною; все, что полагается в процессе развития, как «иное» идеи, опять таки пред-

полагает идею. Во всем ходе диалектики идея притворно «отпускает» себ от себя самой, скрывает себя за ширмами «иных сущностей» и только в са мом конце процесса заявляет то, что она в действительности мыслит о себе «то, что до сих пор вы считали за иную сущность, это и есть я сама». Одна ко это и говорит о чистом формализме, а не о действительном доказатель стве всереальности идеи. «Она свидетельствуется не действительно иным,— а это иное могло бы быть только эмпирически-конкретным воззрением,— она вызывается формальным мнимым противопоставлением».

«Феноменология» Гегеля, в которой, казалось бы, и должна быть нащупана почва непосредственной действительности, предваряющей логическое развитие идеи, в итоге не выходит из замкнутого круга «феноменологической логики». По Гегелю единичное, полагаемое нами в чувственной достоверности, опровергает свою истинность тем, что оно невыразимо в речи и в своей конкретности улетучивается, оставляя в качестве истины лишь фиксированные «всеобщие» даты рассудка: «теперь», «здесь» и т. п. Но как, спрашивает Фейербах, признает себя опровергнутым чувственное сознание только в силу того, что единичное бытие не допускает себя выразить? Чувственное сознание найдет в этом скорее свидетельство бессилия языка, но отнюдь не опровержение истины чувственной достоверности. И оно имеет на то право: будь «предметы» чувственности тожественны со словами, нам, говорит Фейербах, «пришлось бы допустить в жизненном обиходе поедание не вещей, а слов». Сознание не поддается соблазну феноменологической софистики Гегеля; оно крепко держится за реальность единичных вещей. Реальная *диалектика чувственности* сводится к тому, что «природа опровергает единичное это, но она снова поправляет себя и опровергает опровержение, ставя иное единичное на место прежнего» [1]).

Следовательно, и феноменология Гегеля, подобно логике, начинает не с «инобытия» мысли, но с «мыслей о инобытии мысли», отчего мысль и одерживает такую легкую, но вместе с тем совершенно фиктивную победу над своим противником, чувственной реальностью.

Корень безнадежных противоречий идеалистического догматизма гнездится, по Фейербаху, в принятии без критически-генетической проверки абсолютного тожества природы и духа, об'екта и суб'екта. Идея абсолюта принимается Гегелем за нечто совершенно неоспоримое, возвысившееся над

[1]) „Здесь“ есть, например, дерево. Я отворачиваюсь, и тогда, по Гегелю, исчезает эта истинность. Но так, замечает Фейербах, обстоит только в „феноменологии“, где „отворачиваться“—лишь словечко; в действительности же, где я должен повернуть свое грузное тело, за моею спиной продолжает заявлять мне о себе „здесь“, как реальное существование. Иначе говоря, Гегель опровергает не „здесь“, поскольку оно есть предмет чувственного сознания, но логическое „здесь“.—Ср. также § 28 „Основоположений филос. будущего“, где Фейербах с выразительной краткостью обостряет эту критику идеалистического панлогизма: *слово*—всегда всеобще, *вещь*—единична; и мысль, которая опирается только на слова (resp.: общие понятия), никогда не преодолевает этого противоречия; где кончаются слова, там-то и начинается жизнь, там-то и раскрывается впервые тайна бытия. Конечно, в этой философии *„материалистического интуитивизма“* не содержится ни малейшего намека на мистицизм.

какой бы то ни было критикой. А между тем, по существу, по своему положительному значению идея абсолюта была идеею об'ективности только в противопоставлении суб'ективности канто-фихтевой философии. Для натурфилософии природа стала не полагаемою «я», но первичною, самостоятельною сущностью. И вот, чтобы выйти из дуализма, из противоречия истине идеализма, отрицающего самость природы, был совершен логический прыжок к «абсолютному», которое было поставлено суб'ектом с предикатом об'ективности и суб'ективности (природы и духа), фактически будучи нечем иным, как этою абстрактною связкой «и» для двух реальных начал. Абсолютное, как всеобщая и отличная от духа и природы сущность, по мнению Фейербаха, недопустимый гермафродит идеализма и натурфилософии, явившийся в результате внутреннего раздвоения Шеллинга, как идеалиста и как натурфилософа. По существу же единство реального и идеального начал было у Шеллинга восстановлено лишь постольку, поскольку понятие этого единства оказалось понятием природы, как суб'ект-об'екта, т.-е. было восстановлением ее вообще из отрицания «самости» природы в суб'ективном идеализме Фихте.

Учение Шеллинга, здравое по реабилитации природы, оказалось, однако, ниже критического идеализма в области метода. Единство мышления и бытия оно подменило единством мышления и фантазии, порвав с требованием критицизма рассудочно различать об'ективное и суб'ективное; учение Шеллинга впало в суеверную трансцендентность и мистицизм. «Трезвый» Гегель поставил задачею направить идеализм в русло рассудка с чеканными понятиями последнего, отвергая интуитивно-поэтический метод Шеллинга. Но дальше этого критицизм Гегеля не пошел, в силу догматического принятия предположения об абсолюте. Гегель не стал на путь *генетически-критической* философии, которая не ограничивается догматическим описанием предмета, данного через представление, но исследует его происхождение и спрашивает, действительно ли существует предмет или он есть только суб'ективно-психологический феномен. Философия Гегеля, в силу этого, оказалась рациональною мистикой, принимающей за об'ективную истину представления, которые выражают лишь суб'ективные потребности; вторичное он сделал первичным, а подлинно-первичное оставил без внимания.

Убедительным примером некритичности системы Гегеля является понятие «ничто», играющее такую огромную роль в механизме диалектики Гегеля. «Ничто» не есть положительное понятие с каким бы то ни было определенным содержанием. В сущности ничто нельзя мыслить. Мышление о ничто само себя опровергает. Постулирование «ничто», как некоей положительной сущности, связано с пережитками некритической религиозной мысли, которая признает чудо творения из ничего.—«Ничто»—только призрак спекулятивной фантазии восточного склада, которая противопоставляет жизни смерть, как самостоятельное начало уничтожения, а свету тьму, как если бы последняя не была просто отсутствием света. Противоположность бытия и «ничто» не является универсальной метафизической противоположностью. Она имеет конкретно-психологическую основу в про-

тивупоставлении человеком своему индивидуальному существованию бытия рода, безразлично к индивидууму. Поскольку свою смерть, т.-е. личное уничтожение, человек мыслит, как состояние полной апатии и потери ощущений, постольку и вырастает призрак «посмертного» абстрактного «ничто»: бытие существует в действительности или, скорее, само есть действительность, тогда как «ничто» не-бытие существует только в представлении.

Сказанным Фейербах исчерпывает свое критическое изложение и в заключительных словах статьи бегло очерчивает собственные взгляды на положительные задачи истинной философии, генетически-критической по методу.

Такая философия не пренебрегает «вторичными» действующими «причинами» эмпирического об'яснения действительности, ибо эти «вторичные» причины как раз могут и должны быть метафизически истолкованы и поставлены на первое место, как «предметный» разум природы. Природа должна стать единственным источником и философии, и искусства. Но высшее универсальное существо в природе—человек. Философия и должна отобразить эту сущность человека, опознанную через отношение человека к природе Тщетны поэтому все усилия спекулятивной философии перешагнуть через человека и природу. «Философия есть наука о действительности в ее цельности и истинности; но совокупность действительности—природа. Глубочайшие тайны лежат в простейших вещах природы, попираемых ногами фантазеров спекуляции, жаждущих потустороннего. Один лишь возврат к природе есть источник спасения». При этом «природа соорудила не только мастерскую желудка, но она же построила и храм мозга», т.-е. (если нужно пояснять эту образно выраженную мысль Фейербаха) над стихией бессознательного существования возникла сложная самоценная «надстройка» сознания с чертами «внутренней свободы», лишь бы эта свобода не преступала границ «природосообразности».

Цельность и энергия изложенных нами идей Фейербаха избавляют от необходимости детальных толкований. Ради более правильной исторической оценки этой работы важно только обратить внимание на метод критики, примененный Фейербахом, и на положение данной статьи в составе философской литературы о диалектике Гегеля. Еще в 1835 году, отражая нападки на Гегеля со стороны Бахмана, Фейербах указал на различие двух видов философской полемики: с одной стороны, глубокой, продуктивной критики «распознания» и, с другой стороны, «поверхностной», бесплодной критики «недоразумений». Суть первой, желательной, критики и ее вариации Фейербах поясняет историческими примерами: абсолютное начало критикуемой системы может показываться, как обусловленное, и на-ряду с ним обнаруживается реальность противоположного ему понятия (так Платон некогда критиковал Парменида с его понятием бытия); в принципе, притязующем на значение полной истины, указывается упущение какого-либо существенного момента (так Аристотель упрекал древнейших натурфилософов за недостаток в их построениях начала движения); обнаруживается несоответствие положения центрального понятия системы, согласно его определению, в дальнейшем развитии учения (так Спиноза и Мальбранш завершили пантеистические за-

датки учения Декарта о боге, распространив понятие абсолютной субстанции бога на все сущее); наконец, указывается, что результаты принятия принципа критикуемой системы отстают от заявленных ею самой целей и требований (так Гегель критиковал Фихте). Задачи подобной критики покоятся, по мнению Фейербаха, на той предпосылке, что философские учения—не тезы, устанавливаемые по произвольному усмотрению; они—неизбежные точки зрения, развивающиеся в органической связи и преемственности; каждая система имеет некое неопровержимое зерно, и задача критики заключается в том, чтобы методически извлекать из ее истинного содержания все ложное и недостаточное; критика подобного рода есть высвобождение человеческого разума от его действительной ограниченности, она создает новые открытия в философии [1]).

Изложенные взгляды Фейербаха нельзя назвать иначе, как требованием и защитою имманентного метода в философской критике. А имманентность Гегелю могла быть наилучше достигнута только при условии признания и пользования диалектическим методом. Тем характернее тот факт, что уже заявив свою полную неудовлетворенность умозрительной философией, при написании статьи «К критике философии Гегеля» (равно как и позднее) Фейербах счел нужным дать битву умозрительному идеализму на его собственном поле, удерживая не только приемы диалектики, но даже и терминологию Гегеля. Методологическое чутье и историзм, вынесенные из школы Гегеля, подсказали Фейербаху решение, порвав с магией спекулятивных понятий, отнюдь не порывать с диалектикою, как методом, как самым естественным и надежным путем вскрытия конкретно-исторических противоречий и упущений в идеологиях прошлого. Вот почему среди множества первоклассных разборов диалектики Гегеля [2]) статья Фейерабха (на-ряду с книгой Энгельса) выгодно отличается своим особо близким проникновением в основные пружины обширного круга идей Гегеля и его предшественников. Хотя по первому взгляду и кажется, будто Фейербах топчется только в преддвериях логики и феноменологии Гегеля, однако, в конечном счете внимательный читатель вынесет впечатление полного разоблачения «тайн» суб'ективного и об'ективного идеализма, сознание необходимости дальнейшего философского движения, «снятия» системы Гегеля путем обоснования рациональных построений мышления конкретною интуицией чувственной действительности, т.-е. прямо данного бытия об'ектов.

Помимо сказанного, большой «удельный вес» этой статьи Фейербаха определяется еще и тем, что за нашим мыслителем должно быть признано первенство по времени высказывания тех соображений, которые в последующем составили более или менее общепризнанную оценку слабостей диалек-

---

[1]) „Kritik d. „Antihegel“, Werke, Bd. II, S. 18—29.

[2]) Не говоря о Марксе и Энгельсе (особенно ценна книга последнего „Людвиг Фейербах“, есть р. перев. с предисл. Плеханова, М. 1918) и об упоминаемых ниже Тренделенбурге и Тейхмюллере, хочется назвать работы Ульрица („О принципе и методе философии Гегеля“, 1841), Э. Гартманна („О диалектическом методе“, 1869), Г. Лотце („Метафизика“, 1879) и Б. Кроче („Жизнеспособное и мертвое в философии Гегеля“, 1903).

тики Гегеля. А между тем в распространенной историко-философской лит ратуре (если исключить отсюда сторонников диалектического матери лизма) роль Фейербаха не только не подчеркнута, но даже почти совершен замолчена. Так, выставление на вид иллюзии о мнимой логической чисто в диалектике идеи и указание, что в построения Гегеля всюду прокрад вается эмпирический момент чувственного воззрения,—этот критический вы пад против панлогизма—приписывается, без упоминания о Фейербахе, в к честве крупнейшей и оригинальной заслуги Адольфу Тренделенбургу с ег «Логическими исследованиями» [1]). Между тем в статье Фейербаха, появи шейся до выхода в свет книги Тренделенбурга, мы находим совершенн ясное и обстоятельное развитие этой мысли.—Равным образом, можно б было привести ряд других параллелей между Фейербахом и позднейшими ви ными критиками Гегеля, но это сильно отвлекло бы нас в сторону. Ограни чимся только одним нелишенным интереса указанием. Талантливый Г. Тейх мюллер, несмотря на всю рознь своей Лейбницианской позиции от точки зре ния Фейербаха, крайне близко к последнему определяет формально-методоло гические недочеты Гегелевой диалектики бытия [2]). Мы задержались на эти

[1]) Вот, в общих чертах, аргументация Тренделенбурга. По Гегелю чистое мышлени порождает и познает моменты развивающегося бытия, ничего не предполагая из одно собственной необходимости. Она начинает с бытия, как чистого отвлечения, которы добывается чистое ничто. Но чистое мышление не может тронуться с места без представле ния, в которое время и пространство входят неизбежными моментами. Следовательн это уже не чистое мышление, вполне чуждое внешнего бытия. Всюду созерцание бе молвно участвует в порождении диалектических ступеней понятия. Понятие, наприме о „ничто" приобретается единственно потому, что чистое бытие—это создание отвлекающе мысли—сравниваются втихомолку с полным созерцания бытием. Та же услужливость созерц ния или иначе говоря, реальная противоположность заданных мышлению об'ектов выступае и при конструировании понятия ино-бытия. Словом, тайна гегелева метода—искусство от делываться от первоначального отвлечения, постепенно вводя новые понятия, как отобра жения об'ективного раскрытия действительности. Проникнуть в среду вещей за пределы чистого мышления, диалектика, как таковая, не мо жет: она дает только установку необходимых форм мысли по отношению к добы тому из созерцания материалу и, значит, пресловутое „внутреннее самодвижение по нятия" оказывается чистым миражем. См. „Логические исследования", т. I—Близость со ображений Тренделенбурга и мыслей Фейербаха очевидна.

[2]) Неустойчивость метода Гегеля Тейхмюллер видит в том, что от развиваемых в системе идей нет обратного пути к источникам познания. В самом начале логики Гегел смешивает бытие, как логическую связку и как существование („бытие есть неопре деленное непосредственное"; оно „есть бытие, как оно есть непосредственно тольк в нем самом"). Чистое бытие, по Гегелю, должно быть совершенно беспредметным и, следовательно, оно должно так же быть определено, как неопределенное. Но такого неопределенного бытия не существует и не может существовать; мышление всегда соображается с источниками познания и принимает что-нибудь во внимание только на основании достоверных данных соотносительных точек. В итоге „чистое бытие, под которым мнимо представляют себе самый общий предмет, не будучи, однако, в состоянии представить действительно что-нибудь подобное, должно быть равно ничто, что необходимо диалектически, во, с другой стороны, ведет к прекращению всякого разума и науки". См „Действительный и кажущийся мир", Казань 1913, стр. 177 и сл. 180, 207, 210 и др.

справках с единственной целью отметить односторонность в отношении к Фейербаху того широко распространенного мнения, по которому все существенное в деятельности нашего философа сводится на разрушительные критические идеи в области философии религии и на своеобразную концепцию морали, при чем на задний план отставляется тонкая и своеобразная связь его идей по теории и методологии познания [1]).

Статья «Предварительные тезисы к реформе философии» и трактат «Основоположения философии будущего», примыкая, в общем, по задаче и духу воззрений к только что охарактеризованной нами работе Фейербаха, имеют вместе с тем несколько иной склад и с внутренней и с внешней стороны. Оба труда Фейербах начинает в знакомой нам манере исторических сопоставлений и критических замечаний касательно идеалистических систем новой философии, поскольку он стремится об'яснить свое учение, как необходимый результат всего сдвига новой европейской духовной культуры. Но очистив, в процессе критики, почву для собственных построений, Фейербах уделяет их изложению уже более значительное место. Внешне обе статьи дробятся на коротенькие абзацы и параграфы, сообщая местами мысли Фейербаха вид афоризмов, напоминающий манеру Монтэня или Ницше; да, пожалуй, и по самому стилю речи Фейербах близок к этим авторам.

В «Предварительных тезисах» Фейербах берет отправною точкой то положение, что идеалистическая логика—онтология Гегеля является умозрительною проекцией теологии, не расстающейся с призраком сверхчувственной трансцендентной божественной сущности. Поскольку обычная теология постулировала внемирное существо бога, плод слепой веры и свободной фантазии, в формах отвлеченной от человека чувственности, постольку умозрительная философия и прикрывающаяся диалектикой последней умозрительная теология постулируют абстрактный пре-мирный разум, опять-таки отвлеченный от конкретного человека. Поэтому метод критики спекулятивной философии должен быть тот же, что и метод критики в области религии. Надо последовательно обратить ее предикат в суб'ект, а суб'ект сделать об'ектом и принципом: тогда будет найдена чистая истина философии. В области религии это достигается «обращением» пантеизма в атеизм; в области метафизики—обращением панлогизма в натурализм. Философия, исходящая из абстракции бесконечного, не может найти перехода к полаганию конечного и определенного. Бесконечное не может быть мыслимо помимо конечного; нельзя мыслить и определять качества, не мысля об определенном качестве. Мыслимости качества предшествует его действительность; мышлению предшествует страдательное состояние (leiden), именно в форме чувственного воззрения.

В этом смысле ни бытие, с которого начинает философия, не может быть отделено от сознания, ни сознание от бытия. Пространство и время — не только логические, но и онтологические формы, определяющие действитель-

[1]) Этот упрек можно бросить и Штарке („Feuerbach", 1885) и даже Иодлю („Л. Фейербах", Спб. 1905), при всех прочих неоспоримых достоинствах его труда.

ное существование вещей. «Развитие», поставленное в абсолютном иде лизме как атрибут абсолютной идеи и лишенное признака времени, равно, что *развитие без развития:* только во времени развертывающая сущность есть действительная сущность. «Философия, размышляющая о существовании без времени, о бытии без пространства, о качестве без ощущения, о жизни без жизни, без плоти и крови,—такая философия односторонняя. Поэтому истинная философия должна начать не с самой себя, но своей антитезы; этою антитезою является начало чувственности, с ее органом, «воззрением». Только сочетание этих начал, разума и чувственност *мышления и воззрения,* дает единую универсальную философию. Отсюда задачею времени является «сочетание со схоластическою флегмою *немецкого умозрения* сангвинического принципа *французского сенсуализма* и материализма». Гегель ставил себе задачею преодолеть, «снять» противоречи мышления и бытия, как это противоречие мыслилось в философии Кант Но Гегель осуществил «снятие» лишь в недрах одного из элементов, имени мышления; он сделал мысль суб'ектом, и бытие предикатом, тогда как надлежащее отношение мышления к бытию таково: бытие—суб'ект, мышление-предикат. *Мышление вытекает из бытия, а не бытие из мышления.* Сущност бытия, как такового, есть сущность, неразличимая со своим существованием человек—сущность, отличающая себя от существования (самосознательная Неразличимая сущность является основою различимой, значит, природа—основа человека. Предмет новой философии—конкретный человек, как единство всех противоположностей и противоречий, всех активных и пассивных духовных и чувственных, политических и социальных качеств. Только человек есть основа теоретической философской мысли (он ведь основа и «я Фихте, и Лейбницевой «монады», и «Абсолютного» идеалистов), только в человеке получают свое необходимое и реальное обоснование проблемы практической философии (воля, свобода, личность). При этом все науки должны основываться на природе, а философия должна связать себя с естествознанием; этот союз будет прочнее и счастливее, чем имевший до сего времени место «неравный брак» между философией и богословием.

«Основоположения философии будущего» представляют собою значительно расширенное по мотивации и подробностям повторение и восполнение положительных идей «Тезисов». В качестве особого признака «Основоположений» надо отметить богатство ее тонкими и верными историко-философскими характеристиками. Не упуская из виду даже древне-греческой философии, Фейербах мастерски выясняет взаимосвязь и особенности новых идеалистических систем от Декарта до Гегеля, противоречия и безнадежность их умозрительных усилий преодолеть дуализм материи и духа, бытия и сознания. Ритм философского движения Фейербах снова вводит в соотношение с религиозной идеологией и, по его словам, «на отожествлении божественной сущности с разумом покоится высокое историческое значение спекулятивной философии» (§ 6). В построениях последней все предикаты бога, как, например, его необходимость, самостоятельность (по-себе самость) тожественность с собою, как единство мыслящего и мыслимого на-

чала, его всеведение,— оказываются в существе дела формами самоопознания и самоопределения человеческого разума. В свете конкретно-психологического генезиса Фейербах остроумно показывает, например, что различие, полагаемое умозрительною философиею между абсолютным знанием бога, предваряющим творение вещей, и знанием людей, следующим за вещами, как их отображение, сводится на различение между априорным и апостериорным человеческим знанием (§ 12); равным образом, божественное всеведение есть трансцендентный символ коллективного научного знания человечества нового времени с усовершенствованною техникой «всевидящих» телескопов и микроскопов.

В пантеистических концепциях мирового всеединства Фейербах прослеживает весь путь от атеистического материализма Спинозы до крайней в спиритуалистическом направлении системы Гегеля; последний, на взгляд Фейербаха, явился как бы восстановителем философии неоплатоников, поскольку в панлогизме Гегеля различие между мышлением и бытием, суб'ективным и об'ективным теоретически потерялось, поскольку мышление все положило в себя и идея стала «конкретною», растворив в себе без остатка элемент чувственного воззрения. В этом состоит кульминационный пункт идеализма, когда, если так можно выразиться, «идея» делает самую отчаянную и решительную вылазку в сферу «бытия». Но здесь-то как раз и коренится поражение идеализма: «Гегель в мыслях о вещи хочет схватить *саму вещь*, в процессе самого мышления хочет стать вне мышления» (§ 30).

Выход из тупика идеализма Фейербах находит в признании об'ективной действительности чувственного бытия. К знакомым уже нам доводам материалистической диалектики он присоединяет и ряд новых. «Данный с мышлением *или тожественный* ему об'ект есть только *мысль*. Об'ект действительный становится данным мне только там, где на-лицо какая-либо действующая на меня сущность, ибо только там, где я обращен из «я» в «ты», где я страдателен (пассивен), возникает представление вне меня пребывающей активности, т.-е. об'ективности; только через чувство «я» оказывается «не-я». Характерный для прежней философии и вместе с тем неразрешимый для нее вопрос о взаимодействии тела и души разрешает только чувственность. Только чувственные сущности воздействуют друг на друга. «Я» есть «я» для меня и, вместе, «ты» для других (§ 32). Если старая философия исходила из положения: я есть только мыслящая сущность, тело же не относится к ней, то новая философия начинает положением: тело в его целостности есть мое я, сама моя сущность. Только там, где начинается чувственность, исчезает всякое сомнение и спор (§ 36, 38). Существует исключительно то, что может составлять об'ект страсти, «любви» (понятой в широком смысле «ощущения вообще»). Лишенное ощущений и страстей абстрактное мышление уничтожает различие между бытием и небытием, любовь же реализует это исчезнувшее из мысли различие. Поэтому ощущение имеет не только условное, эмпирическое значение, но и значение онтологическое, метафизическое: «любовь» является онтологическим доказательством существования предмета вне нашей головы—и «нет иного доказательства бытия, кроме

любви или вообще ощущений» (§ 33). Стихия чувственности не должна быт ограничиваема грубо-элементарным миром «внешних» вещей; «предметная сфера чувственного познания шире: «мы чувствуем не только камни и деревья, не только мясо и кости, мы чувствуем и чувства, касаясь руки или губ чувствующего существа; мы воспринимаем ухом не только журчанье воды и шелест листьев, но и полный любви и мудрости голос; мы видим не только зеркальную поверхность и призрак красок, мы всматриваемся во взор людей. Значит, не только внешнее, но и внутреннее, не только плоть, но и дух, не только вещи, но и «я» есть предмет чувств» (§ 41). Познание возникает из чувственной интуиции, по природе обращенной у человека прежде всего к самому человеку и человеческому. Генезис искусства и религии показывает, что их об'екты также порождаются чувственностью. И высший слой познания, идеи, опирающиеся на чувственность, возникают через посредничество людей, через чувственное обращение их друг к другу: «два человека требуются для создания человека, как физического, так и духовного». Наконец, об'ективная достоверность внешнего мира и истинность его познания опосредствуется также достоверностью восприятия «другого», подобного моему восприятию.

Рядом аргументов Фейербах стремится защитить свой теоретико-познавательный сенсуализм, как точку зрения отнюдь не элементарную, наивно-реалистическую, а, напротив, способную поднимать познание до высот рационального систематического мышления.

Во-первых, точка зрения чувственного воззрения в отношении к действительности не есть что-либо первоначальное, лишенное мысли и предваряющее точное и ясное познание; напротив, она устанавливается значительно позднее точки зрения представлений фантазии, возбуждаемой кажущимися аналогиями, наивно связанной с ближайшими практическими жизненными интересами суб'екта, не различающего предмета и представления о предмете; задача истинного воззрения заключается в том, чтобы незримое для обыкновенного глаза сделать зримым, т.-е. предметным [1]). Судьбы научно-философской культуры человечества показывают тот же процесс и для понятий: раньше начинают заниматься вещами, обращенными в мысли (религия, метафизика), нежели вещами в оригинале, на праязыке чувственности (естествознание со включением антропологии) (§ 43).

Во-вторых, разделения мыслью действительно сущего и кажущегося, необходимого и случайного, рационального и иррационального сохраняют свое значение для познания и с принятием сенсуалистической точки зрения, но они не выражают собою двух совершенно раздельных областей, определяемых идеализмом, как истинное и мнимое, а «падают в область самой

[1]) Примеры, иллюстрирующие правильную мысль Фейрбаха, неисчислимы: достаточно указать хотя бы на смысл смены птоломеевой астрономической системы коперниковой, на судьбы атомистическаго учения о строении вещества, на изучение ультрафиолетовых и инфра-красных лучей, на изучение явлений биологического подбора, выразительных движений и мимики человека по отношению к психическим переживаниям (Дельсарт) генезис „товарного фетишизма" у Маркса и т. д.

чувственности»; так, естествознание, например, показывает, что переход от рационального к иррациональному в сфере определения величин не нуждается в выступлении за пределы чувственности (§ 42) [1].

Далее, чувственная определенность бытия необходимо выражается в признаках пространства и времени. Понятие пространства возникает с конкретным «где»; только с определенностью мест, фиксируемых чувственным сознанием, полагается всеобщность, пространства, как отвечающего реальности конкретного понятия. Без пространственной внеположности невозможна и логическая: «различия в мысли должны быть осуществлены, как различаемые; но все различаемое выступает в пространственной внеположности». Но, в свою очередь, что внеположно, то может быть мыслимо только последовательно. Значит, действительное мышление есть мышление в пространстве и времени, понятых как реальные определения действительности (§ 44).

В идеалистической диалектике непосредственное единство противоположностей обращалось в легкую и безрезультатную для положительного знания игру, поскольку абстракцией мысли устранялся реальный «средний термин», суб'ект противоположностей; с устранением предмета исчезает и граница между противоположностями (хотя бы, например, граница между «бытием» и «небытием») (§ 46). Но что разделено в действительности, не должно быть отожествляемо в мысли; законы действительности суть также законы мышления (§ 45). Поэтому в реальной диалектике мысли, определяемой действительным *бытием* предмета, только время дает средство сочетать противоположные и противоречивые определения в одной и той же сущности. Только там, где я, как суб'ект, нахожусь в длящемся изменении противоположных состояний, поскольку одни мои представления или ощущения вытесняются другими, я и охвачен муками противоречия; смена наших аффективных отношений к конкретному предмету мышления обусловливает логическое познавательное значение противоречия [2].

Действительность, утверждает Фейербах, представима в мышлении не во всей своей цельности, а частично, так сказать, в дробях, ибо мысль ию

[1]) Понятно, что в данном случае Фейербах без определенных ссылок полемизирует с идеалистической точкой Лейбница (который метафизически различает, как два особых мира, „истины необходимые“ и „истины факта“, рассудочное познание и эмпирию), а равно и со всякими вообще формами одностороннего рассудочного априоризма.

[2]) Таким образом Фейербах генетически устанавливает суб'ективно-психологический источник диалектики и здесь особенно характерно выступает психологизм Фейербаха как существенный его прием обоснования теории и знания, но было бы совершенно неправильно видеть тенденцию Фейербаха к чистому феноменализму, в духе Юма или Маха, сполна разрешающего всю „предметность“ обекта в паутину суб'ективных качеств, ощущений. Все прочие моменты учения Фейербаха покоятся на последовательно материалистическом признании внесуб'ективного действительного чувственного предмета, на коренном различении „восприятия предмета“, „мысли о предмете“ от об'ективного существования самого предмета. — О родственности задач и методов Фейербаха и Юма в метафизике говорит Иодль, но при этом и он замечает, что „Фейербах восстанавливает права достоверности чувственного данного мира, реальности природы и ее связей, которые для Юма чуть было не погибли вместе с метафизикой“. См. Иодль „Л. Фейербах“, стр. 67.

природе отличена всеобщностью в отличие от действительности с прису щей ей индивидуальностью. Этим и об'ясняется необходимость восполнения мысли чувственностью и постоянного перерыва рефлексии чувственным воз зрением (интуицией). «Иное» мышления, дающее материал для познания сообщается только воззрением, так же как и об'ективный критерий истины сообщается только им, а не замкнутым в себе мышлением. Отсюда антитеза и связь этих элементов познания: «воззрение берет вещи в широком смысле слова, мышление в узком; воззрение оставляет вещи в их неограниченной свободе, мышление дает им законы, при чем последние слишком часто деспотичны; воззрение просветляет голову, но ничего не определяет и не решает; мышление сообщает взглядам определенность, но также и ограничивает голову; воззрение само по себе не имеет основоположений, мышление само по себе не имеет жизни; правило—дело мышления, исключение из правила—дело воззрения».

Поэтому «отвечает существу действительности только то воззрение, которое детерминировано через посредство мышления, и лишь то мышление, которое расширяется и возрастает через воззрение» (§ 48) [1].

В дальнейшей характеристике реформированной философии Фейербах указывает, что суб'ектом разума, познания, а вместе с тем и реальной мерой вещей является человек в его конкретной цельности (§ 50). Единство мышления и бытия может приобрести смысл только тогда, когда за основу этого единства будет принят человек во всей полноте своей сущности, а мышление явится только предикатом этой сущности. Отсюда и вытекает императив для философа: мыслить во всей полноте «воззрения», погружаясь в волны действительности, жизни, а не в изолированности рефлексии, как разобщенная с миром «монада» (§ 51). Чувственность человека универсальна и коренным образом отличается от узкой ограниченности чувств животных; она сообщает духовность и высший жизненный смысл самым грубым, элементарным функциям, как, например, питание (§ 53). Высшие проявления человеческого творчества—искусство, религия, философия или наука—представляют собою всецело обнаружение человеческой сущности (§ 55). Но так как в качестве главнейшего признака этой сущности оказывается общение людей (имевшее, как уже было указано, и метафизический смысл), то все практические и теоретические разумные функции человека, все его духовные акты и совершенства опираются на единство *человека с человеком*, связи и необходимость

---

[1] Это место превосходно показывает, что Фейербах воспринял в свою материалистическую диалектику из истин критицизма Канта: учение о необходимой связи и взаимной поддержке в едином процессе познания элементов чувственного созерцания и мышления („созерцания без мыслей слепы; мысли без созерцаний пусты"). На-ряду с этим нельзя не заметить, что фейэрбахова антитеза в конце концов клонится к подчеркиванию руководящего значения за созерцанием, **воззрением** (интуицией жизни, действительности), как обусловливающей глубину познания силой. Фейербах, если угодно, стоит здесь на пути, весьма близком к интуитивизму Бергсона, т.-е. к учению, кото ое, по совлечению с него мистических одеяний, в качестве частичной истины может быть превосходно усвоено любым натуралистическим и реалистическим направлением не исключая и диалектический материализм.

«ты» для «я» (§§ 58—63). В конечном итоге новая истина философии, по Фейербаху, снимает *двойную* истину головы и сердца, теории и практики, философии и религии: она сама становится религией и тем самым оказывается «toto genere» отлична от философии прошлого.

Неблагодарный труд пересказа такого скупого на слова автора, как Фейербах, мы выполнили ради показания оттенков различия в разных очерках его системы, а вместе с тем и с целью подчеркнуть те мотивы его теоретической философии, которые, на наш взгляд, недостаточно оценены обращавшимися к нему исследователями.

В отношении к трактату «Основоположения» надо прежде всего самым решительным образом освободить Фейербаха от небрежной и неправильной оценки, какую допустил авторитетный историк философии Куно-Фишер. Он говорит: «Основоположения философии будущего»—сочинение, стоящее гораздо ниже «Сущности христианства» по содержанию и по литературным достоинствам. Одно и то же содержание *все вновь повторяется* в форме тезисов в 65 параграфах и подчеркнутые мысли выделяются не столько в виде оригинальных выходок (?!), сколько с помощью курсива» [1]). Большее искушение истины трудно себе представить! Допустив даже, что ревностный гегельянец-идеалист, каким является К.-Фишер, мог по вполне понятному суб'ективизму умалить значение материалистических взглядов Фейербаха, нельзя не изумиться, как К.-Фишер проглядел формальную стройность, чисто гегелевскую диалектическую красоту и выразительность «основоположений», где именно нет застоя и повторений, где почти ни одно звено мысли не может быть опущено без нарушения архитектуры учения. Кроме того, как можно говорить о преимуществах «Сущности христианства» в смысле собственно философского, системного труда, когда сам Фейербах оговаривал условности изложения и намеренную популяризацию в этом сочинении.

Гораздо печальнее и вместе с тем опаснее для репутации Фейербаха попытка К.-Фишера вообще обесценить философскую деятельность Фейербаха ссылкою на авторитет Энгельса: «Фейербах не справился критически с Гегелем, а просто отбросил его в сторону, как нечто ненужное, но сам, в противоположность энциклопедическому богатству системы Гегеля, не создал ничего положительного, кроме вздутой религии любви и тощей бессильной морали». Этою выборкой из книги Энгельса о Фейербахе с большой находчивостью пользуется К.-Фишер. Однако необходимо понять резкий отзыв Энгельса в контексте основной идеи его книги. Задачею Энгельса было показать, что единственной плодотворной и приобретшей историческую властность линией философской мысли, исходившей от Гегеля, явился исторический материализм; отсюда во всей остроте выступала необходимость отмежевать это направление от прочих точек зрения, в том числе и от Фейербаха, во взглядах которого заметно обнаруживался недостаток *динамического* начала, понимания и учета социальных условий в их влиянии на изменения в психике и во всей идеологии исторического человечества; равным образом дух борьбы

[1]) К. Фишер, „История новой философии", том VIII, полутом второй, СПБ. 1903, стр. 443.

и волевой сосредоточенности, заключенный в классовой окраске исторического материализма, был резко враждебен расплывчатой и сентиментальной абсолютной этике любви, этого действительно слабого места в философии Фейербаха. Но Энгельс обошел здесь молчанием то, что можно назвать *статикой* диалектического материализма, его онтологию и теорию познания, равно как и его историческое обоснование в качестве синтеза, разрешающего противоречия идеализма. Однако Энгельс понимал это, и в других местах книги определенно, хотя и слишком в общей форме, признает положительную роль Фейербаха. («Фейербах во многих отношениях является связующим звеном между философией Гегеля и нашими взглядами», читаем мы в предисловии Энгельса к той же его книге.) Как бы то ни было, «преодоление» Фейербахом Гегеля было не простой бесплодной «игрой ума» и схоластическим крохоборством. Рассеяны были все призраки трансцендентных измышлений и разорвана незаконная связь философии с богословием. Фейербах не «отбросил» Гегеля целиком, а «расправился» с ним в меру своей основной задачи эмпирико-генетического истолкования жизни человеческого сознания вообще, религии в частности. Он «справился» с Гегелем постольку, поскольку для диалектического материализма Маркса-Энгельса и их последователей нужна была обще-философская база, достаточно широкая и вместе с тем критическая. Ведь, «диалектический материализм», по словам А. Деборина [1]), «примиряет и об'единяет в высшем философском синтезе все течения философской мысли и представляет собою результат развития всей новой философии». Он «заключает в себе в качестве «подчиненных моментов» и феноменализм (с его психологическим методом), и трансцендентальный идеализм (с его трансцендентальным методом, так как и диалектический материализм признает общеобязательность и необходимость рассудочных форм, поскольку они являются «формами бытия», т.-е. поскольку они абстрагированы от реального мира), и метафизический идеализм... с его признанием абсолютно реального бытия и т. д.». В духе подобного органического синтеза «частичных истин» отдельных односторонних направлений философской мысли Фейербах, первым по времени, работал, как можно убедиться из предшествующего изложения, в достаточной мере критично, осторожно и планомерно.

В результате такой работы основа гносеологии и онтологии Фейербаха приобретает у него выражение, которое делает взгляды Фейербаха во многих отношениях «предвосхищением» отдельных здоровых и жизнеспособных идей позднейшей философии в различных, а не только исключительно материалистическом, направлениях. Интуитивный корень познания, имманентного всей полноте жизни суб'екта в единстве его психо-физической организации, истолкован Фейербахом, как активность сознания, двусторонне обращенная и вовне и внутрь: и к утверждению об'екта, «не-я» в социальном моменте «любви» (ощущения) и к опознанию «я», как индивидуального единства, определяемого изменчивым об'ективным содержанием «воззрения». Это придает

[1]) „Введение в философию диалектического материализма", Петроград 1916, стр. 232.

теоретической философии Фейербаха специальную окраску *материалистического интуитивизма*. Дополнительно Фейербах вводит сюда *антропологическую* мерку для опознания разума «предметов», как символов ценностей человека, развивающегося в природной и социальной среде.

Пропедевтическую основу своего учения Фейербах вывел, хотя и кратко, но с достаточной четкостью и убедительностью. Философия природы, требовавшая больших специальных знаний и особых методологических приемов, осталась пробелом в учении Фейербаха. Философия культуры нашла у Фейербаха основательную разработку только в сфере одной из «надстроек» высшей духовной культуры, именно в сфере религиозного сознания. В этом отношении Фейербах завершил работу, начатую Пьером Бейлем и систематизированную Юмом. Но при освещении истории религиозной культуры в соотношении с научно-философским движением для Фейербаха раскрылась еще одна сторона дела, именно закономерная смена стадий исторического мышления: 1) теизм отвечает наивному дофилософскому или зачаточно-философскому реализму фантазии; 2) пантеизм соответствует идеалистическому рационализму, и 3) атеизм сопряжен с натурализмом и материализмом. Легко заметить, как близко совпадает эта схема с установленным (в те же почти годы) О. Контом известным законом трех стадий исторического развития человечества: теологический, метафизический и научно-положительной [1]).

Для остальных областей человеческого творчества (техника, право, искусство, наука) сам Фейербах не нашел сил к синтезу в духе своего миросозерцания. К плодотворной работе в этих областях и к более жизненному построению в области морали, чем бесцветный отвлеченный «теизм», нашлось много задержек в неблагоприятных внешних условиях жизни Фейербаха. Главным же препятствием была его оторванность и отчужденность от крупнейших достижений в области научной культуры середины XIX века, от дарвинизма и марксизма. Эволюционный принцип в изучении природы всех органических и психических функций человека, «переоценка» социальных ценностей и плодотворнейший путь материалистического истолкования исторической жизни, практическое революционное начало борьбы за социализм,—все это осталось вне круга интересов Фейербаха, реалиста по теоретическим стремлениям, но идеалиста-романтика по духовной «закваске» и традициям. Небрежение к зовам современности отомстило себя Фейербаху тем, что в памяти позднейших поколений его место определилось, как скромное посредничество между Гегелем и Марксом, да еще с теми оговорками, полузабвением и невниманием, о которых уже упоминалось.

А между тем, это был исключительно сильный и тонкий, многообещавший ум. При всей незаконченности своего жизненного дела, как энциклопедической философской системы, Фейербах в свое время и позднее толкал к разработке в духе его учения тех проблем, какие остались обойденными или недостаточно освещенными. Прямых видных учеников у него не оказалось.

[1]) См. А. Ланге, „История материализма“, пер. Страхова; 2-ое издание, стр. 395.

если не считать таковыми Маркса и Энгельса, но эпизодическое влияние его на отдельных писателей было весьма распространенным и ценным [1]).

Кроме того, оглядка на Фейербаха, обращение к идеям его теоретической философии имеет неоспоримое значение и для наших дней. Много опасных скал и отмелей подстерегает пловца в потоке современной философской культуры. Не изжили еще себя притязания мистического миропонимания, постоянного оплота социально-политической реакции, заявляющие себя устами всякого рода «богоискателей». Серым туманом схоластицизма и безжизненности грозит одностороннее увлечение нео-кантианским формализмом марбургской школы (Коген и др.). К тупику солипсизма или безнадежного скептицизма подводит феноменологический «без'ядерный» махизм. В ленивую спячку мысли может погрузить самодовольство узкого материализма тех естествоведов, которые и по сию пору готовы еще считать панацеею от всех зол метафизики «физиологическую рефлексологию» и т. п.

Фейербах, критический реалист-интуитивист, старый рыцарь диалектики, вооруженный ясной и гибкой мыслью,—наш друг и союзник в освобождении от подобных опасностей.

— ———

[1]) Материалистическую диалектику в сфере социально-правовых вопросов на принципах Фейербаха талантливо развил Людвиг Кнапп („System d Rechtsphilosophie", 1857). Влиянием Фейербаха отмечена книга Э. Каппа „Основные черты философии техники" (1879). В области эстетики фейербаховы идеи сильно сказались на Гюйо и Чернышевском (см. Е. Аничков „Очерк развития эстетических учений", VI т.—„Вопр. теории и психологии творчества", сбр. 160 и сл., 1911). Наконец, надо упомянуть о большой близости к Фейербаху многих пунктов в философии Е. Дюринга (о чем мы предполагаем говорить в особой работе) и о прикосновенности Фейербаху писаний Иосифа Дицгена.

На шестой год.

(К итогам и перспективам партийной работы).

В. Молотов.

Опыт коммунистической партии, стоящей у власти, несомненно, имеет громадное историческое значение. Главное значение этого опыта—в идейной плоскости, и, прежде всего, в области политического поведения коммунистической партии, впервые ставшей у власти и осуществляющей диктатуру пролетариата. Но этот опыт интересен также и с точки зрения развития самой партии. Этому последнему вопросу необходимо уделить больше внимания, чем это было до сих пор. Мы остановимся на вопросах партийной жизни, на партии, как таковой, на методах и формах партийной работы за истекшее пятилетие и на перспективах дальнейшей партийной работы.

У коммунистической партии есть две основных задачи: внутренняя работа по воспитанию членов партии и работа среди масс по проведению в массах своего политического влияния. Обеими этими задачами заняты в своей повседневной работе коммунистические партии, но только на долю российской коммунистической партии выпала третья задача—задача управления страной. В этом отношении опыт других коммунистических партий (Венгрия, Германия) до сих пор был слишком непродолжителен, а потому на примере российской коммунистической партии можно изучать и учиться сторонникам коммунизма не только России. С этой точки зрения имеет громадный интерес то, что партия сама пережила за истекшие пять лет, с какими трудностями она встречалась в своей работе, какие опасности ей угрожали и какими методами, способами, приемами и формами работы она достигала своих целей.

Большевикам пришлось взять власть при таких трудных условиях, которые с первых же дней потребовали колоссального напряжения всех сил партии и сосредоточения всего внимания на вопросах государственной жизни, т.-е. на вопросах советского строительства. Партийные организации теснейшим образом связались с органами новой власти. Большинство руководящих работников партии должны были уйти в государственную работу, должны были влиться в государственные органы. Огромная и труднейшая задача создания аппарата власти, взамен разрушавшегося старого буржуазного аппарата, требовала колоссальных сил, требовала фактически почти всей партии.

Известно, что в первые месяцы Советской власти, из партийных учреждени громадное большинство партийных работников ушло на советскую работу что поглощало их в то время целиком. Партия должна была вся перестраиваться под углом овладения властью, под углом управления страной вырабатывая в процессе революции новые многочисленные (разнообразные формы и методы своей работы. Потребности партийной работы, как таковой на первые месяцы и даже годы революции отодвигались неизбежно на второй план,—на первое место встали потребности советского государства. При чем эти последние были неразрывно связаны с необходимостью одновременного овладевания профсоюзами и кооперацией. Таким образом, партии был пред'явлен бесконечный счет на руководящих работников в самых разнообразных отраслях государственной и общественной работы.

Если прибавить к этому, что, с первых же месяцев октябрьской революции, партия должна была создавать новую армию, взамен старой, при чем это создание Красной армии протекало в условиях чрезвычайной спешности и напряженной борьбы с вооруженными врагами Советской власти, то станет еще более понятной та колоссальная организационная работа (не говоря уже о политической), которую должна была проделать наша партия в течение первых лет революции. Надо было иметь действительно могучую, идейно и организационно, партию, чтобы справиться, хотя бы в основном, хотя бы с важнейшими задачами, вставшими перед нашей партией после октябрьского переворота.

Как выполняла партия эти задачи, какими формами организации, методами работы она пользовалась в это время? Нельзя сказать, что октябрьский переворот прошел по всей России по одному какому-нибудь, заранее выработанному плану, одновременно и стройно. Наоборот, процесс свержения буржуазной власти, победоносно начатый Петроградом, захватил сразу не все города и районы республики, не говоря уже о том, что после победы в Петрограде, даже в Москве октябрьский переворот потребовал нескольких дней вооруженной борьбы. Во многих местностях, и, в особенности, на окраинах, переворот должен был задержаться и зависел в значительной мере от благоприятных местных условий, в частности от подготовленности местной партийной организации. После победы революции в Петрограде и Москве только в центральной России неизменно сохранялся советский строй. Этого нельзя сказать об Украйне, юге-востоке, Кавказе, Сибири, Дальнем Востоке и севере России, где власть в отдельных случаях менялась по нескольку раз. И только начиная шестой год революции, можно, к счастью, сказать, что вся территория России, кроме частей, оторванных иностранными государствами, об'единена Советской властью.

Такое развитие революции требовало громадной инициативы и энергии мест. И в самом деле! Все условия октябрьской революции требовали развития широкой самодеятельности трудящихся, и только на основе этой самодеятельности наша партия, сумевшая за это время стать во главе трудящихся масс, смогла укрепить, а потом и об'единить, в советские республики прежнюю территорию царской империи. Наши политические враги

много говорили о подавлении свободы и самодеятельности внутри Р. К. П. Им был и по существу непонятен и чужд тот тип партийной организации, который совмещал у большевиков разнообразную инициативу, выявляющую самодеятельность мест, с одной стороны, и жестокий решительный централизм в общем руководстве,—с другой. Только революционная партия пролетариата могла показать такую гибкость и твердость в одно и то же время, какой требовали условия пролетарской революции в России.

Партия зачастую не вмешивалась и не могла вмешиваться в работу местных организаций, проводивших в большинстве случаев по собственной инициативе, сперва свержение местных властей, а потом построение новых аппаратов власти. На громадной территории, в условиях разрыва нормальных связей и отсутствия технических возможностей, это было неизбежно. Но ясная и определенная линия партии, однородность ее состава и одинаковое понимание задач помогали партии осуществлять единую линию, в общем и целом один план свержения буржуазной власти и организации новых государственных органов.

Спросят: разве не было сепаратизма и местничества, разве мало было ошибок и головотяпства со стороны местных партийных организаций? Однако, нет нужды спорить об этом—все это было, все это было неизбежно, но эти случаи имели второстепенное значение с точки зрения развития революции в целом. Главное достигалось тем, что партия всегда оставалась едина, могуче-сплочена, а ее руководящие центры, в согласии с самой партией, проводили по основным вопросам партийного направления твердо и решительно единую волю партии. В нужных случаях, там, где это было требованием самой революции, в партии был жесткий централизм, не допускающий расхлябанности и оригинальничания. 8-й с'езд партии, происходивший в марте 1919 года, безоговорочно и прямо сказал, что «в данную эпоху необходима прямо военная дисциплина». И, однако, в партии был простор для самой разнообразной инициативы и самостоятельной работы. Больше того. Партия не успевала следить и достаточно руководить всеми отраслями новой огромной работы.

Энергия партии поражала наших врагов, но часто еще больше их поражала дисциплина наших партийных рядов. Партия, действительно, дала своей работой один из замечательных примеров сплоченности и дисциплины за эти 5 лет. Взвалив на себя громадную историческую ношу, она не справилась бы с этой задачей, не показав на деле своей стойкости, единодушия и дисциплинированности. Не раз партия говорила своим членам, что коммунист отличается от других не теми или другими привилегиями, а только большим количеством обязанностей, возлагающихся на него. И партия пред'являла к своим членам действительно огромные требования, возлагала на них большие обязанности, требуя зачастую героизма и самопожертвования, как у рядовых членов партии, так и у ее руководителей, во имя интересов партии и революции. Надо только вспомнить о тех многочисленных мобилизациях для Красной армии, которые повторялись одна за другой в 1918—20 г.г., которые захватывали десятки и десятки тысяч членов партии, и

которые обыкновенно проводились полностью, а лучшими организациями превышением против назначенного количества. Эти мобилизации проводились в самые трудные моменты, в моменты тяжелых военных испытаний революции. Они требовали от членов партии забвения своих личных, семейных дел; они проводились всегда крайне спешно и безоговорочно. По этим мобилизациям коммунисты посылались в самые опасные места, нередко громадный процент мобилизованных уже через несколько недель после мобилизации выбывал навсегда из строя. И все же мобилизации проходили почти всегда с под'емом, с энтузиазмом, заражавшим широкие круги беспартийных рабочих и крестьян. Только благодаря железной дисциплине партии, она могла управлять громаднейшей страной в неимоверно трудных условиях. И только благодаря той же железной дисциплине и идейной сплоченности партии, на место развалившейся старой армии из отдельных партизанских отрядов рабочей и крестьянской бедноты, в течение нескольких месяцев стала создаваться дисциплинированная Красная армия, превратившаяся в могучую военную силу. Партия мобилизовала не только для фронта, она мобилизовала за продовольствием и за топливом, на транспорт и на борьбу с голодом, на Кавказ и на Дальний Восток. Партия перебрасывала своих работников с одного места, с одной работы на другую, часто за многие тысячи верст для укрепления сов. и партийной работы. Этого требовала революция. и потому не могло быть отступления.

Требования партии к самой себе всегда были очень велики: не только в военных мобилизациях, не только в мобилизациях и переброске работников по директивам партии на ту или другую работу, но и в повседневной жизни к коммунисту пред'являлись бо́льшие требования, чем к рядовому рабочему, служащему или крестьянину. Примером могут быть хотя бы субботники, проводившиеся в 1919—1921 г.г. Эти субботники редко бывали строго и формально обязательны, но морально всегда были обязательны для коммуниста. Таким образом, не только в обычные дни, но и в свободные от работы дни у коммуниста были общественные обязанности и работы. А организация частей особого назначения из коммунистов? И здесь, помимо общего военного обучения, для коммуниста—новые обязанности. Коммунисты, не состоящие в рядах армии, в значительном большинстве должны состоять в этих частях особого назначения, т.-е. проходить военное обучение, время от времени переходить на казарменное положение, или участвовать непосредственно в преследованиях бандитов и т. п.

За первые годы революции партия подверглась многим испытаниям; эти испытания закалили ее еще крепче, спаяли еще сильнее. Если укажут на факты нарушения дисциплины, которые, конечно, неизбежны в такой громадной массовой партии, как партия большевиков, то едва ли укажут другую такую партию во всем мире, которая бы на деле показала бо́льшую дисциплинированность и сплоченность своих партийных рядов.

Но в партии не раз за это время были крупные разногласия. Было бы странно обратное. Следует поэтому более подробно остановиться на наибо-

лее важных из них. Какие же это были разногласия и как они отразились на партии?

Основным вопросом, вызвавшим разногласия в первые же месяцы революции, было отношение к «похабному миру», навязывавшемуся нам в начале 1918 г. германской монархией. Разногласия по этому вопросу в ту пору достигли крайней остроты, но захватили главным образом руководящие ее круги, в частности и сам Центр. Комитет партии. Стоял вопрос о существовании самой революции в момент, когда революция была еще вся в первоначальном процессе ее развертывания. Подписать или не подписать Брестский мирный договор?—так стоял вопрос. В руководящих кругах партии по этому вопросу была очень острая дискуссия, которая привела даже к созданию особого органа группы так наз. «левых коммунистов», издавших в Москве несколько номеров журнала «Коммунист». Партийная масса, как и пролетариат в целом, были мало затронуты этой внутри-партийной борьбой. После некоторого колебания, Центр. Комитет, а вскоре и 7-ой с'езд партии одобрили точку зрения тов. Ленина, блестяще оправданную историей революции. В настоящее время в партии вряд ли существует по этому вопросу другая оценка, чем та, на которой остановилось тогда большинство Центрального Комитета партии и партийный с'езд. Вслед за подписанием «похабного» Брестского мира, разногласия стали быстро убывать и наконец разногласия по этому вопросу как будто исчезли.

Значительные разногласия были в конце 18 и начале 19 г.г. по вопросу об отношении к спецам в армии. Характер этих разногласий был уже совершенно другой, и линия раздела в партии была также иная. Вопрос об отношении к военным спецам в Красной армии был фактически только пробным камнем для постановки вопроса об отношении к спецам во всех отраслях государственного управления. Решался этот вопрос на 8-м партийном с'езде в марте 1919 г. и, несмотря на то, что в то время антиспецовское течение имело довольно много крупных защитников в партийных рядах, победило, и победило крепко, мнение о необходимости широкого использования спецов в военном деле и в других отраслях государственной работы. В партийной программе, принятой 8-м с'ездом, была специально подчеркнута необходимость «немедленного широкого и всестороннего использования оставленных нам в наследство капитализмом специалистов науки и техники, несмотря на то, что они в большинстве случаев неизбежно пропитаны буржуазным миросозерцанием и навыками». Такое решение с'езда по существу разрешило основное разногласие, имевшееся по этому вопросу перед и во время с'езда. Но оно, хотя и в совершенно других, меньших размерах, в партии должно было еще долго оставлять след. Это разногласие не было временным, тактическим разногласием, оно касалось вопросов, встававших в процессе революции и не потерявших до известной степени значения и в настоящее время, как это показывает повседневная практика советской работы.

В 1920—21 г.г. большую остроту приобрел вопрос о проведении централизма. Этот вопрос ставился как по отношению к партии, так и по отно-

шению к советам. Своеобразный характер он принял у партийной группировки, называвшей себя «группой демократического централизма». Эта последняя ставила с наибольшей резкостью вопрос о централизме в советском аппарате. Основная критика этой группы сосредоточивалась на так наз. «главкизме» того времени. Организация массы хозяйственных «главков» и «центров» (т.-е. главных и центральных управлений тех или иных отраслей хозяйства при В. С. Н. Х.) вызывали жестокие нападки со стороны этой группировки, проводившей мнение об управлении (или—в других случаях—контроле) через местные исполкомы, губернские и уездные. В условиях новой экономической политики эти разногласия совершенно потеряли свое значение.

Особое значение в те же годы приобрела группировка, известная под именем «рабочей оппозиции». Эта группировка стремилась к проведению формального демократизма в партийных организациях. Самим названием «*рабочей* оппозиции» она старалась подчеркнуть сугубо пролетарский характер своей позиции, при чем, сравнительно мало затрагивая вопросы советского строительства, главное внимание и проведение особой точки зрения старалась осуществить в вопросах партийного и профессионального строительства.

Наибольшей остроты выступления и поведение этой группы достигло к 10-му партийному с'езду, на который группа «рабочей оппозиции» явилась со своей особой оценкой существовавшего тогда партийного режима, задач партийного строительства и задач профсоюзов. 10-ый с'езд, имея в виду в особенности тезисы группы «рабочей оппозиции» о профсоюзах, дал оценку этому направлению, как уклону к синдикализму и анархизму, об'явив борьбу этому уклону и признав соответствующую пропаганду несовместимой с принадлежностью к Р. К. П. Требование же группы «рабочей оппозиции» о более строгом проведении демократизма в партии сделалось фактически более осуществимым как раз в этот период, когда военная эпоха революции оказалась уже позади, а страна и партия смогли перейти к более спокойным условиям работы.

Попытка так наз. «22-х товарищей» выступить в письменном обращении к Коминтерну с нападками на партийный режим и руководящие органы партии перед 11-м партийным с'ездом получила сравнительно совсем незначительный отклик и была осуждена Коминтерном. Уже со времени 10-го с'езда, а еще больше 11 с'езда, партия все больше шла к изживанию идейного уклона «рабочей оппозиции».

Совершенно особую остроту и размеры приобрели разногласия перед 10-м с'ездом партии по вопросу о роли профсоюзов. Предс'ездовская дискуссия в течение трех месяцев глубоко всколыхнула партию. Основное разногласие: за «цектранизм» (т.-е. за ускоренное огосударствление профсоюзов) или против него—получило в это время как бы несколько искусственную, не обычную остроту. Однако и это разногласие в настоящее время потеряло всякое значение для партии. Формально это разногласие было окончательно разрешено 10-м партийным с'ездом, высказавшимся в громадном своем большинстве за точку зрения так наз. «десятки» во главе с тов. Лениным, прово-

дившим по существу старую партийную точку зрения на роль и задачи профсоюзов. Разногласия начала 1921 года по вопросу о задачах профсоюзов потеряли свое значение после того, как 10 с'езд партии высказался за замену продразверстки продналогом. Это предопределило так наз. новую экономическую политику партии, а в этих новых условиях экономического строительства вопрос о роли и задачах профсоюзов был поставлен в новую плоскость, и разногласия фактически исчезли.

Указанные нами факты исчерпывают в основном вопросы внутри-партийных разногласий, имевших место за эти пять лет революции. Моментами эти разногласия приобретали, как мы уже говорили, острую форму. За эти годы наши враги не раз проникались надеждой, что разногласия внутри партии погубят ее. Один из лидеров меньшевиков, гражданин Далин, нарисовал даже картину, как коммунисты в процессе революции будут пожирать друг друга в взаимной борьбе и в своих идейных разногласиях. К счастью, эти надежды не оправдались ни в какой мере в прошлом, а в настоящее время они меньше всего соответствуют состоянию партии. Партия допускала возможность самого широкого обсуждения различных вопросов революции и партийной работы. Но всегда до сих пор ей удавалось сплотить свои ряды в нужный момент, во имя основных интересов революции.

10-ый партийный с'езд принял особое постановление об единстве партии, в котором указывается на «вред и недопустимость какой бы то ни было фракционности». С'езд предписал «распустить все без из'ятия образовавшиеся на той или иной платформе группы» и не допускать каких-либо фракционных выступлений. Прошедшие после 10 с'езда полтора года достаточно показали, что идейное единство в партии укрепилось и что партия на шестой год революции выступает сплоченно по всем основным вопросам.

Переходим к самым методам и формам партийной работы.

Громадные и разнообразные задачи пролетарской революции заставили партию применять столь же разнообразные и многочисленные формы партийной работы и методы влияния на беспартийные массы. Задачи революции менялись. На первое место выдвигалась то одна, то другая,—соответственно этому партийная работа приобретала ударный характер. Внимание и силы партии периодически сосредоточивались то на одной, то на другой работе. Первые месяцы требовали больше всего внимания к строительству новых государственных аппаратов,—все внимание было сосредоточено на советском строительстве. Эта задача, конечно, и до сих пор не исчерпала себя, но в ходе революции уже со средины 1918 года вплоть до конца 1920 доминирующее значение приобрели военные задачи. Поэтому сюда перекидывались на это время главные силы и средства партии. В последний период естественно на первое место встали вопросы хозяйственного и культурного строительства. В осуществление каждой из этих задач в прошлом выдвигались отдельные частные задачи на первое место, и соответственно этому переливались партийные силы, перебрасывалась партийная энергия по тому или другому направлению. Изменявшиеся условия и задачи революции требовали соответствующего приспособления к ним партийных организаций. Каждый партийный с'езд

и почти каждыя партийная конференция должны были серьезно останавливаться на вопросах партийного строительства. И действительно, партийное строительство за эти годы дало громадное разнообразие форм и выработало немало новых методов работы. Не трудно привести примеры. Задачи управления страной придали огромное значение вопросу о работе партийных фракций в выборных советских профессиональных, кооперативных и др. учреждениях. В них создавались всюду партийные фракции, превратившиеся в бесчисленные щупальцы партии. Коммунистическая фракция в совете, в профсоюзе, в кооперативе, в условиях пролетарской революции превращалась в большинстве случаев в фактического руководителя этой организации. Коммунистические фракции должны были в самых разнообразных отраслях общественно-государственной работы выражать единую волю и мнение руководящей партии. Поэтому партия должна была тщательно следить за каждым их шагом. И действительно при помощи фракции партия сумела во многом помочь делу закрепления своего влияния и организации вокруг себя трудящихся масс. Отсюда—исключительная и фактически господствующая роль коммунистической фракции в революционном строительстве. Работа фракций требовала от партийной организации громадной гибкости и могучей дисциплины. Партия много раз останавливалась на этом вопросе и дала точную директиву для руководства коммунистам во всех отраслях государственной и общественной работы, с соблюдением как интересов самостоятельности в практической работе коммунистов в тех или иных организациях, так одновременно и достаточного подчинения их в этой работе директивам партии. Потребности проведения партийных решений и партийного влияния в непартийных органах, через их коммунистические фракции, не раз заставляли партию заниматься вопросами о методах работы в непартийных организациях. Практика внесла в эту область много поправок. В целом партия решила эту задачу вполне удовлетворительно.

Особые условия работы партии среди молодежи, среди женщин, в армии, среди крестьянства, партией очень внимательно учитывались, и здесь в некоторых отношениях уже сложились определенные организационные формы, испытанные практикой последних лет.

Коммунистический союз молодежи с 3½—4 сотнями тысяч членов союза является могучим средством влияния партии на пролетарскую и отчасти крестьянскую молодежь; несмотря на то, что члены партии в этом союзе составляют вряд ли больше $^1/_{10}$ членов союза, влияние партии в союзе безраздельно.

Работа среди женщин-работниц и крестьянок—привела к созданию совершенно оригинальных партийных органов в лице отделов работниц. В годы революции небольшие аппараты женотделов партийных комитетов исполняли громадную работу по пробуждению сознания и сплочения передовых элементов в мире трудящихся женщин.

В условия Нэп'а работа среди молодежи и женщин-работниц и крестьянок, как известно, натыкается на большое количество новых затруднений. Между тем, партия уже давно признала, что рабочая и крестьянская

молодежь, а также и работницы и крестьянки являются ее резервами. Поэтому в настоящий момент в особенности важно почаще вспоминать о положительных итогах в этих двух последних отраслях партийной работы. Партия должна помочь организациям молодежи и отделам работниц преодолеть трудности, встречающиеся теперь в их работе, и добиться еще большей взаимной связи и усиления всестороннего партийного руководства в этих областях. При этом нужно всегда помнить, что работа среди молодежи и среди работниц и крестьянок—подготовляет не только главный и могучий резерв партии, но также имеет колоссальное значение для укрепления связей партии с широкими рабочими и крестьянскими массами в целом. Успехи партии в этом отношении до сих пор были очень значительны. Тем не менее теперь и дальше мы должны во много раз укрепить и развить эти успехи.

Среди крестьянства партия также развернула громадную работу. Это было тем более трудно, что до революции проникновение партии в крестьянские массы было затруднено бесчисленными препятствиями. Возвращение демобилизованных солдат в деревню после октябрьского переворота во многом облегчило задачу партии по работе в крестьянстве. Однако партия должна была ускорять организацию крестьянской бедноты как вокруг самой партии, так и вокруг советов в деревне. Известно, что в 1918 г. партия и Советская власть развернули исключительную энергию по организации так называемых комитетов деревенской бедноты. Эти комитеты об'единяли крестьянскую бедноту в деревне для того, чтобы вести борьбу с деревенским кулачеством и, в частности, для того, чтобы выбить кулаков из советов. Но «комбеды» не были партийной организацией, хотя в деревне они об'единяли наиболее близкие партии беднейшие слои крестьян. Партии же необходимо была также и широкая сеть своих партийных органов, ячеек в деревне. Поэтому в 1919—1920 г.г. для усиления работы среди крестьян партия специально организовала временные (на 1½—2 года) отделы по работе среди крестьян. Выделение специальных сил по работе среди крестьян, приспособление партийной практики к условиям работы в крестьянстве вызвали создание этих отделов. Но уже к концу 1920 года существование отделов по работе в деревне сделалось излишним, так как партия сумела многое сделать по проникновению в гущу крестьянской массы. Отделы по работе среди крестьян несомненно помогли этому, но уже к этому времени роль их была в основном сыграна,—отделы стали ликвидироваться, и теперь в партии не поднимается голосов в пользу их восстановления.

Исключительно большую революционную роль сыграла военно-политическая организация партии,—прежде, так называемое Бюро Военных Комиссаров, затем Политическое Управление Республики (ПУР),—руководившие как самой партийной работой в Красной армии, так и назначением коммунистов на те или другие военные посты, в начале, главным образом, как политических комиссаров при военных специалистах, а в дальнейшем и на другие военные посты. Политотделы Красной армии являлись, с одной стороны, об'единением коммунистов в армии, с другой,—одним из административных аппаратов, всецело подчиненных военному командованию. Через них ком-

мунисты в Красной армии связывались в партийную организацию, через них военные коммунисты участвовали в общей партийной жизни и одновременно через те же политотделы военное командование получало возможность политически укреплять и на деле решать со всей революционной быстротой и решительностью многие труднейшие военные задачи. Политотделы—совершенно оригинальная революционно-партийная организация. Это — одно из интереснейших проявлений революционного творчества, неизвестное до того в прошлом, но необходимое пролетарской революции еще на некоторое время в будущем. Революционная Красная армия немыслима без политотделов,—это достаточно показал опыт всей гражданской войны. Политотделы Красной армии не только всецело оправдали себя, но и были (имея, конечно, свои недочеты) теми органами партии, без которых последняя не могла бы справиться с делом восстановления армии и в течение нескольких лет вести победоносную оборону республики.

Не будем останавливаться здесь на других удачных, а иногда и неудачных формах партийного строительства (напр., на транспорте, в угольной промышленности), временно существовавших и отчасти существующих до сих пор, так как важнейшие формы и методы мы указали выше.

Следует, однако, выделить вопрос о политических комиссарах. Система комиссаров-коммунистов при спецах в Красной армии настолько известна, что вряд ли на ней приходится останавливаться. Но политический комиссар, в особенности в первые годы революции был необходим во многих отраслях управления. Это было неизбежно в тех отраслях управления, где требовались специальные знания, предварительная большая научная, техническая или практическая подготовка. Политком был прежде всего глазами и ушами партии там, где революционная власть не могла выделить сразу же достаточного кадра специалистов из партийных рядов. Овладевая громадной государственной машиной, разбивая и переорганизовывая государственный аппарат, партия не могла на первое время иметь достаточных сил для всестороннего овладевания этим аппаратом. Если же вспомнить о крайне враждебном отношении буржуазной интеллигенции, а, значит, и специалистов различных отраслей к новой власти и к руководящей революционной партии большевиков, то станет понятной необходимость при первых шагах новой власти политического контроля над работой буржуазных специалистов почти во всех отраслях государственного строительства.

Роль политических комиссаров в революции была громадна. Только при помощи системы политкомов новая власть могла проводить свое влияние во многих государственных и в частно-хозяйственных аппаратах, где оставались и должны были оставаться в первые годы буржуазные специалисты. Государственные чиновники и специалисты встретили новую власть прямым противодействием и контр-революционным саботажем. Советская власть при помощи коммунистической партии беспощадно боролась с этим препятствием; заставив оставаться на своих постах буржуазных специалистов, революционная власть ставила свой контроль в лице политкомов из коммунистов. При этом партия добивалась решения двух задач: 1) контроль над вра-

ждебными элементами и 2) обучение на деле, на практике новому делу управления представителей рабочих и крестьянских масс. Политические комиссары ставились везде, где новая власть не могла доверять враждебным ей буржуазным отпрыскам. Политический комиссар в особенности требовался в самых опасных, в самых трудных и важнейших пунктах революционной борьбы. Место политического комиссара не только в Красной армии было боевой площадкой, по которой велся обстрел как со стороны открытых врагов по ту сторону фронта, так и со стороны затаенного врага, нехотя, против души исполнявшего железную волю представителей революционной власти. Политический комиссар в истории освобождения пролетариата займет свое славное место героя революции. Он не раз спасал революцию в самых трудных и опасных переломах революционной борьбы; он сделал громадное дело для революции в прошлом, но его роль не кончилась еще и в настоящее время и (в Красной армии) для ближайшего будущего революции.

Необходимо теперь остановиться на вопросе о подборе партией руководителей разнообразных отраслей государственной работы. Эта труднейшая задача, трудности которой немало смущали многих коммунистов и до и во время революции, конечно, не может считаться решенной. И в настоящее время эта задача является важнейшей и труднейшей частью организационной работы партии. Крайняя малочисленность подготовленных к руководящей государственной работе коммунистов была ясна с самого начала. У партии не было другого выхода, как учить на опыте управления новых руководителей. Партия не могла в первые годы революции иначе, как наспех, решать этот вопрос во многих и многих случаях. Умение ориентироваться в политической обстановке, преданность революции и работоспособность были главными качествами, которыми партия могла руководствоваться при назначении на тот или иной ответственный пост партийного товарища. Партия сознавала необходимость сохранения буржуазных специалистов на своей специальной работе, но партия в большинстве случаев не могла выражать им политического доверия, натыкаясь сплошь и рядом на прямое нежелание работать для пролетарской власти и прямой контр-революционный саботаж. К тому же условия и задачи работы руководителей за время революции радикально изменились. Революция разрушала буржуазную государственную машину, создавая вместо нее новый тип и формы государственного управления. В новых условиях нередко старые специалисты не могли вести руководящей работы, будучи дезориентированы политически, враждебно настроены к новой власти и психологически неспособны понять новой обстановки.

Такое положение потребовало от партии напряженной работы по доставлению для государственного аппарата новых и новых десятков тысяч руководителей различного масштаба, начиная от волости, кончая общегосударственной отраслью управления или хозяйства. Это привело к массовому выдвиганию коммунистов на различного рода ответственные посты как государственной, так и партийной работы. Партия не могла положиться на стихийное развитие и принимала разнообразные меры по массовому выдвиганию коммунистов, а на менее ответственные должности и не коммунистов (рабо-

чих и крестьян), ставя им в обязанность на практической работе обучаться различным отраслям управления.

Оглядываясь назад, перечитывая прошлые речи и постановления по этим вопросам, конечно, можно найти в них немало несогласованности и даже отдельных противоречий. Однако, потребности революционного времени были настолько громадны в этом деле, что не только ошибки и несогласованности были неизбежны в прошлом, но мы знаем хорошо, что и в настоящее время эта задача стоит перед партией во всей своей остроте. Хорошо управлять, а в особенности хорошо хозяйствовать—в разоренной стране, недавно только сбросившей убийственную блокаду, в условиях громадного материального истощения и утомления масс и долгого периода напряженных войн,—это и в настоящее время для значительного числа работников партии является далеко не решенным и не выполненным делом. И в настоящий момент в усложнившихся условиях партия вынуждена признать эту задачу боевой и одной из наитруднейших задач эпохи.

Нельзя также закрывать глаза на то, что вместе с трудностями решения этой задачи, для партии выяснились определенные опасности, связанные с ее осуществлением. Выдвигать новые тысячи и тысячи работников на посты, где возможность пользования властью легко может превращаться в использование власти, в злоупотребление властью—учитывать опасности массового и крайне быстрого выдвигания новых представителей власти, без чего, однако, революция не могла укрепляться и развиваться. Партия недаром должна была не раз заявлять, что в ее ряды входили некоторые элементы не по идейным соображениям, а по побуждениям корыстным и карьеристским. Это зло партия всегда вскрывала и не побоится вскрывать беспощадно, обнажая обнаруживающиеся язвы на своем теле. Та решительность и откровенность, с которой партия боролась с язвой карьеризма и использования партии и государственной власти для личных корыстных целей, была главной порукой того, что и эта опасность засорения и разложения партии и государственного аппарата партией, может, и будет преодолена. Одной рукой выдвигая массу новых работников, другой—партия осаживала и снимала с ответственных постов зарвавшихся и злоупотреблявших властью; примазавшимся и карьеристам с первых же месяцев революции партия об'явила открытую и беспощадную войну. Партия всегда стремилась отличить самоотверженного пролетария, понявшего свои классовые интересы и идущего в партию, как доброволец в революционную армию, находящуюся в боях со своими классовыми врагами, от мещанина и полу-обывателя, которого в партию притягивает ее политическое могущество и практическая возможность приобщиться к власти.

Другая опасность, с которой партия все время считалась очень серьезно, была и остается опасность проникновения бюрократизма в ряды партии и в органы государственного управления, руководимые партией. Партия прибегала здесь к двум основным методам борьбы с этими «болезнями» переходного времени. С одной стороны, партийные организации не останавливались перед репрессивными мерами против злоупотребляющих властью бюрокра-

тов-коммунистов, с другой,—главной обезвреживающей и исцеляющей мерой партия всегда считала обязательную широкую и всестороннюю связь коммунистов с массами. Наконец, партия не раз открывала для рабочих и трудящихся крестьян свои двери. Так называемые «партийные недели», которые назначались в самые трудные для партии моменты, когда побуждение войти в партию могло явиться только у искренних сторонников партии и революции, были одним из средств широкого вливания в партию новых элементов из революционных масс рабочих и крестьян; не-рабочие и не-крестьяне в эти «недели» в партию не принимали.

Кроме того партия не раз назначала пересмотр своего состава и, наконец, после окончания военного периода, провела генеральную чистку партии от примазавшихся, карьеристских, неустойчивых и т. п. элементов. Открытая, широкая и решительная чистка партии, стоящей у власти, небывалое явление. Однако, эта чистка и откровенное признание своих язв с одновременной жестокой борьбой с ними, не только не мешали партии, но высоко поднимали ее авторитет в трудящихся массах. Чистка партии, проходившая год тому назад, сократила партию с 685.000 до 515.000 [1]), т.-е. сократила партию на 170.000 членов и кандидатов. Но партия выиграла от этой чистки и с точки зрения своей работы, и с точки зрения авторитета и сочувствия широких рабочих и крестьянских масс.

Партия не ограничилась одной генеральной чисткой. Она приняла меры к тому, чтобы дело очищения коммунистических организаций от неустойчивых или разложившихся элементов было поставлено систематически во всей повседневной работе организаций. Для проведения этой работы были созданы в центре и в губерниях так называемые контрольные комиссии.

Эти последние избираются на губернских конференциях, а всероссийская—на партийном с'езде и являются как бы параллельными органами партийным комитетам. На них возложена, однако, специальная задача очищения партии от некоммунистических элементов и так как контрольные комиссии все свои решения проводят через партийные комитеты, то этим на деле избегается параллелизм их работы с работой партийных комитетов. В контрольные комиссии избираются товарищи с моральным авторитетом и повышенным партийным стажем; в них сосредоточиваются все дела по разбору анти-коммунистических и анти-революционных поступков, дезорганизующих и порочащих организации. Это—новая форма организации, не существующая в других коммунистических партиях, непосредственно связана с тем положением, которое наша партия занимает в государственной работе советской республики. Опыт уже показал, что дело очищения коммунистической партии от дискредитирующих ее лиц значительно облегчено и в общем успешно проводится контрольными комиссиями.

Создание контрольных комиссий относится к концу 1920 года, когда

---

[1]) **Здесь приводятся данные по всей Р. К. П., за исключением Дальнего Востока (Д. В. Р.) и Якутской области, при чем из общего количества 515 тысяч—402 тысячи членов партии, а остальные, приблизительно 113 тысяч кандидатов.**

приобрел значительную остроту вопрос о партийных «верхах» и «низах». Это разделение в партии имело громадное отрицательное значение. Оно, конечно, самым тесным образом связано с тем, что коммунистическая партия в России стоит у власти, не имея возможности быстро, теперь же улучшить материальное положение трудящихся масс. Вопрос о «верхах» и «низах» в партии связан с тем, что, с одной стороны, в верхушках государственных и, в частности, хозяйственных органов некоторые партийные и прежде всего недавно-партийные товарищи, отрывались от рабочих масс и пользовались известными возможностями привилегий, и с другой стороны,—с тем, что как беспартийные массы рабочих и крестьян, так и широкая масса рядовых членов партии находились за эти годы революции в условиях неимоверно трудной борьбы, требовавшей от них громадного напряжения и лишений и зачастую ставивших их в исключительно тяжелые условия материальной нужды. Партия признавала не раз необходимость считаться с неизбежностью в настоящий момент известной разницы в материальных условиях жизни отдельных слоев партии. Тем не менее, она принимала ряд мер к тому, чтобы свести до минимума привилегии товарищей, работающих в верхушках организаций.

На 6-ой год революции эта проблема все же не может считаться решенной. Наоборот, в новых условиях, в условиях Нэпа партия еще более серьезно должна заняться этим вопросом и, зная, что для масс выход из трудностей материального положения в основном связан с восстановлением хозяйственной жизни страны, с ростом производительных сил советской республики, партия тем не менее принимает и должна принимать меры к срезыванию привилегий, окладов и т. п. у работников, занимающих более ответственные и высшие посты. Это необходимо теперь и для того, чтобы из этих срезываний и отчислений создавать хотя бы минимальный фонд для улучшения положения наиболее нуждающихся коммунистов. Злоупотребляющих привилегиями в тех или иных учреждениях коммунистов партия по-прежнему должна снимать с постов и в необходимых случаях удалять из своих рядов. Это и проводится теперь контрольными комиссиями. Теперь, после окончания героического периода гражданской войны, в условиях, так сказать, революционных будней, когда усилились опасности разлагающих влияний, партия должна обратить особенное внимание на партийную выдержанность и коммунистическое отношение к своим обязанностям со стороны товарищей, руководящих той или другой работой. Для этого, подведя итоги чистки, партия приняла некоторые специальные решения.

Учитывая трудности переходной эпохи, партия решила принять особые предосторожности против пополнения ее новыми неустойчивыми или мало испытанными элементами. Поэтому специальным решением последнего партийного с'езда были введены суровые правила приема новых кандидатов и членов партии. Кроме того по отношению к руководящим работникам в партийном аппарате пред'является в настоящее время ряд требований, дающих известную гарантию партийной выдержанности и политической воспитанности. Здесь мы имеем в виду установление минимального партийного

стажа для секретарей губкомов (5 лет), укомов (3 года) и ячеек (1 год). Несмотря на трудности проведения этого решения, оно настойчиво осуществляется партийными комитетами на деле. Но в настоящее время в условиях Нэпа не приходится закрывать глаз на новые, разлагающие партию, влияния.

Вместе с созданием более спокойной обстановки работы и вместе с одновременным частичным возрождением капитализма, возникает опасность новой «болезни» среди членов партии, в особенности в крестьянской и уездно-обывательской среде. Эта опасность заключается в том, что и среди коммунистов усиливается стремление к укреплению своего хозяйства, к приобретению какой-либо «недвижимости», одним словом к превращению в настоящего хозяйчика.

Эта опасность превращения части крестьян-коммунистов в крепких хозяйчиков, это так называемое «хозяйственное обростание» крестьянских и уездных коммунистов требует тем большего внимания партии, что число коммунистов-рабочих в партии составляет не полную половину (44,4%) всего количества членов партии, а рабочих-коммунистов, занятых непосредственно в производстве, только небольшая часть общего количества рабочих—членов партии. Так, по Петрограду перепись коммунистов в январе 1922 года показала, что у станка находится только 1.973 рабочих-коммунистов, т.-е. 11,6% общего числа переписанных членов партии в Петрограде (переписано 17.000). По Москве из общего количества переписанных членов партии в 25.491 ч. у станка находится 2.269 коммунистов, т.-е. всего 8,9% общего количества. По отношению к партии в целом, это соотношение будет, конечно, еще менее выгодным для работающих непосредственно у станка коммунистов. Нельзя не признать, что такое положение для партии является крайне серьезным в политическом отношении. Сила партии заключается, однако, в том, что на трудности своего положения она смотрит совершенно открыто и неутомимо изыскивает способы борьбы с этими трудностями и «болезнями», проникающими в ее ряды. Связь с массами всегда остается у нашей партии первостепенной задачей. Методам и формам связи с массами трудящихся партия всегда уделяла большое внимание, используя всякие возможности и способы.

В последние годы партия проделала колоссальную работу по укреплению и развитию постоянной своей связи с массами. Бесчисленное количество митингов и собраний различного рода в городах, деревнях, в армии, среди молодежи, среди женщин, среди различных национальных групп были в первый период главными средствами связи с этими массами. Но дальнейший опыт указал ряд новых приемов в этой области. Беспартийные конференции и субботники, привлечение на собрания ячеек, устройство кружков, клубы, школы, делегатские собрания, организация различных экономических кампаний,— все это проводилось с привлечением внимания и непосредственным живым участием беспартийных масс. Партия в самые трудные и напряженные моменты хозяйственного кризиса, нападения врагов, закрытия заводов из-за отсутствия топлива, сбора хлеба в деревне являлась к массам со своей агита-

цией, устной и письменной, с раз'яснением создавшегося положения и выхода из него. И трудящиеся массы привыкли видеть в коммунистах своих руководителей, вместе с ними переживающих трудности и опасности борьбы за рабочую диктатуру, перекосящих все тяжести и удары многочисленных врагов из лагеря издыхающего капитала.

Однако между партией большевиков, которая была до октябрьской революции, и партией, сложившейся в течение последних лет, после октябрьской победы, имеется существенная разница.

Прежде всего, численность партии. На апрельской всероссийской партийной конференции 1917 года было представлено приблизительно 80 тысяч членов партии. В августе того же года, перед октябрьским переворотом, на партийном с'езде было представлено 176 тысяч. К марту 1919 года на 8 партийном с'езде было представлено 314 тысяч. К 9-му с'езду это число возросло до 612 тысяч; к 10-му с'езду превысило 700 тысяч и, наконец, после чистки, в партии осталось 515 тысяч (из них членов—402 тысячи). Всем хорошо известен быстрый рост нашей партии за время революции. На этом мы не будем останавливаться подробнее,—приведем только данные о социальном составе членов партии. По переписи начала 1922 года в партии из общего числа 386.588 прошедших перепись:

рабочих	171.681,	т.-е. 44,4%
крестьян	103.005	„ 26,7%
служащих	85.950	„ 22,2%
остальных	25.952	„ 6,7%

Надо при этом учесть, что партийные организации возникли во всех районах и областях колоссальной страны, имеющей самый разнообразный бытовой и национальный уклад. Естественно, что партийные организации Петрограда и Москвы во многом отличаются от организаций Киргизии, Туркестана или, напр., Алтайской губернии. Различный классовый состав, различие в национальном отношении в данном случае тесно связаны с партийной подготовкой и политическим уровнем партийной массы. Все это партия должна была учитывать в своей организационной и политической работе.

Но особое значение имеет то, что в партию за время революции влилось много тысяч членов других партий. Целые партии, как партия интернационалистов, коммунистического бунда, революционных коммунистов, а на Украйне ряд других социалистических и коммунистических группировок, входили целыми организациями в ряды Р. К. П. Правда, при всероссийской чистке из рядов Р. К. П. было удалено 6.069 чел., ранее состоявших в других политических организациях. Но и после чистки в ее рядах осталось 22½ тысячи членов, принадлежавших ранее к другим политическим партиям. Это составляет 5,8% всего теперешнего количества членов партии. Почти половина этого количества—бывшие меньшевики и бундовцы, а значительная часть остальных—бывшие социалисты-революционеры различных оттенков. Составляя как бы совсем небольшую часть нашей партии, эта группа, вышедшая из рядов в большинстве случаев мелко-буржуазных партий, нередко влиятельна

в силу того политического опыта, который имеется у нее в результате прошлой политической работы. Необходимо поэтому учесть при оценке положения нашей партии и роль этих новых членов партии, которые нередко только в процессе работы в Р. К. П. окончательно изживают пережитки и остатки мелко-буржуазных уклонов. Партия, по понятным причинам, всегда считалась с этим.

Но не только в этом указанном выше отношении партия большевиков изменилась за время революции.

Как уже было сказано раньше, все эти пять лет партия условиями развития революции вынуждена была приспособлять всю свою работу и всю организацию к новому государственному строительству. Обратно,—это не могло не отражаться на самой партии. Если старые члены партии, прошедшие через все трудности и опасности революционной борьбы этих пяти слишним лет вышли на шестой год в большей своей части обогащенные громадным политическим опытом; если старые большевики, активно участвовавшие в революционном строительстве, имели возможность подойти к событиям предшествовавшей эпохи и к перспективам революции с марксистским критерием, с исторической оценкой прошлого и задач будущего,—то в другом положении находились молодые члены партии, прошедшие в громадном своем большинстве только школу практической работы без соответствующей идейной подготовки. Эти последние зачастую при этом быстро прошли кверху различные ступени руководящей работы, и далеко не всегда здесь можно встретить не только глубокую оценку событий, но и правильную оценку своих сил. В настоящий момент в нашей партии только 2,7% товарищей с дореволюционным стажем, и только 11.8% с дооктябрьским стажем, следовательно чуть не $^{9}/_{10}$ членов партии прошли только практическую школу революции, школу непосредственной революционной борьбы. Иначе быть не могло. Партия была обращена лицом к практической советской работе (в том числе громадную роль играло участие в работе и борьбе Красной армии). Десятки тысяч наиболее активных ее членов, в том числе передовиков-рабочих, были поглощены работой государственного строительства. Лучшие силы партии в громадном своем большинстве были заняты этой работой. Для партии это имело колоссальное практическое значение, но это связано одновременно с существенным недостатком и даже известной опасностью обратного влияния государственного аппарата на партию.

Между тем, только остаток партийных сил был занят непосредственно партийной работой, что, конечно, ни в какой мере не могло удовлетворить потребностей этой работы. В особенности это отразилось на партийно-воспитательной работе. Партия выполняла громадную работу по руководству государственным аппаратом, достигши в этом несомненно крупных результатов. Но одновременно с этим партия отставала, не удовлетворяла, оставляла большие пробелы в самой партийной работе. Партийная работа, как таковая, как в смысле глубокого влияния партии на массы, так и в смысле внутри-воспитательной работы, отстала от развернувшейся огромной работы партии по управлению страной. На шестой год пролетар-

ской революции мы не боимся признать это,—наоборот, мы отчетливо и резко указываем на этот недочет. Мы признаем, что партийная работа за последние годы получила некоторую однобокость в сторону направления главного внимания на вопросы управления,—для того мы подчеркиваем это, чтобы теперь со всей определенностью выдвинуть в партийной работе два основных и постоянных элемента партийной работы: развертывание глубокой систематической работы в массах и всестороннее усиление партийно-воспитательной работы, т.-е. поднятие политического уровня партийной массы. Революция дает нам в настоящий момент эти возможности. Воспользуемся же «передышкой»,—развернем партийную работу вширь и вглубь!

Партийный аппарат теперь достаточно сложился и окреп. Партия проникла во все уголки; в каждом сколько-нибудь крупном населенном пункте имеется партийное ядро. У нас теперь свыше 32 тысяч партийных ячеек, из которых больше половины в селах и деревнях. Конечно, того, что есть, нам все-таки не достаточно. Мы будем упорно и много работать над расширением сети нашей партийной работы. За прошлый период революции мы уже сумели применять методы как бы партийной коммунистической колонизации тех районов, где наше влияние было недостаточно. В течение всех этих лет партия перебрасывала и будет дальше перебрасывать партийные силы туда, где они особенно нужны и где их не хватает. Правда, мы знаем, что теперь партийная организация представляет из себя могучий и гибкий организационный аппарат, привыкший работать достаточно быстро и энергично. Но надо признать, он требует значительного качественного улучшения для того, чтобы справиться с новыми задачами работы.

В области развертывания работы вширь, в деле углубления агитации в массах, мы, к сожалению, сделали за последнее время далеко недостаточно. Чувствуется известная тяжеловатость в переходе партийных организаций на новые рельсы партработы. От прошлого укрепилась привычка к энергичным методам, дающим немедленные эффекты, умение быстро распространить лозунг, собрать голоса, получить немедленную поддержку на собрании, на выборах, на демонстрации, на проведении мобилизаций, кампаний и т. п. Теперь эти методы работы слишком недостаточны и прямо поверхностны,—нужна другая, более глубокая связь с массами. Необходима систематическая работа и всестороннее раз'яснение беспартийным массам рабочих и крестьян задач партии и революции, форм и методов борьбы, привлечение их внимания к серьезному изучению наук и получению настоящих знаний.

Мало того: теперь для правильной постановки агитации недостаточна прежняя работа агитаторов, распространение газет и другой литературы. Надо восстановить, оживить и развернуть агитационную работу и в тех формах, в каких партия вела ее до революции и в первый период революции и которые за последние годы несколько ушли на задний план.

Тогда в агитацию среди масс втянуты были все члены партии. В дореволюционное время на заводе рабочи-большевик заботился о том, чтобы его сосед по станку—беспартийный рабочий, выписал «Правду», он содействовал тогда и тому, чтобы вокруг чтеца рабочей газеты собирались более широкие

группки слушателей-рабочих. Возьмем другой пример. Кто не помнит, как в период керенщины, улицы были покрыты роями людей жужжащих в политической полемике, где рядовой рабочий-большевик защищал партию и ее вождя Ленина от гнусных нападок обывательской толпы. Рядовой матрос-большевик в самые опасные для партии моменты, моменты разгула контрреволюционной агитации белогвардейской сволочи в Петрограде, появлялся из Кронштадта с тем, чтобы в кучках агитируемых белогвардейцами обывателей на улице смело искать себе союзников из трудящихся в защите партии и пролетарской революции.

Эти методы агитации в массах, доступные в своем разнообразии и простоте для каждого сознательного рабочего в повседневной его обстановке, при встречах с рабочими и во время работы, теперь отчасти забыты и заброшены, отчасти кажутся непонятными и несущественными. Необходима решительная борьба с таким непониманием и раз'яснение того, что повседневная широкая агитация может и должна вестись каждым рабочим, преданным партии, что только при этом условии наша партия будет вливать в свои ряды новые притоки групп рабочих от станка, от машины, куда будет проникать наша агитация, при помощи рядовых членов партии—рабочих. Это—одна из важнейших партийных задач настоящей эпохи.

Другая важнейшая задача—поднятие внутри-партийной воспитательной работы, постановка партийной пропаганды. Вряд ли нужно говорить о значении и важности этой работы в настоящее время. Партия неоднократно указывала на это особенно в последние месяцы. В этом направлении мы уже сделали немало шагов вперед. Надо только скорее сознать, что в этой работе нельзя достичь прочных результатов в короткое время, работая с наскока. К сожалению, рост количества кружков различного типа и, в частности, марксистских кружков, вовсе еще не показывает достаточно серьезного отношения к этому делу. 95 марксистских кружков, имевшихся к концу октября в Москве, вряд ли полностью оправдают присвоенное им название Даже в Москве перебросить на пропагандистскую работу большое количество партийных сил до сих пор не удается, а потому марксистские кружки нередко остаются лишь по названию кружками по изучению марксизма,—за недостатком пропагандистских сил, они нередко являются обыкновенными политическими кружками. Нужно приложить еще много и много сил и серьезного внимания к тому, чтобы дело партийного воспитания развернулось достаточно широко и приняло серьезную постановку. Однако, эту задачу партия уже сознала, поэтому улучшение в этой области дело ближайшего будущего.

Теперь, когда позади нас стоит 5 лет пролетарской революции, когда партия наша в огромном своем большинстве состоит из новых элементов, когда перед партией возникают все более сложные и разнообразные задачи внутреннего строительства,—подготовка партийных сил должна принять широкий развернутый характер. Кадр старых партийных работников по отношению ко всей партии в настоящее время составляет, как мы видели, слишком незначительный процент. Но роль этого основного партийного кадра из-

меряется далеко не процентным отношением его к общему числу членов партии. Старые партийцы являются ядром партии, осью, которую обрастает партийная масса. Но нельзя не помнить и о том, что революция воспитала тысячи и тысячи новых работников, так сказать, новое поколение партийных работников («новое поколение»,—не в смысле возраста, а в партийном отношении). Надо отчетливо представить себе, что если идейный багаж партии находится в руках старых партийных кадров, то практический багаж и практическое строительство в громадной своей части лежит уже теперь на плечах новых членов партии, вошедших в нее в процессе революции. Революция показала примеры того, как иногда старые партийцы оказывались не вполне приспособленными к условиям и требованиям новой революционной работы. Но гораздо больше примеров тому, как сравнительно молодые члены партии,—представители нового партийного поколения, выполняли ответственнейшие поручения партии и революционной власти.

Последнее решение партийного с'езда и предшествовавшей ему декабрьской конференции 1921 года подчеркнули особенное значение старых и вообще более испытанных членов партии. И это совершенно верно и крайне важно для всего ближайшего периода революции и для всей работы партии в новых условиях. Об этом мы говорили выше. Но на 6-ой год революции нужно учесть и то, что при недостатке кадра старых партийцев, в практической работе партия неизбежно будет опираться фактически, в громадном большинстве случаев, на коммунистов революционной полосы. Мы прекрасно знаем, с какими недостатками это сопряжено, но надо ясно представить себе, что через них партия уже проводит значительную часть своей работы. Следовательно, надо правильно учесть, что партия может вести свою работу в настоящее время, в различных отраслях строительства, в значительной мере через работников этого нового партийного поколения, имеющего свои недостатки, но и свои достоинства, слабо проникнутого традициями прошлого, но получившего толчок к размаху в работе. Не говоря уже о работе государственных советских учреждений, в самих партийных организациях новое партийное поколение составляет громадное большинство работников партии в низах. Нужно поэтому поставить своей задачей: суметь работать с испытанной партийкой выдержкой и революционной твердостью через эти новые кадры партии. Как бы мы ни хотели опереться на кадры старых партийцев во всех организациях партии, преобладающую массу работников будут неизбежно составлять работники последней революционной полосы. Нужно суметь работать с ними и через них, воспитывая их в партийном смысле достаточно серьезно, как бы это ни было трудно. Необходимо, конечно, проводить в жизнь постановления о направлении в низы, к станку, к массам старых партийцев, в частности партийцев-рабочих. Но опыт показал, что эта передвижка с ответственной работы в низы, в частности, на партийную работу ограничивается все-таки небольшим количеством членов партии и вряд ли может быть иначе и в будущем. Жалеть об этом бесполезно,—надо понять, что условия партийной работы, самый состав партии, задачи партии, настолько изменились по прошествии пяти лет пребывания нашей партии у

власти, что теперь нужно смотреть не столько назад, за черту 17-го года, сколько вглубь событий прошедшей революционной полосы и в будущее революции и партии.

Партия теперь сосредоточивает свое внимание в значительной мере на партийно-воспитательной работе. В этой работе партия вырастает вместе с поднятием общего политического уровня в партийных массах, а вместе с поднятием этого уровня будут воспитываться и подниматься новые и новые кадры работников партии. Мы уже сказали, что партия в настоящее время значительную часть своей работы проделывает, так сказать, руками этого нового поколения. Мы должны сказать дальше, что теперь партия будет расти именно и прежде всего в лице лучшей части этого поколения. Далеко не все в этом поколении прочно, устойчиво и надежно. Немало еще из этих рядов в процессе революции выйдет элементов, изуродованных быстротой своих успехов, случайных временных побед и непрочной удачи карьеры. Плохое, гнилое будет отметено самой революцией при активном вмешательстве партии. Но поднять и широко развернуть работу, проделать громадную работу пересоздания государства и гигантского строительства, коммунистическая партия сможет только через это новое поколение, только поднявшись на плечи новых и новых кадров партии...

Успехи биологии в Советской России за последние пять лет (1917—1922).

Проф. А. Немилов.

Для страны, охваченной процессом революционного разрушения и творчества, пять лет—огромный промежуток времени. Для развития же науки, которая имеет свой собственный импульс к движению и идет вперед по своим собственным путям, пять лет это—очень мало. Сколько-нибудь крупная научная работа вынашивается часто несколько пятилетий под-ряд, прежде чем будет опубликована во всеобщее сведение, и требуется подчас 10, 15 и более лет, чтоб произвести такое экспериментальное исследование, которое оставляет заметный след в науке.

Крупные научные открытия, «делающие», по выражению немцев, «эпоху», являются сюрпризом и валятся, как снег на голову, только тем, кто не следит внимательно за развитием данной науки. Всегда, всякое эффектное научное завоевание подготовлено предыдущими исследованиями, исследованиями кропотливыми, совершающимися годами в тиши научных институтов и кабинетов; исследованиями, на первый взгляд скучными, далекими от жизни и раздражающими людей обывательского склада тем, что они непосредственно для жизни ничего не дают. Но проходят годы и годы, этот подготовленный материал все накапливается и расширяется, и, наконец, исходя уже из него, удается сделать и такой шаг вперед, который сразу привлекает внимание всех и своей понятностью и полезностью.

При подведении итогов развития науки за известный период с этим приходится очень и очень считаться, чтобы не впасть в ошибку, и чем меньше промежуток времени, тем труднее произвести учет «научного урожая». Бесспорно, часть работ, вышедших за последние годы, была начата значительно ранее отчетного периода и должна быть отнесена к прошлому урожаю, но зато за истекшее пятилетие и начато много исследований, которые еще не принесли своих плодов и будут приурочены к следующим юбилейным датам; многое сделано для организации науки, и это пока тоже не может найти себе отражение в отчете; возникло огромное множество новых научных учреждений, среди которых, на-ряду с никчемными и несерьезными, есть и чрезвычайно ценные и в высшей степени важные; в них вложено колоссальное количество труда, который еще не успел дать плодов, так как большинство этих

учреждений еще не вышло из самой трудной и неблагодарной стадии организации и закладывания фундамента; эта организационная работа, чрезвычайно важная для развития науки, тоже сейчас еще не может быть учтена, но, при общей оценке успехов биологии за истекшее пятилетие, это необходимо принять во внимание. Далее, не мало сделано за последние годы в смысле вовлечения широких масс населения в сферу научных интересов; можно расходиться во мнениях, насчет того, *как* и *какою ценою* это проводилось, можно придерживаться того взгляда, что все это можно было сделать иначе и лучше, но нельзя отрицать, что в итоге—а это то и важно—с наукой соприкоснулись новые, более обширные слои населения, которые должны дать новые кадры научных работников; это—тоже «посев», который не успел еще дать урожая; а между тем, самый факт, что из большой массы привлеченной в высшие учебные заведения молодежи непременно известный процент осядет в лабораториях и будет работать над разными биологическими проблемами, самая возможность выбирать себе учеников из *большого* количества студентов, хотя бы подчас и сильно хромающих по части алгебры и физики, это—тоже успех науки, который только не может сразу проявиться в ощутимой и ясной для всех форме.

Если принять все это во внимание, то помещаемый нами ниже беглый обзор того, что сделано более важного русскими биологами за последние годы, не должен внушить читателям пессимистического взгляда на современное положение науки, а скорее, наоборот, должен влить в них бодрость и уверенность в завтрашнем дне.

Еще менее оснований для пессимизма у нас будет, если мы сравним то, что сделано у нас за последние пять лет, с работой биологов в других культурных странах. Правда, количественный перевес (в смысле числа напечатанных трудов) там огромный; научные журналы, чистенькие и прекрасно отпечатанные, продолжают там выходить с регулярностью, которая не скоро еще будет для нас доступна, но никаких особо крупных шагов и там не сделано и *качественная* сторона работ стоит не выше, а, пожалуй, если говорить об общем типе работ, то и ниже, чем в Советской России.

У нас, как мне представляется, вышло количественно мало работ, но зато значительная часть их отличается яркостью, резко выраженной научной индивидуальностью и большим научным дерзновением. За границей же вышло *много* исследований, «аккуратных» и добросовестных, но, в значительной своей массе, лишенных той «искорки», той «изюминки» (употребляя Толстовское выражение), которая ценна в научной работе не в меньшей степени, чем в отдельном человеке. Особенно приходится сказать это про большинство американских исследований (я не говорю об исключениях): они, именно, в массе своей, поражают шаблонностью и ученичеством, и даже внешне, в манере изложения, в характере расположения материала по одному общему для каждого журнала плану, как-то стерты все черты индивидуальности и на всем лежит какой-то отпечаток машинности и штампа.

Что это мое впечатление не суб'ективное, видно из того, что проф. В. И. Исаев, в своей статье: «Новости заграничной биологической литературы

(1913—1920 г.)» («Природа» № 7—9. 1921 г.). в сущности приходит к такому же выводу. Говоря об общем своем впечатлении об иностранной (главным образом, немецкой) биологической литературе, он пишет: «Решительно во всех областях наука шагнула далеко вперед, но эти ее шаги не выходят из рамок обычного темпа научной мысли. Появилось много новых интересных теоретических сочинений, углубляющих наше понимание крупнейших проблем современной биологии—эволюции, наследственности и пола, произведено множество интереснейших опытов и наблюдений, описан целый ряд новых фактов и форм, но во всех этих областях продолжали работать и русские ученые. Поэтому новая биологическая литература и не произвела на русских ученых впечатления голоса из другого мира, и нельзя сказать, что в настоящее время русским биологам нужно «переучиваться» для того, чтобы понимать последние достижения науки.

В беглой журнальной. да еще «юбилейной» статье невозможно обойтись без пропусков и пробелов, нельзя охватить всего. то было сделано в разных, столь пока еще плохо связанных между собой научных центрах, и приходится ограничиваться только главным. существенным. тем, что более всего обращает на себя внимание.

Прежде всего, приходится отметить те крупные успехи, которые сделаны русской биологией в деле изучения изменчивости живой природы. В этом отношении первое место занимают исследования сравнительно молодого еще ученого, профессора *Н. И. Вавилова*. В своем докладе на 3-ем Всероссийском Селекционном с'езде в Саратове в 1920 году, и затем в ряде последующих работ, например, в вышедшей недавно (апрель 1922 г.) на английском языке статье: «The Law of Homologous series in variation» («Journal of Genetics», Vol. XII, № 1), он установил так наз. *закон гомологических рядов* в наследственной изменчивости. Установление закономерности там, где прежде видели хаотическое нагромождение фактов, является крупным завоеванием в науке, особенно, если закон дает возможность предсказывать и будущее и намечает те пути, по которым искать новое. Чтобы сущность закона, открытого *Н. И. Вавиловым*, стала понятна читателю, необходимо указать на то, что чем больше ботаники изучали растительный мир, тем все более и более развертывалось перед ними поразительное многообразие растительных форм, которое уже давно заставляло ученых искать путей систематизации всего этого, не охватываемого уже человеческим умом, материала. Достаточно сказать, что одних только высших семянных растений, включая и хвойные, насчитывают 132.788 видов, или линнеонов, как теперь выражаются. Но каждый такой линнеон носит сборный характер и состоит из очень большого количества жорданонов (попрежнему, рас и разновидностей). Так, на основании исследований в лаборатории Вавилова, нужно думать, что существует не менее 3.000 жорданонов (разновидностей) среди одного только линнеона (вида) мягкой пшеницы — Triticum vulgare Vill. Искусственная гибридизация еще более увеличивает разнообразие растительных форм. Из десятка различий в гибридных комбинациях слагаются тысячи различных наследственных форм.

Изучая подробно расовый состав растительного мира, *Н. И. Вавилов* подметил в этом бесконечном многообразии форм известную закономерность, а именно, что ряды морфологических и физиологических свойств, характеризующих разновидности и расы у близких генетически линнеонов (т.-е. видов), обнаруживают удивительный параллелизм или даже тождество. Так, например, видов культурных пшениц насчитывается 8, которые и группируются систематиками в 3 генетические группы.

Возьмем Triticum vulgare—мягкую пшеницу, насчитывающую множество разновидностей и рас; они различаются следующими признаками: 1) остистые, безостные, полуостистые; 2) белоколосые, красноколосые, сероколосые и черноколосые; 3) с опущенным колосом, с гладким колосом; 4) белозерные, красноозерные; 5) озимые, яровые и т. д. Если мы сравним теперь ближайшие к мягкой пшенице виды: Triticum compactum, Tr. spelta и Tr. dicoccum, то мы здесь найдем полное тождество всех разновидностных признаков. Варьетет мягких пшениц точно повторяется во всех 4 видах первой группы пшениц.

В видах второй генетической группы пшениц: Trit. durum, Tr. polonicum и Tr. turgidum опять повторяются в разновидностях те же признаки, как в первой группе; неизвестны только безостые формы, но бывают остистые и полуостистые.

Третья группа культурных пшениц, заключающая всего один линнеон Triticum monococcum, повторяет по своему разновидностному составу вторую группу.

Мало того, сравнивая расовый состав у ближайших *родов*, *Н. И. Вавилов* нашел и здесь такие же ряды наследственной изменчивости. Так, оказалось, например, что состав признаков, различающих формы ржи, оказался до деталей тождественным расам и разновидностям пшеницы.

Далее, изучение большого числа родов в пределах отдельных *семейств* дало возможность установить, что и целые семейства растений, в общем, характеризуются определенным циклом изменчивости, проходящим через все роды, составляющих данное семейство. В самых различных семействах обнаруживается как бы склонность кристаллизоваться в определенные системы и классы, аналогично тому, что мы знаем из кристаллографии для химических соединений.

Основываясь на этой повторности форм изменчивости, *Н. Вавилов* предсказал несколько новых растительных форм, которые вскоре и были действительно, найдены.

Как на это указывает и сам *Вавилов*, несомненно, тождество рядов изменчивости в пределах линнеонов и родов проявляется и в животном мире, и некоторые попытки распространить этот закон гомологических родов и на животных уже были сделаны у нас в последние годы.

«Разнообразные выше закономерности», говорит *Н. И. Вавилов*, «можно сравнить с гомологическими рядами органической химии, с рядами предельных и непредельных углеводородов. Эти соединения, отличаясь друг от друга, характеризуются многими общими свойствами в смысле химической измен-

чивости, определенными циклами соединений, определенными реакциями обмена и сложения. И, в общем, каждый углеводород дает тождественный ряд соединений. Между отдельными углеводородами могут быть бо́льшие или меньшие различия в циклах изменчивости.

В сущности то же самое обнаруживают в своем полиморфизме роды и виды у растений. Близкие генетические линнеоны в полиморфизме соответствуют гомологам в пределах одного типа, давая полные тождественные ряды форм. Роды и семейства соответствуют разным гомологическим рядам углеводородов, более или менее близким или отдаленным».

Таким же стремлением свести многообразие живой природы к закономерной повторяемости, понять и истолковать явление изменчивости, проникнута и работа *Л. С. Берга:* «Номогенез или эволюция на основе закономерностей» (Петербург. Госиздат. 1922), вызвавшая очень много разговоров среди биологов. Сущность труда проф. *Л. С. Берга* сводится к тому, что он пытается построить новую схему развития организмов не на основе случайных вариаций, как у *Дарвина*, а на основе закономерностей. Но в то время как *Н. И. Вавилов* действительно нашел одну такую закономерность и на основании ее предсказал и открыл новые растительные формы (подобно тому как на основе Менделеевского закона были предсказаны и затем найдены новые химические элементы), проф. *Л. С. Берг* только улавливает намеки на подобные закономерности в живой природе, но ни одной из них он точно и строго не формулирует. Захватывая тему чрезвычайно широко, *Л. С. Берг* разрабатывает ее более умозрительным путем, опираясь не на собственные исследования, а на свою действительно глубокую эрудицию в разных областях биологии. Можно во многом не соглашаться с проф. *Бергом*, но нельзя не признать всю ценность особенно критической части его труда. Если не все, то, во всяком случае, многие его взгляды дадут толчек к новым работам по изучению эволюции живой природы. Нет, конечно, ни малейшей возможности познакомить читателя сколько-нибудь обстоятельно с интересными взглядами автора, ни тем более с кропотливо собранными фактами, приводимыми им в пользу своих воззрений. Укажем только, что проф. *Берг* подвергает резкой критике теорию борьбы за существование и отбора и отбрасывает их как факторы прогресса органического мира. Борьба за существование, по его мнению, фактор консервативный: она не выбирает наиболее уклоняющиеся особи, уничтожая все остальное, а, напротив, охраняет норму и уменьшает изменчивость. Эволюция идет вовсе не путем трансмутации отдельных особей, а путем преобразования всего наличного состава особей или, во всяком случае, значительной части их. Эволюция носит, по *Бергу*, массовой характер, а вовсе не совершается на основе отдельных, случайно благоприятных отклонений. Организмы развились из многих тысяч первичных форм и дальше развивались преимущественно конвергентно (частью дивергентно), и не путем медленных, едва заметных, беспрерывных изменений, а скачками, пароксизмами, мутационно, в силу чего виды и резко отграничены один от другого. Эволюция, в значительной степени, есть развертывание уже существующих задатков.

В области *генетики*, или учения о наследственности, столь усиленно разрабатываемой на Западе и в Америке, кое-что интересного сделано и у нас. В Москве, в генетическом отделе *Института Экспериментальной Биологии* успешно разрабатывается вопрос о наследственных химических свойствах крови у человека и животных. По характеру гемагглютининов, удалось установить среди людей четыре наследственных группы и начать изучение закономерности в наследственной передаче свойств крови. Такие же группы удалось установить и для морских свинок по содержанию в их крови особого фермента. Разрабатывается широкий план генетического обследования человека и по ряду других химических свойств крови. На-ряду с этим ведется и морфологическое изучение процессов деления в половых клетках животных и изыскиваются пути для такого экспериментального воздействия на половую плазму, которое дало бы в результате мутационное изменение организма.

Как одна из отраслей генетики, стала развиваться у нас и *евгеника*, т.-е. наука «о хорошем рождении», которая изучает все те влияния, которыми могут быть улучшены врожденные качества будущих поколений. В Петрограде при Кепсе (комиссии по изучению естественных и производительных сил России) организовано *Бюро по евгенике*, имеющее задачей собирание и разработку сведений по вопросам наследственности у человека. Заведующим означенным Бюро проф. *Ю. А. Филипченко* была организована довольно интересная анкета по наследственности среди клиентов Петроградского Дома Ученых. Хотя на эту анкету откликнулось, к сожалению, только 15% общего числа петроградских ученых, тем не менее и это все-таки позволяет дать, с известной приближенностью, генетическую оценку петроградского ученого мира. Вывод, к которому приходит организатор анкеты, довольно пессимистический. «Петербургские ученые», пишет он, «это—популяция особей, состоящая на половину из не чисто-русских элементов, большинство членов которой не переживает 60-летнего возраста и размножается крайне ослабленным темпом (около трети женатых бездетны, а среднее число детей для всех женатых не выше 2), при чем как среди членов этой популяции, так и среди их ближайших предков распространены достаточно сильно такие тяжелые страдания, как туберкулез, душевные болезни и алкоголизм».

В Москве при Институте Экспериментальной Биологии основано в октябре 1920 г. *Русское евгеническое общество*, устраивающее довольно регулярно заседания, на которых был прочитан ряд интересных докладов, как-то: *Н. К. Кольцов*: «О наследственности свойств крови у человека», *В. В. Бунак*: «Война и евгеника», *Л. С. Минор*: «О наследственности болезненного дрожания головы (tremor'a), *Т. И. Юдин*: «Наследственность душевных болезней по современным представлениям» и многие другие. Общество наметило себе обширный план работы и отчасти уже приступило к его осуществлению. Кроме изучения фено- и генотипической изменчивости мягких частей лица и волос, оно разрабатывает схемы для графического изображения форм наследования, собирает материал по наследственности по русским семейным хроникам, обследует с генетической точки зрения родословные писателей, музыкантов и

других выдающихся деятелей и собирает литературный материал по вопросу о значении биологических факторов в истории.

* * *

В области модного теперь и усиленно разрабатываемого за границей *учения о внутренней секреции* и у нас, за истекшее пятилетие, несмотря на все трудности постановки экспериментальных исследований, все же сделано не мало интересного. После того как американскому исследователю профессору *Аллену* (1917) удалось, путем вырезания щитовидной железы у головастиков, задержать превращение их в лягушек и получить таким образом гигантских головастиков с почти зрелыми половыми клетками, проф. *Н. К. Кольцову*, совместно с *В. Бурдаковым*, удалось решить «загадку аксолотля», над которой не мало ломали голову прежние исследователи. Столь популярный среди аквариумистов-любителей аксолотль, как известно, представляет собою личиночную форму земноводного—амблистомы и относится к этой последней так же, как головастик к лягушке. Но, в отличие от головастиков лягушки, аксолотль достигает половой зрелости в личиночном состоянии, которое и сохраняет всю жизнь. Несколько раз удавалось, правда, переводить искусственно аксолотля в амблистому, но то это удавалось, то не удавалось, и что в данном случае играет роль, так и оставалось неизвестным. Исходя из тех соображений, что в процессе превращения личинок в зрелую форму, повидимому, играет большую роль внутренняя секреция щитовидной железы, *Н. К. Кольцов* совместно с *В. Бурдаковым* стали кормить аксолотлей тиреоидином, т.-е. препаратом, добываемым из щитовидных желез животных и содержащим их действующее начало. Уже спустя немного дней после начала кормления, обнаружились признаки метаморфоза: жабры укоротились, плавник исчез, изменилась окраска, возникли веки и сформировавшаяся амблистома вышла из воды, потеряв во время превращения свыше 30% веса.

С другой стороны, проф. *Б. Завадовскому* (1921) удалось гормонами щитовидной железы вызвать у кур изменение окраски перьев и даже явление старческого истощения. Прибавляя к корму порции бычьей щитовидной железы, *Б. Завадовский* вызывал у черных кур и, в том числе, у черных чистопородных лэнгшанов обильное появление белых перьев взамен выпадающих черных; всякий раз, как он кормил кур большими порциями щитовидной железы, вырастали белые перья; когда он прекращал кормление—росли черные перья разной густоты и окраски. Таким образом удавалось получать перья, окрашенные вверху в белые, а внизу в черные цвета и обратно. При отравлении молодого петушка большими порциями ткани бычьей щитовидной железы, *Б. Завадовский* обнаружил, кроме побеления перьев, и многие другие признаки старения—функциональное недоразвитие вторично-половых признаков, сморщенный гребень, ссохшуюся кожу и жесткое тощее место.

Эти интересные опыты служат лучшим подтверждением мыслей, высказывавшихся уже давно (например, Horsley и Vermehren, *Лоран)*, что в меха-

низме старения организма нарушение функции щитовидной железы и других органов с внутренней секрецией играет далеко не последнюю роль. *Б. Завадовский* тоже, на основании своих исследований, примыкает в значительной степени к взглядам *Лорана* и других авторов, внося в них, однако, некоторые поправки. «Ясно», говорит он, «что наш организм находится под постоянными ударами внутренних химических реагентов. Полное благосостояние его устанавливается лишь тогда, когда все эти гормоны поступают в тело в идеально точной дозировке и идеально точно уравновешивают друг друга. Естественно, что такое состояние полного равновесия в организме немыслимо, поскольку последний подвергается ряду воздействий извне и изнутри... Если это так, то вся наша система находится в состоянии непрерывных колебаний вокруг идеальной точки гармонического равновесия, которая так и остается практически недостижимой для живого организма, не находящегося в состоянии анабиоза. Результат этот ясен: он выражается в том ряде незаметных, но непрерывных нарушений и расшатываний в нашей живой машине, которые, постепенно накопляясь и суммируясь, дают в конце концов ту картину изменений, которую мы называем старостью. Старость есть, при таком воззрении, естественное следствие жизни клеток и их взаимодействия друг с другом через посредство гормонов и других продуктов их обмена».

Очень важные результаты в области изучения *внутренней секреции половых органов* дали исследования *М. Завадовского* (брата упомянутого выше исследователя). Чтобы они были понятны читателю, укажем на то, что исследования последних двух десятков лет убедили ученых в чрезвычайной важности тех гормонов (продуктов внутренней секреции), которые отделяются в кровь половыми железами. Половые гормоны— это большой мощности физиологическая сила, орудующая в живом теле и обусловливающая многие его особенности. В отношении внутренней секреции половых желез все люди могут быть разделены на два типа, связанных между собою переходами. У одних она сильно развита, и такие особи «мужественны» или «женственны», отличаются крепостью, бодростью, хорошим расположением духа, сильной, здоровой сексуальностью, живут долго, стареют поздно, стойки в борьбе за жизнь и являются совершенными, в биологическом отношении, особями. С другой стороны, бывают люди с врожденной слабой внутренней секрецией половых органов. У них в крови слишком мало половых гормонов и, в связи с этим, так называемые вторично-половые признаки едва намечены. У таких мужчин слабо растут борода и усы, костяк плохо развит, мышцы вялые и дряхлые, а у женщин этого типа слабо развиты соответствующие женские черты, например, наблюдаются вялые маленькие груди, узкий таз, угловатые очертания тела. Такие люди с ослабленной половой внутренней секрецией отличаются слабостью и вялостью; состояние духа у них чаще всего подавленное, нет веры в жизнь и желания бороться за свое место под солнцем; индивидуальность не резко выражена, сексуальность слабая. Они рано стареют, подвержены всяким заболеваниям, дают большой процент самоубийц и душевнобольных и рано сходят в могилу.

Раз половые гормоны, действительно, представляют собою такую могучую физиологическую силу, то отсюда само собою явилось у ученых стремление научиться управлять этой силой и заставить ее подчиняться воле экспериментатора. Начало такому «завоеванию половых гормонов» положил в 1911 г. *Штейнах,* и это дело продолжает теперь *М. Завадовский. Штейнах* первый осуществил экспериментальное превращение самца в самку и обратно. *Штейнах* брал молодых самцов морской свинки и крысы и вырезал у них семенные железы (яички). Затем таким кастратам он пересаживал на брюшину или под кожу яичники, которые были вырезаны у молодой самки того же животного. Почти в половине случаев прививка удавалась великолепно. Пересаженные яичники начинали в теле самца развиваться и расти и в конце концов стали отделять яйцеклетки. Вместе с тем развитие мужских половых признаков остановилось совершенно. Зато все женские половые признаки стали быстро развиваться под влиянием яичниковых гормонов. Так, соски, околососковые кружки и молочные железы приняли форму и размеры совершенно такие, как у обыкновенной самки. Размеры и рост скелета, шерсть, мускулатура и жировые отложения приняли такой же характер, как у самок. Ко времени половой зрелости у оперированных животных не появилось ни малейших признаков полового влечения к самкам. Даже присутствие самки в состоянии «охоты» не производило на них ни малейшего впечатления. Бывшие самцы после операции сделались настоящими самками и даже стали возбуждать в самцах такое же сильное половое притяжение, как и настоящие самки.

Сначала *Штейнаху* удавалось превращать только самцов в самок, а не наоборот, но затем, после долгих тщетных попыток, он научился пересаживать семенные железы кастрированной самке и таким образом превращал ее в типичного самца.

Так как *Штейнах* работал над животными, у которых половой диморфизм, т.-е. различие между полами в строении всего тела, а не одних органов размножения, выражены не резко, то было чрезвычайно интересно проверить опыты *Штейнаха* над такими животными, у которых различие между самцом и самкой, даже по внешнему виду, очень большие; с другой стороны, интересно было выяснить, все ли особенности тела, которые называются вторично-половыми признаками, зависят, действительно, от внутренней секреции половых желез или же часть этих признаков обусловливается другими факторами.

Эту задачу и решил *М. М. Завадовский,* произведший в заповеднике «Аскания Нова» многочисленные опыты пересадки половых желез над богатейшим материалом. Он имел в своем распоряжении и фазанов, и кур разных пород, и домашних уток и крякв, а из млекопитающих: антилоп, нильгау, горна и гну, козулей, ланей, баранов мериносов и быков серой украинской породы.

Его исследования показали, что при кастрации (т.-е. удалении семенников) у петухов исчезает часть вторично-половых признаков; а именно, петуший убор, половой инстинкт, характерный петуший голос и ряд других при-

знаков. Зато такие признаки, как, например, петушье оперение и шпоры развиваются и при отсутствии половой железы. На этом основании *М. Завадовский* и разделяет вторично-половые признаки на две группы: 1) «независимые» признаки (петушье оперенье и гребень), формирование которых происходит без участия половой железы, и «зависимые» признаки (головной убор, инстинкт и голос), развитие которых возможно и без воздействия гормона семенной железы. Что такое разделение действительно является обоснованным, видно из дальнейших опытов *М. Завадовского*. Кастрированному петуху он всаживал под кожу семенник другого петуха, и, в случае удачного приживления пересаженного органа, все «зависимые» признаки появлялись вновь. Для выяснения вопроса о том, справедливо ли такое разделение на зависимые и независимые признаки и по отношению к курице, были предприняты операции удаления яичника у куриц различных пород. При этом обнаружился интересный факт, что кастрированная курица при первом же линянии принимает оперение петуха и получает шпоры. Головной же убор, женский половой инстинкт и выводные пути половых органов либо исчезают вовсе, либо отстают в своем развитии. В случае регенерации яичника, заново восстановляются и эти последние признаки. Таким образом, типичные признаки курицы—оперение, инстинкт, головной убор и т. д., принадлежат к категории «зависимых» признаков, для развития которых необходима деятельность яичников. Но кроме того приведенные опыты показывают, что потенциально курице свойственны и «независимые» признаки петуха, но только у нормальной курицы, вследствие деятельности яичника, эти признаки не могут проявиться. По внешнему своему виду и по повадкам кастрированный петух и кастрированная курица чрезвычайно похожи друг на друга, их тип организации может быть назван уже внеполовым, или асексуальным.

Впоследствии результаты этих исследований *М. Завадовскому* удалось распространить и на фазанов и на уток, что дает право думать, что описанные отношения более или менее одинаковы у всех птиц. Кроме того, эти опыты доказывают, что секреция семенников и секреция яичника специфичны. Маскулинизин (гормон семенника) и феминизин (гормон яичника) вызывают у особи развитие качественно различных признаков и сами качественно отличаются один от другого. Дальше возник вопрос, чем же отличается самец от самки? Только ли тем, что тела их находятся под влиянием специфически различных гормонов или и тем, что при неодинаковой внутренней секреции и самые ткани их представляют известные различия? Собственно уже наблюдения над кастрированными особями указывают на то, что ткани и у самца и у самки одинаковы или, как выражаются на биологическом языке, эквипотенциальны, и только в зависимости от того, будет ли на них воздействовать маскулинизин или феминизин, они развиваются либо в направлении самца, или самки. Что это так, наглядно показали и произведенные *М. Завадовским* опыты пересадки кастрированным петухам яичника, а кастрированным курицам семенников. Первые получали после этого все зависимые признаки кур, а вторые—петухов.

Не касаясь далее интересных выводов, сделанных *М. Завадовским* отно-

сительно петухоперости, куроперости, арренойдии и телиидии в природе, укажем только, что приведенные выше исследования были распространены и на млекопитающих. Они не только подтвердили правильность прежних опытов *Штейнаха*, но и дали возможность несколько углубить их. Оказывается, что у млекопитающих есть и зависимые и независимые признаки. Но в то время как у птиц, как мы видели, самка несет в потенции «независимые» половые признаки самца, у млекопитающих, наоборот, самец является потенциально носителем «независимых» признаков самки.

* * *

Голодовка городского населения в 1919 и 1920 году дала повод к ряду научных исследований в области *физиологии голодания*. Сама жизнь поставила здесь такой опыт, на который, конечно, ни один физиолог не решился бы. Нужно сказать, что чуть не в первый раз в истории человечества массовое голодание происходило и в научных центрах, где имеются налицо и достаточный кадр исследователей и оборудованные лаборатории. Над человеком удалось проверить то, что уже ранее было известно по опытам над животными. Из работ, посвященных биологической стороне голода, заслуживает внимание исследование д-ра *А. К. Ленца* над изменением химического состава человеческого мозга при голодании (доложено 24/V 20 г. в заседании Ученой Конференции Института по изучению мозга и психич. деятельности). До исследований д-ра *Ленца* ученые представляли себе, что нервная система, до известных пределов, щадится голодом. На основании взвешивания мозгов голодавших и нормальных животных, думали, что мозг, как орган, мало теряющий в весе при голодании, находится в организме, так сказать, в привилегированном положении и живет на счет других тканей, безжалостно превращаемых при голодании в энергию и тепло. На самом деле оказалось иначе. Д-ру *Ленцу* удалось подробно исследовать 11 мозгов людей, умерших от голода. При взвешивании мозгов выяснилось, что вес их, как это известно было и по наблюдениям над животными, близок к норме, при чем замечается скорее склонность к повышению, чем к понижению. Было замечено кроме того, что, в то время как полушария (седалище высших психических функций) давали цифры несколько повышенного веса, мозжечек и мозговой ствол обнаруживали вес немного ниже нормы. Но это увеличение веса, как оказалось, зависело от увеличения количества воды в мозгу за счет убыли тех веществ, которые составляют его плотный остаток. При ближайшем изучении выяснилось, что головной мозг теряет 8,231% белков, 11,48% липоидов, 5,233% своего азота и 2,257% своего фосфора. При этом серое вещество головного мозга, наиболее важное для психических процессов, теряет 9,309% белков, 8,830% липоидов, 9,644% азота и 2,103% фосфора. Такие потери приходится признать очень большими, так как ткань мозга отличается вообще меньшею стойкостью, чем другие ткани организма.

В полном соответствии с этими исследованиями Ленца, указывающими на разрушение нервной ткани при голодании, стоят и работы *Ю. П. Фролова*

(1922) и *И. С. Розенталя* о влиянии резкого изменения в составе пищи на некоторые стороны нервной деятельности животных, произведенные в лаборатории проф. *И. П. Павлова.* Оба автора, понятно, стоят на точке зрения об'ективной психологии, т.-е. стремятся исследовать сложные явления психики человека и животных с помощью об'ективных методов. Согласно воззрениям павловской школы, то, что психологи называют «душой», есть не что иное, как бесконечно сложная комбинация простых или безусловных и так наз. условных, или сочетательных рефлексов, т.-е. ответов со стороны нервной системы на падающие на нее из внешнего мира различные раздражения. Простые или безусловные рефлексы являются врожденными, они наследуются, а не приобретаются заново, и для проявления их не нужно даже целости коры головного мозга: они могут осуществляться и одним спинным (или вместе и продолговатым) мозгом. Пример: мы кладем собаке в рот мясной порошок и получаем в ответ на это раздражение—вытекание слюны. Рефлексы второй группы возникают у животного путем опыта; они приобретаются и развиваются постепенно у животного в течение его жизни. Это есть, так сказать, временная связь, в которую вступает нервная система животного или человека с раздражителем.

Например, перед тем как положить собаке в рот мясной порошок, дают звуковой сигнал (положим, звонок), и через некоторое время у животного образуется новая, не существовавшая прежде связь между звуком и слюнной железой: уже один звуковой сигнал, без мясного порошка, будет вызывать у животного слюнотечение.

Так как все поведение человека и животных, с точки зрения об'ективной психологии, представляет собою только ряд безусловных и условных рефлексов, то и было очень интересно выяснить, как такой могучий фактор, как голод, влияет на эти основные физиологические элементы высшей нервной деятельности.

По данным *И. С. Розенталя*, голодание у собак протекает следующим образом. Сначала, еще до появления видимых признаков какого-либо отклонения от нормы, у животных разрушаются дифференцировки, т.-е. нарушается, если можно так выразиться, точность сочетательных рефлексов, затем уже исчезают хорошо выработанные условные рефлексы и только после этого у собак обнаруживается вялость и сонливость, они начинают быстро падать в весе и наконец погибают или непосредственно от голода или от таких расстройств в организме, которые для неистощенного животного не представляли бы никакой опасности. Эта характерная для голодающего организма утрата способности образовывать условные рефлексы, собственно, и приводит его к гибели. Раз он утрачивает возможность образовывать во время индивидуальной жизни все новые и новые временные связи с внешним миром, то он не может уже и ставить свое тело в более благоприятные соотношения с этим последним, например, в смысле добывания пищи, охранения себя от вредных внешних влияний и т. д.

Ю. П. Фролов, как и *Розенталь,* отмечает сонливость у умирающих от голода собак, но он более детализирует последовательный ход исчезновения

рефлексов во время голода. Когда у животного появляется «голодная» сонливость, то начинают страдать все, вообще, сложно-нервные процессы, но, в первую очередь, ослабляется процесс внутреннего торможения, что и выражается в невозможности выработать дифференцировку. При дальнейшем усилении сонливости начинаются уже нарушения и тех процессов, которые связаны с явлениями возбуждения, а именно условный рефлекс образуется с чрезвычайною трудностью, а, образовавшись, отличается крайним непостоянством. Несколько позже искусственные условные слюнные рефлексы исчезают, но натуральные слюнные рефлексы остаются еще хорошо выраженными и дают картину нормального угасания и восстановления под влиянием подкрепления едою. Только уже в период, близкий к смерти животного, натуральные условные рефлексы заметно уменьшаются, тогда как безусловные слюнные рефлексы остаются, лишь уменьшаясь несколько количественно.

* * *

Благодаря блестящим работам американского исследователя *Алексиса Карреля* (1911) и его многочисленных учеников, в настоящее время *выращивание тканей животного организма в искусственных условиях* достигло большого совершенства. Кусочки тела только что убитого животного при помещении их в подходящие, в смысле питания и стерильности, условия, продолжают жить годами вне организма, если только производить аккуратно так называемый «пересев» их. Сотнями работ по культуре тканей безупречно доказана возможность жизни и роста тканей вне организма. Но остается здесь еще кое-что невыясненным, а именно: сохраняются ли все свойства переживающей ткани, или же она часть своих свойств в искусственных условиях утрачивает и подвергается здесь упрощению. Одни исследователи указывают на то, что в живом организме существует некое организующее и регулирующее начало, которое и держит ту или иную ткань или орган на определенной высоте строения и жизнедеятельности. Как только ткань попадает в искусственные условия, она выходит из-под власти этого регулирующего начала и начинает постепенно упрощивать свое строение. Другие авторы, и в том числе школа проф. *А. А. Максимова,* не считают это упрощение общим правилом, а, напротив, полагают, что не только переживающая ткань сохраняет свою сложную дифференцировку, но подчас даже клетки более простые начинают развиваться в более специализированные и сложные формы.

За отчетный период в лаборатории проф. *А. А. Максимова* продолжались исследования над культивированием тканей вне тела, которые, в общем и целом, подтверждали воззрения на этот вопрос его школы. Так, ассистентом *А. А. Максимова, Н. Хлопиным* (сыном гигиениста), произведена довольно интересная работа по выращиванию вне организма зародышевых тканей млекопитающего. Он брал для исследования кусочки кишечника, зачатки конечностей и почек у зародышей кролика, длиною в 13—57 мм., и выращивал их вне организма в течение 5—10 дней. Если попадали в культуру отдель-

ные эпителиальные клетки, то они обыкновенно оказывались неспособными к дальнейшему существованию и скоро погибали. Если же он брал сравнительно большой участок эпителия, то он так сказать индивидуализировался, принимал форму эпителиальных шаров или пузырей и жил довольно долго. Никогда эпителий не подвергался обратной дифференцировке или упрощению, напротив того, все виды эпителия обнаружили способность образовывать в искусственных условиях кутикулярный рубчик, даже те, которые обычно его не имеют. Студенистая, или эмбриональная, соединительная ткань сохраняла в искусственных условиях ту же способность дифференцироваться и переходить в различные другие виды соединительной ткани, какая свойственна ей и в живом организме при естественных условиях. С другой стороны, хрящевая ткань более взрослых зародышей (следовательно, ткань успевшая уже развиться и приобрести свои типичные черты) вообще, в опытах *Хлопина*, не поддавалась культивированию вне организма, молодой же хрящ не развивался далее, а претерпевал изменения и превращался в типичные элементы соединительной ткани.

Русским ученым, известным фармакологом *Н. П. Кравковым*, выработан недавно оригинальный метод культивирования вне организма тканей ампутированных человеческих пальцев [1]; этот способ дает в руки экспериментатора чудесный материал для испытания действия различных ядов на живые ткани человека. Опубликованные в этом году (1922) исследования *С. В. Аничкова* показали, что изолированные и выращиваемые по способу *Н. П. Кравкова* пальцы человека являются прекрасным об'ектом и для изучения деятельности периферических сосудов человека, которые проявляют чрезвычайно тонкую чувствительность к пропускаемым через них ядам. На этом об'екте ему удалось и для артерий человека доказать существование самостоятельных, совершающихся ритмически сокращений стенок, независимых от центральной нервной системы. При нанесении местного раздражения на кожу такого «переживающего» пальца, происходит расширение его сосудов, при чем длительность этого расширения зависит от силы раздражения. При повторном раздражении одной и той же ссадины, реакция сосудов заметно падает. Если нанести такому изолированному живому пальцу сильное раздражение (впрыскиванием под кожу раздражающего вещества), то наступает длительное расширение сосудов с большим усилением их ритмического сокращения. За стадией расширения следует затем период прекращения ритмизма сосудов, а вместе с тем уменьшается и количество протекающей по сосудам жидкости.

* * *

Большим шагом вперед в деле изучения высшей нервной деятельности являются и замечательные исследования *П. П. Лазарева*, применившего к физиологии методы физики и математики и создавшего чрезвычайно инте-

---

[1]) См. подробнее об этом статью Б. Завадовского: „Впечатление о работах в Петроградских лабораториях" (Красная Новь № 4, 1921), а также статью С. В. Аничкова в Русском Физиологическом Журнале (№ 3, 1921, стр. 206).

ресную *ионную теорию возбуждения*. По исследованиям *Лазарева*, возбудимость ткани возможна только при том условии, что будет иметь место химическая реакция. Возникновение этой последней проще всего представить себе при действии растворов электролитов с расщепленными на ионы молекулами.

При изменении числа ионов в среде должно возникать возбуждение, но необходимо учитывать и то обстоятельство, что ионы действуют и антагонистически: так, ионы калия возбуждают ткань, ионы же кальция, наоборот, угнетают возбуждение.

Характер ионного процесса, распространяющегося по проводящей части нервного волокна—осевому цилиндру, надо представить себе как бы в виде волны взрыва. Раз начавшись, реакция должна докатиться до конца независимо от силы раздражения.

Раздражение нервных центров, построенных из нервных клеток, совершается периодически и осуществляется химической реакцией в зависимости от концентрации возбуждающих ионов. При периодических реакциях в области нервных центров должны возникать электродвижущие силы, и отсюда должны распространяться в окружающую среду со скоростью света электромагнитные волны. Эти последние должны возникать при всяком акте движения, при всяком ощущении, и, по представлению *П. П. Лазарева*, голова человека, как какая-нибудь передаточная антенна радиотелеграфа, излучает во все стороны волны до 30 тысяч километров длиною.

Если Лазарев подходит к изучению высшей нервной деятельности с физико-химическими методами, то *школа И. П. Павлова* продолжала свой анализ «душевной» жизни или, правильнее, поведения животных и человека с точки зрения учения об условных рефлексах. В этом отношении ученики и последователи *И. П. Павлова* идут, как мы отчасти указывали на это выше, гораздо дальше одного только анализа и стремятся распространить исследования над животными и на человека. Намечаются таким образом новые об'ективные методы изучения душевных болезней и выясняется все более и более необходимость перестройки и психиатрии на основании павловской физиологии высшей нервной деятельности (см., напр., *А. К. Ленц*: «Методика и область применения условных рефлексов в исследовании высшей нервной деятельности человека» (1922), *А. Г. Иванов-Смоленский*: «Условные рефлексы и психиатрия» (1922) и т. д.). Хотя лабораторный синтез условных рефлексов высших порядков (т.-е. наслаивание одних условных рефлексов на другие) и останавливается пока на 3-ем звене, т.-е. на рефлексах 3-го порядка (исследование д-ра *Фурсикова*), тем не менее делаются уже смелые и крайне интересные попытки признать всю психическую деятельность человека только закономерными ответами на изменение во внешнем мире, определяемыми в их существовании огромным количеством условий и называемыми условными рефлексами (см., например, статью *В. В. Савича*: «Попытка уяснения процесса творчества с точки зрения рефлекторного акта». «Известия Института имени Лесгафта», т. IV, 1921 и «Красная Новь», т. IV, 1922, а также А. Г. Иванов-Смоленский: «Биогенез речевых рефлексов и

основные принципы методики их исследования»). «С момента пробуждения», говорит д-р *А. К. Ленц*, «до момента засыпания человек в нормальной жизненной обстановке проделывает ряд рефлекторных комбинаций самой различной сложности—от кашляния и чихания до разрешения, быть может, мировых проблем. Проснувшись, мы взглядываем на часы, и этот зрительный раздражитель вызывает рефлекс—вставание. Мы выходим из дому—и вид подходящего трамвая влечет новый двигательный эффект—мы бежим»... «Надо твердо стать на ту точку зрения», говорит А. К. Ленц далее, «что все наше поведение состоит из бесконечно разнообразных условных рефлексов как на наличные изменения внешнего мира, так и на прошлые раздражения, оставляющие следы в нашей центральной нервной системе. Изучать эти рефлексы необходимо для каждого, желающего проникнуть в сущность человеческой личности»...

* * *

До сих пор еще не опубликованы, но чрезвычайно интересны исследования проф. *В. И. Исаева* над пресноводными гидрами. Он не только повторил и проверил все прежние опыты с разрезанием гидры на несколько частей, с выворачиванием ее наизнанку, с регенерацией ее отдельных частей, но и добился получения искусственной химеры, сращивая вместе половины гидр, принадлежащих разным видам. Эти наблюдения дали ему возможность притти к чрезвычайно важным общим выводам, касающимся явления «смерти без трупа», а также сделать ряд заключений генетического характера.

Г. А. Надсон (1920) произвел очень интересные опыты с ***влиянием радия*** на дрожжевые грибки и на основании как собственных исследований, так и изучения соответствующей литературы, дает общую характеристику действия радия на живое вещество. Всякая живая клетка чувствительна к радию. В общей форме можно сказать, что определенные слабые дозы радиевых лучей возбуждают, а сильные угнетают и даже убивают клетки. Если только радий действовал достаточно продолжительное время, то всякая клетка в конце концов может быть убита радием. Но чувствительность по отношению к радию неодинакова у различных групп, родов и видов животных и растений и подвергается, кроме того, и сильным индивидуальным колебаниям. Всегда между самым радиированием и моментом, когда действие лучей радия начинает проявляться на живом веществе, протекает известный период скрытого или латентного действия радия. Полученный от радия импульс может передаваться клеткой по наследству. Иногда клетки, непосредственно радиированные, не обнаруживают никаких заметных изменений, но они проявляются у их потомков.

В сущности, влияние радия на живое вещество сводится к тому, что он дает ему определенный толчек и ускоряет темп жизненных процессов. Если толчек был мал, то дело и ограничивается одними явлениями возбуждения. Если же радиирование было достаточно сильным, то процесс быстро идет дальше. Происходит перевозбуждение живого вещества, и клетка, если можно так выразиться, начинает жить слишком быстрым темпом. В результате

этого наступает преждевременная старость, а нередко и смерть клетки. При этом попутно может развиться тот ряд изменений в строении и функциях, которые мы называем патологическими отклонениями. Но все это лишь результат пошедшего слишком далеко первичного возбуждения клетки, последствие того, что под влиянием радия клетка начинает жить слишком быстрым темпом и, так сказать, изживает себя.

Действие радия на живое вещество отнюдь не специфично. Среди тех изменений в клетке, которые наступают под влиянием радия, нет ни одного такого, которого нельзя было бы вызвать и другими факторами: например, светом, температурой и химическими деятелями. Наконец, многие из этих изменений рано или поздно наступают и без всякого радия во время старости клеточного организма. Так что радий только ускоряет наступление того, что рано или поздно должно быть появиться естественным путем.

В области *гистологии* заслуживает быть отмеченной прекрасная работа молодого ученого *Д. Н. Насонова:* «Цитологические исследования над растительными клетками» (1918). Он применил к растительным об'ектам новейшие методы микроскопической техники, выработанные гистологами по отношению к животным тканям, и выяснил некоторые интересные подробности процесса деления клеток. Ему удалось подметить, что хандриозомы на известной стадии непрямого деления принимают более или менее резко выраженное полярно-лучистое расположение. Вместе с тем на полюсах веретена деления появляется скопление волокнистого осмиофильного вещества, названное им фибросферой. Роль этого последнего образования, по *Насонову,* двоякая. С одной стороны, фибросфера посылает от себя к каждой хромозоме по тянущему волокну, снабженному иногда особым органом прикрепления—контактной бляшкой, и, вбирая затем в себя это волокно и разрывая связь между уже расщепившимися хромозами, подтягивает их к противоположным полюсам веретена. Этим путем фибросфера и осуществляет равномерное распределение между будущими дочерними клетками наследственной ядерной плазмы—хроматина. С другой стороны, во время деления клетки происходит группировка хондриозом около фибросфер,—этим достигается распределение между дочерними клетками элементов, специализировавшихся для выработки секрета. Все эти данные, являющиеся совершенно новыми в цитологии, иллюстрируются очень убедительными препаратами, с которых автором сделаны хорошие рисунки в красках (Подр. см. Архив Анатомии и Гистологии за 1918 г.).

С. В. Мясоедовым (Военно-Медицинская Академия) закончена очень хорошая работа над строением яичника млекопитающих. Несмотря на громадное количество предшествовавших исследователей, *Мясоедову* посчастливилось выяснить некоторые новые данные, касающиеся сложного гистологического строения этого важного органа, и пролить свет на некоторые вопросы, возбуждавшие разногласия среди биологов.

Пишущему эти строки удалось за время революции закончить большую работу о строении продолговатого мозга различных позвоночных, в которой описывается строение и развитие новых нервных центров, а также получить

некоторые данные, касающиеся связи между гистологическим строением органов, сравнительно удаленных один от другого. Кроме того, автором этих строк было произведено исследование гистологического строения придатка яичка при разных физиологических состояниях.

Наконец, даже в беглом обзоре нельзя обойти молчанием прекрасных монографий проф. *Е. Н. Павловского* по медицинской зоологии, посвященных мухам и вшам и представляющих собою не только добросовестную сводку, но и серьезную обработку большого материала, собранного по этим вопросам автором в течение ряда лет.

Внимания заслуживает и обещающее очень многое при дальнейшей разработке исследование *С. Перова* над растворителями казеина (1919). Судя по его работе, казеин вовсе не представляет собою необратимого коллоида. Исходя из естественной солевой среды молока, *С. Перову* удалось подобрать такой солевой растворитель, под действием которого казеин переходил в коллоидальный раствор, сохраняя свой естественный состав. Пользуясь таким растворителем, *С. Перов* произвел даже опыт искусственного приготовления молока. Он взял 10 граммов полученного в чистом виде казеина и поместил его в 300 куб. сант. своего растворителя. Через несколько часов уже образовался коллоидальный раствор казеина. К нему он прибавил затем 15 граммов молочного сахара и, после растворения последнего, 0,25 граммов углекислой извести. Раствор тотчас же сделался опалесцирующим на подобие естественного обрата. В такой искусственный было влито 20 граммов мясляного жира, после чего жидкость встряхивалась для эмульсирования в течение 10 минут при 50°С. В результате опыта получилась жидкость, которая, по словам *С. Перова*, «по всем своим качествам и виду напоминала молоко настолько, что пробовавшие с трудом отличали его от естественного продукта».

Как ни краток приведенный выше обзор развития биологии за последние пять лет, как ни велики в нем пробелы и пропуски, из него все-таки видно, что по целому ряду важных и интересующих весь научный мир вопросов удалось шагнуть вперед. Научная мысль, несмотря ни на что, продолжает работать и, при беспристрастном взгляде на вещи, приходится признать, что, если мы и не идем в области науки в ногу с нашими западными соседями, то все-таки уже и не столь сильно и не столь безнадежно отстали от них...

Внутри советской России

„С котомкой“.

Вяч. Шишков.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О совхозах.—Начинаем строить.—Умный дурак.—Масляные фокусы.—Кого он любит?—Пьяная взятка.—Самогон.—Налоги душат.—Убойная дорога.—Настроения.

Отправились путешествовать по одному из северо-западных уездов вдвоем с моим другом Кузьмичем, агрономом местного совхоза. Было серое утро. Лохматые облака грозили дождем. С горки, как на ладони: речка, церковь и в кудрявых зеленях—совхоз. А вот крестьянские поля, вот только что расчищенная лесная заросль: унавожена, вспахана, но еще торчат пни. Крестьяне пускают теперь в ход каждый клочок земли, осушают болота, рубят кусты.

— Нужда велит,—об'ясняет дядя, с которым мы остановились покурить.—Ране-то у помещиков в аренду брали, либо исполу работали. А теперича совхозы кругом, раздуй их горой. Совхоз, известно, в аренду уж не даст мужику земли, сидит, как собака на сене. А где мужику взять земли? Вот и лезем в лес. Выходит, что раньше-то, до революции, у нас земли гораздо больше было.

— Но ведь совхозы-то работают,—возражаю я.

— А провались они со своей работой. Только землю зря пакостят. Наемный рабочий—он нешто хозяин земле? Его колом надо на работу-то выгонять. На себя выработать не могут. Богадельня-матушка.

— Там все-таки образцовое хозяйство.

— Тьфу ихнее образцовое хозяйство! Капуста—и та с килой. Образцовые хозяйства. Эвот в Липцовском совхозе тыщу десятин, дак разве мужик чего поймет. А ежели наше правительство с понятием, надо сделать так: все совхозы в три шеи, а землю мужикам. Хлеба ахнем—горы! А для наглядности науки—в каждой волости по маленькому совхозу, десятин на 25, как в хуторе. Вот и пусть там работают по науке. У меня хутор, и там хутор. Значит, на одной дорожке стоим. Только что я темный дурак, а там глав-

ные специалисты. Вот я и приду учиться к ним: а ну-ка, как образованность гласит? И все перейму оттудова: восьмиполье, севооборот, травосеянье и все такое. А на кой чорт я к нему на тыщу десятин-то пойду смотреть, у него там весь распорядок иной, для мужика неподходящий. Понял, нет?

— Ну, а как заведующие совхозами? Кажется, народ дельный, хороший?

— Да для себя-то они шибко хороши, свое возьмут,—и крестьянин плутовато подмигнул.—Оно и вправду сказать, кому охота на чужом деле стараться-то, раз он служащий? Ну, вот он и гонит в свой карман. Кого ему бояться? Ревизии? А взятка-то на что? Поделят—шито крыто, а в казну—фига. Вот какие дела, и винить их нечего. Кого хочешь на ихнее место посади, тебя ли, меня ли, все равно, будем и мы хапать. Разве что дурак какой сыщется по чести жить. И того слопают живо. Как кто? А кому мешает, тот и слопает. А нет—так и в омут башкой. Очень просто.

— Что же делать-то?—спросил я.

— А вот что делать. Я ж тебе сказал. Вот, скажем, совхоз в тыщу десятин, правительству убыток от него огромный. К чорту всё! На тыще десятин 75 хуторов можно разбить, да в настоящие руки: «владей»! 75 хозяев. Понимаешь! Хозяев! А земля настоящего хозяина любит крепко.

— У государства запасный земельный фонд должен быть,—сказал Кузьмич.

— Ну, фонд. Пускай будет фонд. Это ничего. Фонд все-таки землю в аренду будет отдавать, все-таки мужику будет вольготней.

Вдогонку закричал:

— А вы пошире шагайте-то! в Дубраве праздник нынче, Преображенье... Погуляете.

* * *

Дорога свернула на луг и скоро уперлась в речку. На высоком берегу, в парке, барское гнездо, обращенное теперь в больницу. Мы навестим доктора на обратной дороге, теперь же дальше, в путь.

— Вот погляди, как пулемет работал,—говорит мне Кузьмич, показывая пронизанные пулями мостовые перила,—на той гривке, в лесу, белые были, а здесь—красные.

Отлично оборудованная водяная мельница. С десяток крестьян нарубают новые венцы на быках и устоях плотины, перестилают мост, а еще в прошлом году здесь нельзя было проехать. Я прошел много верст по деревням, видел: ремонтируются совхозские постройки, чинятся мосты, крестьяне делают новые избы. Итак, топор опять заработал по Новой России, пусть не иступится.

В верхнем этаже мельницы приспособлена «динамо», она подает энергию по всему больничному хозяйству, в школы первой и второй ступени, и в школьное общежитие, лежащее отсюда в двух верстах. В прошлом году ток подавался очень слабый, свет был скудный, и только трое крестьян пожелали освещать свои избы, а теперь, когда лампочки накаливаются по-на-

стоящему, крестьяне и рады бы были ввести такое новшество, да поздно: мощность «динамо» ограничена.

По дороге и дальше, прямиком по пашням, врыты свежеоструганные столбы. Вот трое молодых людей быстро подставляют к столбу лестницу, ввинчивают простенькие, бутылочного стекла изоляторы и натягивают провод. Это новая телефонная сеть, соединяющая совхозы, волисполкомы, школы и дальше—уездный центр. Значит, работа началась и в этой области.

— Где лестницу-то взяли, товарищи?—спрашиваю.

— Да вроде как на станции украли. А что ж, ежели ничего не дали нам, проволку и ту на своих горбах прём.

— Скоро проведете?

— Живо! Кому час возиться, а у нас в неделю закипит.

Бодрые, сытые, в бутылке самогон.

* * *

До самой станции идем возле дороги лесом. Нынче масса ягод и, в особенности, грибов.

— К войне,—говорят крестьяне.—Гриб завсегда к войне.

Попадаются окатные валуны, наследие ледникового периода. Вот хутор латыша: чистая изба, скотный двор, амбары. Тут же пашня: яровые, картофель, греча, клевер—урожай недурен.

Об этом латыше стоит сказать пару слов. Он наглядно показал, что значит настойчивость и сила воли. Пять лет тому назад он купил у помещика совершенно непригодный к земледелию клочок земли десятины в две, болото, камень на камне и дряблый полусгнивший лес.

— Вот дурак-то,—посмеивались мужики.—Да на этом месте только чорту в кулак свистать.

А чрез пять лет все зацвело и зазеленело. Осушительные каналы, груды собранных камней и выкороченных пней говорят о каторжном труде. Зато теперь всего вдоволь: коровы, овцы, две лошади, пасека, даже сторожевая шавка, едва не разорвавшая мне штаны. Сытно живет на проклятой, когда-то засыпанной камнями земле большая семья, и латыш, попыхивая трубочкой, подсмеивается над мужиками.

— Молодца, Мартын! И самогонка у тебя—огонь.

* * *

Наконец, лесная тропинка приводит к железнодорожной станции. Это целый небольшой поселок. Ссыпной пункт, где принимают продналог, отделение «Пепо», лавка сельского кооператива и еврейская лавчонка, где и товару-то на пять целковых серебром, но все дешевле.

Идем мимо какого-то помещения, набитого мужиками. Это арестованные, не внесшие масляного налога. А возле сидят несколько человек кружком, играют от нечего делать в карты.

— Работа стоит, а мы сидим, как пни, что ты будешь делать! Пахать время, сеять время. Ах ты, Господи...

Конечно, и здесь не без курьезов. Так уж, должно быть, издревле ведется на Руси.

У серого дома—хвост. Крестьяне, бородатые, безусые и древние, в руках кринки, ведра, туеса, набитые сливочным маслом, а то и просто узелки. Уж не за самогонкой ли, думаю, стоят. Нет, в этом доме добрейшей души фельдшер, и дров у него, надо быть, заготовлено вдоволь: с утра до ночи горит плита, а православные перетапливают масло.

— Зачем же это?—спрашиваю.

— А, вишь ты, требуется так, значит, по декрету. А мы не знали ничего, сливочного привезли. Нас и погнали вон. Нет—чтобы в исполкомах да по деревням об'явить. А то: подавай столько-то скоромного масла, а какого — пёс его ведает. Вот и бьемся. Спасибо, фершал в положенье вошел.

В одной из деревень старик рассказывал мне:

— Притащил я, значит, масла сколько полагается. Меня назад. «Пошто?»—«Топленое давай».—Я и то, я и се, нет. Заладили одно: топленое давай. Я домой, пешком. А деревня-то наша за 25 верст. Истопили со старухой, а оно, Бог с ним, не стынет, а срок налога вот-вот кончится. Налил в чугунок, пошел. А оно, Бог с ним, бултыхается, сколько расплескал, и тряпица-то вся в масле. Сниму да пососу, все-таки жаль. Пососу, пососу, да опять вперед. Так все и сосал. Пришел сдавать, не берут. Иди, грыт, остуди. Пошел в речку. Сидел, сидел в воде у краюшка, не стынет, потому жарища, и вода теплая. Я опять на пункт. Мол, не стынет. А они: ты бы, говорят, поглубже, в омутину. А я им: щука я, что ли, на самом-то деле! Тогда иди, говорят, на станцию, там есть такой, называется, погреб. Еле укланял я на станции, впустили. Стал я, благословясь, на льду корячиться с чугуном-то, да едва, Бог с ним, не опрокинул, потому—темно, и рученьки дрожат. Все-таки маленько выплеснул на лед. Одначе, застыло, колупнул это я пальцем—твердое. В радостях понес. Взвесили: «четырех фунтов не хватает, гражданин».—Это я гражданин-то, значит, а ране все товарищем обозначали. «Давай, гражданин, еще четыре фунта». А где я их возьму. «Купи, а то домой иди». Едва укланял, чтоб это-то хоть приняли, достальное додам, мол, а то срок уйдет. «Явите божецкую милость, ведь мне седьмой десяток, и хромой я, болонища на ноге». Выдали мне фитанец. Прикултыхал домой, пять суток на эту потеху ушло. Через неделю член с книжкой. «А с тебя, Куприянов, четыре фунта недоимки».—«Нет у меня ни масла, ни денег!»—«Тогда самовар возьму». Я с радостью: «Бери, товарищ, самовар!» А самоваришка у меня немудрящий, весь в заплатах, и без кранту, Васютка-внучек кран-то потерял, швырнул в борова, боров такой все ходил к нам посторонний, весь огород изрыл, чтоб его пятнало, подлеца... Ну, дак вот, бери, кричу, самовар, а мало—вот тебе чайник, вот котелок, еще чего не хочешь ли?—все забирай, только ослобони ты меня, не тревожь больше! Вот где сидит у меня этот самый налог, вот! Ноги в кровь разбил, хоть на карачках ползай.

В другой деревне говорили:

— Ты думаешь, там чисто дело-то, на пунхте-то этом? Жулики. Ты свое масло сдал, а другой пришел с деньгами, твое масло продадут ему, да от него же и примут. Сколь разов так было. Кого хошь спроси. Э, да пес с ним! Наше деле сдать, приказ исполнить, а куда пойдет—дело ихнее.

Пишу то, что слышал и видел. Пишу по совести. Наблюдатель должен выявлять светлые стороны жизни нашей молодой Республики, и отнюдь не скрывать ее темных сторон. Полагаю, что в этом долг каждого.

* * *

Итак, мы шагаем дальше. Озимое сжато и вывезено с полей. Урожай озимых определенно плох. Дозревают яровые хлеба. На них надежда. Виднеются в стороне от дороги несколько хуторов, видимо, выехали давно. Почему у местного крестьянина почти полное отсутствие чувства прекрасного? А ведь живет среди полей, среди соловьиных песен и блеска зорь. Избенки неважные, перевезенные со старых пепелищ, дедовской постройки, и хоть бы одна финтифлюшечка, расписные ставни, что-ли—хоть бы один куст цветов. А вот латышский хутор—совсем не то. Видна некоторая культурность, изба белая, веселая, ворота струганные, с резьбой, немудрящий садик, а вот и финтифлюшка—раздраконенный всеми красками скворешник на шесте.

По жнивью попадаются вехи и новые межевые знаки: это работают землемеры, мужик усиленно идет на хутора. Но об этом после.

Тучи не желают шутить, заморосил дождь, а мы в одних рубахах, да котомки за плечами. Но вот позади затарахтела телега.

— Кузьмич, да это ты никак?

— Я. Здравствуй, Степан Федотыч,—отвечает агроном.

— Здорово, Александр Кузьмич, здорово, дружок! Скачи в телегу, подвезем. Товарищ, залезайте.

Степан Федотыч весьма деятельный, но плохо грамотный крестьянин. Он председатель общества животноводства в своем родном селе. По письменной части ему помогает сын его, красноармеец, работающий совершенно безвозмездно, просто из любви к делу.

— Вот, по епархии своей иду,—отвечает агроном на вопрос Степана Федотыча.—В двух местах хочу сельскохозяйственное товарищество организовать. И при них кооперативы. Крестьяне очень просят.

— А зачем же ты пешком?—спрашивает тот.—Раз просят, лошаденку должны прислать. Посылают же за попом. А впрочем, наш брат-мужик, ежели дарма ему дают—давай, а чуть из его кармана—зубами за копейку держится. Кого он любит? Только себя любит.

— Отчего это так?—спрашиваю я.

— А кто его знает. То ли природа наша такая волчья, то ли выработки настоящей не было. Кто нас учил, чему учили? А так что ничему,

как поганки в лесу росли. От этого самого мужик только себя и знает. Ему да-ко-сь наплевать на всех. Эвота школа у нас, надо поддерживать, дрова, ремонт. Бездетные или малодетные не хотят. Не желаем, да и все, у нас, мол, нет детей. Да ведь дело-то общественное! Братцы! Ведь ежели на многодетных повинность навалить, им не сладить, дурьи ваши головы! Никаких толков, им хоть кол на башке теши. Так и гибнет дело. Да-а... А я за жмыхами на станцию ездил. Думали, Питер не пришлет. Нет, спасибо, триста пудов прислали.

Агроном об'ясняет мне, что по его почину в нескольких волостях крестьянскими обществами организуется выставка племенного крестьянского скота, и за лучшие экспонаты будет выдаваться, как поощрение, по нескольку пудов жмыхов. Петербург отнесся к этому делу сочувственно.

— Вот ты и прими в соображенье, что я тебе расскажу,—начал Степан Федотыч.—Ну, мужик уж темный человек, а вот эти-то на станции малость почище нашего брата, а гляди, сколь прекрасно взятку любят брать. Приехали мы на десяти подводах, наши общественники. На станции все под дрезину пьяные. Я к весовщику, требую взвесить жмых. Выпивши, не желает. Я к начальнику станции,—тоже, выпивши: бери, говорит, на взгляд. Да как же на взгляд, раз дело-то общественное? Я к милиции, вся пьяна под дрезину, и старший ихний пьян. Оказывается, дело просто: вчера купеческий скот принимали. Да тоже не хотели принимать, мол, вагоны заняты, через четыре дня примем. Ну, значит, заплатили взятку, что следовает быть, да ведро самогону выставили, живо нашлись вагоны, бегом, бегом, через два часа поезд,—подцепили, фюїть! поехали. Вот и обожрались вчерашний день самогоном-то, да и сегодня гуляют. Ну и мы, грешным делом, спросили, сколько причитается дать.—«Гони три бутылки самогону». На счастье наше, шагает человек, сзади кошель, а в кошеле что-то побултыхивает. Не самогон-ли? Самогон. Почем бутылка? Три лимона. Шагай дальше, дорого. Глядим, другой идет рыжий мужчина этакий, бутыль под пазухой с самогоном. Почем? Два с половиной. Шагай дальше! Пошли мы на зады. Возле телеги народ, глядим самогонку покупают. Почем? Два мильона. Ну мы и...

— Неужели так много самогонки делают?—спросил я.

— Не приведи Бог,—сказал крестьянин,—на хуторах, по деревням, даже духовные лица которые. Ну, те, известно, для себя. А наш брат на продажу больше.

— Да для чего это?

— Как для чего? Кто от достатку, а кто и от бедности. Видишь, неурожай нынче, поневоле гнать приходится которым.

Я удивленно поднял брови:

— Как же так?

— Да очень просто. Я тебе по пальцам об'ясню. В прошлом году хлеба девать было некуда, ну изрядно гнали вроде для удовольствия личности. А нынче—неурожай, а налоги огромадные, много больше прошлогодних, прямо удивительно, как это там разочли в Москве. Страсть, ей-богу, страсть! У многих всю рожь под метелку отобрали, а яровых дай Бог, чтобы до

Рождества, а там—в куски. Ну, вот теперь ты и слушай. Из пуда хлеба десять бутылок самогону выходит. Крестьянин продаст, да на эти деньги четыре пуда муки-то купит. Два опять в дело, а два—в запас. Да опять продаст, так себя и обеспечит до нового урожаю. Вот, милый человек. Другой плачет, да гонит. Нужда велит. От латышей пошло, от хуторян. Головастый народ, выдумщик.

* * *

Едем дремучим лесом. Дорога ухабистая и грязная. А дальше—сплошной кисель. Берем в об'езд, по лужам. И я с изумлением вижу, что это не лес, а форменный обман: пашни подползли к самой дороге и вековые деревья, создающие иллюзию первобытных дебрей, тянутся лишь неширокой полосой по ее обочинам. А дорога действительно убийственная. От булыжной мостовой остались жалкие следы: камни выворочены и разбросаны в беспорядке, выбоины, как медвежьи берлоги—ночью шею береги, канавы затянуло землей и поросли бурьяном. Да и не мудрено: много лет не было ремонта, а между тем по этой дороге двигались обозы и батареи—наши и белогвардейцев.

— Самая убойная дорога,—говорит Степан Федотыч,—в восьмнадцатом году красные мобилизовали у нас в волости 78 подвод, снаряды везли мы. Осень, грязища, а провианта для лошадей нет и самим жрать нечего, прямо край пришел. И солдатишки-то впроголодь воевали. Еще попервости тогда красная-то армия была. Одначе сковырнули белых.

Он рассказывает много курьезного, как красные удирали от белых, а белые от красных, как зеленые по ошибке целые сутки пластались против белых, и как красные впрах разнесли и тех и других.

— Вот тут наше орудие стояло, вот там—другое. А белые в Дубраве были притаившись,—рассказывал крестьянин.

Он свернул налево, а мы зашагали вперед. Догоняем группу подвыпивших крестьян: три парня в брюках и рыжебородый дядя—козырь на ухо. Парни, посовываясь носами, идут сторонкой и горланят с присвистом:

«Это будет после-едний решительный бой!»—но вместо удали слышится ожесточение.

Дядя идет прямиком, посреди дороги, не разбирая луж.

— Сорок семь пудов им подай... А? Нет, ты рассуди, Кузьмич... А жрать-то мне что? Околевать, али как? Э-эх!!—рванул он кулаком по воздуху и едва удержался на ногах.

Лес кончился, пошли желтобурые поля и засерела Дубрава на пригорке. Из деревни вышла толпа, завернула влево и остановилась на пашне.

— Что это плясать, что ли, вышли,—сказал парень

— Здесь не пляшут,—отозвался другой, с гармошкой.—Это поп молебствует.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Праздничная деревня.—У Филиппа Петровича.—Молодежь.—Разговоры.—Мужика надо поддержать.—Крамольные речи.—Свежая струя.—Тяга к хуторскому хозяйству.—Плясы.—Молебен.—Мы, интеллигенты...

Избы, избенки, исправные дома, часовня. Настроение праздничное. Из открытых окон веселые, взвинченные самогонкой и пивом, голоса. Ревет, как и встарь, бессмертная гармошка, вот другая, третья. Идет вдоль улицы гурьба молодежи: чистяки и франты. Это визитеры. Вот повалили в чей-то дом:

— Пожалуйста заходите,—приветливо улыбается из окна девушка и слышен стариковский голос:

— Опять ораву чорт несет.

По тропинке, между избами и канавой, наполненной грязным киселем, обнявшись за шею, идут две бороды в белых рубахах. В сущности не идут, а все время падают вперед носом и никак не могут упасть. Кисельобразные свинячьи лужи тянут их как магнит. Точно нарочно, завидя лужу, ошалело бегут к ней, приседая на подогнутых неразгибающихся ногах, бегом-бегом, вот-вот ляпнутся, но сразу—стоп, как перед пропастью два козла, и начинают пятиться отопыренными задами. Остановятся, промычат и, повернувшись нос к носу, слюняво, взасос начинают целоваться, облизывая друг друга:

— Милай...

— Ку... кум...

Вот завыписывали мыслете от избы к канаве, от канавы к плетню. Правый все напирал к канаве, левый валился на соседа и оба сразбегу тыкались бородами в чей-нибудь сарай. Из открытых окон влипли в них сотни смеющихся глаз, все на дороге остановились и замерли в ожидании. Вдруг оба кума кувырнулись вверх ногами в канаву. Вся деревня дружно грянула ядрено и заливисто, даже проходивший священник в камилавке, враз потеряв серьезность, засмеялся.

— Александр Кузьмич! Эй!

Мы оглянулись. Из окна кричал лысый темнобородый крестьянин. Благообразное, открытое лицо его приятно улыбалось:

— Заходите, заходите, гости дорогие!—и выбежал к нам навстречу.

Большая, крепкая изба на две половины: направо помещается дочь-девица, стены оклеены обоями, на комоде с зеркалом дешевенькие вазочки, пудреницы, пуховочки, духи,—разные безделушки—все как в городе; на стене—фотографические карточки, завравшиеся часишки, налево—жилое помещение, с русской в пол-избы печью, здесь старики и сын-паренек живут. Гостей целая застолица, односельцы и приезжие из других деревень.

«А ведь это питерский человек»—смотрю на одного с остренькой бородкой. Действительно, бухгалтер банка, приехавший отдохнуть на две недели к хозяину дома, своему старому приятелю Филиппу Петровичу. Очень обрадовался:

— Ну как, давно ли из Питера? Как там? Как процесс церковников? Как судьба эс-эров? Говорят, расстреляли митрополита Вениамина?

К судьбе митрополита крестьяне не проявили никакого интереса. Их вопросы были: не слыхать ли про войну, про налоги, поправляется ли Ленин, даст ли заграница золото. И в конце:

— А верно ли, будто водкой будут торговать?

Сажусь к окну и наблюдаю улицу. Выглянуло солнце и молодежь заходила табунами по селу. Недоумеваю, спрашиваю Филиппа Петровича:

— Это не городские барышни, не из Петербурга?

Оказывается, дети местных крестьян. Белые ажурные платья, белые туфли, кружева, моднейшие прически, зонтики, даже веер у одной. И совсем не деревенская грациозность движений: и жест, и поза. Чорт знает!

— Ведь у нас многие во второй ступени учатся. Которые кончили,— говорит Филипп Петрович и, высунув в окно свою лысину, показывает пальцем:—Вот эта при часах-то, с бантиком-то, Манька Фролова, с хутора, она даже на фортопьянах может. Обучают теперь. И по-немецкому, и по-французскому ребят-то наших обучают которых. Слава богу. Плохо только, не усердно.

Молодежь с тросточками, с хлыстиками, одеты форсисто, чисто. Рассыпаются барышням в любезностях, а чуть поотстанут закурить, обязательно матерщиной пустят, так, шутя, между собой.

За столом философствуют. Говорит Филипп Петрович, разливая чай:

— Наше крестьянское дело маленькое, а ежели размыслить, то—большое. Сколько нас мужиков-то в России? Санька, дай-ка календарь сюда! Кажись, сто миллионов... Да вы кушайте, лейте молока-то. Вот грибки беленькие, в уксусе отварили... Опора-то на чем? На мужике. Надо его щадить, надо хозяйство поддерживать? Надо. А для этого надо, чтоб лошади были хорошие у мужика, коровы племенные, сельскохозяйственные орудия, ссуда, агрономов чтоб больше было, да чтоб агрономы не сидели на местах, а по деревням ездили, обучали. Учить надо мужика, учить, учить! Ежели сам не пожелает, палкой по башке! Почему наше правительство не издает декрет, чтоб обязательно травосеяние ввести, настоящий севооборот, восьмиполье? Приказ—и никаких. А то мы еще сто лет на трехполье будем сидеть.

— С нас дерут только... Масло подай, хлеб подай, яйца...

— Разорят мужика совсем. Ему и не подняться.

— Вот именно, что не надо разорять. Самое время теперича поддержать его. Самое время. Раз власть укрепилась, перевороту ожидать нечего, значит надо работать.

— Да еще как!—кричит Филипп Петрович.—Эй, старуха, не пожалейка нам пивца подлить! Сколько времени баловство было, просто не желательно было и землю пахать: сколь не собери хлеба, все отымут. А теперича другие права. Мужик видит, что порядки устанавливаются, все идет по закону. Отряды уж больше, видать, не будут по деревням рыскать да грабить. Значит, работать надо во все тяжкие: давай, давай! Мужик натоско

вался по настоящей работе, не троньте только мужика, помогите только мужику!

— Они помо-о-гут,—иронически тянет подвыпивший старик. — Знаем, как они помогают-то. Давить их, подлецов, надо.

— Брось пустяки!—обрывает Филипп Петрович.—Ну, передавишь всех, ну, допустим, переворот. Дак что ж, это хорошо, по твоему?

— Известно хорошо.

— А за переворотом-то опять потасовка, опять переворот. До того допереворачиваем, что сдохнем все, как тараканы на снегу. Нет, уж раз власть эта укрепилась, и слава те Христу. Эта власть умеет командовать, умеет заставлять. Погоди, успокоится маленько, власть встанет на настоящую точку мнения, тогда посмотри, что это за власть. Это настоящая власть.

Филипп Петрович все посматривал на час. Не знаю, искренно ли говорил он. Думаю, что искренно. Гости отвечали руганью, или в большинстве отмалчивались, и что выражали их глаза под хохлатыми бровями, не так-то легко понять. Мужик держит свою душу на запоре. Он будет поддакивать вам, во всем охотно соглашаться, а чуть ушли, пошлет вас ко всем чертям с вашими высокими словами, и станет жить по-своему, хоть по-дурацки, да по-своему, как жили деды, как земля велит. Но теперь как будто начинает в'едаться в жизнь свежая струя: с одной стороны возвратившиеся пленные, ведь многие из них работали на немецких экономиях и фермах и кой-чему, наверное, научились же; с другой стороны, и это из главных главное, мужичья молодежь, потрепавшаяся в вихре революции по широкому лицу России. У них и взгляд шире—народ бывалый—и к старому укладу отвращение, у них воля и тяга к новой, красивой жизни. Но это только еще сырой материал, его надо пустить в настоящую обработку путем внешкольного образования, путем толковой газеты, книги, лекций, опытных полей. Было бы невредно наиболее толковых и хозяйственных посылать пачками за границу, прежде всего в Америку, пусть посмотрят и поучатся под руководством наших опытных агрономов. А потом... Филипп Петрович говорит: палкой по башке; я говорю: книгой, хорошей школой по душевным запросам, по зеленому полю подрастающего молодняка, детей.

— Вот, на хутор хочу уходить,—продолжает Филипп Петрович.—Нас пятеро хозяев идут на хутора.

Как здесь, так и в других местах на хутора и отруба выделяются самые энергичные крестьяне. Их давит деревня, община, чересполосица, переделы.

— Сам себе господином хочу быть, хоть на старости лет. А дети спасибо скажут. И за землей совсем другой уход будет. Я ее, матушку, как пух сделаю. Каждый камушек долой. А теперь хрен ли мне стараться? Ну, скажем, расчистил свои полосы, а на будущий год передел: моя земля к Ивану отошла, а мне камень на камне досталась.

В избу входит пастух, старый солдат, небритый, и рот провалился:

— А, полковник!..—восклицает хозяин.—Садись, садись. Это полковник наш, коровий командир. Пей-ешь без стесненья. Такой же человек.

Полковник внес с собой запах навоза и сивухи, красные глазки его еле глядели на божий свет.

— Чего хочешь, полковник: пива или самогону?

— Сначала самогону хвачу,—прохрипел тот и рыгнул.

— Брюхо рычет—пива хочет,—сказал старик, и перекусил свежепросольный огурец,—Пастухам жизнь ныне лучше, чем попу: целый возище хлеба домой увезет, яиц, масла. А осенью баранов резать будут—баранины дадут.

— А, завидуешь—давай в менки играть,—прохрипел пастух и хлопнул водки.

По улице девушки, весело пересмеиваясь, несли икону, фонарь и запрестольный крест, за ними култыхали старухи. Какой-то пьяный подлез на карачках под образ, девушки прыснули. Мальчишка поддел ногой его шапку, тот, не успев перекрестить испачканное рыло, заорал, заругался матерно.

Пришел Санька, сын Филиппа Петровича, в новом пиджачном костюме, и привел с собой человек пять сверстников. Те осмотрели меня со всех сторон, ушли.

— Это Санька мой их оповестил, узнал, что вы книжки сочиняете. Вот, любопытствуют,—сказал мне хозяин.—Санька, так?

— Так,—ответил тот, а сам улыбается и все ластится ко мне. Он переходит во вторую ступень, любит читать, но книг здесь достать негде, мечтает о том, как будет в Петербурге «обучаться на инженера».

— А крестьянство?—спрашиваю я.

— Буду пахать и инженерить. Построю мельницу. Электричество проведу.

В сенцах топот, словно кони ворвались. Это к девице, в ту половину, гости. Вскоре вошла и она, раздраженная, щеки горят:

— Бесстыжий какой этот Прошка Мореход, опять парней привел.

— Самовар, что ли?—спросила мать.

— Очень надо им брюхо-то полоскать. Давай скорей пирогов да хлеба. А селедки-то где?

— Ужо я студня положу. Пес-то их носит, прижрали все. С раннего утра. Да и завтра-то целый день. Обжоры окаянные... — ворчит старуха.

* * *

Вскоре затряслась изба и задребезжала посуда; начался пляс. Пошли смотреть. Гармошка визжит и тяфкает, как сто собак. На маленьком пространстве горницы пляшут восемь пар: и кадриль, и вальс, и тустеп, невообразимая толчея и суматоха. Прошка Мореход выделывает такие штуки, что хоть на открытую сцену в «Аквариум». Сухой, черномазый, возле уха бачки, брюки-клеш, и у пояса офицерский кортик. Он занимает в уездном городе большую должность, приехал на праздник домой, подвыпил и сни-

зошел до веселой гульбы. Но он все время на высоте положения: жесты и позы его пышут необычайным благородством, с уст летит бесконечное: «извиняюсь... извиняюсь... Ах, мерси». В вихре вальса какая-то рослая девица двинула его лошадиным задом, он торнулся головой в брюхо пастуха и воскликнул под общий хохот:

— Извиняюсь, извиняюсь...

Вот ударил ладонь в ладонь, крикнул:

— Дамы! Гранрон!.. Круг, круг, круг... Нетанцующих прошу к стенке... Дамы!

Девушки в замешательстве совались, путались:

— Танька, куда ты?.. Олечка, сюда!

— Кавалеры скрозь дам! Сирвупле... Дамы скрозь кавалеров! Сирвупле...

Он дробно перекручивал ногами, брючины, как юбки, хлестали одна другую, взлетала вверх то правая, то левая рука, и каблуки в пол, как в барабан. Изомлел, устал, да и все дышали жарко—в горнице, как в бане, он протискивался сквозь густую толпу зевак, заполонившую все сенцы, и, помахивая в лицо надушенным платком, говорил своей свите:

— Мы, интеллигенты, в городе развлекаемся в танцах таким манером: во-первых, — на эстраде духовой оркестр... Потом...

А в другой половине, под рев гармошки, батюшка служил молебен, отчетливо и не торопясь. Подвыпивший дьячок, привалившись плечом к окну, рявкал благим матом, и уж не мог креститься. Набирался народ, старики и молодежь. Пастух рыгнул оглушительно и перекрестился. Старик сгреб его сзади за опояску и выбросил за дверь. На столе—вода и ржаной каравай. Священник освятил хлеб и воду. Стали подходить к кресту.

— А там веселятся?—спросил он.—Ну, ничего, ничего, дело не злое. Молодежь. Ничего... Лишь бы не ссорились.

— Батюшка, отец Кузьма,—сказал хозяин.—Не смею утруждать вас водочкой, знаю, что не употребляете... Чайку.

— Тороплюсь, Филипп Петрович, тороплюсь... Ах, вы из Петербурга?—обратился он к нам.—Ну, как там живая церковь? И что это за живая церковь? Ее принципы, каноны? Ересь, наверно. И что ж вы не защищали свою матерь, старую апостольскую церковь Христову?

— Я никаких церквей не признаю, батюшка,—сказал агроном.

— Ваше дело, ваше дело. И за это осуждать нельзя. Бог и вне церкви живет. Но во что-то-нибудь вы веруете?

— Верую. Даже хотел побеседовать с вами.

— Ах, очень рад... Как же это... Ну, вот что... Вечерком, перед от'ездом, я буду у Кузнецова... Вот там.

Когда он проходил мимо окон, освежавшийся танцор демонстративно повернулся к нему спиной и громко сказал свите:

— Мы, интеллигенты, религию отвергаем в корне. Даже для нас смешно. Коммунизм и религия — два ярых врага. Правило гласит: религия есть опиум.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Праздник продолжается.—Пирушка.—Местная знать.—Религиозное прение.—Прокатный пункт.—Питерский педагог.—«Это правительству надо твердо помнить».—Свистун.

Вечером мы сидели у зажиточных крестьян, братьев Андрея и Петра Дужиных. Огромный стол, диван, шкафы, комод, взбитая барская кровать под великолепным одеялом, меж стеной и комодом целый взвод бутылок с самогонкой. Хозяину, Андрею, очень удобно—нагнется, не вставая, и—за горлышко. Он рядом со мной, в жилетке, молодой, безбородый крестьянин, с льняными, по-городски стриженными волосами. Выпивши. Да и вся застолица, человек десять, на сильных развезях. Шумно, говорят все разом, не говорят, а кричат. Один уткнулся головой в стол и похрапывает, другой примостился спать на табуретке: голова мотается, а сам, как каменный. В ухо мне Андрей гостеприимно бубнит одно и то же:

— Да ты пей... Самогонки много... Сорок две бутылки сготовлено. Кушайте.

Только выпил—опять готово:

— Кушайте.

Выпил и не успел усов обтереть—к самому рту:

— Кушайте... Не огорчайте.

Тогда мы с агрономом решительно отодвинули стаканчики.

Пьяный гость оторвал от стола голову. Хозяйская угостительная рука не дремлет:

— Пей, кум... Пожалуйте.

Бородатый кум бессильно разевает рот, Андрей ловко опрокидывает ему в рот стаканчик. Кум проглотил, открыл глаза и на смерть закашлялся:

— Сы... сы... сы-ыт...

А гости уходят, приходят новые, еле можаху, и как стеклышко, пьют, уходят, приходят, ползут от стола на карачках.

— Братейник, скажи, чтоб пива!

— Эй, хозяйки! Кто там... Пива-а!

Вот кампания молодежи: три барышни и три кавалера—нельзя иначе назвать—прямо из столицы. Кто такие? Приезжие? Нет, с хуторов, свои же, богатые хуторяне. Молодежь, мужчины, конечно, пьет самогонку восхитительно и закусывает пивом. Заинтересовала меня барышня, рыжеватенькая и модница, в белом кружевном платье, заметьте: в белом. Золотые часики, брошки, браслеты, серьги. Горит и трясется все. Сколько-то пудов муки, крупы и масла уплыло за них в город? Вот она упорхнула и вскоре явилась в голубом, мастерски сшитом платье. А ночью, когда я вновь забрел сюда, она гадала с подругами на картах, в черном шерстяном платье. Она ли? Она. Узнаю от старших: ищет жениха, показывает наряды.

Рядом со мной бывший торговец, местный крестьянин. Лицо его энергично, с широким лысым лбом и коротко стриженой бородою.

— Поговори-ка, поговори с ним... Бывалый человек,—толкает меня под бок хозяин.

— На Шпалерной три месяца гнюили. Выпустили. А спрашивается, за что? Да они и сами об'яснить не могут,—кому-то кричит торговец.—Дурачье! За то, что торговлю завел, что работал день и ночь—сгребли да в Питер... Нешто можно без частных купцов государству процветать?.. Идиоты!

— Нет, ты об'яви всем, кто навещал-то тебя? — кричит ему черный, весь в кудрях, черноусый человек, кудри с проседью, лицо пьяно, похоже на мопса, и в ухе серьга. Я принял его за румына, но он оказался чистокровным евреем—Исаем Ароньичем. Он—когда-то богатый купец с соседней большой станции. Его в прах разорила революция, все было разбито в щепы и разграблено. А семейство—восемь человек детей.

— Кто навещал тебе в тюрьма?—кричит он с акцентом и, прищурив левый глаз, замысловато трясет головой.

— Ты, ИсайАроныч, ты,—отвечает торговец.—Спасибо, брат.—И, обращаясь ко всем, тычет в него пальцем.—Братцы! Вот самый этот еврейской породы человек, еврей...

— Жид!..—перебивает Исай Ароныч.—Пархатый жид...

— Этот самый пархатый жид, а дороже он мне родного.

— А-а-!—победно кричит еврей.—А сын тебе навещал?

— Навещал. Старший который. Спасибо, был разок.

— Пускай себе будет так. Зачем благодарить? Это его обязанность. Это долг,—его палец летит вверх.—Долг!..—и безнадежно:—ни черта вы, мужики, не понимаете.

— А больше никто. Ты один в Питер приехал, пропитанья мне привез...

— А-а-а...

Торговец говорит мне:

— Когда Исайка голодал с семьей, я помогал ему, а то сдох бы. Хороший жид, верный.

Напротив меня латыш-мельник. Борода четырехугольная, рыжая и щеки—два красных под глазом кулака.

— Дорого, Мартын, за помол дерешь.

— Какой дерешь! Никогда моя не дерешь. Что надо, — возмущается тот.

— Дорого... Скинь.

— А мельниц наладить дорого, дешево? Скольки труда, уметь нада, вот тут, головам иметь. Ха-ха-ха.

— Пей, Мартын, не слушай, пей.—Пьяная рука расплескивает самогонку на тарелку латыша.

— Зачем селедка поливайт? В рот нада!

— Стой!—хозяин чиркнул зажигалку и к тарелке. Самогонка синим огнем—пых!—затрещала у мельника борода.—Видал?—закричал хозяин.—Вот какая самогонка. Товарищ председатель, видал? Как спирт. Нет, ты в рот мне загляни. Лоскутья лезут.—И, весь изогнувшись, подставляет широко

открытый рот прямо к носу председателя волисполкома. — Крепость — страсть...

Вдруг тенористый голос в соседней комнате и к нам:

— Живой! Живой! Живой пришел! Эй, вы!.. Я—живой!

Шустрый низенький старичонка, в черном пальто и козырек фуражки к уху, прыгал от гостя к гостю и кричал:

— Эй, вы! Живой пришел... Я—живой.

— А мы мертвые по-твоему?—смеялась у дверей хозяйка.

— Живой!.. Фамилия Живой... Пасечник... Живой... Фамилия Живой... Эй, я Живой... Живой! Гуляй, Живой!..

Он, в сущности, не кричал, а трусил, но так суетился и скакал и, как градом, поливал словами, словно рота солдат бросилась на нас в атаку и закидала бомбами. Все оцепенели, сразу стало тихо, но вдруг задрожала изба хохотом:

— Братцы, да ведь это Живой, пасечник!

— Садись, Живой.

— Пей, Живой!

— Я Живой, а вы мертвые... Эй вы! Я Живой.

Он все еще топчется, помахивает длинными рукавами, наскоро глотает самогонку, самогонка течет по коричневой с желтым бороде, лик постный.

— Эй, Живой! Много ли меду снял?

— Двац пудов, триц пудов, сорк пудов. Я Живой, пасечник. А вы кто? Эй, Живой пришел!

— Ко мне в улей две матки попало. Как быть?

— Ккой сстемы улей? Надо знать... Живой скажет. Живой все знает... до свиданья.

— Песню давайте...—громко предлагает председатель. Это коренастый человек, с большими, как у вахмистра, усами. Выпивши, но держится бодро, моментами напускает на лицо грозу: белые брови тогда слетаются вместе, и глаза ищут жертвы.

— Товарищ Тараканов, кушайте... Товарищ Тараканов, очень большое утеснение с налогами.

— Товарищ Тараканов, ублаготвори ты мне тот клинышек-то, земельку-то... Я б те отблагодарил...

— По закону, все будет по закону... Давайте, споем...

— Товарищ Тараканов, ты у нас с братом семьдесят десятин отобрал, а кому отдал?..

— Кому следует... По закону.

— А-а, по закону... А откуда это у тебя серый-то жеребец об'явился?.. Тоже по закону?

— «Вни-из по ма-а-атушке-е-е по Во-о-ол...»—замахав руками, сердито начинает председатель.

Сначала вяло, потом погуще подхватывают, и всем столом ревут козлами песню. Бросили, начали другую. Бросили.

— Революционную! Давайте революционную... Ага, не знаете, не любите?..

— Пей! Товарищ Тараканов, кушай.

— Не хочу,—встал и пошел к выходу.

За ним высокий молодой крестьянин:

— Тараканов, навести меня.

— Не хочу.

— Ну, зайди, ну, ненадолго... Хоть одну рюмочку, желательно очень угостить. Товарищ...

— Не хочу,—и вышел.

— Сердится,—сказали крестьяне.—Не выйдет твое дело...

— Выйдет... Еще как выйдет-то. Я знаю, чем взять его.

Между мною и хозяином втерся большой белобрысый, толстогубый и толстоносый парень. Было темно. Хозяйка зажгла лампу-молнию под потолком. Парень орет мне в ухо:

— Лешего два, чтоб я опять пошел в милицию... Нашли дурака.

— Лёшка! Зовут? Да?

— Зовут. Нашли дурака... Эвот у Васьки Улана наган, и у прочих наганы. Поди, разоружи их... Тараканова хотят стрелять.

— Кто? Где?..

— ИсайАроныч, милай... Пей!

— Я жид!.. Пархатый жид... Кто громил меня? Мужики громили.

— Жуликов поймаешь, а город выпустит... Этак самого убьют... Нашли дурака. Ха, служи...

— Зачем выпускают?

— Знамо, зачем. За взятку.

— Эй, Мавра, дай-ко пива!

— А ежели мазуриков выпускают, мы своим судом,—сказал хозяин.— Бац-бац—и готово дело. По-мужицки.

С улицы доносились свист и крики.

Мы пошли к Кузнецову. Нас провожал двоюродный брат председателя:

— Братейник богато живет. А чего ему не жить, всего натащут. Вот теперь на хутора народ бросился, всякому охота получше землю оттягать. Вот его и мажут. А кто не даст, и в болоте просидит. Да мало ли делов у нас. А и не взять нельзя, раз само в рот плывет. Кого хошь посади. Ежели человек с башкой...

— А крестьяне дружно живут между собою?—перебил я.

— А вот как дружно. Вот, говорит... Это Тараканов мне говорит, братейник, то есть председатель... Вот, говорит, Шурка, ты рот-то на сходках поуже держи, а то ушей много у меня. Хочешь, для испытания? Хочу. Тогда ругай меня на сходке и власть ругай, я ничего не сделаю. Я, значит, и вошел в откровенность, то есть на сходе: обкладывал почем зря. После, через недельку повстречались с ним. Он мне, как по пальцам: ты то-то говорил, то-то говорил, а тебе отвечали так-то. А на сходе все свои, самосильные хозяева были. Вот народ какой.

Мимо старух и баб в чистых платочках, мы прошли в заднюю комнату. Маленькая лампа освещала скупо, еле разглядишь, кто сидит за круглым большим столом.

— А-а, вот они... Наконец-то...—Это поднялся священник и вновь сел.— А мне, к сожалению, ехать скоро.

Я поместился между хозяином, радушным румяным стариком и дремавшим псаломщиком.

Рядом со священником здоровецкий старичина. Голова серой копной, маленькая бороденка, жирные щеки полезли книзу, губы толсты—такими губами трудно говорить—он пьет самогонку молча. Редко-редко влепит ядовитое словцо. Звать его—Пров.

Священник сразу же вцепился в агронома. Но хозяин мешает мне слушать: жалуется на налоги,—это не налоги, а погибель в двадцать раз больше, чем при царе, ежели и на будущий год в такой мере—крышка мужику.

— Я не зря тебе толкую, милый человек. Пропечатывать надо. Со смыслом, мол, бери, сообразуясь. Ежели овцу стригут, шкуру не спущают: а то сдохнет.

Краем уха ловлю:

— Не даром же великие умы ходили в Оптину пустынь: Достоевский, Толстой, у старцев правды искать,—говорил священник.—А теперь у кого правды ищут? И кто?

— Вот вы говорили, что ваша церковь зовет к себе всех,—сказал агроном, и черные умные глаза его уперлись в елейное лицо священника.—А Толстого вы приняли бы? Лично вы?

— Ежели б раскаялся—принял бы.

— Тогда это не Толстой был бы. Нет, а вот грешного, отрицающего церковь, еретика, которого мы чтим, приняли бы вы?

— Нет.

— Так где ж в вашей церкви свобода, о которой проповедовал Христос?

— Партию свою и то коммунисты чистят,—возразил священник,—а вы требуете, чтобы пустили в стадо волка. Для чего его пускать? Чтоб он церковь разрушил окончательно?

— Батюшка, что вы говорите,—улыбнулся агроном.—Значит, ваша церковь так беспомощно слаба? Вы боитесь критики, да?

— Ерунда!—сиплым басом гукнул Пров.

— Вот дедушка, Пров Степаныч, что-то хочет сказать, — улыбнулся священник.—Ну-ка, ну-ка, как на твой смысл?

— Ерунда,—еще раз хмуро сказал Пров, корявый, как пень, и выпил.

Пришла закутанная в шаль баба с кнутом:

— Батюшка, пора ехать.

— Сейчас, сейчас... Ступай, Маремьянушка, я выйду сейчас.

Он заговорил о неустройстве современной жизни: все сдвинулось со своих вековых мест и блуждает во тьме. Крестьяне, в особенности молодежь, нравственно распоясались и стали дерзки. И нашему крестьянину нет

никакой поддержки со стороны: школ мало, учителя неважные, культурных начинаний не видно, интеллигенция отсутствует.

— Батюшка,—перебил его агроном.—А ведь священник мог бы принести народу, а следовательно, и государству большую пользу.

— Да научите, как? Ведь мы же прижаты новой властью к стене.

— А-а, прижаты?—злорадно шевельнул Пров губищами.

— Да, прижаты,—покосился на него священник.—Чуть не так рот раскрыл и—неприятность. А кроме того, нынешнее государство желает существовать вне религии... Дак как же прикажете влиять на жизнь?—и батюшка недоуменно развел руками.

— А вот как,—сказал спокойно агроном.—Я сам крестьянский житель. И знаю, что мужик обрабатывает землю не по-настоящему, он обращается с нею, как последний хищник, он не любит землю. И ваша обязанность заставить мужика любить ее. Понимаете ли, заставить!—глаза агронома загорелись, и голос звучал убежденно.

— Но как, как?

— Проповедью. Да, да, не удивляйтесь. Проповедью, с церковной кафедры. Раз'яснить темному уму, что труд должен быть осмыслен, опоэтизирован, что такой труд не проклятие, а подвиг, а высокое назначенье человека. Вы должны возвести труд в принцип всей жизни, да не всякий трудишко, не всякое ковырянье земли сохой—лишь бы сам был сыт,—а настоящий труд, чтоб зацвела вся земля, чтоб...

— Ерунда!—перебил Пров.—Я церковный староста. Во многословии нет глаголания... Аминь, рассыпься!—и выпил.

— Пожалуйста, я слушаю, нуте-с,—сказал священник, прихлебывая чай.

— А заставить крестьянина вы можете так. Вот, скажем, пришел к вам на исповедь Петр. Исповедовали и говорите ему: вот что, дядя Петр. У всех нынче хлеб уродился хорошо, у тебя плохо, ты без любви, без толку обработал землю, ты согрешил. У всех был засеян клевер, ты хоть и мог засеять, не засеял, ты согрешил. Поэтому нет тебе причастия.

— Тогда этот самый Петр к другому батюшке обратится, а то скажет: ежели не хочешь, так наплевать,—возразил хозяин.

— Это во-первых,—заметил батюшка.—А во-вторых, я не могу этого сказать, это не канонично. А проповеди я говорить буду. Вашей идеей воспользуюсь. Мне это нравится.

— Вот-вот. Внушайте, что нерадивое обращение с землей, или нежелание улучшить породу скота, или устройство плохих изб, холодных хлевов, неряшливая жизнь, неопрятность и так далее, все это—большой грех. Поверьте, что ваш голос дойдет до мужичьего сознания скорей всего: ведь это не газета, не брошюра, не агроном, а сам батюшка, именем Бога, во храме говорит. Это дороже всяких акафистов, этим вы исполните весь закон и пророков. А потом...

— Ерунда,—опять гукнул захмелевший Пров.

— Что? Ну-те-с...

— А потом мужик и без вас будет любить землю, станет эксплоатиро-

вать ее разумно. Заставят обстоятельства. Как? Да очень просто. Тысячу лет жил он свиньей, рабом. Потребности были у него минимальные. А теперь, он нюхнул культуры, хотя бы в виде вот этих часов, этого зеркала, этого пианино. И чтоб все это не уплыло у него из рук, он волей-неволей должен будет улучшать свое хозяйство. Потребности его будут постепенно возрастать, и он силою железного закона выжмет разумно из земли все, что она может дать. И наш мужик не отстанет от своего собрата-датчанина. А может быть, и превзойдет его. Я верю, крепко верю в русского мужика!—закончил агроном.

— Веришь?—вскричал Пров.—Ох ты, отец родной, дако-сь я тебя поцелую,—он было полез, перебирая руками по столу, и потянул за собой всю скатерть. Подскочил хозяин, усадил:

— Сиди, кум, сиди.

— Вы верите,—сказал священник,—а я не только верю, но и люблю, всей душой люблю мужика.

— Врет, ей Богу, врет,—пробурчал Пров.

— Кум! Нехорошо.

— Ничего, ничего, я не обижаюсь.

Вновь вошла баба с кнутом.

— Сейчас, сейчас, Маремьянушка.

И стал прощаться.

— Ах, как жаль, не удалось поговорить-то. Да заезжайте, ради Бога, ко мне. Рад буду вот как. Вот вы говорили о сельскохозяйственном товариществе в нашей волости. Я с удовольствием войду в правление, но при условии самой активной работы. А ежели вроде мебели—слуга покорный. А, скажите, власти в дела общества вмешиваться не будут, коммунистов не назначат туда?

— Эти товарищества совершенно самостоятельны и автономны,—ответил агроном.

Пров, пошатываясь, подошел под благословенье, и когда священник с псаломщиком скрылись, он сказал:

— Кутья прокислая. Ограбил меня с сестрой. Отец, покойна головушка, передал ему на храненье пятьсот рублей и приказал после своей смерти мне отдать. Ну, поп не отдал. Зажилил.

Мы удивились: по виду священник показался нам доброй души. Хозяин раз'яснил, что денег у крестьян пропало много: зажиточные крестьяне в банк денег не клали, а давали на хранение доверенным людям: торговцам, врачам, учителям и, в особенности, священникам. Те, известное дело, пускали их в оборот. С тем крестьяне и давали. А тут революция подоспела. Другой бы и готов возвратить, а нечем.

— Вот, может статься, также и отец Кузьма,—закончил хозяин.—Он и школу при церкви строил каменную, исхлопотал средства. Может, часть туда ушла. Нет, чего зря толковать, хороший поп. Только вот что, ежели надумаете к нему итти, не ночуйте у него и не обедайте. Лучше у Пахома Ильича остановитесь, крылечко синее на столбиках.

— Почему?

— Бедно живет отец-то Кузьма. Семья большая, а доходы теперь— тьфу! Да он и не вымогатель—кто что даст.

Ночь темная, и по дороге грязь. Пробирались со спичками. В том конце шумели, а где-то по близости, может быть, из канавы, звонко покрикивал знакомый голос:

— Живой... Я Живой!.. Пасечник... Фамилия—Живой. А вы мертвые!

Мы ночуем на чердаке у братьев Дужиных. Белоусый Андрей давно спит возле печного борова. Чердак высок и просторен. Спят в разных углах и по середке человек тридцать. Раздается дружный храп, мычанье и сонный хохот.

Нам постлан мягкий сенник, чистые простыни и подушки. Да и прочие не на голом полу. Очевидно, сенников и подушек с одеялами у хозяев целый склад.

* * *

Утром Кузьмич осматривал так называемый прокатный пункт. Эти пункты—мера дореволюционная. Они разбросаны по всему уезду. И теперь в плачевном состоянии.

Жнейка, молотилка, две американских бороны.

— А где же сенокосилка и третья борона?—проверяя по списку, спрашивает Кузьмич крестьянина, которому был поручен пункт.

— А их Терентьев взял.

— Под расписку?

— Нет, так. На доверие.

— От Терентьева на мельницу увезли,—говорит другой крестьянин.— У мельника и стоят. Косилка сломанная вся.

— Ничего не у мельника. Грибков Степан взял,—возражает кудрявый парень.

— Ври!

— Вот-те ври.

— А кто же ремонтирует?

— Да никто.... Оно, конечно, ежели пустяковая поломка, то сами, гайку, к примеру, болт. А то средств нет, да и не смыслим. Ране, бывало, до революции, инструктор наведывался.

— А на прокат часто берут?

— Часто. Да вот и сегодня за молотилкой поп приедет.

Агроном приказывает, чтоб к следующему его приходу все имущество было отремонтировано за счет прокатчиков, это может сделать кузнец из Доможирова, выдавать только под расписку, принимать обратно в исправном виде, починить сарай.

— Эх, Кузьмич, вам хорошо приказывать, а что ж я дарма буду стараться-то. На сам-то деле...

— А я тебе вот что скажу. Я не дешевле тебя стою, да вот служу почти

задаром, жалованья—грош, да и то неаккуратно, а хожу по своей епархии пешком, сапоги треплю, не хнычу. Теперь у нас новый порядок, строится новая жизнь, новая Россия. Надо привыкать к общественной деятельности, надо не только себе, а и обществу своему быть полезным. Пора бросить по старинке-то жить: моя, мол, хата с краю. Правительство теперь в средствах стеснено. Вот разбогатеет—новые машины вам пришлет, инструктора будут. А в заключение вот: если мои условия не будут выполнены, я пункт переведу в другое село, к более энергичным людям. Так и растолкуй крестьянам.

* * *

Зашли к Филиппу Петровичу проститься. Он ушел в поле. Узнаю от хозяйки: мой табак, четверку, украл кто-то из гостей. Да табак—что! У питерского гостя украли часы, положил на комод в той горнице, где вчера пляс был, ну и тилиснули.

— Не приведи Бог, какой вор народ пошел,—заключила хозяйка.

Брызгал дождь.

— Куда в такую погоду пойдете. Садитесь-ка, попейте чайку,—пригласила она.

За столом гости: учитель из соседнего села с женой. Он молодой человек с усиками, в стоптанных башмаках и обмотках. Сразу же стал расспрашивать меня о теории относительности Эйнштейна, о новых идеях Шпенглера. Он—естественник, бывший преподаватель гимназии в Петербурге. Здесь живет третий год. Жена тоже учительствует.

— Боялись умереть в городе голодной смертью. Здесь все-таки арендуем огород. У жены—коза, кролики. Кой-как бьемся. Жалованье нищенское, высылают неаккуратно. Вообще, на нас, учителей, правительство никакого внимания не обращает. Почему—неизвестно. Отсутствие средств? Но ведь и царское правительство отыгрывалось на этом козыре. Как можно держать народ во тьме? Надо воспитать подрастающее поколение, чтоб оно за совесть, не из-под палки только, могло удержать в своих руках республиканский строй. Чем, какими силами будет возрождаться страна? Где живые силы? На фабриках? Но рабочих—горсть в сравнении с крестьянской массой. Сила России в темных мужиках. А тьма—есть бессилие. И если с первых дней революции не было обращено никакого внимания на деревню, никакой заботы об ее моральном росте, так необходимо это начать немедленно. Иначе все может оказаться иллюзорным: со стороны посмотреть—крепко, хорошо, а дунет ветер—все разлетится, все повалится. Это правительству надо твердо помнить. И только хорошая школа может выработать из мужика, из погрязшего в невежестве рутинера—настоящего гражданина. Так пусть дают школу, пусть дают школу, чорт возьми!

— В столицу не думаете перебираться?

— Боюсь. Годик еще пробуду здесь. Хотя страшно скучаю по городу. В особенности жена. Нашу школу закрывают, меня переводят в другую.

— А почему вашу закрывают?

— Средств нет. А мужик не дает. Вообще, существовать нашему брату трудно. Один учитель остался не у дел, опухать с голоду начал, пошел по бесшкольным деревням, уговаривать мужиков, чтоб отдавали ему ребят учить. «Вот у меня 20 ребятишек набралось, давайте мне по 3 фунта муки в месяц. Согласны?»—«Согласны. Много ли три фунта».—И ты, Силантий, согласен, и ты, Петр, и ты, Степан?»—«Сказано, согласны».—Ну вот, распишитесь,— и бумажку сует. Э, не тут-то было. Хоть бы один расписался. Бумажки, подписей, как огня боятся. «Знаем мы, чем это пахнет». Вот какой народ.

Словоохотливый учитель проговорил бы до вечера, но пришел Филипп Петрович весь в дожде, хоть выжми. Он ходил осматривать свой будущий участок, хутор.

— Каждый день, дождь не дождь, а все на землицу полюбоваться сходишь. Ну, прямо тянет, как родная мать.

— Из вас толк будет,—сказал агроном.—И вас полюбит земля.

— А ясное дело!—воскликнул Филипп Петрович, выливая из сапога воду.—Нешто она не чувствует, кто за ней ходит-то? Врут, что земля есть мертвый прах, вроде стихеи. Она живая! Да и все на свете дышет потихохоньку. Эй, мать!—крикнул он жене.—А я выбрал-таки местечко, где дом ставить будем. Такой пригорочек, понимаешь, все, как на ладошке, все концы. А окнами на солнечную сторону повернем. Я все распланировал: где колодец, где пасека. Я пасеку хочу. Живой тут есть такой... Ох, деловой старик. А погулять любит... Иду сейчас, а он ползет на карачках вдоль забора, ползет, пятнай его, а бормочет: «хоть ползу, а Живой». Да, братец мой, да. Надо работать, работать надо. Всем в уши кричу: «Работать!».

Вдруг за окном, возле нас, зафыркал, зашипел паровоз, загрохотал поезд. Свисток, и поезд стал. Вслед за этим раздался хохот ребятишек:

— А ну, дедка, еще! Свистни. Ну, как соловьи. Дедка, свистни...

И в избу вошел обтрепанный беззубый старикашка, за ним—стая детворы.

— С праздничком! Полковнику выпить. Возрадуйся, плешивый, над тобою благодать, во всю голову плешина, волосинки не видать!—Он обнажил лысую голову и ударил в ладонь шапкой.

— Это из соседнего села пастух, тоже на праздник к нам притащился,— недружелюбно пояснил нам хозяин.—Посвисти соловьем, потешь ребятишек-то.

— Свистни, дедка, свистни!

Дед закрыл гноящиеся глазки, приставил к губам пригоршни и раскатился соловьиной трелью. Он насвистывал, треныкал, щелкал с изумительным искусством. Дорого дал бы Станиславский за такого соловья. Дед выпил самогонки, прикрякнул уткой и принялся рассказывать разные побаски и присказки. Большинство их нецензурно, но детвора, старухи и даже учительница покатывались со смеху.

— Птицу я люблю, лес люблю, цветы,—шамкал старикашка.—Хорошо на божьем свете... Ей-бо. Я, бывало, соловьев лавливал...

— Дедка, расскажи еще чего-нибудь, дедка! — приставали ребятишки, утирая заплаканные хохотом глаза.

— Фють!—свистнул дед, притопнул ногой и встряхнул лохмами на рукавах.—Нну! Жила-была деревня на возрасте лет, жил в этой деревне старик с мужем, детей у них не было, только маленькие ребятишки...

— Ха-ха-ха!..

— Вот чем пробавляется наша детвора,—грустно заметил учитель. Дождь кончился. Мы двинулись дальше.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

«Только власть марает».—Деревня Дядина.—Заграничная кепка.—Еще о педагогах.—Небывалое событие.—Наши и ваши.—Войнишка.—Белые и красные.

Праздник выдыхался, но пьяные все еще попадались. Нас обгоняли на подводах возвращавшиеся домой гости. Вот важно прокатил председатель волисполкома. Про него случайный попутчик наш, молодой крестьянин. не так давно возвратившийся из германского плена, сказал:

— Тоже называется—председатель. В тюрьму бы его, подлеца. Только власть марает. Взяточник, пьяница, ругатель. Да вот вчера... Нажрался ночью, парни стрелять в него хотели, а, может, постращать по пьяному делу. Он в пустую избу забежал, да под кровать. А двое милицейских легли на брюхе, в избе же, вроде охраны, и револьверы направили в дверь. Дверь, конечно, на крючке. А парни в сенцах тоже на брюхе лежат, и револьверы тоже в дверь уставлены. Да так все и уснули. Потом утром все вместе выпивать пошли. Не знаю, врут ли, нет ли. Сват мне сказывал, Павел.

— За кой же чорт такого выбирали?

— Да ведь народу-то подходящего, понимаешь, нет. Отказываются. «Что ж, говорит, выберут, а потом начнешь по декретам твердо требовать, ну, скажем, налоги собирать, сколько врагов наживешь. Еще убьют. Нет уж, подальше, Бог с ней, и с должностью». Так все и отказываются. Вот в нашей волости выбрали мужика замечательного, город не утвердил, не коммунист, дескать, своего кандидата поставил. А какие в деревнях могут быть коммунисты? Мы это плохо понимаем, политику. Наше дело: на земле сиди.

— Что же вы не жалуетесь?

— Да кому? И кто жаловаться-то будет? Народ у нас робкий. Вот только разве подвыпьют, пошумят чуть-чуть. Ежели в газеты статью без подписи—не примут. В Питер с жалобой итти, не допустят, куда надо. В открытую ежели ссориться с председателем—со свету сживет. Мало ли к чему можно придраться. Живо заберут.

Все хмуро, буднично, серо. В небе ползут рыхлые облака, холодный ветер проносится полями, за лесом видна спущенная в наклон с косматых туч кисея дождя.

В шести верстах от нас сгрудилась в полугоре деревня Дядина. В ней будем ночевать. На коричневых пашнях торчат, как бородавки, кучи навоза.

Здесь брошен плуг, там борона. Пустынно. Дождь и праздник обезлюдили поля. Но какой же это праздник, когда нет солнца! День продолжается, иль вечер наступил—не разберешь. Кругом серо, тоскливо. Вот заплаканная березовая рощица. О чем с ветром говорит шумящая листва? Об осени? О том, что вот там, направо, журавли летят? Дорога непролазна. Идем стороной, мокрыми лугами. В сапогах жмыхает вода. Холодно. Скорей бы в избу. На самой вершине молодой елки насмешливо стрекочет сорока. Ей безразлично, с кем ни говорить: с елкой, с облачком, с пропищавшим комаром. Но городскому человеку среди деревенского печального безлюдья—смерть.

Дядина. Остановились в доме зажиточных крестьян, родственников агронома.

Зажигается лампа, кипит самовар, и мы облекаемся в теплые валенки, принесенные радушной хозяйкой.

Благообразный старик-хозяин, с умным задумчивым лицом, сидит под окном. Рядом с ним, дымя махоркой, Кузьмич. Беседуют. Молодуха снует взад-вперед. Вот притащила березовое полено и сдирает бересту.

— Побольше завари бересточки-то,—говорит старик,—а то живот стал маять: понос.

Молодуха наложила бересты в большой чайник и залила кипятком.

— Бересточки и я выпью,—сказал Кузьмич.—А помогает ли?

— А вот увидишь. Как рукой.

На празднике, в Дубраве волей-неволей нам пришлось сделать серьезное испытание желудку: жареные, соленые и маринованные грибы, молоко, селедка, самогонка, огурцы. Поистине—ударно. Действительно, вместо чаю, настой бересты с молоком сделал чудеса.

Муж молодухи, вошедший к ней в дом из соседней деревни,—сельский учитель. Сухой и безбородый, светлые усы щеточкой. Его в прошлом году придавило бревном на вазке леса, но отдышался, теперь на поправке, чуть покашливает. Рассказчик он великолепный: наблюдательность, память на позу, на сочную фразу. Он раньше учительствовал на Мсте, я тоже в юности живал в тех местах, и мы предаемся воспоминаниям. Зовут его—Дмитрий Николаевич.

— А вот в нашей деревне, на Мсте, расскажу я вам, такой случай был. Сижу я весной возле избы, подышать вышел. Вдруг подходит ко мне в белом балахоне человек, на голове кепка с пуговкой, а за плечами мешок. По физиономии видать—не русский, брови с напуском и взглядом колет. Поздоровался и говорит: «Обошел, говорит, я десять дворов, просил дать мне для научных опытов десятину земли. Я сам вспашу, посею—зерно мое, вот в мешке—и весь урожай будет хозяина земли. Не дали. Никак не мог уговорить. Может быть, вы дадите мне?» Я посоветовался с хозяевами, уговорил их. Дали. Он обрадовался, стал благодарить. «А то, говорит, полное разочарование в русском мужике. Страшный, говорит, рутинер, старовер. Я, говорит, вот седьмой год хожу по разным губерниям и наглядно обучаю крестьян. Они ж дети! Их надо носом тыкать во все. Их надо приручать как-нибудь ласковым словом, примером, делом, опытом». Ночевал у нас, а на другой

день пахать поехал. Вспахал, разбил на маленькие участочки, по-разному удобрил: и калием, и азотом, и фосфором, а один участок—всеми этими снадобьями вместе. «Это составные части навоза», говорит. На каждый участочек укрепил дощечку с надписью. Ужасный чудак. Мужиков сошлось много на его работу смотреть. Подробно об'яснял. И сеял по-разному, и пахал, и боронил—каждый участок на особый лад. И все это прописывал на дощечках. Дощечку к палочке прибьет, и в землю. А с картошкой ужасно мудровал: он ее и на аршин в землю зарывал, и на поверхность, и глазком садил, и одну кожуру. Обчистит ножичком, да в котелок: «это, говорит, мы изжарим. А кожуру в землю». Мужики на смех подняли. А кепка одно твердит: «ждите осени». И действительно, стало под осень подходить, ахнули мужики. Яровые ему—то под бороду, то по пояс, то ниже колена. И колос разный, на каждом участке свой. Подвел нас к самому скверному участку—«вот, говорит, это по вашему способу посеяно». Действительно, видим—урожай точь-в-точь, как у нас—самая дрянь. Тут-то мы и догадались, в чем сила земли. А надо сказать, что семенами он засевал крестьянскими, свои сменял, чтоб не было разговоров каких. Об'яснил все, как следует, растолковал и дощечки оставил, и участок оставил, попрощался и ушел неизвестно куда. Вот она кепка-то какая. Мужики думали, что колдун, с нечистым снюхался. А потом принялись по его указанию заниматься. На другой-то год совсем неузнаваемо у них стало. А с них и другие начали пример брать. Так и пошло. Писали мне, что нынче не только весь налог выплатили, а и в продажу много хлеба пустили. Вот оно, что значит заграничная кепка-то с пуговкой!

— Эх, кабы такую кепку да к нам теперь залучить!—вздохнул старик.

— А какого вы мнения об учителях, приехавших из Питера?—спросил я.

— Да как вам сказать,—задумался Дмитрий Николаевич.—Конечно, у них специальность большая. С нашими никак невозможно уравнять. Но... уж очень корыстные люди. Обращается к ним крестьянин, прошенье ли написать, за советом ли—обязательно требуют платы. За ученье, тоже самое, вымогают. А помочь мужику так, для идеи, они не желают. Словом, пришлый, чужой народ.

— А ты, Митя, по справедливости рассуждай,—сказал старик.—Нешто можно шибко ученого человека с нашим учителем сравнить? Он все знает, а начнет рассказывать—сразу свет в глазах сделается у тебя. Вся подноготная ему известна. А наш учитель что... Наш учитель, можно сказать, вроде нас, темный. Другой что и знал-то, так забыл.

— Да-а-а,—скептически протянул и агроном.—Когда правительство отказало давать пайки учителям и предложило сельским обществам взять учителей на свое иждивенье, крестьяне созвали сход. Были приглашены учителя, и я присутствовал. Наши, местные, чтоб подладиться под мужиков, повели двойную политику. Они говорили примерно так: «Конечно, учителю надо кормиться, но и на крестьянина особенно-то уж налегать нельзя». Учителя же приезжие, с высшим образованием, те требовали определенно и

ıстойчиво: паек! И от своих требований не отступались. Почему? Как думаете, Дмитрий Николаевич?

— От жадности.

— Нет. А потому, что местные учителя имеют и землю, и корову, ему ›гко с мужиком и в великодушие сыграть. А у приезжих зачастую ничего того нет. И если они требуют оплаты своих трудов—требование их свято. вам стыдно, что вы их не можете поддержать. Ведь это ж огромная кульурная сила пришла в деревню. Событие прямо-таки небывалое: в одной изэстной мне школе второй ступени—четыре человека с высшим образоваием: среди них—известный геолог, другой опытный преподаватель реального чилища, одна из преподавательниц—лингвистка, учит языкам, другая—на ояли. Ярцевской школой заведует ассистентка известного петербургского рофессора, старшая учительница в Лужках—окончила географический ингитут. Разве это не клад для деревни? И вот эти люди уходят домой, к себе. Кили в голоде и холоде, отношение к ним было неважное. Словом, деревня е могла удержать их у себя. Это, конечно, очень грустно.

— Действительно,—сказал Дмитрий Николаевич.—А ежели взять наших, даже смешно сказать.—Он махнул рукой и, поерошив волосы, недобрительно крякнул. В голосе его зазвучала ирония.—По пальцам можно еречесть: Силантьев, например,—царский вахмистр, три раза на учителя кзамен держал, едва на четвертый кой-как выдержал, Чиркина—повивальная абка, Шатунов—из дьячков, тоже едва выдержал экзамен. Все они еще от емства остались. А вот новая, недавно испеченная, эта из портних, эта уж овсем ни аза в глаза. Конечно, есть некоторые, окончили семинарию учиельскую. Но и они опустились. И верно, что не выше мужика по своему кругозору. Культуру забыли, духовных интересов никаких, ничего не читают. Іу, правда, спектакли иногда ставят пустяковые, а больше—пьянствуют, да карты.

— Вот то-то и есть,—сказал старик,—и какие же узоры может с них нять мужик, чему научиться? «Ежели уж учителя пьянствуют, так нашему рату и подавно полагается», вот что толкуют мужики.

Трещала на сковородке яичница, клубился вкусный парок над щами из іаранины. Вошел сын хозяина, лет тридцати, смуглый и угрюмый, в холщеой рубахе, заправленной в такие же штаны. Он только что накосил коıове травы, был мокрый. Познакомились. Он кончил техническое училище цесаревича Николая, работал машинистом на коммерческих пароходах, а когда его брат, красноармеец, помер от тифа, другой был убит белыми,—он пришел домой помогать семье. С весны хочет заняться землемерным делом.

— Навсегда думаете остаться в деревне?

— Боже сохрани!

— Почему это образованные люди из крестьян уходят в город? Ведь деревня так нуждается в собственной своей интеллигенции,—спросил я.

— Да. В деревне нет своей интеллигенции, да не знаю, и будет ли когда-нибудь.—сказал механик.—Скучно очень жить здесь. Да и знания свои приложить некуда. Ну вот, например, я. Заводов здесь нет, мельниц па-

ровых нет. Землю пахать? Но тогда к чему было учиться на механика. Я привык жить совсем в другом масштабе, чем мужик. Мне нужна книга, театр, общество. А если сесть на землю, то едва на хлеб добудешь. А книгу, комфорт, и все то, чего вкусил—по боку? Вот в чем дело. Ради чего же я учился десять лет?

Разговор перешел на тему о красно-белых боях.

Деревня Дядина, как находящаяся на пригорке, была важным стратегическим пунктом. Она несколько раз в продолжение лета переходила из рук в руки. Сначала ее захватили белые. Крестьяне очень обрадовались, увидав офицеров. Наступление красных было отбито. С попавшимися в плен обращались жестоко. Мужики тоже не отставали. В особенности, отличались жестокостью женщины.

— После свалки-то,—говорит хозяйка,—красные разбежались, а бабы увидали по пригорочку красноармеец ползет. Поползет-поползет, да торкнется, оклемается маленько, да опять поползет. Бабы туда и помчались всей деревней с поленьями, кольями, топорами: «Бей его, дьявола, антихриста, бей!» Подбежали, он и глаза закатил, не дышит. Дуняха вырвала у него из мертвых рук винтовку, карманы обшарила, револьвер там, и потащили за ноги в деревню. Пока волокли, всего измолотили.

Потом белые начали отбирать у них скот, лошадей, стали безобразничать, выгонять на работу, забрали на службу всех парней и молодых мужиков, непокорных пороли нагайками. Мужики стали Бога молить, чтоб забрали их красные.

— Такая сволочь, такая дрянь эти белые,—возмущается учитель.

Ему все поддакивают.

— Очень жалко мне было красного одного,—говорит младший хозяйский сын Сережа, мальчик лет шестнадцати.—Допрашивал офицер. Говорит: «Переходи к нам, или повесим». А тот: «Был красным, и умру красным. Вешай, белая собака!» Тогда его повели за деревню, к березе, возле изгороди росла, а нас всех, мальчишек, отогнали. Мы все-таки бочком-бочком, да пробрались. Велели залезть ему на изгородь. Красноармеец сам надел петлю и веревку перекинул через сучок. «Ну, скачи!»—офицер крикнул. Тот прыгнул вниз: «Не держись за веревку, не держись! Скорей подохнешь!»—Опять крикнул офицер. А потом подошел к нему и из нагана два раза в голову, весь череп снес. Мужикам сказал: «Ежели будете хоронить—всех перепорю».

Красные относились к крестьянам совершенно по-другому. Я прошел около сотни верст, расспрашивал бедных и зажиточных крестьян, священников, учителей, бывших торговцев, кабатчиков—все в один голос говорят. «Белые—дрянь, шваль, грабители, разбойники, в особенности офицеры и помещичьи сынки; красные—народ, как народ, простые русские парни и рабочие, крестьян не истязали, женщин не насиловали, грабежами не занимались». В особенности хорошую память оставили по себе красные военачальники.

Нас уложили на кровать. Дмитрий Николаевич охапками приносил из другой комнаты книги, журналы. Он любит почитать, но это все перечитано,

новых книг достать трудно. Потом, стоя среди комнаты, начинает рассказывать разные забавные истории, хохочет и спрашивает:

— Вы не спите?

— Нет,—отвечаю я, борясь со сном.

* * *

Утром разбудило солнце. Мычат коревы, поет петух, скрипит у колодца блок. Выхожу на улицу. Возле избы сидит старик-хозяин, чинит грабли.

— Страшно было во время боев-то?—спрашиваю.

— Первое время—страшно. После приобыкли. Вон та изба—видите?—снарядом разворочена, а вот на этой крышу снесло. Сначала крестьяне в лес убегали, потом плюнули и отсиживались в окопах: у нас в огороде три окопа были, блиндажи называется, закрытые, там не опасно. Во многих местах, по деревне, окопы нарыты. Только выйдешь в поле—Господи благослови, поработать бы, вдруг пальба и крики: «Уходите, уходите!» Ну и бросимся все бежать в блиндажи. Страсть, как надоело. Все-таки убило у нас двоих в деревне: старика да старуху.

Нас провожал механик.

— Мы на отруб ушли,—говорил он.—Не на хутор, а на отруб: то есть, нам общество выделило сколько полагается земли, а сами будем жить в деревне, тут расстояние небольшое. У нас в разных местах было 75 десятин, и плохой и хорошей земли. Мы сговорились с деревней, что вместо 75 десятин нам дадут 30, но чтоб по выбору. Мы выбрали самую лучшую. Вот она. наша земля. Частичка леса тоже к нам отошла.

На полосах две женщины и Сережа жали яровое. Кузьмич устроился на снопах, вынул свою походную тетрадь и сделал таблицу севооборота чуть не на восемь лет вперед, подробно растолковал механику, с чего начинать, и как вести правильное хозяйство. Такие таблички Кузьмич составлял почти каждому встречному крестьянину: зайдет на полосу или попутный хутор и целый час долбит, как вода в камень: надо делать так, а не этак.

(Окончание следует).

Литературные края.

Литературные силуэты.

А Воронский.

III. ЕВГ. ЗАМЯТИН.

I.

На примере Замятина прекрасно подтверждается истина, что талант и ум, как бы ни был ими одарен писатель, недостаточны, если потерян контакт с эпохой, если изменило внутреннее чутье, и художник или мыслитель чувствуют себя среди современности пассажирами на корабле, либо туристами, враждебно и неприветливо озирающимися вокруг.

«Уездным» Замятин в 1913 году сразу поставил себя в разряд крупных художников и мастеров слова. «Уездное»—наша царская дореволюционная провинция, с обывателем сонным, спокойным, плодущим, серьезным, домовитым, богомольным. Уездное хорошо знакомо читателю и лично, и по художественным несравненным образцам классиков, начиная от Гоголя и кончая Горьким. Не раз встречались в этих вещах и герань душистая, и фикусы, и злые цепные собаки, и сонная одурь, и ожиревелость, и навозный уют, и заборная психология. Тем не менее «Уездное» Замятина читается с живейшим вниманием и интересом. Уже тогда Замятин определился как исключительный словопоклонник и словесный мастер. Язык—свеж, оригинален, точен. Отчасти это—народный сказ, разумеется, стилизованный и модернизированный,—отчасти—простая разговорная провинциальная речь пригородов, посадов, растеряевых улиц. Из этого сплава у Замятина получилось свое, индивидуальное. Непосредственность и эпичность сказа осложнилась ироническим и сатирическим настроением автора; его сказ не-спроста, он только по внешности прямодушен у автора; на самом деле тут все—«с подсидцем», со скрытой насмешкой, ухмылкой и ехидством. Оттого эпичность сказа выветривается и вещь живет и вдвигается в современное и злободневное. Провинциализм языка облагорожен, продуман. Больше всего он служит яркости, свежести и образности, обогащая язык словами не примелькавшимися, не замызганными—как будто перед вами только что отчеканенные монеты, а не стертые, тусклые, долго ходившие по рукам. Большая строгость и экономия. Ничего не пускается на ветер; все пригнано друг к другу, никаких срывов. Повесть с точки зрения формы—как монолит, из одного куска. Сло-

копоклонничество не перешло еще границ, как случилось это с некоторыми вещами у Замятина позднее. Нет перегруженности, излишней манерности, игры словами, литературного щегольства и жонглерства. Читается легко, без напряжения, что отнюдь не мешает цепкости содержания. Уже здесь сказалось высокое умение художника одним штрихом, мазком врезать образ в память.

Новых персонажей Замятин не дал, но старое, знакомое дано в новом своеобразном освещении. Мирное житие уездного воплощено в сочной фигуре Анфима Барыбы. На глазах читателей Анфим из мальчонка вырастает в уездного урядника. Путь этот длинен, тяжел и богат злоключениями. Анфим—четырехугольный. «Не зря прозвали его утюгом ребята уездники. Тяжкие, железные челюсти, широченный четырехугольный рот и узенький лоб: как есть, носиком кверху. Да и весь Барыба какой-то широкий, громоздкий, громыхающий, весь из жестких прямых углов». Звериное, крепкое тело, звериная душа, и все сосредоточено в одном: жрать,—ибо челюсти у Анфима свободно крошат камни в песок. Выгнали из училища. Барыба домой не пошел, а поселился в коровьей закуте, голодал, крал и попался по этому случаю в руки семипудовой купчихи Чеботарихи. Смилостивилась она, однако, над Барыбой, увидав его звериное тело, и уже Барыба—не Барыба из коровьей закуты, а правая у Чеботарихи рука: «сапоги—бутылкой, часы серебряные» и ото всех почет, а прежде всего от самой Чеботарихи, богомольной и ненасытной по ночам. Счастье не бывает, однако, долговечным. Чеботариха выгнала Барыбу из-за прислуги Польки. Опять—голодная жизнь. Но Барыба «круто заквашен». Подвертывается монашек Евсей, Барыба обворовывает его, засим лжесвидетельствует по найму на суде у адвоката уездного Моргунова. Докатилась в городишко, краешком заглянула революция 1905 года. Была экспроприация, произведенная подростками, успевшими скрыться, за исключением одного, и на беду вящшую исправника, полковник, прикативший судить, желудком страдал, и никак ему исправник угодить не мог; а тут еще—злоумышленников не найти. Из беды выручил тот же Барыба: за шесть четвертных доказал, что в числе злоумышленников был портной Тимоша—друг Барыбы верный и закадычный. Жалко друга, но Барыба стерпел и достиг уездных эмпирей: дали ему серебряные пуговицы и золотые жгуты, козыряет ему будочник. А Тимоху повесили.

«Хорошо жить на белом свете».

Анфим—символ уездного. Оно—утробное, жвачное, толстомордое, жирное, прожорливое. В уездном—бог с'едобный. Положить живот в еде, до отвалу, чтобы челюсти сладострастно перемалывали, чтобы спать до-одури, плодить детей телами потными и липкими. Сам по себе Барыба случаен: мог родиться, мог не родиться. Но его выигрывает, выдвигает вперед уездное. Он неповоротлив, туп, почти идиот, по-звериному хитр. Но он нужен—Чеботарихе, монаху Евсею, адвокату Моргунову, исправнику, прокурору, полковнику, поэтому он без усилий, без борьбы достигает «вершин». Они тоже утробные. Анфим вобрал их в себя, он сделан из них, он—их сгусток. Это с'едобное подчеркнуто и дано автором с исключительной силой.

«Уездное» только отчасти бытовая вещь. Больше, это—сатира и не просто сатира, а сатира политическая, ярко окрашенная и смелая для 1913 года. В отличие от ряда художников, писавших об уездном, Замятин связал российскую окуровщину с царским укладом, с политическим бытом. и в этом его несомненная заслуга. Но, странное дело, талант Замятина здесь достигает только полуцели. Недостает чего-то большого, проникновенного, всеосвещающего, что находит читатель у Гоголя, в сатирах Щедрина, у Успенского. Горького и даже у Чехова. Повесть, несмотря на свою цельность в стиле и форме, как бы распадается у читателя на кусочки. Мастерски рассказано, прелестно сделано, но именно сделано, за сердце не берет, в нутро не проникает, хотя Барыба, Чеботариха. Моргунов. Евсей, Тимоха, исправник стоят перед глазами.

К уездному с иной стороны подошел Замятин в другой повести «Алатырь». Еще Гоголь отметил маниловщину нашей провинции. Живут люди ни шатко, ни валко, казалось бы, райское житье, но человек так устроен, что должен, непременно должен о чем-то мечтать, чего не бывает и, может быть, никогда не будет. У Манилова все есть, а все-таки фантазирует. Если же у Маниловых не все благополучно, и они ущемлены чем ни на есть, то тем более. Об этих своеобразных фантазерах повествует писатель в «Алатыре». Алатырь—город. «У жителей тех—видимое дело—от грибов принаследно. пошло плодородие прямо буйное. Крестили ребят оптом, дюжинами. Проезжая осталась только одна улица: вышел указ—по прочим не ездить, не подавить бы младенцев, в изобилии ползающих по травке». Однако благодать однажды миновала: была война турецкая, народу перебили очень много и остались алатырки без женихов. Отсюда и пошли алатырские сновидения на-яву. Дочь исправника Глафира стонет по женихам и ждет письма любовного от прекрасного незнакомца; исправник после неудачных попыток выдать замуж Глафиру еще крепче засел в кабинете; он изобретал; последние открытия: секрет печь хлебы не на дрожжах, а на помете голубином, или: как из обыкновенной холстины приготовить непромокаемое... сукно. Протопоп о. Петр в подпитии и в трезвом виде беседует с чертями; дочь его Варвара тоже осатанела от отсутствия женихов. Родивон Родивоныч, инспектор, услаждается чтением «Готского альманаха»; а то есть Костя Едыткин, служит на почте. У него заветная тетрадь. Написано: «Сочинения Конст. Едыткина, то-есть мои». И стихи: «В моей груди мечта стоит, а милая Глафира—ко мне презрит». По ночам пишет в волнении и любви великой. Словом, у каждого свои сновидения. Еще князь приехал в должности почтмейстера. Князь он, правда, такой: нос с горбинкой и подбородка нет—восточный князь, но князь все-таки. И вот пошло: Глафира, Варвара, девицы—все с ума сходят. А князь—тоже с мечтой, самой благородной: на одном великом языке эсперанто все должны говорить, и тогда не будет войн и настанет братство народов. У князя все учатся: исправник, инспектор, Глафира, Варвара, девицы другие. Кончаются сновидения плачевно: Глафира и Варвара устраивают взаимную потасовку, Костя терпит жесточайший крах с сочинением: «Внутренний женский

догмат божества», в любви тоже. Терпит крах князь со своим эсперанто, исправник с опытами и т. д.

Тоже уездное, утробное, с'едобное, но над этим—фантазмы, миражи, сновидения; жалкие, искривленные, заводящие в тупик, но все же фантазмы. Так между зоологией и нелепым фантазерством протекает скудная и нудная алатырская жизнь. » От маниловщины фантазерство алатырцев, однако, отличается своим драматизмом; оно, несмотря на свою нелепость, в'едается и коверкает жизнь, разлетаясь прахом при первом соприкосновении с жизнью. И, может быть, оттого обитатели тысяч российских алатырей не верят в выполнимость великих порывов человеческого духа: ведь воочию у них только эти нескладные, ненужные сновидения.

В «Алатыре», основные черты художественного дарования Замятина, сказавшиеся в «Уездном», остаются прежние. Повесть немного бледней, но то же в ней словопоклонничество, мастерство, наблюдательность со стороны, ухмылочка и усмешка, анекдотичность (в «Алатыре», пожалуй, больше, чем в «Уездном»), заостренность, резкость и ударность приема, подбор тщательный слов и фраз, большая сила изобразительности, неожиданность сравнений, выделение одной-двух черт, скупость.

Об утробном—и в рассказе «Чрево». Анфимья, баба крепкая, молодая, в соку, из-за потребности иметь ребенка идет на убийство мужа, солит его труп. Но здесь сила чрева дается в другом освещении. В рассказе много лиризма, и утробное у Анфимьи другое, не барыбинское,—ему сочувствуешь. Утробное двоится: оно уже не в образе Барыбы, а в образе Анфимьи, трогательно жаждущей оплодотворения.

К «Уездному» и «Алатырю» по содержанию и теме тесно примыкает повесть «На куличках». Написанная в начале русско-германской войны, она была конфискована царским правительством, а автор, в качестве большевика, был посажен в тюрьму за анти-милитаристскую пропаганду. (Повесть напечатана в Альманахе артели писателей «Круг» № 1). На кулички, к берегам Тихого океана заброшена военная часть, на какой-то всеми забытый и никому не нужный сторожевой пост. Забитые, оболваненные российские мужички, очень сметливые в делах хозяйственных, сельских, но непроходимо-тупые в службе, приспособлены по своим надобностям «господами офицерами»; надобности весьма своеобразного свойства: одного учат по-французски говорить, другой превращен в мамку и няньку девяти ребят, третий существует на кухне для генеральских оплеух,—и все они доведены до потери человеческого облика, и недаром солдат Аржаной походя убивает китайца—в такой обстановке это очень естественно. Внимание автора, однако, сосредоточено не на Аржаных, а на небольшой группе офицеров. «Поединок» Куприна бледнеет перед картиной нравственной гнили и разложения, нарисованной писателем: яма выгребная на задворках! Тут и генерал—обжора исключительный, трус, бабник, сластолюбец и пакостник; и ограниченный педант Шмит—на шарнирах, по-своему справедливый, превращающийся в несчастного садиста; и капитан Нечеса, выпестывающий девятерых, в сущности чужих, ребят; и безвольный, рыхлый, российский интеллигент в

офицерском мундире Андрей Иванович; и долговязый, нелепый Тихмень, тщетно разрешающий загадку, его или нет «Петяшка», родившийся у жены Нечесы; и тихая полупомешанная генеральша; и полковая дама, жена Нечесы—вся кругленькая, у которой дети—живая хронология. Как и в «Алатыре» и «Уездном», на куличках до смерти скучно, сонно, нелепо. Но не столько скучно, сколько *страшно*. Это страшное подчеркнуто автором в повести особливо сильно, и на нем—на страшном—в отличие от «Уездного» и «Алатыря» сосредоточено главное внимание... Страшное есть и в этих вещах, но там больше об утробном, о провинциальном фантазерстве, здесь оно основное. Под покровом скучной, мелочной жизни Замятин увидел это страшное и показал читателям, не то незаметное серое, медленно обволакивающее, о чем в свое время писал Чехов, а подлинно кровавое, безобразно зверское, трагичное. Правда, на куличках его часто не замечают, но это потому, что оно вошло в быт. Кончают жизнь самоубийством Тихмень и прямоугольный Шмит, становится «нашим» Андрей Иванович, до звериного доведены солдаты, генерал насилует нежную и хрупкую Марусю, подло, сюсюкающе и слюняво. Как и «Уездное», «На куличках»—политическая художественная сатира. Она делает понятным многое из того, что случилось потом, после 1914 года. Своего рода это, пожалуй, оправдавшееся предсказание, но она выявляет также еще одну черту художественного дарования Замятина,—больше чем ранее написанные им вещи: повесть овеяна подлинным, высоким и трогательным лиризмом. Лиризм Замятина особый. Женственный. Он всегда—в мелочах, в еле уловимом: какая-нибудь осенняя паутинка—богородицына пряжа, и тут же слова Маруси: «об одной, самой последней секундочке жизни, тонкой—как паутинка. Самая последняя, вот оборвется сейчас,—и все будет тихо...»; или—незначительный намек «о дремлющей на снежном дереве птице, синем вечере». Так всюду у Замятина и в позднейшем. Об его лиризме можно сказать словами автора: не значущий, не особенный, но запоминается. Может быть, от этого у Замятина так хорошо, интимно и нежно удаются женские типы: они у него все особенные, не похожие друг на друга, и в лучших, любимых из них автором, трепещет это маленькое, солнечное, дорогое, памятное, что едва улавливается ухом, но ощущается всем существом.

И все-таки... когда читаешь «На куличках», то-и-дело вспоминаются старые знакомые: «Поединок» Куприна, «Кукушка» Сергеева-Ценского, чеховская живая хронология, гоголевский Петух и т. д.

Отметим пока, что во всех этих вещах: в «Уездном», в «На куличках» борьба против косного, тугого застоявшегося носит только личный характер. Тимоха, Маруся, Андрей Иванович—протестанты разрозненные, не об'единенные ни с каким коллективом, группой. У автора это не случайно, подробней об этом, однако, ниже.

II.

Из Англии, после двухлетнего пребывания в годы войны, Замятин привез «Островитян» и «Ловца человеков». От «Уездного»—к Лондону, к Джесмонду. От пыли, свиней, грязи невылазной—к камням, бетону, железу, стали, цеппе-

линиям, подземным дорогам. От Чеботарих, Барыбы, исправников—к чопорной английской жизни, машинизированной, расписанной заранее в мелочах. У викария Дьюли, автора книги «Завет принудительного спасения»—все по часам: «расписание часов приема пищи; расписание дней покаяния (два раза в неделю); расписание пользования свежим воздухом; расписание занятий благотворительностью; и, наконец, в числе прочих—одно расписание, из скромности не озаглавленное и специально касавшееся миссис Дьюли, где были выписаны субботы каждой третьей недели».

Жизнь—машина, механизм, все проинтегрировано, все одинаковые, с одинаковыми тросточками, цилиндрами и вставными зубами.

В «Островитянах» и в «Ловце человеков»—сатира на английскую буржуазную жизнь, едкая, острая, эффектная, отделанная до мелочей, до скрупулезности. Но чем более вчитываешься и в повесть и в рассказ, тем сильнее крепнет впечатление, что захвачена не гуща жизни, не недра ее, а ее поверхность. Филигранная работа производится художником, в сущности, на легковесным материалом. Тут мелочи британской жизни; правда, эти мелочи доводят человека до плахи, но это не меняет дела. Омеханизированная жизнь по расписанию, поблескивающие пенснэ миссис Дьюли, джентльмэны со вставными зубами, мать Кембла, леди Кембл—«каркас в старом, сломанном ветром, зонтике» со своей чопорностью и извивающимися, как черви, губами; проповеди о насильственном спасении, посещение храмов, фарисейство, шпионаж, английская толпа, требующая казни, и казнь—прекрасно, хорошо, умно, талантливо,—но очень похоже на рассказы побывавших за границей Андрей Ивановичей о мещанских нравах добродетельных швейцарских хозяек, приходящих в ужас при виде мужских галош, забытых на ночь у комнаты русской эмигрантки. Занимательны и интересны они, и может случиться, что какой-нибудь Андрей Иванович через галоши эти попадет в тюрьму, там натворит еще что-нибудь неподобающее, его повесят или посадят на электрический стул. Все же преподносить подобные казусы в виде итоговых художественных обобщений маловато и недостаточно. Да еще в наши дни, после войны, во время социальных сильнейших катаклизм. В Англии, как и повсюду—не одна, а две нации, два народа, две расы, и тот, кто этого не понимает, и тот, кто глазами одной нации хоть на минуту в наше время не сумеет посмотреть на другую нацию, взвесить ее и оценить,—никогда не прощупает подлинных недр общественной жизни, ее глубочайших противоречий, ее «сути». А Замятин смотрит глазами адвоката О'Келли, кокотки Диди, отчасти Кембла, и у него в помине нет тех, других глаз, без которых теперь—ни шагу. О'Келли и Диди—потрясатели основ благонамеренной английской жизни. Основы «потрясаются» в гостиной почтенного викария, за обедом у леди Кембл—О'Келли явился к обеду в визитке, предпочтение отдавал виски, а не ликеру, и затеял разговор об Оскаре Уайльде,—в цирке в комнате Диди и пр. Точь-в-точь, как русский эмигрант «потрясает» основы прихожей цюрихской хозяйки, оставляя по забывчивости галоши. Сдается, что другие глаза другой нации в Англии, с верфей, с каменноугольных копей, за

метили бы что-нибудь посерьезнее и посущественнее, да и выводы сделали бы поосновательнее.

Можно возразить, что тут писателем употреблен особый художественный прием: мелочами, их несоизмеримостью с кровавой развязкой как бы подчеркивается нестерпимое удушье обстановки, в коей находятся аборигены Лондона и Джесмонда. Но в том-то и дело, что здесь не художественный только прием, а нечто более глубокое, интимное, связанное с художественным «credo» Замятина корнями крепкими и неразрывными. По художественному миросозерцанию автора, в мире—две силы: одна, стремящаяся к покою, другая, вечно бунтующая, динамическая. В ненапечатанном последнем фантастическом романе «Мы» одна из героинь говорит: «Две силы в мире: энтропия и энергия. Одна—к блаженному покою, к счастливому равновесию, другая—к разрушению равновесия, к мучительно-бесконечному движению». «Уездное». «Алатырь», «На куличках»—это равновесие, энтропия. Но и здесь действует хотя бы в искаженном виде другая противоборствующая сила: Тимошка, нелепые фантазмы Кости и других алатырцев, Маруся. Сеня в рассказе «Непутевый»—вечный студент, пьянчута, легкомысленный, безалаберный, разбрасывающийся, веселое и беспардонное житье которого кончается на баррикадах. В рассказе «Кряжи» эта буйная сила заставляет долго итти друг против друга Ивана и Марью, они «кряжи», а в кряжах должно быть это тугое, упругое, своенравное, непутевое. Все напечатанные Замятиным вещи—в этом мы убедимся еще больше ниже—символизируют борьбу этих двух начал. И Замятин с этой точки зрения безусловно символист, поставивший себе цель одеждами живой жизни одеть законы физики и химии. Аналитическим путем добытые результаты он пытается синтезировать как художник. Оттого и стиль его таков: живой народный сказ, модернизированная разговорная речь и квадратность образов: четырехугольный, квадратный, прямой, утюжный и т. д.

Две силы ведут нескончаемую борьбу: но одна—сила инерции, традиции, покоя, равновесия—тяжелыми пластами придавила другую, разрушающую,—как земная кора, облегающая и сковывающая расплавленную огненную стихию. Покой, равновесие—в сонном «Уездном», в жизни Крагтсов, четы Дьюли. Только в известные редкие миги открываются клапаны, разрывается кора и тогда, как лава из вулкана, бьет буйная подземная сила разрушения. Обычно же—царит застывшее, оцепеневшее, омертвевшее. Только такие моменты ценны и полновесны. О них рассказывает главным образом Замятин. Это—ось его художественного творчества. Принимает эта сила и «миги» у Замятина самые разнообразные образы, виды, формы. Маруся со своими незначущими разговорами о паутинке и смерти, навсегда запавшими в душу Андрея Ивановича, своенравная Диди, огненно-рыжая Пелька в «Севере», героиня за номером таким-то в романе «Мы». Они олицетворяют самое нужное, ценное: от них идет, через них говорит подлинная сила жизни, ее чрево, самое святое святых. От них—бунты и разрывы в размеренном, обросшем мохом. В рассказе «Землемер» герой никак не может сказать, что он любит Лизавету Петровну. «Миг» приходит, когда собачку «Фунтика» парни из озорства выма-

зали краской. Жалко стало девушке собачку, полились слезы и—тогда «забыл землемер обо всем и стал гладить волосы Лизаветы Петровны». Потом пришлось было землемеру ночевать с девушкой в одном номере в монастыре и—случись это—так бы и остались они вдвоем, но приехала няня и все кончилось: «так было надо». В «Ловце человеков» таким моментом являются цеппелины над Лондоном. В проинтегрированную жизнь Краггсов врываются топающие бомбы и рушится обычный, уравновешенный, отстоявшийся уклад, раздвигается «занавес» на губах миссис Лори, и пианист, непутевый Бейли, целует ее губами «нежными, как у жеребенка», и миссис отвечает ему тем же. Но это только миг: «чугунные ступни затихли где-то на юге. Все кончилось». В «Сподручнице грешных» мужики пробираются во время революции в некий монастырь к игуменье с целью грабежа, но в самый решительный момент «матушка» по особому трогательно угощает пирогами и еще чем-то злоумышленников, и кровавое дело расстраивается. В «Драконе» драконо-человек (красноармеец) только что рассказал в трамвае, как он отправил какую-то «интеллигентную морду» «без пересадки—в царствие небесное»—и вдруг—воробей, замерзающий в углу трамвая—и винтовка уже валяется на полу, дракон изо всех сил отогревает его, а когда тот улетает, «дракон» скалит рот до ушей. Мир—как собака («Глаза»): на нем шелудивый тулуп, у него нет слов, а один брех, ретиво стережется хозяйское добро, за черепушку с гнилым мясом оберегается оно; сорвется с цепи и опять медленно, жалко и виновато, поджав хвост, плетется в хозяйскую конуру. Но... «такие прекрасные глаза? И в глазах, на дне такая человечья грустная мудрость»...

Иногда—это потемкинские матросы («Три дня»), но чаще Диди, О'Келли, Сеня и др. Потемкинские матросы вообще вне поля зрения Замятина. Родился и вырос он в «Уездном»; народ у него большей частью—в образах Аржаных, Тимох, Непротошновых, пьяниц Гусляйкиных, парней, от скуки поливающих водой до полусмерти мальчонка, либо проделывающих эксперименты с краской и собакой, или—мужиков, бунтующих против сыра («мы это самого мыла тогда фунтов пять приели»). Крестьянина, который по-иному выглядит, например, в записях С. Федорченко или в партизанских рассказах В. Иванова, у Замятина нет. Глазами этих матросов, мужиков, рабочих Замятин не может смотреть на то, что крутом. Интересно, что в своих воспоминаниях о потемкинских днях автор свое внимание сосредоточивает тоже только на миге—три дня.—когда все, казалось, рушится, выходит из берегов. Поэтому момент ему и ценен. Общей связи этих дней с революцией в рассказе совершенно не чувствуется. Автору это и не нужно.

Вот почему в «Островитянах» и в «Ловце человеков» в проинтегрированную жизнь Краггсов и Дьюли вносят бунтующее Диди, О'Келли и даже Кембл. Бунт получается не очень опасный, ибо берутся не корешки, а вершки. Остро, но допустимо. Бунт—благонамеренный, не тот, на который способны матросы, рабочие, крестьяне. В конце концов здесь только непутевость, узко-индивидуальный протест, от него основы потрясаться не будут. Да писатель и не о том заботится: ему нужно противопоставить проинтегрированной жизни миги, индивидуальное бунтарство, то малое и незначительное и интимное, ко-

торое, однако, запоминается и ценится автором превыше всего. В «Уездном», «На куличках» протесты и борьба тоже личные, в одиночку; других форм борьбы писатель вообще не видит, не отмечает, не ценит. Поэтому у него всегда борьба кончается поражением. Иначе и быть не может, когда во главу угла ставится исключительно индивидуальное. В наше время, повторяем, это мало и поверхностно. А когда художник склоняется к политическому памфлету, можно заранее предвидеть, что у него будут неудачи.

За всем тем и «Островитяне», и «Ловец человеков» остаются мастерскими художественными памфлетами, несмотря на их ограниченное значение. Как и «Уездное», «На куличках», «Алатырь», лондонские вещи писателя останутся в литературе. Нужно еще помнить, что «Островитяне» вышли из печати, когда многие из братьев-писателей, почитавшие себя хранителями заветов старой русской литературы, узрели в викариях Дьюли и мистерах Краггсах носителей человечности и гуманности, прогресса и иных добродетелей не в пример злокозненным большевикам. Замятин впоследствии не удержался на своей благородной, истинно и единственно по-настоящему «бунтарской» позиции, но об этом речь ниже.

Художественные достоинства «Островитян» и «Ловца»—несомненны. Способность одним приемом дать образ, характер закреплена в отвердевшей форме. Викарий Дьюли, мистер Краггс—как выкованные. Замятин художник-экспериментатор, но экспериментатор особый. У него эксперимент доведен до крайности, до предела, так сказать, эксперимент в чистом виде. В стиле Замятин ушел от народного модернизированного сказа—это так и нужно в повести о Лондоне. Впервые художником дан тот отчеканенный, сгущенный стиль с тире, пропусками, намеками, недосказами, та кружевная работа над словом и поклонение слову, тот полу-имажинизм, которые впоследствии сильно отразились на творчестве большинства серапионов. До мелочи тщательная работа, столь кропотливая, что приходится все время держать себя в напряжении, вчитываться в каждую строку. Это утомляет, даже подчас доходит до манерности, до пресыщенности, словно автор играет своим мастерством. Особенно переделан «Ловец человеков».

III.

В рассказе «Непутёвый» между конспиратором и подпольщиком Исавом и Сеней-непутевым происходит такой разговор:

Исав говорил:

— И как можно верить во что-нибудь? Я допускаю только и действую. Рабочая гипотеза, понимаете?

Петр Петрович к Сене обернулся:

— Ну, а ты?

— Я-а? Да что ты, чтоб я... да глаза бы мои не глядели на программы все ихние. Слава Богу, в кои-то веки из берегов вышли, а они опять в берега вогнать хотят. По мне уж половодье, так половодье, во-всю, как на Волге...

В соответствии с этим непутевому Сене дается явный моральный перевес: Сеня геройски гибнет на баррикадах, а Исав резонерствует по поводу его бес-

смысленной гибели, хотя в холодном, даже враждебном уважении своем авто: не отказывает Исаву.

Положение—глаза бы мои не смотрели на программы все ихние—органически вытекает из всего художественного мировоззрения писателя. Как мы видели выше, Замятин подошел к сложным явлениям общественной жизни с физической теорией о двух силах в мире: энтропии и энергии. Вышло у него при этом так, что начало разрушительное действует «в мигах», «случаях», в индивидуальных, интимных порывах человеческого духа. С этой же меркой художник подошел и к русской революции. Получилось то, что должно получиться в этих случаях. Теория о двух силах в приложении к обществу не то, что не верна, а прежде всего отвлеченна, а следовательно и не верна. Это—общие, ничего не значущие места, не заполненные ничем конкретным; живая жизнь тут вытекает, как вода между пальцами. Есть по сути дела мертвая схема, приложимая к чему, где, как и когда угодно; отвлеченное бунтарство, революционизм, еретичество во имя еретичества: «Половодье», «мучительно-бесконечное движение», «непутевость», «отшельничество».—все это очень пусто, незначуще, абстрактно. В «Островитянах», да и в «Уездном», в «На куличках» это отвлеченное бунтарство в большой мере обессилило художника. В отношениях писателя к русской революции оно привело к органическому ее непониманию. Так и должно было случиться как только «еретик во имя еретичества» попытался с горних высот спуститься на землю, получился большой разлад. На земле «бунтующей» тоже оказались «программы ихние», мужики, рабочие, массы на земле ставились конкретные, «земляные» цели. Очень мало интересовались интимным, личным бунтарством вообще, зато подготовляли и пускали в действие огромнейшие коллективы: коммунистов, Красную армию и пр. Исторически и социологически отвлеченный революционизм и так называемый духовный максимализм выражали предреволюционную розовую интеллигентскую романтику и ещё до революции указывали на существенный разлад идеала и действительности в сознании широких кругов интеллигенции. Ликвидация самодержавия мыслилась необходимой и желанной, но с другой стороны, уже тогда интеллигенция опасливо оглядывалась на стихийный рабоче-крестьянский большевизм. Отсюда—желание увидеть революцию благородной, сделанной не корявой рукой мужика и рабочего, а чистыми руками с отшлифованными когтями. Как только обнаружилось, что этого не будет, что революция будет корявой—бунтарство русских О'Келли и Сенек быстрейшим манером развеялось, подобно дыму. Духовный максимализм и сверепейшее еретичество остались вдруг где-то за пределами революции, обнаружилось, что у максимализма «душа видом малая и отнюдь не бессмертная», что всесветный революционизм выглядит очень уж, даже до чрезмерности культурным, умеренным и аккуратным, что посягает он завоевать небеса, а не землю грешную,—что это говорилось о революции духа, в каком-то особом огненном преображении, а совсем не об этой, как ее бишь, «республике этой»,—о мигах интимных и всеочищающих, а не то, чтобы усадьбы грабили, фабрики отбирали и культурные ценности растаскивали по хатам и т. д., и т.

У Замятина мы видим: и это якобы-непримиримое бунтарство, принципиальное и неутомонное,—и народ в образах Аржаных и Гусляйкиных,—и взгляд на идеал, как на нечто неисправимо оторванное от земли,— признание революции в духе, в мигах интимных,—и отчужденность, холодную отдаленность от подлинного лика революции и враждебность к ней.

Как бы то ни было, после Октября Замятин написал ряд рассказов, сказок, доставивших несомненное удовлетворение самым ярым врагам Октября и большое искреннее огорчение и негодование знавшим и ценившим его талант: «Дракон», «Мамай», «Пещера», «Церковь божия», «Арапы», «Сподручница грешных» и, наконец, роман «Мы». Из них самой талантливой вещью является «Пещера» и самой серьезной «Мы».

Приходилось слышать возражение, что очень поспешно и преждевременно окрашивать в белый цвет художественные вещи Замятина последнего времени: не всякая сатира есть белая агитка и не все, что рядится в красный цвет, есть настоящая революция. Это так. У нас действительно есть боязнь коснуться язв советского быта, против чего всемерно следует бороться—и часто бывает так: молчат, молчат, да и начнут бухать потом в набат (пример: взятка хотя бы). И бесхребетных найдется не мало. Если бы Замятин писал свои едкие вещи, оставаясь на почве революции, его можно было бы только приветствовать. К сожалению, дело обстоит совсем не так. Замятин подошел к октябрьской революции со стороны, холодно и враждебно: чужда она ему не в деталях, хотя бы и существенно важных, а в основном.

«В странном незнакомом городе—Петрограде—растерянно бродили пассажиры. Так чем-то похоже—и так не похоже—на Петербург, откуда отплыли уже почти год и куда, Бог весть, вернутся ли когда-нибудь?.. Австралийские воины в странных лохмотьях, оружие на веревочках за плечами... австралийцы на пролом краснороже перли с огромными торбами» («Мамай»).

Еще: «На трамвайной площадке временно существовал дракон с винтовкой, несясь в неизвестное. Картуз налезал на нос и, конечно, проглотил бы голову дракона, если бы не уши: на оттопыренных ушах картуз засел... и дыра в тумане: рот» («Дракон») В «Арапах» драконы и австралийцы именуются краснокожими. Так может писать только гражданин-пассажир республики, который на республиканском корабле в сильнейшую качку исходит зеленью от морской болезни. Слов нет, морская болезнь—пренеприятная болезнь, но если пассажир переносит свое состояние на матросов, на корабельную команду, до-упада работающую во время сильнейшего шторма, чтобы довести корабль до гавани,—это уже совсем нехорошо и несправедливо. Так нехорошо и несправедливо и ведет себя наш пассажир в отношении корабельной команды и матросов: и австралийцы-то они, и оружие у них на веревочках, и рты, как дыра, все ему не нравится. Положение еще осложняется тем, что пассажир попал на корабль нежданно, негаданно, и не знает, куда несется корабль, к какой гавани пристанет, да и пристанет ли. Тут уже и зелень от морской болезни и иные неудобства являются совершенно неоправданными, бессмысленными. В самом деле, во имя чего претерпеваются все эти муки и неудобства? Не лучше ли было сидеть у себя

дома, в гостиной: «моя синенькая комната, и пианино в чехле, и на пианино деревянный конек-пепельница». Из «Пещеры» это. Рассказ прекрасно вып сан и передает то, что было. Были эти дни, когда комнаты превращались ледяные пещеры и надо всем царил жадный пещерный бог: печка. Марты Мартыныч жалко и неловко крал дрова, чтобы согрелась Маша. И Маша был исхудавшая и не встававшая с постели. Вспоминала о синей комнате, просто быстро брала флакон с ядом, чтобы умереть, по-будничному отсылала Марты на Мартыныча посмотреть на луну, чтобы не видел, как она умирать буде и тот покорно шел. Все было. Но как рассказано, в каком освещении дан вещь? О драконах-большевиках—ни слова, но весь рассказ заострен проти них. Искусной рукой направляет автор каждую мелочь против них: он виновны в пещерной жизни, и в кражах, и в смерти Маши. Особенно стан вится это ясным в контексте иных замятинских вещей. Достаточно сопост вить описание дракона с мягким лиризмом, которым обвеял писатель восп минания Маши о пианино, деревянном коньке, открытом окне и пр.

Раз не известно, куда несется корабль, и не понятно, почему на нем пасса жиры,—все плаванье, вся борьба с вражескими стихиями кажется дикой бессмысленной. Как будто арапы дерутся: то черные искровавят и зажаря краснокожих, то краснокожие поджарят черных, да еще в придачу возму щаются черными: как черные осмелились увечить нас?». («Арапы»). С особо наглядностью здесь обнаруживается, что автор—в стороне, что он—холодны и враждебный наблюдатель. *Так* писать может только тот, кто не бы активным участником событий и борьбы. Борьба же была такова, что к не подходить со старыми интеллигентскими мерками было не только невоз можно, но прямо преступно. Единственно в гуще этой борьбы, в кровавой огненной купели ее, познавалось, что можно и чего нельзя. Можно ли при нять и оправдать убийство *связанного* человека? Можно ли прибегать к шпио нажу? Дано это знать тем, кто борется, ненавидит, любит, живет в дыму огне стихии, а не плавающим и путешествующим. Можно ли? Можно и долж но, если враг сам ничем не брезгует, если дошел он до животного остервене ния, если прибегает он к худшему из худшего, если он продажен и играет рол наймита и шпиона у викариев Дьюли и мистеров Краггсов. *Не отвлеченно ре шаются эти и подобные вопросы в интеллигентских закутах, а на поле брани когда имеют дело с реальным врагом, когда известно, что он предпринимае и практикует сам. Иная постановка вопроса—моральная астрология, беспо мощное умничанье, и только на руку врагу.* Таким духом пропитаны «Сказка», «Церковь божия». Божия церковь оказалась с душком, да еще каким, а все оттого, что построил ее Иван на денежки купца, зарезанного им и ограбленного. Мораль: нельзя хорошее дело строить на трупах. А кстати и другой вывод: не нужно грабить купца—нехорошее дело, нечистое. И третий пусть купец живет, да поживает, т.-е. грабит. Едва ли автор согласен на по следний вывод, но не согласится он единственно в силу своей непосле довательности. Практически, выходит так, пусть грабит купец; общественная борьба классов имеет свою логику. Получился же последний вывод оттого, что «сказочка» страдает, помимо прочего, одной неправильностью:

купец представлен лицом страдательным, на самом же деле он—первескющий грабитель, и прежде чем его обчистил Иван, он облапошил до нитки сотни, а может быть, и тысячи Иванов, тех самых Иванов, которые его потом ограбили. Положение-то получается совсем иное. На наших глазах духовный максимализм, еретичество во имя еретичества, принципиальное бунтарство превращаются мало-по-малу в какую-то мутную, подслащенную идейную жижу, которую проповедывали Иванам с амвона при поощрении Чеботарих и их сынков. В рассказе «Сподручница грешных» («Мамаша, слова-то какие»), как уже упоминалось выше, мужики с разрешения их совета совсем уже сладили дело с ограблением игуменьи в монастыре. Дело расстроилось оттого, что игуменья оказалась очень доброй, именинницей и очень уж хорошо обошлась с мужиками.

Встал Сикидин, лоб нагнул—бык брухучий. Руками об стол оперся, правая—тряпкой замотана.

— Батюшка мой, это что ж у тебя рука-то? Дай я тебе чистенькой завяжу, а то еще болеть прикинется...

Поднял руку Сикидин. На игуменью—на руку—запнулся...

Очень умилительно. Прямо душеполезное чтение, в духовную хрестоматию годится. По крайней мере, если б существовали сейчас «Епархиальные Ведомости», то в части неофициальной рассказ мог явиться настоящим украшением, мироточиво, а стиль—не чета борисоглебским и алатырским Едыткиным, пописывавшим когда-то в «Ведомостях».

Читая подобные вещи, невольно думаешь: восстало бы из гроба хоть на минутку старое царское правительство, в умиление бы пришло: бунтари-то стали многие какими: не то что запрещать или сажать, как раньше, за повесть «На куличках», а размножай для народного чтения без числа, не жалея денег. А вот эти драконы, австралийцы, краснокожие, или как их там еще,—большевики словом, толкуют о какой-то классовой борьбе, определяемой законом каким-то, а все дело в том, чтобы посадить Сикидиных за один стол с матушками, да пусть эти матушки сумеют во время улыбнуться по-особому, да пирожок подсунуть, да ручку перевязать: какая там борьба, истинное в этом—в нечаянных, но особых жестах, словах, взгляде, в том невесомом, незначущем, но запоминающемся, что ценнее всего. Вот только краснокожих этих не убедишь: упрямые. Не верят «в обстоятельства в разрез наших ожиданий» и не проникаются исключительными, редчайшими моментами.

Об этих моментах и мигах нужно сказать еще несколько слов. Очень хорошо, когда Маруся у автора говорит Андрею Ивановичу о паутинке и смерти, или землемеру помогает «Фунтик»: уместно, лирично, художественно-правдиво, потому что тут личное, интимное и только. Но когда художник «паутинкой», мгновенными прозрениями и т. п. пытается разрешить сложнейшие социальные проблемы и сказать свое слово в общественной борьбе—получаются пустяки, сплошной сахарин, липкая патока, политическая маниловщина, по той простой причине, что «паутинкой» тут ничего не поделаешь, что добродушные жесты и порывы монахинь и прочих героев и героинь ни

в малейшей степени не определяют хода и исхода борьбы. Замятин думает иначе.

В статье об Уэльсе Замятин пишет:

«Социализм для Уэльса, несомненно, путь к излечению рака, в'евшегося в организм старого мира. Но медицина знает два пути для борьбы с этой болезнью: один путь—это нож, хирургия, который, может быть, либо вылечит пациента радикально, либо убьет; другой путь—более медленный—это лечение радием, рентгеновскими лучами. Уэльс предпочитает этот бескровный путь»...

Все это крайне неудачно, но характерно для Замятина. Маркс говорил, что новое общество рождается из недр старого, подобно бабочке, выходящей из куколки (из гусеницы, собственно говоря). Это в тысячу раз правильней, чем рассуждения писателя о каком-то организме, который нужно подлечить, хотя и основательно. Речь в эти моменты скорее идет о накладывании щипцов и прочих акушерских обязанностях, чем об излечении организма: его нечего и незачем лечить: куколка и бабочка. Приходится ли накладывать щипцы и пр. или нет—зависит от обстоятельств, а совсем не от доброй воли акушера. Но Замятин пишет: предпочитает... лечить... организм... бескровно. Детские пустяки. Но в этом весь социализм Замятина. Он тоже «предпочитает» бескровный путь воздействия на человека: нужно только открыть людям окна душ своих, и тогда Сикидин опустит зверскую лапу, а игуменья останется в монастыре, что ли?

Так духовное босячество, еретичество и максимализм превратились на наших глазах в обычные мещанские рассуждения—мы все социалисты, но предпочитаем бескровный путь и прочее.

Повесть Замятина «Север» вскрывает еще одну немаловажную черту его современного творчества. Где-то, тоже у чертей на куличках, где «сквозь тысячеверстный синий лед—светит мерзлое солнце на дно» (прекрасно сказано) живут: хозяин и лавочник Картома, рыболов-работник Картомы Морей и рыжая чудесная Пелька. Картома шарит по земле, обвешивает, покупает «женок» за тухлятину, набивает карманы, пьянствует,—Морей глядит в небо. С детства это у него с того дня, как тонул в реке. Откачали тогда, «только балухманной какой-то стал, все один, и глядит не глядит на тебя—мимо, и кто его знает, что видит?». Вышло так, что полюбил Морей Пельку, и она его, и было им хорошо, пока фонарь не заслонил совсем Пельку. О фонаре упомянул—соврал Картома: светит будто бы в Питере громадный фонарина, и от него светло кругом, как днем. «Морея осенила благодать: фонарь устроить, как в Питере: запалить над становищем—и ни ночи, ничего: вся жизнь по-новому». Голодует Морей с Пелькой, но Морею не до этого: он фонарь мастерит. А Пельку в это время взял Картома, а из строительства ничего не вышло: не осветил фонарь тысячеверстной мерзлой тьмы. Но и Пелька не могла забыть Морея. Повесть кончается гибелью обоих: Пелька устроила так, что подмял их на охоте под себя медведь.

Мотив знакомый, разработанный раньше в повести «Алатырь». И если сопоставить «Север» с «Алатырью», станет очевидным, откуда навеян этот

взгляд автора на идеал и действительность: от уездного это. Верная и правильная, в условном и ограниченном смысле и для известной обстановки, мысль писателя становится неверной в качестве художественного обобщения. Но художник нигде не попытался дать другого разрешения вопроса об отношении идеала к действительности, поэтому надо считать, что другого решения для него и нет. Идеал всегда оторван от жизни и душит ее. Такой подход в наши дни прямой дорогой ведет к усталым обывательским настроениям (вспомним А. Белого с его недавней проповедью: долой великие принципы—хочу лягушечьей жизни, хочу обывателем быть).

Наконец, о последней вещи Замятина о романе «Мы», еще не напечатанном.

Недавно в одной из своих речей тов. Ленин заметил: «социализм уже теперь не есть вопрос отдаленного будущего, или какой-нибудь отвлеченной картины, или какой-либо иконы». В этом—главное нашей эпохи.

Социализм перестал быть идеалом в том смысле, в каком он был раньше, скажем, лет 20—30 тому назад. Он—не призывная звезда, сияющая в далеких и чистых небесах, он стал вопросом тактики, практики и воплощения в непосредственно-данную жизнь. И это заставляет одних радостно и трепетно заглядывать куда-то выше, стараться приподнять следующую завесу и дерзко мечтать о дальнейших завоеваниях,—и великим, неподдельным страхом наполняет других, страхом перед тем социализмом, который уже входит, так сказать, в обиход, ибо исторический приговор приводится уже в исполнение. Роман Замятина интересен именно в этом отношении: он целиком пропитан неподдельным страхом перед социализмом, из идеала остановящимся практической, будничной проблемой. Роман о будущем, фантастический роман. Но это не утопия, это художественный памфлет о настоящем и вместе с тем попытка прогноза в будущее. В этом будущее все проинтегрировано на земле и строится великий интеграл для того, чтобы завоевать всю вселенную и дать ей математически-безошибочное счастье. Нерушимой стеной отделено человеческое культурное общество от остального мира и со времени 200-летней великой войны—а прошло с этих пор 1.000 лет—никто не заглядывает за эту стену и никто не знает, что там. Все остеклянено, все на виду, на учете. Стеклянное небо, стеклянные дома; нету «Я»—есть «Мы», в один час встают, работают, под команду едят нефтяную пищу, в определенные часы любят по розовым талончикам, и надо всем—единое государство и благодетель человеческого рода, мудро пекущийся о безошибочно-математическом счастьи. Однако не все проинтегрировано: есть у человека мохнатые руки и «душа» и это глупое «хочу по своей воле жить». Не у всех, но все же такие и не одиночки. И вот возникает мысль: разрушить стену, свергнуть благодетель, уничтожить математику в жизни. Руководит всем этим женщина, героиня за номером. Вместе с ней и с группой других разрушителей один из строителей Интеграла—от его имени ведется повествование (записи),—попадает через подземный ход за стену. Там: «Земля, пьяная, ве-

трава, солнце, птицы. Подготовляется восстание, где-то разрушена стена, делается попытка использовать Интеграл при полете для всех, кто за стеной.

Но бюро хранителей раскрывает заговор; производятся аресты, героиня подвергается казни, а у строителя, как и у всех, производят операцию: вырезают фантазию.

Роман производит тяжелое и странное впечатление. Написать художественную пародию и изобразить коммунизм в виде какой-то сверх-казармы под огромным стеклянным колпаком не ново: так издревле упражнялись противники социализма—путь торный и бесславный. А если прибавить сюда рассуждения о носах,—а это тоже—есть,—которые должны быть непременно у всех одинаковыми, то станет ясным характер и направление памфлета.

И все здесь неверно. Коммунизм не стремится покорить общество под нози единого государства, наоборот, он стремится к его уничтожению, к тому, чтобы оно отмерло. Коммунизм не ставит целью поглощение «Я»—«Мы», он ведет к синтезу личности с общественным коллективом; в его задачу не входит также проинтегрированная, омеханиченная и омашинизированная жизнь в том виде, как это представлено художником—в коммунистическом обществе не будет ни города в его настоящем, ни деревни с ее «идиотизмом»—мыслится соединение города с деревней. Если художник имел в виду наш коммунизм военного времени, то и здесь памфлет бьет мимо цели: практику военного коммунизма можно понять, только приняв во внимание, что нужно было воевать, воевать, воевать с могущественным врагом, что Сов. Россия была осажденной крепостью; об этом в романе—ни слова. Противопоставлять коммунизму *травку, своеволие* человеческое и людей, обросших волосами, значит—не понимать сути вопроса. Еще Глеб Успенский отметил, что травоядная жизнь имеет один существенный недостаток: от пустого случая зависит. Ворвется в жизнь такой случай,—а он врывается постоянно и непрерывно—и вся удивительная травоядная гармония идет на смарку. Потому-то и отказался человек от этого райского первобытного блаженства и захотел устроить свой рай с машинами, электричеством, аэропланами. Что же касается формулы: по своей глупой воле жить хочу, то ведь это только кажется людям, обросшим волосами, что они живут по своей воле; при социализме эта зависимость человека от стихии и незнание этой зависимости будут заменены знанием и планомерным научным освобождением от нее (прыжок из царства необходимости в царство свободы).

Замятин написал памфлет, относящийся не к коммунизму, а к государственному, бисмарковскому, реакционному, рихтеровскому социализму. Не даром он перелицевал своих «Островитян» и перенес оттуда в роман главнейшие черты Лондона и Джесмонда, и не только это, но и фабулу. Иногда это доходит до мелочей (носы и проч.). И как будто чувствуя, что не все в романе на месте, Замятин вкладывает в уста своей героини № 1, слова, совершенно не ожиданные и не вяжущиеся с общим духом романа. Отвечая строителю, № 1 говорит, что герои двухсотлетней войны (читай—большевики) были правы, так как разрушали старое. Их ошибка в одном: они решили потом, что они *последнее* число, а такового нет, т.-е. из разрушителей они

сделались консерваторами. Если это так, если «герои двухсотлетней войны» были правы в свое время, то спрашивается, переживаем ли мы теперь *это* время, время разрушения старого мира? Всякий, находясь в здравом уме и твердой памяти, скажет: да, переживаем,—по той простой причине, что старый мир еще не разрушен и стоит пока что довольно крепко. А раз так, то на каком основании художник находит своевременным бороться с «коммунистическим консерватизмом», оставляя в последнее время в тени другой, старый мир? Или он полагает, что мы уже победили вконец? Мы, конечно, уверены, что победим окончательно и бесповоротно, но считать это совершившимся фактом—легкомысленно. Роман-то, следственно, бьет не туда, куда следует.

В романе протест и восстание свое начало ведут от любви строителя к женщине за номером таким-то. Мотив—замятинский, узко-индивидуальный. Не мудрено, что конец—пессимистический. Единое государство раздавило восставших, а к тому же и героиня в ее отношениях к строителю оказалась сама проинтегрированной: она имела в виду использовать его как нужного и полезного человека. Другого конца и не может быть, когда коммунизму противопоставляется травка, люди без одежд и узко-исключительно личный протест.

Замятин вообще пессимист. У него сила косности, инерции всегда побеждает, сила разрушения только на миг преодолевает ее, хотя и ведет борьбу нескончаемую. От уездного это. Уездное легло на творчество Замятина всей своей неподвижностью и застойностью, своими кажущимися постоянством и нарушимостью.

С художественной стороны роман написан превосходно. Замятин достиг здесь полной самостоятельности и зрелости. Тем хуже, ибо все это идет на служение злому делу...

В прекрасной во многих отношениях статье своей об Уэльсе Замятин касается книги Уэльса «Россия во мгле» и приводит его мнение о русских коммунистах, которые по автору можно взять эпиграфом ко всей книге: «Я не верю,—говорит Уэльс,—в веру коммунистов, мне смешон их Маркс, но я уважаю и ценю их дух, я понимаю его».

По поводу этих строк Замятин пишет:

«... Уэльс... не мог сказать иначе. Еретик, которому нестерпима всякая оседлость, всякий катехизис— не мог иначе сказать о катехизисе марксизма и коммунизма, неутомимый авиатор, которому ненавистней всего старая, обросшая мохом традиций земля, не мог иначе сказать о попытке оторваться от этой старой земли на некоем гигантском аэроплане—пусть даже и неудачной конструкции».

Очень неудачно и непонятно в конце концов и о коммунизме: то «церковь божия», построенная на кровушке и с запахом скверным, то единое проинтегрированное государство, где людей гонят, к счастью, кнутом, а то вдруг—здорово живешь—гигантский аэроплан, пусть неудачной конструкции, но пы-

тающийся оторваться от земли, обросшей мхом традиций. Не продуман не доделано, сталкивается друг с другом, нет цельности, нет единого широкого обхвата, «изюминки» нет.

И еще: «еретик»—любит это слово Замятин—«еретик» Уэльс внутренним чутьем понял как-то по-своему современных коммунистических еретиков буржуазной цивилизации и сказал: уважаю, ценю, понимаю... а вот автор «Уездного», «На куличках», «Алатыря», «Островитян», проповедник принципиального еретичества и максимализма не нашел для себя лучшей доли в годы тягчайшей борьбы со старым миром, как выписывать вещи, которым по справедливости следует дать общий подзаголовок: долой коммунизм, коммунистов и Октябрь.

«Еретик» до сих пор не почувствовал и не дал почувствовать читателю ни одной вещью своею, что самые опасные еретики из еретиков в отношениях к старому миру—мы, коммунисты. Самые опасные, самые верные, самые закаленные и твердые до конца. Странный еретизм, странный максимализм. Он так по сердцу и обывательской улице, зачиревевшей в своих рассуждениях об одинаковых носах по декрету,—и мистерам Краггсам, для которых Советская Россия—вроде чугунных ступней, бомб над Лондоном.

На очень опасном и бесславном пути Замятин.

Нужно это сказать прямо и твердо.

И еще раз из Уэльса. Замятин сочувственно цитирует слова Питера Уэльса: «мы должны жить теперь как фанатики. Если большинство из нас не будут жить как фанатики—этот наш шатающийся мир не возродится. Мы не знаем, что имел точно в виду Питер, но это золотые слова, если их применить к социальной борьбе наших дней. И мы, коммунисты, помним и твердо: мы должны жить теперь как фанатики. А если так, то какую роль играет здесь то узко-индивидуальное, что особенно ценит автор? Вредную, обывательскую, реакционную. В великой социальной борьбе нужно быть фанатиками. Это значит: подавить беспощадно все, что идет от маленького зверушечьего сердца, от личного, ибо временно оно вредит, мешает борьбе, мешает победе. Все—в одном,—только тогда побеждают.

IV.

Наша статья будет неполной, если не отметить влияния Замятина на современную художественную жизнь, его удельного веса. Он несомненно значителен. Достаточно сказать, что Замятин определил во многом характер и направление кружка серапионовых братьев. И хотя серапионы утверждают, что они собрались просто по принципу содружества, что у них и в помине нет единства художественных приемов, и, кажется, также они «не имеют отношения к Замятину»—в этом все-таки позволительно усумниться. От Замятина у них слоепоклонничество, увлечение мастерством, формой; по Замятину вещи не пишутся, а делаются. От Замятина стилизация, эксперимент, доведенный до крайности, увлечение сказом, напряженность образов

полу-имажинизм их. От Замятина—подход к революции созерцательный, внешний. Не хочу этим сказать, что отношение их к революции такое же, хотя и здесь замятинский душок у некоторых чувствуется. И если среди серапионов есть течение, что художник, подобно Иегове библейскому, творит для себя,—а такие мнения среди серапионов совсем не случайны—это тоже от Замятина. Может быть тут, впрочем, не столько влияние, сколько совпадение, но совпадение разительное.

По журнальным страницам.

(Обзор).

Ник. Смирнов.

Революция разрушила старые устои, традиции и заветы. Но мы, когда говорим о завоеваниях Октябрьской революции, у нас как-то затушевывается их драгоценная жемчужина: нарождение и укрепление новой общественности основы социалистического строительства. Старый бытовой уклад—парламентаризм, либеральное «общественное мнение», с рупором «толстых» журналов, земские косоворотки, поэзия фригийского колпака и демократического Ханаана—далекое, безвозвратное прошлое. Мы имеем новые государственные формы, основанные на рабоче-крестьянской, т.-е. подлинно демократической, самодеятельности, тонкий, но упругий слой молодой советской интеллигенции и свои «толстые» журналы—трибуну новой общественности.

Новая общественность создалась в результате долгой ломки, долгой проповеди и усиленной борьбы. Борьба за молодую, еще не отстоявшуюся советскую общественность далеко не закончена. В условиях Нэп'а она, наоборот, развертывается и обостряется, ибо нельзя ребенка революции отдать на руки старой няни из купеческого особняка или с антресолей помещичьей усадьбы. А таких нянюшек, до Нэп'а числившихся в разряде «безработных», в лице возродившихся частных изданий, у нас довольно много. И потому наша печать—и, особенно, журналы—приобретает в настоящее время исключительное значение: коммунистическое слово, через завоевание массового читателя, окончательно укрепит ту новую, советскую общественность, которую так хочет взять под свою опеку возрождаемый Нэп'ом капитализм.

* * *

Прежде чем перейти к обзору наших «толстых» журналов, остановимся в тихой гавани разбитого корабля старой общественности—на парижских «Современных записках».

«Современные записки», в некотором роде, целый паноптикум: выветренные лозунги, высохшие заветы, набальзамированный труп «хозяина земли русской»—«учредительного собрания». Журнал, издаваемый при «ближайшем участии» «имен», вроде б. председателя всероссийского «передбанника», выходит ежемесячно и, притом, в об'еме 400 страниц. Каждый месяц несколько Ряпичкиных, вдохновляясь запахом сюртука, в котором они обедали у своего выигравшего крупную сумму друга, пишут длиннейшие статьи о миро-

вых проблемах и «завтрашнем дне», грядущем в белоснежном кителе «учредительного» жандарма. Им подпевают свободные поэты, отыскавшие в парижских кабачках потерянную лиру, а «братья-писатели», на всяческие лады— и бездарно, и талантливо—живописуют или ленивого Обломова, или скромного, воплощенного в христианском облике Платона Каратаева, российского мужичка.

Последний номер «Записок» обогатился новыми именами: в области политической—г. Кусковой, в области «философской»—Гершензоном, а в литературном отделе... Зензиновым.

Зензинов, имевший в молодости «грехи» (кто перед богом не грешен, перед царем не виноват!)—был сослан в ссылку. Теперь пишет воспоминания о «ней»—не о ссылке, а о купленной в Сибири собаке-лайке, у которой было тонкое, благородное имя: Нена. В конце автор признается, что, когда Нена умерла, он «плакал». Человек, видимо, начинает находить себя. Теперь—при такой любви к животному миру—остается завести цветного бразильского какаду— и гадать о «путях России».

Остальная беллетристика—А. Белый, Ремизов, Замятин—обычная, какую можно встретить в любом старом журнале.

Обычен и Гершензон, привезший в спокойную гавань свой неизменный груз:

Библию, лампаду «неугасимой личности» и образок пророка Илии.

Особняком стоят «Пестрые картинки» г. Кусковой. На «картинки» стоит посмотреть. Но сначала—несколько слов об их авторе.

Кускова—типичный обломок когда-то героической, а после Октября, т.-е. после действительной революции, истерической интеллигенции, будущее которой измеряется только маленьким футляром в историческом паноптикуме. На революционную поверхность Кускова выплеснулась в августе 1921 года, когда на Москву пала черная тень жуткого, голодающего Поволжья и когда группой старой либеральной интеллигенции, любившей одевать страстотерпческий мужицкий зипун, был создан так называемый Всероссийский комитет помощи голодающим. Кускова была одним из «активнейших» членов комитета; а засим в числе прочих «печальников» попала в тюрьму.

Отсюда, с тюремной койки, и начинаются ее «картинки».

Зарисованы «картинки» довольно живо, с известной наблюдательностью, но с наблюдательностью через нарочито-затуманенные, уменьшающие предметы, очки.

Советские тюрьмы в белой печати изображаются, обычно, средневековыми застенками, а состав че-ка (Г. П. У.)—«мастерами заплечных дел» и рыцарями «электрического стула», набранными, непременно, из от'явленных мошенников, рецидивистов и убийц.

Послушаем Кускову, приняв во внимание, что «внутренняя тюрьма В. Ч. К.—самая страшная по режиму из всех тюрем России». В ней:

«чистые, но унылые камеры. Пища—самая скудная. (Не надо забыв голод!—Н. С.) Но передачи поставлены образцово. Ни разу я не сл шала жалоб, чтобы хотя бы что-нибудь из передач пропало.

... Стража вежливая, хотя и пугает своей суровостью.

... При тюрьме амбулатория, врач, фельдшера. Когда во всей Росс не было самых обыкновенных лекарств, в этой тюрьме можно было п лучить все.

... Есть прекрасная баня.

... Три раза в неделю камеру обходит начальник тюрьмы и прин мает заявления».

и т. д. Кто же такие «чрезвычайщики»?

Люди всякого звания и состояния: рабочие, крестьяне, реалисты, сы новья священников, повара, студенты (последних очень мало) и (эт уже для красного словца—Н. С.)—бывшие охранники. Реже всег можно встретить бывших судейских или юристов».

Здесь Кускова запальчиво негодует:

«следственный и судебный аппарат—без людей соответствующего образования! Даже глава ревтрибунала,—Крыленко,—только маленький провинциальный учитель. Лацис, этот жесточайший следователь—студент университета Шанявского».

И не потому ли,—рассуждает Кускова, —

«все они так ненавидят интеллигенцию, что внутренне, непроизвольно сознают все свое ничтожество перед силой знания и настоящего убеждения?».

Классового самосознания и преданности революционному долгу она, разумеется, не осмысливает, как не может осмыслить их и вся книжная интеллигенция, любившая раба и возненавидевшая его, без господской опеки, самоосвобождение. Кускова—человек наблюдательный. Но наблюдает она через свои *классовые* очки. обрывается на полуслове,—и потому наблюдения ее внутренне-разноречивы, а «пестрота» их—пестрота случайно перемешанных, одна другую замазывающих, красок.

Она трогательно описывает своих соседок по камере—сухаревскую бабу и проститутку с «Цветного бульвара»—любовницу «Жанчика из эстонской миссии»—и жгучей ненавистью ненавидит стоящего «при дверях» вооруженного рабочего. Читает Ламартина—и, отвернувшись от революции, видит в ней только «жестокого и грязного» русского Марата. Не скупится на описание моральных «пыток»—и, даже, в настроении заключенных улавливает—

«своего рода фанатизм. признание неизбежности такого рода переживаний в момент, «когда народ взбесился».

Стиснув зубы. говорит о «непроходимой тупости чекистов» и—подолгу

вых проблемах и «завтрашнем дне», грядущем в белоснежном кителе «учредительного» жандарма. Им подпевают свободные поэты, отыскавшие в парижских кабачках потерянную лиру, а «братья-писатели», на всяческие лады— и бездарно, и талантливо—живописуют или ленивого Обломова, или скромного, воплощенного в христианском облике Платона Каратаева, российского мужичка.

Последний номер «Записок» обогатился новыми именами: в области политической—г. Кусковой, в области «философской»—Гершензоном, а в литературном отделе... Зензиновым.

Зензинов, имевший в молодости «грехи» (кто перед богом не грешен, перед царем не виноват!)—был сослан в ссылку. Теперь пишет воспоминания о «ней»—не о ссылке, а о купленной в Сибири собаке-лайке, у которой было тонкое, благородное имя: Нена. В конце автор признается, что, когда Нена умерла, он «плакал». Человек, видимо, начинает находить себя. Теперь—при такой любви к животному миру—остается завести цветного бразильского какаду— и гадать о «путях России».

Остальная беллетристика—А. Белый, Ремизов, Замятин—обычная, какую можно встретить в любом старом журнале.

Обычен и Гершензон, привезший в спокойную гавань свой неизменный груз:

Библию, лампаду «неугасимой личности» и образок пророка Илии.

Особняком стоят «Пестрые картинки» г. Кусковой. На «картинки» стоит посмотреть. Но сначала—несколько слов об их авторе.

Кускова—типичный обломок когда-то героической, а после Октября, т.-е. после действительной революции, истерической интеллигенции, будущее которой измеряется только маленьким футляром в историческом паноптикуме. На революционную поверхность Кускова выплеснулась в августе 1921 года, когда на Москву пала черная тень жуткого, голодающего Поволжья и когда группой старой либеральной интеллигенции, любившей одевать страстотерпческий мужицкий зипун, был создан так называемый Всероссийский комитет помощи голодающим. Кускова была одним из «активнейших» членов комитета; а засим в числе прочих «печальников» попала в тюрьму.

Отсюда, с тюремной койки, и начинаются ее «картинки».

Зарисованы «картинки» довольно живо, с известной наблюдательностью, но с наблюдательностью через нарочито-затуманенные, уменьшающие предметы, очки.

Советские тюрьмы в белой печати изображаются, обычно, средневековыми застенками, а состав че-ка (Г. П. У.)—«мастерами заплечных дел» и рыцарями «электрического стула», набранными, непременно, из от'явленных мошенников, рецидивистов и убийц.

Послушаем Кускову, приняв во внимание, что «внутренняя тюрьма В. Ч. К.—самая страшная по режиму из всех тюрем России». В ней:

«чистые, но унылые камеры. Пища—самая скудная. (Не надо забыв голод!—Н. С.) Но передачи поставлены образцово. Ни разу я не с шала жалоб, чтобы хотя бы что-нибудь из передач пропало.

... Стража вежливая, хотя и пугает своей суровостью.

... При тюрьме амбулатория, врач, фельдшера. Когда во всей Рос не было самых обыкновенных лекарств, в этой тюрьме можно было лучить все.

... Есть прекрасная баня.

... Три раза в неделю камеру обходит начальник тюрьмы и принимает заявления».

и т. д. Кто же такие «чрезвычайщики»?

Люди всякого звания и состояния: рабочие, крестьяне, реалисты, с новья священников, повара, студенты (последних очень мало) и (эт уже для красного словца—Н. С.)—бывшие охранники. Реже всег можно встретить бывших судейских или юристов».

Здесь Кускова запальчиво негодует:

«следственный и судебный аппарат—без людей соответствующего обра зования! Даже глава ревтрибунала,—Крыленко,—только маленький про винциальный учитель. Лацис, этот жесточайший следователь—студен университета Шанявского».

И не потому ли,—рассуждает Кускова, —

«все они так ненавидят интеллигенцию, что внутренне, непроизвольно сознают все свое ничтожество перед силой знания и настоящего убеждения?».

Классового самосознания и преданности революционному долгу она, разумеется, не осмысливает, как не может осмыслить их и вся книжная интеллигенция, любившая раба и возненавидевшая его, без господской опеки, само-освобождение. Кускова—человек наблюдательный. Но наблюдает она через свои *классовые* очки, обрывается на полуслове,—и потому наблюдения ее внутренне-разноречивы, а «пестрота» их—пестрота случайно перемешанных, одна другую замазывающих, красок.

Она трогательно описывает своих соседок по камере—сухаревскую бабу и проститутку с «Цветного бульвара»—любовницу «Жанчика из эстонской миссии»—и жгучей ненавистью ненавидит стоящего «при дверях» вооруженного рабочего. Читает Ламартина—и, отвернувшись от революции, видит в ней только «жестокого и грязного» русского Марата. Не скупится на описание моральных «пыток»—и, даже, в настроении заключенных улавливает—

«своего рода фанатизм, признание неизбежности такого рода переживаний в момент, «когда народ взбесился».

Стиснув зубы, говорит о «непроходимой тупости чекистов» и—подолгу

останавливается на тюремных анекдотах, рассказываемых продувным самогонщиком: —

«приставили к Ленину красноармейца. Новенького. Ленин ему и говорит:
Вот что, брат. Разбуди меня завтра ровно в 7 часов.
— Слушаю-с... ваше...
Пришло утро. Идет красноармеец к двери. Без ¼7. «Как его назовешь?» шепчет:
— Ваше сиятельство... г. Ленин.
Нет. Не сиятельство. Ваше благородие. Нет, тьфу ты. Какое благородие, когда он пролетарий. Товарищ? Нет, какой он мне товарищ! Ваше!.. Батюшки!—Семь часов! Как угорелый, летит красноармеец к двери, но все еще не знает, как же его назвать? Благим матом кричит:
— Вставай, проклятьем заклейменный, вставай!».

Заносит в записную книжку:

«Сейчас положение страны таково, что оторванность власти и презрение к ней со стороны всех сознательных элементов более невозможно».

И, поневоле ставит в разряд «сознательных»—своих единомышленников, ибо сознается, что на митингах, где «кривляются паяцы» и грозят «бандиту империализма, Ллойд-Джорджу»,

их «*жадно слушают тысячи русских рабочих*» (курсив мой—Н. С.).

Противоречивость, неуравновешенность и растерянность—таково впечатление от «картинок»; во-время закрытые глаза, во-время оборванное слово, бездоказательно-изношенная фраза из эмигрантского словаря в «рискованном» месте—их «особенности».

Вторая часть «картинок» воспроизведена из быта тех же «че-ка», но провинциальных, и захватывает переходный—от «военного коммунизма» к Нэп'у—период. Здесь много отклонений в сторону: об «обобранном до последней степени, населении», о воронежских кулаках, зажимающих продналог, о местных средствах, «проблема» которых—

«будет стоять во всей своей ужасающей неразрешимости не только перед большевистской властью, но и перед всякой другой, —

о «превращении бывших социалистов в башибузуков чисто-азиатского типа», о «пикантных разговорах» среди служащих «че-ка» и т. д.

Между прочим, Кускова особенно наигрывает на этих «пикантных разговорах».

Разговоры же эти—обычные преднэповские разговоры: паек, семья, дети и т. д.

Но, по привычке хвататься за соломинку, Кускова жадно отмечает каждую мелочь: и служащего «че-ка», обратившегося к «профессору Прокоповичу» с вопросом о финансовом положении, и другого «чекиста», обмолвив-

шегося: «трудновато нам, вертеть-то»,—и, суммируя, заносит в записну книжку:

— «Верно, товарищ, «вертеть» становится все трудней и трудне Смазка истощилась, колеса пищат, свистят и не слушаются».

Так, обычно, строится эмигрантское «общественное мнение». Так пре вещает каждый берлинский попугай и парижский оракул. Но Кускова иног: протирает очки: то в настроении заключенных находит покорность «взб сившемуся *народу*» (курсив мой), то признает, что на митингах слушают т сячи русских рабочих.

В этом отношении характерна заключительная мозаика ее «картинок:

«Везет нас стража в маленький Кашин. В вагоне тепло, весело, га монника, пляс. Темнота—невообразимая, горит крошечный огарок. Страж наша милая, приветливая. Лица чисто-русские, добрые. Серые шапки красной звездой, красивые, к лицу солдатам. На наших лавках—други красноармейцы. Все—коммунисты, неизвестно почему?».

Здесь Кускова держится, преимущественно, описательного тона,—и о того получаются живые фигуры, иногда (четырнадцатилетний спекулянт юднимающиеся даже до художественности. Но особенно хороша (ибо— травдива) зарисовка красноармейца,—«единого из многих сих», отстоя их Советскую республику от нападений внутрироссийских и зарубежны единомышленников Кусковой и Прокоповича.

Разумеется, что, разговаривая с красноармейцем, Кускова может улыб уться его «некультурности», «сбить» фейерверком энциклопедии, но клас ового его духа—не поколеблет ни на минуту.

Едущий в кратковременный отпуск, красноармеец жалуется:

— Дома-то в деревне, слышь, работников нет, обрабатывать зем лю некому. Старые да малые. Разоренье...

— Так вы бы в своих советах за разоружение стояли. Ведь ваш го лос имеет же значение.

— Нельзя еще,—задумчиво роняет красноармеец.

— Почему?

— Потому что еще не победили мы.

— А победите?

— Конечно, победим, если все дружно стоять будем.

— А за что боретесь-то?

— Как за что? За землю, за волю. На шею не дадим себе сесть. Во там, в деревне, поделились, разверстали, а мы тут—на страже. Никог не пустим к ним-то, значит.

Разговор переходит на «большевизм». Что такое большевизм?—«Обра атывать землю, хлеб продавать. На свободе, значит, чтобы никто не мешал».

— Да разве помещики мешали вам хлеб продавать? Что вы это? Когда же это было?

Задумчивость. Вопрос—нов.

— Это верно, не мешали. А только—сволочи они, господа-то. Бывало, рассядутся за стол, чего-чего нет. А ты тут... скули... да ему служи. Подлые они, вот што. А то на войну пошлют, а сами с кобелихами на тройке катаются.

— Ну, это-то что. Ведь и сейчас вас на войну посылают, а сами на автомобилях ездят.

— Ездят, потому что нужно. За нас, значит, стараются. А те—сволочи.

А теперь—сам себе господин.

— А расстреливают-то вас мало?

— Расстреливают за дело. Шпион, или ослушался приказа, или, допустим, зеленый, как же не расстреливать? Стоять всем вместе надо. ... Заливается гармоника. Кто-то пляшет, ухарски притопывая ногами и ударяя в такт в ладоши».

Спор делается общим. Вмешивается «юркий человечек в какой-то странной плисовой поддевке», «степенный старик», поддразнивающий красноармейца:

— «Вот, в нашей местности два года фабрика стояла, а теперича опять старый хозяин ее взял. То били, рубили, а теперь—на-те, пожалуйте, все удовольствие вам предоставим.

Этак, пожалуй, скоро и помещики ввалятся.

— Не ввалятся,—мрачно заявляет солдат.—Ружье крепко держим».

Кускова, слушая, заносит в записную книжку: —

«Никому и в голову не приходит бояться шпионов или че-ка. (Тут-же, в вагоне, едут че-кисты—Н. С.). Свобода слова—в вагоне полная. Никто не оглядывается, говорят совершенно невозможные вещи—вслух...»

заканчивает—и совсем хорошо:

«Мальчишка пляшет, гармоника играет, вагон хохочет. И сколько кругом жизни, сколько жизни... Куда она идет, эта пестрая жизнь? Отстоит ли солдат с ружьем, в этой серой шапке, с пятиугольной звездой, разделенную землю, или прав старик: за фабрикантом придет помещик?

Ходят и бродят по земле думы народные»...

Вывод же, разумеется, типично-кусковский, ибо зачем же бы тогда и писать?

— «Тухнет власть всесильной «чеки», души оттаивают, отходят»...

«Тухла» же не власть «чеки», а расковывалась в то время суровая, жестокая и необходимая броня «военного коммунизма», освободилась для работы творческой сила народная, созидающая теперь свой быт, свои заветы—свою молодую общественность. Что же касается солдата, то за него можно не беспокоиться, а относительно помещика можно напомнить, что, прежде

чем он садился в министерское кресло, на нем, неизменно вытирал пыль по мещичий лакей.

Но понять этого Кусковым обоего пола не дано, и потому-то «Пестрые картинки», несмотря на хорошую литературную обработку и живость, несмотря на естественность нескольких красок, все же—только памфлет. И притом, очень неудачный памфлет, ибо «суть» его—противокоммунистический яд—*не достигнута*. Она сводится на-нет невольными признаниями подлинной народности Советской России, т.-е. того, чем революционная Россия могущественна и сильна несокрушимо.

Перейдем к журналам внутриотечественным. Среди них преобладают журналы обще-исторического и исторически-революционного характера. Это, разумеется, порождает некоторую однотипность («Пролетарская революция»—орган московского истпарта, «Красная летопись»—истпарта петербургского), но это ни в коем случае не недостаток: материала слишком много, а жажда к научной книге слишком остра.

Нельзя не отметить, по богатству ценнейших исторических материалов, «Былое»—старый с «идеями», но—об'ективный и глубоко-интересный журнал.

Основная ценность последнего (20) выпуска «Былого»—воспоминания о Распутине, написанные С. П. Белецким—товарищем министра внутренних дел в 1915 году. Белецкий—ставленник Распутина, и потому воспоминания его—в них он хочет быть только историком—приобретают исключительный интерес.

Распутин же—этот царедворец в бархатной рубахе с иерусалимским пояском и козловых сапогах—долго не выйдет из внимательного круга исторического телескопа. Личность Распутина—главного режиссера в театре дворцовых марионеток, интересная, как в бытовом, так и в политическом отношении, далеко не изучена и не освещена. О Распутине мы знаем, пока, из бесчисленных фельетонов в желтых бульварных газетах, но не имеем серьезной—и потому более глубокой и действительно-критической—оценки. Распутин сыграл в комическом апофеозе российского царизма одну из видных ролей. Распутин—явление чисто-русское, старо-русское, азиатски-русское.

Распутиным заняты сейчас эмигрантские «россияне». Остророгий бычок из сытинского стада—Баян,—печатающий в одной из белых газет («Время») свои «мемуары», значительное место отводит Распутину, приходя, при этом, к парадоксальнейшим и нелепейшим выводам. Выводы эти состоят в том, что интеллигенция, любившая народ, не сумела рассмотреть в Распутине именно этот самый народ, пришедший к власти (?), как, позднее, он очутился у власти в лице т. Калинина?

Воспоминания Белецкого беспристрастны. В этом их ценность. Обстоятельны, вдумчивы и серьезны. В этом—их значение. Обратимся к ним.

Белецкий близко подошел к Распутину уже тогда, —

«когда его положение во дворце и сила его влияния на августейших особ настолько упрочилась, что он считал себя как бы неот'емлемо связанным с высочайшею семьею узами средостения не только в личной жизни их величеств, но и в сфере государственного правления»,—

т.-е. наблюдал Распутина—«государственника», Распутина—«повелителя».

Кто же он, с сибирского тракта повернувший на паркет дворцовых амфилад, а страннический посох заменивший слепком старинным, золотого жезла?

«Распутин обладал недюжинным природным умом сибирского крестьянина, умевшего распознавать слабость и особенности человеческой натуры и играть на них».

«Воспитывался» в среде юродивых, «взыскующих града», в общении с миром смиренного вздоха, запахов водочного перегара и исступленных, пересыпанных «матерщиной», молитв.

«Общение это дало Распутину зачатки грамотности и само по себе довело его по тому пути, который растворял перед ним страдающую женскую душу».

Был разом «и невежественным, и красноречивым, и лицемером, и фанатиком, и святым, и грешником, и аскетом, и бабником».

В религиозном отношении Распутин —

«тяготел к хлыстовщине. Любил вдаваться в дебри церковной схоластической казуистики, никаких духовных авторитетов не ценил, и чувствовал в себе молитвенный экстаз лишь в момент наивысшего удовлетворения своих болезненно-порочных наклонностей».

И выводил отсюда целую «систему» миросозерцания, считая, что —

«человек, впитывая в себя грязь и порок, этим путем внедрял в свою телесную оболочку те грехи, с которыми он боролся, и тем самым свершал и преображение своей души, омытой своими грехами».

Что касается «знаменитого» гипноза Распутина, то Белецкий некоторых его способностей в этой области не отрицает. Но легенда о «прозорливости»—логическом следствии гипнотизма—достаточно характеризуется тем, что в июне 1916 г.

«Распутин, в присутствии Вырубовой, уверял своих поклонниц, что ему положено на роду еще пять лет пробыть с ними в миру, а после этого он скроется от мира».

«Грише провидцу» удалось «заинтересовать собою некоторых видных иерархов с аскетическою складкою духовного мировоззрения»: под «покровом египетской мантии владыки Феофана»—Распутин проник в петроградские великосветские духовные кружки. Оттуда—во дворец знаменитого российского борзятника—в. к. Николая Николаевича. Потом, поддерживаемый

гр. Витте и кн. Мещерским—в царскую приемную. Из приемной—к скучающей, истерической, опирающейся на руку Вырубовой, царице. И, наконец,—в кабинет Николая, где, благодаря благоприятному случаю, так и остался встав за троном и озарив Россию черной тенью своих «глубоко-впавших пронизывающих» глаз.

Распутина окружает свита ад'ютантов, подвитых фрейлин и сановников Перед Распутиным склоняются «гордые» аристократические головы. Министры, играющие в «чехарду», не могут перепрыгнуть через мощную спину сибирского старца.

В первое время, когда Распутин был еще только желанным гостем гр Витте, за ним следят. Но, когда вождь крупной промышленной буржуазии—А. И. Гучков—указывает в Гос. Думе на Распутина, как на зло, это влечет за собой

«принятие мер к охране личности Распутина, в силу полученных указаний свыше министром А. А. Макаровым; воспрещение в прессе помещения статей о нем и— наблюдение за Гучковым».

Но не прекращается и слежка за Распутиным.

Охрана же Распутина поручается, как-раз, Белецкому, занимавшему 1911—1914 г.г. пост директора департамента полиции. Белецкий рассказывает что в последние годы его директорства была попытка к убийству Распутина исходившая от Ялтинского градоначальника, Думбадзе, сопровождавшего Распутина при его поездке в Ливадию, куда он был вызван Николаем II. Н попытка осталась только в области предположений.

Сводка же филерских наблюдений за Распутиным —

«рисовала отрицательные стороны его характера, сводившиеся к начавшейся уже тогда его наклонности к пьянству и эротическим похождениям».

Это отталкивает от Распутина первого его покровителя—Николая Николаевича; Распутин не простил ему до конца своей жизни переговоров императором о высылке Распутина из Петрограда.

Между прочим, Н. Н. запрашивал Белецкого о сведениях, характеризующих истинное лицо Распутина. Белецкий предоставил филерские сводк Энергично агитирует против Распутина и командир отдельного корпуса жандармов—генерал Джунковский.

И, все-таки, побеждает Распутин. Распутина сторонятся, но пред Распутиным заискивают. Автор воспоминаний, впоследствии приложившийся к мясистой руке «старца», скрывал от жены посещения Распутина: надо было оберегать фамильную честь.

Много внимания уделяет Белецкий кн. Андронникову—типичному придворному карьеристу, бывшему ад'ютантом каждого министра, не имевшего поместий, но великолепно знавшего французский язык, часто нуждающемуся в трехрублевке, но неизменно носившего тугой, газетами набитый, портфел

Андронников близко сходится с Распутиным, Вырубовой и «статс-дамой

Нарышкиной. При поддержке Андронникова совершает свой путь к зеленому министерскому столу Белецкий. На пути Белецкого маленькое препятствие: он, ведший слежку за Распутиным, опасается его холодности. Андронников успокаивает: все предусмотрено.

Начинается осторожное маневрирование. По дороге Белецкий знакомится с конкурентом Распутина—епископом Варнавой. Наконец, попадает к Распутину.

«И он, и я, и А. А. Вырубова друг к другу приглядывались. Мне было неловко чувствовать, что они понимают цель моего сближения».

Подготовляется министерская смена: она уже решена за чайным столиком Распутина и санкционируется императрицей, благосклонно принявшей буд. министра внутр. дел—Хвостова (А. Н.). А. Н. Хвостов сводится с Белецким. Белецкий намечается его товарищем. В то же время, через благословение Распутина, ласковый кивок Вырубовой и сдержанные поклоны императрицы, вытащенного из старо-дворянского склепа—Горемыкина—сменяет новый премьер: Штюрмер.

Официальные назначения состоялись в отсутствие Распутина. На первом же обеде (по приезде Распутина) рассказывает Белецкий —

«Распутин дал нам понять, что он несколько недоволен тем, что наше назначение состоялось в его отсутствие, и это он подчеркнул князю (Андронникову—Н. С.),— считая его в том виноватым».

Между прочим, для того, чтобы Распутин не брал денег со своих посетителей, новые министры решили ему выдавать (через Андронникова) по 1500 р.

«Мы перешли после обеда,—продолжает рассказывать Белецкий,—в гостиную, а я, вместе с Андронниковым, вышел к нему в кабинет и здесь передал князю 1500 р. для Распутина.

Князь из этих денег отобрал несколько—три или пять сотенных и, когда я вернулся в гостиную, он вызвал Распутина к себе в кабинет. Вскоре они оба вышли оттуда, и я заметил, как Распутин прятал деньги в карман».

Так были завоеваны мягкие министерские кресла.

Для окончательной характеристики этого героя интриг, эротомана, афериста, мелкого взяточника, шарлатана и верховного правителя «секретной звездной палаты», нельзя не привести следующих строк Белецкого:

«Распутин пренебрежения к себе и обид, ему наносимых, не прощал и никогда не забывал, а мстил за них до жестокости; на людей смотрел только с точки зрения той пользы, которую он мог извлечь из общения с ними в личных для себя интересах; будучи скрытным, подозрительным и неискренним, он тем не менее требовал от окружавших его безусловной с ним искренности; помогая кому-нибудь, он затем стремился поработить того, кому он был полезен; в своих домогательствах отличался

поразительной настойчивостью и до той поры не успокаивался, пока не осуществлял их, умея носить на лице и в голосе маску лицемерия и простодушия»...

Воспоминания Белецкого, так умело систематизированные и обработанные «Былым»—одно из первых, исторически-серьезных исследований черной деятельности» Григория Распутина-Новых.

Будем ждать их продолжения.

Нельзя пройти мимо помещенных в той же книжке «Былого» «Материалов для характеристики В. Г. Короленко»—С. Протопопова.

Особенно, в первую годовщину его смерти. Смертью Короленко закончилась та славная полоса русской литературы, которая на протяжении бесконечной цепи наших поколений будет вызывать восторг, преклонение и нежность.

Короленко—последний ее лирик. И, вместе с тем, последний представитель той русской гражданственности, в лучшем ее смысле, которая граничила с редкостной гуманностью и в которой всего больше было воодушевляющей поэтичности.

В. Г. Короленко, прежде всего, большой, вдумчивый писатель, чародейный художник, а потом уже—публицист и общественник. Но и публицистика его в значительной мере овеяна художественностью. А общественная работ удивительно слита с редкостными человеческими качествами—честностьк искренностью и добротой.

Знамя, расплеснутое над его могилой—тихий свет правды и подвига—напутствует великих оруженосцев будущего. И, потому, все серьезные мате риалы, касающиеся В. Г. Короленко, должны тщательно собираться для ве ной книги героического прошлого.

«Материалы» С. Протопопова—личные письма Короленко. охватываю щие период 1910—1921 г.г. Интересны письма, относящиеся к войне 1914-1917 г.г. Короленко не устоял против сказок державной бабушки о ее «осв бодительном» характере—видел в немцах (к ним и, даже, к «их» социализм он, вообще, относился отрицательно)—источник порабощающего мир имп риализма, а в России и союзниках,—только вынужденных защищаться пр ведников. Но к войне, как к войне, он относился с нескрываемым презр нием.

В письме от 21 декабря 1915 г. он заявляет:

— «Проклятая эта война, и выдумал ее мрачный дурак. В конце конц после общей свалки «победителю» тоже останется только повеситься».

Февральская революция оживляет Короленко: он предупреждает ко вспыхивающие еврейские погромы, выступает на митингах. И пишет о в чатлениях своих выступлений тепло и молодо, словно романтический юнош

«Мне всего интереснее говорить с простыми людьми. Недавно го рил на митинге на одной из темных окраин города. откуда во все тревс

ные дни грозит выползти погром. Аудитория была внимательная. Я выбрал взглядом два-три лица с особенно малокультурными чертами и говорил так, как-будто есть только они. И это меня завлекало... возбуждало мысль и воображение».

Революция Октябрьская застает Короленко сдержанным, окончательно уединившимся в тихой Гоголевской Полтаве. Полтава несколько раз переходит из рук в руки. Как относится В. Г. к белым? Очень сурово.

— «Я, кажется, писал вам, что деникинцы восстановили у нас «Единую Россию» (кавычки Короленко—Н. С.)—при помощи сплошного грабежа, особенно над еврейским населением. От погромов, говорят, не прочь порой и поляки. Эх-ма!..» (письмо от 25 марта 1920 г.).

А в другом письме—от 30 апреля 1920 г.,—подробно описывая не только погромы и резню, но и расстрелы тех, кто «служил большевикам», прибавляет:

«Когда я пришел к какому-то казачьему полковнику сказать, что на улицах идет грабеж, он ответил, что это обычная вещь. И только на мою негодующую реплику сказал ад'ютанту: «запишите», но не сделал ровно ничего. И я не удивляюсь, что «память их погибнет с шумом»...

Отношение Короленко к коммунизму—общеизвестно: он отрицательно относится и к коммунизму. Но известно и его героическая попытка, связанная с отвратительной историей «запломбированных» вагонов, когда Короленко опубликовал заявление, защищающее т. Раковского. Об этом (письмо от 23 июля 1917 г.) он пишет: —

«Что хотите, в подкупность и шпионство вождей большевизма я не верю... Причислять таких заведомо-честных людей к шпионству—значит, в сущности, реабилитировать шпионство».

Большую ценность представляют письма Короленко, посвященные вопросам религии (напр., от 11 октября 1920 г.), где В. Г. мечтает об «обобщающей гипотезе», которая об'единяет достижения науки с «самыми глубокими стремлениями человеческого духа», затем письма, с глубокою скорбью останавливающиеся на развале местного сельского хозяйства (В. Г. весной 1920 года уже говорит о том (продналоге),—что через год получает реальное оформление), и письма предсмертные, подводящие итоги земному странствию. Из них особенно характерно письмо, датированное 16 июня 1920 г., где Короленко, «подобно Жанне д'Арк, спрашивает себя, хорошо-ли делал, что свои мирные занятия сменял воинственным мечом:

«Оглядываюсь назад. Пересматриваю старые записные книжки и нахожу в них много «фрагментов» задуманных когда-то работ, по тем или иным причинам не доведенных до конца. Такие отрывки выписываю в отдельную большую книгу, чтобы облегчить дочерям работу по приведению в порядок моего небольшого, впрочем, литературного наследства. Вижу, что мог бы сделать много больше, если бы не разбрасывался между

чистой беллетристикой, публицистикой и практическими предприятиями, вроде мултанского дела или помощи голодающим. Но ничуть об этом не жалею.

... Да и нужно было, чтобы литература в наше время не оставалась без участия в жизни.

... Стремились к тому, к чему нельзя было не стремиться при наших условиях»...

После октября писатели размежевались.

Одни, как талантливейший, классический Бунин, ушли под знамя, вытканное брюзгливой графиней, потерявшей старую усадьбу, кафельные печи, жемчуга и фамильные кольца. Другие, как пленительный, хотя и старомодно-жантильный Зайцев, застыли, обнажив голову, над зарастающей могилой старой литературы. И третьи, как Замятин, усвоили по отношению к революции тон злой, иронической, недоверчивой усмешки, отвернувшись от новой Руси и устремив печальные взоры на Запад—к пошлому быту Великобританских «островов», еще недавно так мастерски зарисованных сегодняшним «западником». И четвертые, наконец, молитвенно склонились перед революцией, ничего от нее не требуя и положив на жертвенник ее все, что имели: горячее рубиновое сердце.

Каков же лик литературы сегодняшнего дня? Остановимся на статье Ник. Асеева («Художественная литература»), помещенной в 7-й книге журнала «Печать и Революция». Асеев исходит из трех группировок, на которые разбивалась литература дореволюционного периода: символизма, «знаньевцев» с прилегающими к ним «писателям оттеночного характера» (Бунин, Ал. Толстой, Андреев, Сологуб) и футуризма—и, по осколкам этих группировок,—приходит к современности—к писателям сегодняшнего дня:

«Наученная горьким опытом стариков, молодежь хочет быть предусмотрительной: содержание позаимствовать у бытовиков, а форму—у символистов.

Но как ни предусмотрительны вновь начинающие молодые беллетристы, как ни вооружены они теоретической осторожностью и практическим чутьем—одному они в большинстве своем не научились, одного не приняли в расчет».

Это «одно»—самое главное:

«*Литература всегда выполняла, хотя бы и не непосредственный, социальный заказ* (курсив автора),—данный ей наиболее активным в данный момент классом общества».

И отсюда—«внеклассовая» сущность сегодняшней литературы:

«Выступающие теперь беллетристы и поэты, как признак своего мировоззрения, прежде всего, выдвигают свою идеологическую невинность, полную кажущуюся беспристрастность».

Проще: у революции нет своих, кровно с ней связанных, чисто-классовых

художников слова, в то время, как старое общество имело нерасторжимо-слитых с ним писателей, если иногда и бунтарей, то бунтовавших в пределах все той же классовой слитости.

Другой «особенностью» сегодняшней литературы является «распадение стиля», вернее, полное отсутствие всякого стиля, ибо —

«Смешение всех стилей не есть ещё новый стиль».

Новый же стиль, новый язык для новой литературы—насущная необходимость.

«Сами авторы жалуются на невозможность выражения сегодняшнего дня средствами прошлой языковой изобразительности.

Но для этого необходима идеологическая срощенность с теми слоями населения, от которых ждешь новых форм жизни»,—

т.-е. отказ —

«От всеоб'емлющей жвачки и духовного беспристрастия».

Со всем этим можно согласиться. Но—при одном маленьком условии: чтобы за теорией не забывалась «практика».

А «практика» такова: сегодняшняя литература—богатое, историческое завоевание революции. Ибо за это говорят имена новых, только-что рожденных на обломках прошлой литературы, писателей: Вс. Иванова, Бор. Пильняка, Н. Никитина, А. Аросева.

Они, конечно, не родные дети пролетариата. Бор. Пильняк смотрит на революцию через зеркало воскрешаемой им Яицкой вольницы или через гребень огромного «красного петуха». Вс. Иванов видит иногда зарождение революции на дне разбитой бутылки с самогонкой. Никитин сбивается на легковесного анекдотиста. А следуемые за ними их «меньшие братья» из ордена «Серапионов» действительно вызывают кислую гримасу своим легкомысленным кокетничанием политической беспринципностью. Все это так. Но они, в большинстве своем, стихийно-революционны. Они выросли на черноземных, глубоко-перепаханных полях революции.

Почившая в тихом склепе старая литература в лице их оправдывает свою гибель.

Оттолкнувшись от старого, они решительно рванулись в мир новый.

В этом их заслуга.

* * *

Два слова о «Печати и революции».

«Печать и революцию» с полным основанием можно назвать одним из крупных завоеваний нашего книгоиздательского дела. Россия не имела таких изданий.

Дореволюционные «Бюллетени литературы и жизни» (журнал, «о котором мечтал Г. И. Успенский»), по сравнению с «Печатью и революцией» кажутся только чахлыми, немощными зачатками.

«Печать и революция»—подлинное зеркало общественности—и, глав-

ным образом, издательской работы. Это подтверждается обилием материала, его всеохватыванием и разносторонностью.

Содержание последней (7-й) книги целиком оправдывает это: исчерпывающая книжные новинки, библиография, широкое освещение литературы, искусства, издательского и печатного дела, злободневные обзоры.

Между прочим, в тесной связи с только-что разобранной нами статьей Асеева находится обзор Брюсова: «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии». Брюсов останавливается на истекшем пятилетии, так же, как и Асеев, берет за основу поэтические группировки и, следя за их развалом, приходит к следующему выводу:

> «Пролетарская поэзия—наше литературное «завтра», как футуризм для периода 17—22 г.г. был литературное «сегодня», и как символизм—наше литературное «вчера».

Обзор Брюсова очень целен, снабжен массой библиографических данных и дает полную картину угасания старой, кризиса промежуточной и мучительного зачатия новой поэзии.

Вслед за литературой у нас в последнее время большое внимание уделяется ее младшей сестре: журналистике. Идут дискуссии, организуются специальные издания («Журналист», «Современник»), совершаются экскурсии в прошлое.

Начнем все с того же «Былого». В нем мы находим довольно интересные, искренне написанные «Воспоминания» А. Р. Кугеля. А если перейдем к «Современнику»—обширный материал об одном из забытых прирожденных журналистов, о журналисте 60—80 г.г.—Г. Б. Благосветлове—редакторе либерального журнала «Русское Слово» и волнующее исследование прессы капиталистического общества—«Медную марку»»—Уйтона Синклера. Старая Россия не знала прессы, как определенной, организованной силы капиталистического воздействия. Русская газета велась, обычно, кустарнически, беспрерывно пробовала свой камертон, за небольшими исключениями, не поднималась выше бульварной скамейки, развратничала мелко и гадко, на подобие отставного жандармского полковника. Просмотрите «Воспоминания» Кугеля.

Кугель—типичный журналист из старой газеты, на «последнюю пятерку» ездивший к цыганам, искренне любивший печатное слово, отдающий журналистике все свои силы и способности и, благодаря острому перу, завоевывающий завидное в газетном мире кресло фельетониста. Его «Воспоминания» охватывают 80—90 г.г. прошлого столетия, развертывая «пестрые картинки» редакционных комнат, затканных паутиной лжи и заваленных мусором пошленькой «сенсации» и сплетен. В «Воспоминаниях» фигурируют и ядовитая «Оса», и «Днепр», и «Новости», и «С.-П. Ведомости», и «Новое Время», и «Московский Листок»—и много, много других гладко-причесанных развратников с вечерних бульваров. Проходят фигуры Василевского (Буквы) и Авсеенко. Об Авсеенке, между прочим, Кугель вспоминает с боль-

шой признательностью—и как о человеке, и как о журналисте, сохранившем чистые заветы литературности в ведении газеты,—того, к слову, чего недостает нашим ежедневным изданиям, не выходящим из дискуссионного «гольфштрема».

Разумеется, пресса предреволюционной полосы стала материально более могущественной: из подвалов перебралась в особняки, а пошлое хихиканье отставного жандарма заменила бархатным баритоном богатого промышленника. Но форм прессы Запада, слитой в единых руках, Россия, как капиталистически развитая страна, естественно, не знала.

О западной прессе, о прессе типично капиталистической, послушаем У. Синклера.

Мы знаем тайники западных редакций по романам Золя, отчасти А. Стриндберга, Джека Лондона, Жюль Валлеса («Инсургент»). Но там они показаны мимоходом, при случае, тогда как в специальном исследовании Синклера освещены до мелочей, до разорванной рукописи в редакционной корзине.

Прежде всего: что такое «медная марка»?

> «Оратор описывал систему проституции, которая выплачивает ежегодно миллионы городской полиции. Он описывал подробно комнату, в которой женщины обнажали свои тела, а мужчины прохаживались по их рядам, осматривая и выбирая, как выбирают скотину на ярмарке. Затем мужчина платил три или пять долларов кассиру, сидящему в окошечке, и, получив от него медную марку, подымался по лестнице вверх, в комнату и расплачивался там этой маркой за ласки намеченной им женщины».

«Медная марка»—символ зла. Символ продажной печати в капиталистическом обществе.

В исследовании Синклера много поразительных примеров из жизни публичного дома печати и—кроме примеров печатного проституирования—глубоко-интересных черточек обще-капиталистического быта.

Он рассказывает о филантропических «порывах» крупнейшей американской газеты «Нью-Йорк-Таймс» и, рядом, о знаменитом писателе, написавшем «рождественское письмо» крупному миллиардеру, которое не поместила ни одна газета. Характеризуя газетный мир, приводит факт кражи со взломом, произведенной, в целях «сенсации», юрким репортером. Говоря о своем гонении, устанавливает его начало появлением романа «Менялы», где он вывел садиста-миллиардера—Пирпонт Моргана. А касаясь правительства, метко расценивает взаимоотношения демократии и промышленников:

> «Чтобы заставить демократическое правительство служить своим целям, промышленная автократия содержит и субсидирует две соперничающие политические машины—партии либералов и республиканцев и время от времени инсценирует между ними выработанное во всех деталях сражение, затрачивая миллионы долларов на борьбу с обеих сто-

рон, сжигая тысячи бочек бенгальских огней, выбрасывая миллионы стоп бумаги на пропаганду и миллиарды слов на произнесение речей»... Приведем несколько сценок из чисто-газетного быта.

«Одна газета существует до сих пор благодаря тому, что она выступила защитницей рабочих во время больших стачек».

Почему она встала на сторону рабочих?

«Председатель промышленного предприятия, втянутого в эту забастовку, упомянул на одном обеде, что владелец этой газеты имел незаконную связь с одной оперной певицей».

В другой газете произошло следующее: газетный король явился в 12 ч. ночи в редакцию и

«распорядился направить батареи своих газет на политику Августа Бельмонта за то, что последний отозвался о нем или его жене неуважительно за одним обедом».

Сценок такой «семейной политики» у Синклера много. Американская пресса—передовая капиталистическая пресса—фабрика порабощения, огромная помойная яма, отвратительная сифилитическая рана под шелковым желетом—в исследовании Синклера—пока еще не законченном печатанием—вырисовывается целиком.

Закончим портретом одного из «герцогов» американской журналистики—мистера де-Ионга, в портрете которого—олицетворенная пресса буржуазного мира:

«Он сильно душится и очень высокого мнения о себе. Ему принадлежит изречение, что ни один репортер не стоит и никогда не будет стоить более двадцати долларов в неделю. В его газете имя его должно писаться полностью, тогда как остальные сотрудники идут под кличкой «Джонов» и «Смитов». Фотографам «Кроникл» даны инструкции—при фотографировании направлять фокус аппарата исключительно на него, оставляя остальных в тени»...

Что еще отметить?

В том же «Современнике» (кстати, несколько бессистемном и случайно-подобранном)—сочно-написанную статью В. Львова-Рогачевского—«Новый Горький» (Вс. Иванов); в «Красной Летописи» (журнал Петроградского Истпарта, № 4)—воспоминания Ив. Книжника о Кропоткине; в 7—8-м выпуске «Под знаменем марксизма», в значительной степени посвященного Л. Фейербаху—перепечатанную из «Neue Zeit» ст. Э. Эвелинг и Эл. Маркс-Эвелинг—«Шелли как социалист».

Львов-Рогачевский пишет о В. Иванове:

«Новый Горький продолжает дело прежнего Максима Горького и щедро кропит тяжкие раны усталых в боях людей не мертвой, а живой водой.

Пусть улыбнутся цветным ветрам! Образы этого поэта проносятся перед весенне-оголенной душой нового человека с весенне журавлиным призывным кликом.

Вдохновенную любовь, внутреннюю свободу, стихийную силу и бодрость принес из Сибири этот поэт зеленых просторов»...

Статья о Шелли ценна и потому, что наши знания о нем крайне скудны, и потому, что пример Шелли, «бросившегося в самую гущу политики, и, все же, никогда не перестававшего быть поэтом» и, притом, поэтом первоклассным,—наглядное доказательство соединения трибуны с чистыми вершинами Олимпа.

«Воспоминания» Ив. Книжника заинтересовывают с той стороны, что личность Кропоткина—вобравшая в себя умонастроения и заветы целого общественного движения—утопического идеализма, которое навсегда сошло со сцены,—далеко не освещена и, безусловно, нуждается в самом внимательном изучении.

«Воспоминания», посвященные Кропоткину-эмигранту и руководимой им парижской группе русских анархистов (1904—1909 г.г.) и, отрывочно доведенные до 1917 г.,—обрисовывают славного потомка Рюриковичей таким, каким он был на самом деле: разносторонне-умным, женственно-мягким, мягкосердечным и отзывчивым, глубоко преданным революции, но революции чистой, в образе Маргариты—в белом платье причастницы и в трогательных венчальных цветах.

А, в заключение, о том, с чего начали. О голосах с вахты затонувшего корабля старой общественности. О частных изданиях. Большинство из них не заслуживает, даже, упоминания: родится под бульварной скамейкой—и так и не выходит из заполненных «веселой публикой» аллеек. Но среди них встречаются журналы более или менее серьезные, заставляющие не только прислушаться, но и остановиться. На таком журнале мы и остановимся. Сначала на общественной части, потом—и на литературной. Перед нами три номера «России». «Общественный» отдел имеется в двух: 1-м и 3-м.

Во втором—исключен. Называется отдел «Дни нашей жизни». Развернем «свиток дней».

— «О Бисмарке и мещанине».

Очень поучительная история. Начинается в № 1-м и кончается в 3-м:

«Неверно, будто в франко-прусской войне победил народный учитель. Победу принес германский мещанин под водительством железного канцлера. Заметьте: мещанин и на-ряду с ним—Бисмарк».

Мысль подтверждается примерами мещанства: «русокудрой головой Авксентьева в тугом предпарламентском бинте», Милюковым, в «бинте дарданелльски-оксфордском», Черновым—в «учредительном» и т. д., целый мещанский «синедрионом». Потом—снова словесные доказательства «мещанина в демократии», и—осторожный подход к современности.

«Земля кругла, и круг замыкается. На смену старому психологическому типу явился новый, но как часто в новизне звучат отголоски старины»!

А что такое «старина»?—Мещанство, т.-е. плен догмы, нежелание выйти а начертанный круг определенных принципов, «куриная слепота». И вот, чела мещанства, уже погубившая правоверный демократический «синерион», ужалила коммунистического Бисмарка. Он очень скуп, этот «Бисарк»: ввел в хозяйственный обиход частную инициативу, но ограничил ее вердым государственным регулированием, провозгласил на летнем партийом с'езде (а разбираемая ст. гр. Лежнева написана после с'езда)—борьбу интеллигентски-буржуазной идеологией», роль интеллигенции свел к узким амкам «спеца». И, благодаря «куриной слепоте», увидел, оказывается, опасость вовсе не там, где она есть.

«Стрелять из пушек по воробьям,—хотя бы и интеллигентским—занятие несравненно легкое, хотя и непомерно бесплодное. Перед *нашей* (курсив мой—Н. С.) государственностью стоит другая задача, а вместе с тем и другая опасность».

«Бешенство желудка», которым заражены сейчас «широчайшие народые слои».

«Все хотят есть и есть хорошо. Одеваться и одеваться хорошо. Нужна машина, нужен живой и мертвый инвентарь, благоустроенные города и жилища, электричество, книга, кинематограф, театр. Нужно. нужно и нужно. Давай, давай, давай!..»

Но, с другой стороны, есть и «десница»: —

«В массах пробудилась жажда труда, восстановления. стройки, пополнения убыли и людской, и материальной.

Вот непочатый край работы».

Т.-е. творческая работа, восстановившая хозяйство и удовлетворившая бешенство» народного желудка—приведет к нормальному жизненному обиходу. Все—так. Но... —

«Но плодотворность этой работы требует двух условий: поменьше озираться на идолов догмы (т.-е. на устав и программу Р. К. П.—Н. С.). поменьше мелкотравчатой подозрительности. Или: побольше доверия (к грешному аз и друзьям его—Н. С.) и побольше бисмарковского (ленинского) крутозора».

Мораль сей басни:

— Если ты—Бисмарк, не будь мещанином.

Или, проще, как стучали неугомонные дятлы из Петербургского дупла:

— Дайте нам свободу печати и прочее.

В 3-м номере уже только тень Бисмарка:

Лежнев, полемизируя с т. Сафаровым, жалуется на сведение всех, даже и литературных, разговоров на *идеологию,* упрекает его в «отбрасывании» интеллигенции в «безысходный маразм эмигрантщины и мстительных революционных иллюзий». И, печально заменяя «легальные возможности»—«легальными невозможностями», спрашивает:

> «Или Россия так уж богата культурой, что может позволить себе просто-на-просто «скостить» со счетов весь образованный слой населения?»

Словом—сначала. Старая сказка. Ее же «не прейдеши».

Теперь о литературе в «России». В литературном отношении «Россия»—журнал далеко не плохой. В числе сотрудников—лучшие имена: Шмелев, Пильняк, Вл. Лидин, О. Форш, Никитин, Пришвин. Мандельштам, Кузьмин. Напечатаны отрывки из повести Лидина «Ковыль скифский», «Это было»—из рассказа Шмелева, часть «Третьей столицы» Пильняка—волнующей и, очевидно, одной из лучших его вещей.

Повесть выдержана в уверенных, хотя и умышленно перебитых тонах, фигура англичанина доведена до классической чеканки и законченности, а картина нищей России, несмотря на манеру обычных повторов писателя,—до художественно-изумительной живости. Что касается другого отрывка—Лидина («Ковыль скифский»), то он разочаровывает: несамостоятельность Лидина выражена здесь особенно резко: начало—под Ремизова, середина—описание ползущего в степи поезда—почти слепок с Пильняка, а конец—золотая тяжеловесность Бунина.

Хороши в журнале, хотя и напоминают газету, «Странички быта»: меткость, живость, опытная, старожурналистская рука.

Безусловно, одно из хороших изданий. Одно из тех изданий, против которых, несмотря на их «принятие св. тайн» и замены сюртука мужицкой поддевкой, нужно выставить стальное оружие новой советской общественности: каленое, неплавкое коммунистическое слово.

навезли, двор дитьем закипел,—стоит дом твердынью, броненосцем в бою, трубы из форточек выпустил»...

Не правда ли, что-то похожее, на кого-то. На кого бы это? Надо полагать на того, кто любит описывать мятели и коммуны, на того, кто так однажды и назвал свое произведение: «Мятель», на Бориса Пильняка. Подражание—вещь хорошая, но, во-первых, есть авторы неподражаемые, к ним относится Б. Пильняк, во-вторых, и в подражании, как во всем, должна быть мера. Вследствие первого и второго, если «Мышиные будни» никто и не смешает, например, с «Рязань-Яблоко»; но зато всякий, читая, будет грустно вздыхать: ах, опять подражание!

К интересным вещам альманаха следует отнести прежде всего Ю. Лебединского—«Неделя». Эта попытка написать социальную повесть, повесть наших, складывающихся в буре и натиске новых общественных отношений и разложение старых. Писал эту повесть человек, у которого масса переживаний, больше того, чем кончик пера может вывести на бумаге. Масса лиц и событий, которые толкутся, просятся на бумагу. Справиться с ними трудно, почти невозможно. От этого угловатость, растянутость и местами наивность. В таких случаях хорошо выходит то, чтó может быть не обусловлено формами и характером повести, чтó из всей лигатуры повести выделяется, как чистое обнаженное золото. Таково чистое, обнаженное переживание чекиста Сурикова, заключенное в форму письма для того, чтобы оно могло быть независимым от формы повести. Пусть рабфаки, молодежь, которая по старому об'ясняется в любви, пусть прочтет она это письмо, чтобы понять, какою ценою куплены рабфаки. Какою ценой куплена возможность водить пальцами по строкам книги, зная, что пальцы «ее» и «его» сойдутся. А если это будут те рабфаки, которые были Суриковыми, пусть увидят рентгеновский снимок своих душ, положенных, а может быть, и выжженных на алтаре революции.

Талантливы также «Собачий лаз» Добровольского, «Принцесса волшебного фонаря» А. Глобы и «Белый Цвет» Ник. Спасского. Последнее оставляет тяжелое впечатление, потому, что очень ярко изображена тупость, жестокая русская бандитская тупость. Они прошли — смерть прошла. А природа равнодушная «сияет вечною красой». И как это хорошо у автора выходит: черная смерть на фоне белого цвета.

Стихи... Но в нашу эпоху стихов так много. И все-таки разве можно не поразиться силою стиха Ник. Тихонова или Н. Асеева, или Мандельштама! Очень жалко опять-таки, что стихи разбросаны по морю беллетристики и светят, как морские светлячки средь волн ночного моря. И вот среди светлячков В. Казин. Талантливый поэт. Но все-таки зачем он дал печатать «Пушкина»? Боюсь, что не вплетет оно ни одного лепестка в венок его славы.

«Как будто сам меня целует,
Кудрявый славный Александр!»

— Это Пушкин Казина целует. Пусть бы это делалось наедине, не в печати.

И вот, наконец, «Повольники» А. Яковлева. Повольники — это кабацкое мужицкое племя на Волге. Когда-то усмирял его сам Державин. Произведение начинаешь читать с большим интересом. От страницы к странице, все выше и выше интерес, удовольствие, как от хорошего литературного произведения... но хронология событий, приняв образ каких-то злых мегер, вдруг набрасывается на автора, овладевает его пером и автор «Повольников» превращается в невольника. И под диктовку довольно скучной хронологии пишет:

> «Но пришел день и по всей великой стране из края в край прошла высокая костлявая женщина с сумрачными глазами, женщина, одетая во все черное (одна из хронологических мегер! А. А.), она постучала во все окна всей страны (враз или поочередно?! А. А.) и сказала короткое слово: «Война».

В этом месте читатель «Повольников», очевидно, должен содрогнуться. Это короткое слово—«Война»—автор делает довольно длинным, вследствие частого его повторения на последующих страницах

умащает его пьяными выкриками повольников, мгновенно ставших патриотами. Но это продолжалось не особенно долго, так как:

...«Пришел день, когда женщина с тонкими поджатыми губами, вся в красном (это уж другая хронологическая мегера! А. А.), прошла из края в край и стукнула во все двери:—«Революция».

Тут уже пошло, поехало все вкривь и вкось: мужики до того разгулялись на свободе, что герой «Повольников»—Боков, разумеется, большевик, спутался с помещичьей дочкой Ниночкой и... тут я не знаю, до чего бы могло дойти дело, если бы не приехала сама справедливость в лице ревтройки, которая, изобличив документально повольника Бокова и его Ниночку, расстреляла их обоих...

И все-таки «Наши дни» — это сборник новой русской (ее любят называть «пошинной» и «биологической») литературы.

А вот «Шиповник». Зачем шипеть на революцию! Б. Зайцев написал «Улицу св. Николая», иначе говоря, Арбат в царские времена, в революцию 1905 года, во время войны и в годы революции. Неизвестно, к чему все это. Ах, да, может быть, к тому, чтобы засвидетельствовать перед читателем, что извозчик с ликом Николы угодника опять появился на Арбате. Хотя может и не для этого. Произведение производит впечатление: «если уж с чего ходить, то с бубен». И дальше за Зайцевым действительно открываются прекрасные и стильные страницы «Барыни» Ник. Никитина. Это уже из новой литературы. Как он попал в «Шиповник»? Почему? И не он один. Не менее его талантливый Леонов поместил там свою «Бурыгу». Это рассказ про маленького окаяшку-чертенка. Ах, чертенок—значит—мистика! Так думают многие про этот рассказ. Но у Леонова не мистика, по крайней мере, в этом рассказе. У него что-то другое. У него пока еще неясная попытка особенными образами выразить свою идею. Ведь бурыга-окаяшка не является персонажем, который как-либо самостоятельно обрисовывался автором. Нет, это стержень, который помогает автору прокрутить перед зрителем—читателем характеры и явления повести. Не будь бурыги, не на что было бы их нанизать. Это литературный способ.

Н. Никитин и Леонов подпирают своими талантами тех Бердяевых, Муратовых и известного ренегата Станислава Вольского, которые и являлись, отдаленно, но все-таки вдохновителями того прапорщика Пальца, который в барке везет пленных красноармейцев, задыхающихся от тифа, и трупов, для того, чтобы, выбравшись на свет, быть этим же Пальцем расстрелянными. Хорошо после этого Бердяеву писать о воле к культуре и к жизни! Рисует Никитин с ясными глазами, а отдает свой рисунок, как слепой.

Стихи в «Шиповнике» так же, как и проза, начинаются старым писателем Ф. Сологубом.

И еще перед нами «Московский Альманах». А. Белый предисловие к нему пишет и говорит, что под покровом одной книжки не случайно встретились авторы различных направлений. А может быть, впрочем, и случайно—качается А. Белый вправо, влево. Нам думается, что не только не случайно «сошлись» авторы под кровлей одной книги, но даже название этой самой «кровли» отнюдь не случайное. В самом деле, почему в Берлине альманах называется «Московским»? Наверное, потому, что тяга, ориентация. А в Берлине ведь много тяг и ориентаций. Вся абортированная из России интеллигенция живет ориентациями. Это понятие почти что заменяет прежнее: идеал. И вот в этом «Московском альманахе» есть не только ориентирующиеся, но собственно, и их, пожалуй, большинство, твердо занявшие определенную ориентацию. Например, Б. Пильняк. Правда, его произведение «Рязань-Яблоко» действительно яблоко, т.-е. этакий румяненький шарик, у которого румянец и справа и слева. Заразительно действует на Пильняка маятник альманаха—А. Белый. А раскусить это

яблоко—там «зной, как ж, и пыль, как ш», там Русь огромная большая, «чорт бы ее побрал! Шаша!». Таким словом мужики называют шоссе. Русская дорога! Про нее и Гоголь писал, и Некрасов, про нее сложено не мало стихов, но такого изображения дороги, дороги, как креста, нашего русского креста, на котором распяты и разметаны наши деревни, села, мужики и бабы, не было в русской литературе. И велик этот крест, на десятки тысяч верст, и зной на нем, как ж, и пыль, как ш. Чорт бы его подрал! Шаша! Можно смело сказать, чт оедва ли ктонибудь так сильно изобразил этот крест, так ощутил его в своей груди. И вот по дорогам, по шаше проволока гудит III Интернационалом; автомобиль—фуруфуз; и мужик, говорящий впервые своей жене, как человеку, как жене, о том, что надо покинуть избу, поклониться в передний угол, где идол мужицкий с давних веков, и к вечеру (обязательно к вечеру) выехать от голода, от голода шашой. Это превыше той шаши, на которой Гоголь увидел тройку, птицу-тройку. Это угрюмая русская шаша, над которой гудит проволока о III Интернационале. Крест — страда русская. Это посильнее той «дороженьки», где «насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты»; где по бокам «все косточки русские, сколько их, Ванюшка, знаешь ли ты?». Вот Пильнякто и видит эти косточки под булыжниками, где фуруфуз, где шофферы керосин продают. И вот А. Белый оказывается перед этим крестом шашой. Перед крестом—Европа—Азия. Перед крестом, где распинали мужика князья Ростиславские, от Балтики до Японского моря. «Велика Россия, чорт бы ее побрал!» Очутился перед этим крестом А. Белый и стал размышлять, случайно или не случайно сошлись писатели под «Московским Альманахом»!!!

Вслед за Пильняком идет Лидин. О нем говорилось, подражает Б. Пильняку. А вот опять А. Яковлев, он не подражает, но написал «Идут»—тоже изображает дорогу. Тоже мужики, идущие по дороге:

> «Ехали уже семь дней. Запылились, загорели, оборвались еще больше, устали, говорили хрипло. Измученные лошаденки едва передвигали ноги. А всем думалось, что едут давно, давно. Дорога была одна во все семь дней: сожженные бурые поля, изредка перелески с желтыми листьями (чтобы не подумал читатель, что перелески без листьев! А. А.) и серой паутиной на сухих ветвях, порой деревушка» и т. д.

Описание, конечно, недурное, но...:

> «От Рязани до Коломны тракт полег по лесам (и при этом не сказано, с желтыми они листьями или нет! А. А.) Чернореченским и Зарайским болотам—и в дыму был тракт от трав-брусник и от лесов, в лесных пожарах сгоревших».

Пусть сам читатель судит, где сон, где изгибы, где краски! От души жалко, что яковлевское «Идут» помещено под одной кровлей с пильняковской «Шашой». Не всегда полезно об'единяться под кровлей одной книги. Не всегда. Да и, кроме этого, в его «Идут», кроме мужиков, неизвестно почему ходит какая-то Белая Дева, упершись головой в небо. Может быть, это и изящно, кто его знает. А. Ремизов хорош в своей весенней русалии: «Гори-цвет».

Все по-прежнему он маг и мастер слова. По-прежнему его особенное русское изящество. Как картины Билибина.

Конец альманаха опять А. Белый, на этот раз не просто послесловие, а нечто сумасшедшее: «Я» («Сумасшедшее»). Этот этюд автор просит воспринимать как «Записки сумасшедшего» Гоголя. Но это не то, это—другое. Это попытка наметить «образование в нас новых душевных болезней». Но только почему болезней, может быть, просто движений? Новые душевные движения—мы, несомненно, на пороге их. Мы слышим их толчки. И может быть для Белого это болезни, для других—это движения.

Таков «Московский Альманах». Большинство его авторов—в России, большинство—это писатели наших дней.

А. А.

Современный Запад, журнал литературы, науки и искусства. Кн. первая: «Всемирная литература». Госиздат. Спб. 1922 г. 4.000 экз. Стр. 192. Редколлегия Е. И. Замятин, А. Н. Тихонов, К. И. Чуковский.

Восток, журн. литературы, науки и искусства. Кн. первая. «Всемирная литература», Спб. 1922 г., Госиздат. 3.000 экз. Стр. 128. Редколлегия проф. В. М. Алексеев, проф. Б. Я. Владимиров, акад. И. Ю. Крачковский, акад. С. Ф. Ольденбург, А. Н. Тихонов.

Эти два журнала, изданные «Всемирной литературой», положительно, почти что лучшее из вышедшего за последнее время. Наши «здешние» альманахи («Шиповник», «Феникс» и пр.) настолько плачевны, что их не стоит и бранить. Это не литература, а какой-то совершенно безосновательный чад от писательной кухмистерской. Оно и не диво: европейская литература есть нечто целое, русская литература есть часть этой европейской—и одна она жить не может. Ныне медленно, но неуклонно сочится европейская литературная новость к нам,—только благодарности заслуживает тот, кто способствует этому проникновению.

«Современный Запад» кроет не мало прорех в нашем представлении о теперешнем западе. Самым значительным из произведений, напечатанных в журнале, следует признать прекрасный роман О. Генри (из произведений которого мы на русском языке имеем только «Сердце Запада»). Сочный, крепкий, точный и тонкий писатель. Америка для нас — небоскребы, Клондайк, «желтый дьявол», импрессионированные бродяги Дж. Лондона... чуть что не Фенимор Купер. Лонгфелло, так хорошо переведенный Буниным когда-то, уже вчерашняя Америка. Даже плечистый ангел — Уот Уитмэн: древняя история. Война перемолола мир, — хотите ли вы или не хотите, — он вот такой теперь. Ему смертельно надоели фокусы искусничества, — а живет он всеми своими фибрами, называйся они — субатомная энергия, «дадаизм» или вертикальный концерн. У О. Генри со страниц сходит американский «человек», — странное животное, которое все-таки оказалось покрепче европейцев, когда пришлось туго в войне с немцами. Он вырос на Брет-Гарте, и может быть и Лонгфелло; его горбатый нос и тонкие губы — от краснокожих; он живет в стране, которая заключает в себе тропические раи и ады вечных льдов. И вот приходит быт этого человека, самого обыкновенного человека, который рассчитыват на бессмертие, разве что в походке своего сына. О. Генри (бродяга, как и полагается: бежал от суда, был в шайке воров и пр.) ходит преданно за ним и с такой приятной твеновской усмешкой говорит о нем. Вот кусочки Генри: «Это был банановый король, каучуковый князь, герцог кубовой краски и черного дерева, барон тропических лекарственных трав... Она несла свою жизнь, как розу у себя на груди... Тропиночка карабкалась по ужасающим высям, как полусгнившая веревочка.... Редко-редко остановится в здешних водах каботажное судно или таинственный бриг из Испании, или — с самым невинным видом—бесстыжая французская шхуна...» и много другого, столь же крепкого, меткого, точного — роднящего нам этот невнятный быт субтропических страстей и мыслей. Перевод из Генри — прямо подарок русскому читателю.

Много хуже Дюамель (из «унанимистов»). Все представители этой школы непосредственно и очевидно вытекают из У. Уитмэна, примешивая к нему пассивный сарказм какого-нибудь Додэ, да очень беспредметную умелость. Напечатанный рассказ сильно к тому же напоминает местами Р. Роллана. «Экспрессионист» (немец) Г. Мейринк вовсе скучен, а кое-где даже и противен: пустая аллегория на военные темы, сводящая войну на бессмысленное самоистребление,—не нам, пережившим гражданскую войну, удивляться этим хилым воплям. Отрывки из Шпенглера не прибавляют чего-либо к тому представлению о нем, которое составилось от того, что уж писалось и переводилось, — разве что это еще более отзывает хлестаковщиной, чем все остальное. Надо быть не малым хамом в душе, чтобы несложно и откровенно за-

видовать английской выдержке и английскому барству: — только-то и нашел сей «философ» в Англии. «Есть только французская культура. С Англии начинается цивилизация» — истинная правда, — а еще есть Стиннес и «Боже, покарай Англию»; на большее эта Валаамова ослица от философии неспособна. Статьи Лурье и Радлова могли бы быть и менее напыщенными без вреда для дела. Переводные стихи, как общее правило, в «Современном Западе» очень слабы. Переводчики (исключая Зоргенфрея) очень плохо владеют стихом, да и оригиналы, Дюамель, Кала, Газенклевер — неинтересны: с балладой Киплинга переводчица Полонская не справилась.

Очень интересен Ерчиковский со своей статьей о происхождении и конце вселенной по новейшим научным данным. Статья написана по работе немецкого физика В. Нернста (известного в широкой публике по электролампочке его имени, а также потому, что с его именем связана идея применения... удушливых газов к человеку). Из этой статьи можно притти к заключению, что теория энтропии в том виде, в каком она существовала до настоящего времени, теперь, после работ Шеплея, Планка (известного по теории квант), Эддингтона, испытывает некоторые изменения. Энергия мира не растрачивается в «пустоту», но аккумулируется в межпланетном пространстве, порождая далее новые образования.

«Манифесты» Маринетти мало чем утешают читателя. Еще в 1912 г., приезжая в Москву, Маринетти откровенно поучал нас о том, что итальянские футуристы — не более, как националисты Италии: по-нынешнему фашисты. Оставим по этому случаю этот сор гнить в его зловонной яме, литература тут не при чем.

Очень хороши в «Современном Западе» библиография и хроника. Статья о французской беллетристике написана А. де Ренье, о поэзии французской — П. Колэном. Повидимому, нет сомнений, что во Франции литература сейчас переживает некоторый упадок. Уже тон глубокого смирения перед внешним миром (сложная амальгама настроений Уитмэна, Бальзака, Роденбаха), определенно снижает все произведения «унанимистов». Однако им нельзя все же отказать в серьезных достоинствах и известной — довольно своеобразной — глубине, особенно Дюамелю, Вильдраку и Ромэну.

Далее заметки о нашумевшем романе Рене Марана (негра) «Батуала», — «в книге поражает отсутствие всякой духовности», пишет рецензент «Современного Запада». Чернокожий идет в литературу, — кажется, что он пришел во-время. — Заметки о «Очерке всемирной истории Уэльса», который в конце концов пришел к «расплывчатой, сентиментальной картине умеренного, благополучного и мирного существования», чего и надо было ждать от этого автора. Обращает на себя внимание заметка о романе Г. Бергштедта «Александерсен». Писатель теперь как-то волей-неволей обращается от переученного и раскисшего соседа-интеллигента — к ремесленнику, крестьянину, простолюдину. Это, конечно, вполне естественная реакция, но ей стоит порадоваться. Далее идут—обширная хроника искусств и отдел науки и техники, где встречаем заметки о кризисе теории света (коллизия меж теорией относительности и теорией квант), о современной авиации, радиотелеграфе и проч.

Хороший, интересный журнал. Можно только поблагодарить редколлегию во главе с Е. И. Замятиным, давшую себе труд так хорошо ознакомить нас с теперешней Европой.

Иное впечатление производит «Восток», на котором отразилось в сильной степени присутствие узких спецов в редакции. Большинство опубликованного очень интересно, — только не для всех это интересно. Вот китаец Ляо-Чжай. Его пейзаж и в переводе не теряет своего специфического аромата: «у входа в один дом растут шелковистые ивы; за забором видны персики и сливы вперемешку с высокими стройными бамбуками; в листве порхают и щебечут вольные птицы». Или так: «Видит,—во дворе дорога устлана ровным белым камнем, и красные цветы сжимают ее с обеих сторон, лепесток за лепестком на-

дая на ступени». Прекрасный пейзаж и прекрасный лаконизм. Фантастическая тема о «лисе-оборотне» забавна, тем более, что сам-то автор, не в пример европейским фантастам, ничуть не сомневается в действительном существовании описываемых феноменов. Другое дело быт и люди, — тут царствует китайская эротика, до крайности обнаженная, откровенная, нашего читателя она должна несколько коробить.

Однако, каков бы он ни был, Ляо-Чжай,— это большой китайский писатель (17—18 в.), а мы так плохо знаем своего восточного соседа. Его, Ляо-Чжая, лиса-оборотень, это не чорт европейской сказки, придурковатый жулик, это не грандиозный владыка преисподней средних веков, — это нечто, человекоподобное, но совсем не наше, однако жадно жаждующее человека. У Ляо-Чжая (вся книжка уже выпущена «Всемирной литературой» — Ляо-Чжай, «Лисьи чары») заведена целая морфология «лис» — это и лиса-друг, и лиса-возлюбленная, причем автор различает «добрых» и «злых» лис. Иной раз человек становится об'ектом вожделений двух лис,—из них одна злая, другая добрая. На коллизиях такого «быта» и строится сюжет. В одной из легенд лиса-любовница переживает смерть и перевоплощение. Рассказ ведется замечательно просто, стиль его в переводе В. Алексеева подходит к стилю русской сказки. Тут и там эта простота промежена красивейшими цитатами из других китайцев (например, «девы гуляют, словно тучи на небе»), намеками на известные сочинения (на Конфуция, например). Мораль сказок разнообразна, другой раз автор почти напрямик говорит, что его «лиса»—«святой отшельник». Смысл лисы—не смысл человека, но странности доброй лисы не враждебны человеку, только бы он не фальшивил с ней и не корыстничал. В маленьком предуведомлении к переводам говорится, что язык Ляо-Чжая отличается тем свойством, что в нем очень редки общеупотребительные слова разговорного языка. Переводчик пробует дословно передать по-русски это свойство, и у него получается нечто до крайности вычурное, напоминающее Игоря Северянина. Соображаясь с этим обстоятельством, приходится думать, что переводы оставляют желать лучшего, и вот почему: книга Ляо-Чжая написана сложным языком, но, очевидно, общепонятным, ибо иначе эта книга не была бы любимейшей книгой в Китае, и ее не мог бы читать всякий—она была бы утомительна. Судя по примеру переводчика, можно полагать, что архаизмы Ляо-Чжая иной раз имеют иронический характер, и это можно было бы передать и по-русски, разумеется, придерживаясь условностей русского, а не китайского литературного языка. У Раблэ, например, мы часто встречаемся с этой иронической абракадаброй (пародии на суд, на монашеские диспуты, сцена встречи с Панургом), и она может быть передана примерно ад'экватными фокусами языка, не теряя своего иронического очарования. Конечно, это не легко, но тем интереснее задача переводчика. Разумеется, в наших суждениях могут быть и ошибки, поскольку мы лично не имеем представления о подлиннике.

Переводы из китайских лириков, сделанные Шуцким, несколько разочаровывают после прекрасных образцов китайской лирики Сыкунту-Бию-Шань, переведенного Алексеевым. Ю. Шуцкому почему-то понадобилось переводить китайцев тем честно-тоническим стихом, которым пользуется современный русский стихотворец. Стих китайский, его принципы и наполнения—не имеют ничего общего с нашим: — и у Шуцкого получились какие-то межеумки, не китайцы, не русаки. Стихотворение Ли-бо (на родине своей возведен в божеское достоинство, есть храмы, построенные ему) удалось лучше других, но и оно в буквальном переводе (мы имели в руках немецкий) значительно сильнее.

Очень интересна тибетская лирика Миларайбы. Интересен ливанец Амин Рейхани и статья о ливанской литературе, рисующая новый революционный мир бывшегоислама. Стоит отметить также статью о яфетидах Н. Я. Марра и статью о «Пещерах тысячи Будд», С. Ф. Ольденбурга, а также прекрасную хронику.

Э. П. Бик.

Ромэн Роллан, Кола Брюньон. — Перевод М. Елагиной, под ред. Н. О. Лернера. «Всемирная литература», Госиздат. Спб. 1922 г. 6.000 экз. Стр. 248.

Пожалуй, что Ромэн Роллан — самая крупная фигура теперь во французской литературе. Его мощный темпераментный талант, чрезвычайно тонкая и глубокая умелость, большой ум и эрудиция делают его незаурядным писателем. Роллан по существу мастер большой темы, этим он близится к Толстому. Он както глубоко и по-своему связан и с немецкой литературой, романтизм Жана Кристофа — не романтизм Гюго. Роллан сумел выжать из своих учителей наиболее живое,—так это настоящий синтетик, настоящий мастер, настоящий писатель. Не мало в Европе крупных людей сейчас, но и Франс, и Уэллье, и Киплинг — все это авторы одной или двух тем, не говоря уже о блазированных специалистах от писательства, как Анри де-Ренье. Роллан шире, выше, просторней. Его Жан-Кристоф — серьезнейшее сооружение—другой раз и утомителен, в этом сказывается преувеличенная серьезность автора. Время написания Жана-Кристофа характерно повышенным почтением к творческому литературному труду (научное творчество такой высокой оценки не заслуживало), писатель, пишучи, священнодействовал. А эта церемония неизбежно утомительна. Декорум — хорошая вещь, поскольку он не лезет в ваши будни. Весь символизм Франции и ее пост-символисты двигались по земле с таким великолепием,—что вам роковым образом хотелось чертыхнуться. Это и сделал футуризм. Он с великим рвением проклинал всех, кто не мог себе вычистить зубы иначе, как под «Реквием» Моцарта. Война порешила это дело: все писаные великолепия медленно, но наверно развалились,—из окопов пришел грязный, вшивый, оборванный герой и без дальних слов об'явил, что ему это ни к чему. Обезвеликолененные почувствовали себя в больших дураках, и, кажется, занялись меньшевизмом. Пошли охи и ахи, и темные намеки на то, что недурно бы опрыскать мир святой водой,—говорят в старину помогало. Роллан был не из тех, кто носился с писателем в собственной особе, как курица с яйцом. Он, очевидно, и безусловно почувствовал, чего требуется рассерженному мужчине, появившемуся из окопов и не желающему долго разговаривать. Пугать окопника трудно, он и напуган в достаточной мере, и не желает пугаться, да, пожалуй,—самое страшное—и не испугается. Кормить его затаенными сладостями а-ля-Мэтерлинк тоже не годится,—ко всему затаенному окопник относится с непобедимым отвращением и ненавистью. И вот на свет появилась необходимость — написать хорошую, интересную, занимательную книгу, которая могла бы жить независимо от прелестей своего автора, без всяких «ужасиков» и без тонкостей, отличающихся от простых благоглупостей только ужасно неразборчивым способом приготовления. Самое простое решение этого дела—возрождение Пинкертона (чем теперь и занимается с таким рвением кинематограф).

Но окопы не только приучили к скептицизму, полному равнодушию к хорошим словам и своеобычному нигилизму,—в них родилась и некоторая особая серьезность. И ее-то на Пинкертоне не проведешь. Она быстро сообразит, что «железная» логика знаменитого сыщика подтасована, глупа и ни на какое дело за пределами пустячной выдумки не годится. Авантюрная фантастика в чистом виде не менее надоедлива, чем любая психология. И Роллан отправился в средневековье. Он взял своим образцом Франсуа Рабле, пьяницу, хохотуна, обжору, безобразника, который предпочитал бутылку кардинальской шапке. Он ввел в своего Кола Брюньона весь неисчерпаемый запас французской рифмованной прибаутки, он заговорил голосом бургундского мужика, который не привык стесняться в выражениях и шуточках, он рассказал нам занимательнейшую историю средневекового крестьянина, ремесленника — артиста из цеха, а в промежутках между балагурством, фарсом и мужицкими хитростями, он незаметно, ловко наложил трагедию этого бургундца. Он сидит в начале за столом,

стадии борьбы воспроизводится то же противоречие между различными отраслями, но в значительно расширенном масштабе.

Конкретный процесс развития современного мирового хозяйства знает обе формы. Примером горизонтальной империалистской аннексии может служить захват Бельгии Германией, примером вертикальной аннексии — захват Египта Англией. Несмотря на это, обычно империализм сводят исключительно к колониальным завоеваниям. Подобное, совершенно неправильное представление, — поясняет т. Бухарин, — находило раньше известное оправдание в том акте, что буржуазия, идя по линии наименьшего сопротивления, стремилась к расширению своей территории за счет свободных и слабо «сопротивляющихся» земель. Теперь же настулает время настоящего «черного передела». Подобно тому, как конкурирующие в пределах государства тресты растут вначале за счет «третьих лиц» и, лишь уничтожив промежуточные группировки, с особой силой бросаются друг на друга; точно так же развивается и конкурентная борьба между государственно - капиталистическими трестами: сперва они борются друг с другом из-за свободных земель, за jus primi occupantes, затем они устраивают передел колоний; при дальнейшем напряжении борьбы в процесс передела вовлекается и территория метрополий. Здесь опять таки развитие идет по линии наименьшего сопротивления, и первыми исчезают с лица земли наиболее слабые государственно - капиталистические тресты. Так действует общий закон капиталистического производства, который может пасть только с падением самого капиталистического производства.

Можно ли считать осуществимыми попытки буржуазных пацифистов устранить войны между мировыми державами. На этот вопрос т. Бухарин отвечает следующим образом:

«Вся структура мирового хозяйства нашего времени толкает буржуазию на империалистическую политику. Как колониальная политика неизбежно связана с насильственными методами, точно также всякая капиталистическая экспансия приводит теперь рано или поздно к кровавой развязке». Насильственные методы, — говорит Гельфердинг, — неотделимы от существа колониальной политики, которая без них утратила бы свой капиталистический смысл, и так же составляют интегральный элемент колониальной политики, как наличность лишенного всякой собственности пролетариата, вообще, представляет sine qua non капитализма. Желать колониальной политики,—и в то же время толковать об устранении ее насильственных методов,—это фантазия, к которой нельзя относиться серьезнее, чем к иллюзии, будто можно уничтожить пролетариат, но сохранить «капитализм».

То же самое можно сказать об империализме: это интегральный элемент финансового капитализма, без которого последний потерял бы свой капиталистический смысл: представить себе, что тресты, это воплощение монополии, сделались носителями фритрэдерской политики мирной экспансии — это глубоко вредная фантазия утописта (Стр. 91).

Книга т. Бухарина богата глубокими и оригинальными мыслями. Недостатком работы т. Бухарина является устарелый цифровой материал. Уже в первом издании от 1917 года т. Бухарин подчеркивал этот недостаток своей работы. С той поры прошло пять лет, будем надеяться, что т. Бухарин к следующему изданию своей работы найдет время освежить цифровой материал и вместе с тем остановиться на таких явлениях, в области об'единения предприятий, как стиннесизация, далее финансирование предприятий без посредства банков непосредственно самими промышленными об'единениями и т. д. Книга т. Бухарина является ценным подарком для нашей учащейся молодежи, которая давно ждала ее переиздания.

Мих. Павлович.

П. В. Оль. Иностранные капиталы в России (Институт экономических исследований, Труды института № 3). Петроград 1922, стр. 304.

Под вывозом, экспортом капитала Гильфердинг разумеет вывоз стоимости, предназначенной производить за границей прибавочную стоимость, которая возвращается на родину. Если, например, германский капиталист переселяется со своим капиталом в Канаду, Россию и т. д., производит там и уже не возвращается на родину, то это равносильно потере для германского капитала, это денационализация капитала, это не экспорт, а перенесение капитала. Об экспорте капитала можно говорить только в том случае, если применяемый за границей капитал остается в распоряжении данной страны, если он увеличивает национальный доход на всю сумму производимой прибавочной суммы.

Если мы возьмем для иллюстрации царскую Россию в качестве одной из важнейших областей, куда экспортировался капитал из Англии, Франции, Бельгии и т. д., мы увидим, что до-октябрьская Россия была как бы колонией иностранного финансового капитала. Иностранный капитал господствовал в наиболее важных отраслях русской промышленности: металлургической, горной, каменноугольной, машиностроительной, нефтяной и в области кредита. Книга П. В. Оля даст обстоятельную картину проникновения иностранного капитала в Россию.

Весь иностранный капитал, как акционерный, так и облигационный, вложенный в русские предприятия, равнялся, отбрасывая предприятия, оказавшиеся на территориях, отошедших от РСФСР,—2.032,8 миллионам золотых довоенных рублей, если включить капиталы, вложенные в восьми железнодорожных линиях,—и 2.007,3 милл. рублей без них. Из этой суммы на долю стран Антанты приходится — 1.560,3 милл. рублей или 78,7%... Капиталы Франции и Англии, вместе взятые, составляют—1.148,6 милл. рублей или 57,2%. На долю так называемых «нейтральных» стран приходится всего 5,2% (103,6 милл. рубл.), а на Германию, аннулировавшую свои претензии «частных» лиц, согласно договору в Рапалло, вместе с несуществующей на карте Европы Австро-Венгрией — 16,1% (323,4 милл. руб.). По отдельным странам распределение капиталов таково (см. таблицу аннулированных иностранных капиталов при национализации банков, страховых, промышленных и торговых предприятий, стр. 296—297):

Франция	648,1	м. р.
Англия	500,6	» »
Германия	317,5	» »
Бельгия	311,8	» »
Сев. Америка	117,7	» »
Нидерланды	36,5	» »
Швейцария	31,7	» »
Швеция	16,6	» »
Дания	14,5	» »
Австро-Венгрия	5,9	» »
Норвегия	2,3	» »
Италия	2,1	» »
Финляндия	2,0	» »

Если брать территорию царской России, то общая сумма иностранных капиталов будет больше—2.243 милл. рублей. Наибольшее внимание иностранцев привлекали самые доходные и важные отрасли русской промышленности; это можно видеть из следующего:

Горная промышленность	834,3	м. р.
Машиностроительная промышленность	392,7	» »
Городские трамваи и электрическое освещение городов	259,4	» »
Банки	237,2	» »
Текстильная промышленность	192,5	» »
Химическая »	83,6	» »
Торговые предприятия	80,7	» »

Французскому капиталу принадлежало полное господство в двух важнейших отраслях русской промышленности: в каменноугольной и металлургической. Каменный уголь и железо, составляющие основу всей промышленной жизни России, были в руках парижских банкиров и финансистов.

То значение, какое имел французский капитал в добыче угля и в выработке

железа, стали и чугуна — имел английский в добыче нефти и меди.

Какова была роль английских капиталов в русской нефтяной промышленности, видно из следующего: общая добыча нефти в Баку в 1914 г. составляла 338 милл. пудов; из этого количества 22 милл. пудов было добыто на предприятиях, принадлежащих англичанам, и 178 милл. пудов предприятиям, в которых английский капитал играл руководящую роль. Таким образом, под контролем английского капитала находилась добыча 199 милл. пудов (60%) всей нефти, добывающейся в бакинском районе. В Майкопе, в 1913 г. было добыто 9 английскими компаниями 99,7% всей нефти, а в 1914 г.—88,6%, в Эмбско-Уральском районе вся добыча нефти (1916 г.—15,5 милл. пуд.) находилась под контролем английского капитала. В Грозненском районе в 1916 г. на предприятиях, находящихся в руках англичан, было добыто 52,2 милл. пуд. или 50% всей добычи нефти.

Распределение английских капиталов по отдельным нефте-добывающим районам было таково: бакинский—40,5 милл. руб., эмбско-уральский—31,3 милл. руб., грозненско-терский—25,5 м. руб., майкопский—23,5 милл. руб., челекенский—23,6 милл. руб., сахалинский—10,5 м. р., ферганский — 4,7 милл. руб., чатминский (Тифлисской губ.)—1,9 милл. руб. и нафталанский (Елисаветпольской губ.) — 0,2 милл. руб.

Иностранный капитал, вложенный в русские предприятия, приносил прибыль, норма которой была выше, чем в Западной Европе. Эта прибавочная стоимость в главной своей части уходила из России и увеличила национальный доход Англии, Франции, Бельгии, Германии и других стран, экспортировавших свои капиталы в царскую Россию.

С точки зрения экспортирующей страны могут быть две формы экспорта капитала: капитал эмигрирует за границу или как капитал, приносящий проценты, или как капитал, приносящий прибыль. Последний опять таки может функционировать, как промышленный капитал, как торговый капитал или как банковый капитал. Выше мы говорили об иностранном капитале, вложенном в русскую промышленность и приносившем прибыль английским, французским, бельгийским, немецким и др. капиталистам. Но в Россию эмигрировал и капитал, приносящий процент. Величина этого капитала значительно (в шесть раз) превышала величину капитала, вложенного в производство. Так государственные займы иностранных держав России или займы, гарантированные иностранными державами, определялись к 1914 году в 12 миллиардов рублей или 33 милл. франков. По вычислениям Монзи, несомненно преувеличенным, русский государственный долг Франции равняется 16 миллионам франков, т.-е. в десять раз превышает сумму французского капитала, вложенного по французским вычислениям в русскую промышленность. Эти русские процентные бумаги, эти облигации принадлежат сотнями тысяч французских граждан, среди которых французские банки сумели распределить эти ценности. В общем во французском капитале, вложенном в Россию, заинтересовано до 1.700.000 французских граждан, в большинстве случаев мелких и средних держателей, в значительной части крестьян, которым банки ухитрились сплавить значительную часть русских займов.

Преобладание во французском экспорте капиталов, в Россию капитала, приносящего процент, над капиталом, приносящем прибыль, об'ясняется особым характером франко-русских отношений. Россия являлась военным союзником Франции, резервуаром пушечного мяса для III-ей республики и последняя ссужала царской России громадные капиталы на тюрьмы, полицию, жандармерию, вооружение, военно-стратегические дороги и т. д. Эти свидетельства государственных займов уже давно не представляли никакого действительного капитала, эти деньги, ссуженные Францией царизму, давным давно превратились в пороховой дым и проценты по ним оплачивались или из государственных налогов, собиравшихся в царской России, или из новых займов, заключав-

нихся во Франции специально на предмет оплаты процентов по статьям займов.

Такой же характер носит ныне экспорт французских капиталов в Польшу и Румынию. Французский капитал не столько эксплоатирует подпочвенные богатства тих обеих стран, не столько идет на поднятие производительных сил, сооружение трамваев, железных дорог, электрических станций; сколько на поддержку существующего государственного строя, на полицию, армию и т. д., в Румынии и Польше. Таким образом, как это было по отношению к царской России, экспорт французских капиталов в Румынию и Польшу выражается, прежде всего, в форме государственных займов. То же самое можно сказать относительно экспорта английского капитала в течение последних трех лет в Грецию, игравшую роль британского сторожевого пса в Малой Азии.

В противоположность французскому экспорту капиталов в Россию, вывоз капиталов в царскую Россию из Англии, Германии, С. Штатов, Швейцарии, Голландии и т. д. шел, главным образом, в промышленные предприятия; и, таким образом, выражается лишь в форме экспорта капитала, приносящего прибыль. Однако, само собой разумеется, что, поддерживая царское правительство государственными займами, Франция пользовалась привилегированным положением в вопросе о получении всякого рода концессий в России.

Книга П. В. Оля дает богатейший материал по вопросу о деятельности иностранных капиталов в царской России. Автор самым детальным образом изучает роль и степень участия иностранных капиталов — французских, английских, немецких, бельгийских, голландских, швейцарских, шведских, датских, австрийских, итальянских и т. д. — в русской промышленности. Книга снабжена многочисленными таблицами и диаграммами и является капитальным трудом, крайне важным для уразумения зависимости царизма от Антанты.

Мих. Павлович.

Г. В. Плеханов. Искусство и общественная жизнь. Издание Московского Института журналистики. М. 1922 г.

Вопрос о том, каким должно быть искусство: утилитарным или чистым (искусство для искусства) давно волнует умы. Правильного ответа на этот вопрос никто не дает. Недавно произошло слияние школы живописи с Строгановским училищем (ВХУТЕМАС) и многие ревнители «чистого» искусства увидели в этом гибель искусства вообще, желание сделать из него лишь прикладное ремесло. В такой момент нужно признать особенно важным перепечатку статьи Г. В. Плеханова, читанной им в виде реферата в 1912 году в Льеже и Париже и в том же году напечатанной в «Современнике».

Ясно и определенно формулирует Плеханов свой взгляд на искусство, понимая под этим, понятно, не только живопись, музыку, но и поэзию.

Вопрос об искусстве решался двояко: одни говорили, что искусство должно содействовать развитию человеческого сознания, улучшению общественного строя; по мнению других, искусство есть само по себе цель и превращение его в средство для достижения посторонних целей унижает достоинство художественных произведений.

Первый взгляд нашел себе яркое выражение в литературе 60-х годов (см. Чернышевский, «Эстетическое отношение к действительности»; Белинский, «Взгляд на русскую литературу 1847 г.», Некрасов...).

В этот период и писатели и художники (Перов, Крамской) стремились быть «гражданами».

Представителем и заместителем чистого искусства является Пушкин, провозгласивший, что поэты рождены «для вдохновений, для звуков сладких и молитв».

Приступая к решению вопроса, какой из двух взглядов более правилен, Плеханов заявляет, что самая постановка вопроса неправильна. Надо рассматривать не то, что должно быть, а что было и что есть, т.-е. нужно проанализировать «каковы наиболее важные из тех обще-

ственных условий, при которых у художников и у людей, живо интересующихся художественным творчеством, возникает и укрепляется склонность к искусству для искусства или к утилитарному взгляду на искусство?».

Дальше следует великолепный анализ условий, приведших гениального поэта Пушкина к знаменитому стихотворению «Чернь», где он гонит прочь от себя «рабов безумных» и провозглашает искусство «для звуков сладких и молитв». Условия эти—постоянный надзор над Пушкиным, желание Николая I руководить музой поэта при посредстве шефа жандармов Бенкендорфа, могли вызвать негодующий возглас поэта и жажду петь свободно, итти туда, «куда влечет свободный ум». Ясно, делает вывод Плеханов, что склонность Пушкина к чистому искусству явилась следствием разлада между художником и окружающей его общественной средою.

Далее Плеханов приводит ряд примеров из истории франц. литературы (Теофиль Готье, Теодор де Банвилль, Гонкур, Флобер), когда молодые французские романтики, относясь резко отрицательно к окружающей их буржуазной среде, не могли не возмущаться идеей «полезного» искусства, которое должно было служить буржуа.

Франц. художники конца XVIII в. тоже были в разладе со старым режимом, но они сочувствовали нарождающемуся новому порядку и в этом заключалось их различие от романтиков своей эпохи, разлад которых с окружающим обществом был безнадежен.

И Плеханов подчеркивает, что склонность к искусству для искусства возникает на почве безнадежного разлада с обществ. средой. Там же, где есть сочувствие между значительной частью общества и людьми, интересующимися художественным творчеством, там возникает склонность придавать искусству значение «приговора над явлениями жизни» (выражение художника Крамского) и радостная готовность участвовать в общественных битвах.

И снова на ряде примеров из литературы и живописи разных эпох от Леонардо да-Винчи до Зинаиды Гиппиус включительно, наш учитель марксизма доказывает свою основную мысль, давая нам **метод** для решения вопроса об искусстве.

И в этом главная ценность статьи Плеханова. Он дает то, чего еще так не достает нам при решении различных вопросов — марксистский метод и поэтому данная статья, как и другие труды Плеханова, не мало послужит выработке правильного марксистского миросозерцания и должна быть горячо рекомендована всем, желающим научиться марксистски правильно мыслить.

Нужно признать заслугой Института Журналистики издание этой книги; приходится лишь указать, что, печатая книгу в Кабинете Газетной Техники при Московском Институте Журналистики, который должен быть, полагаем, показательным, нужно более тщательно вести корректуру и не допускать такого множества опечаток, какое мы видим в настоящем издании.

Э. Станчинская.

Издательская деятельность Научно-популярного Отдела Госиздата.

Потребность в популяризации естествознания у нас огромна. В хорошей доступной естественно-научной книжке нуждается и наша деревня, целиком еще находящаяся во власти авторитарно-религиозного мировоззрения, не осмыслившая до сих пор даже те трудовые процессы, которыми она занята из поколения в поколение с давних времен; нуждается в ней и городской рабочий, стоящий сейчас у кормила власти, для которого расширение кругозора и скорейшая ликвидация проклятого наследия старого — темноты и невежества является вопросом жизни и смерти;—нуждается в ней комсомолец, рабфаковец, сельский учитель, лектор партийной школы; небесполезна она будет и для каждого, окончившего нашу прежнюю среднюю, а то даже и высшую школу, ибо по части естествознания таковая оставляла желать весьма и весьма многого.

ɔбенное же значение приобретает рас-эстранение естественно-научных зна-й именно теперь, когда в связи с п'ом; изо всех щелей ползет загнан-ɪ было в подполье буржуазная идео-'ия, столь иногда с виду невинная столь в то же время опасная для мо-дых неокрепших или неискушенных юв. Этой идеологии с успехом может отивостоять лишь крепкое, цельное териалистическое миросозерцание, вы-вать которое без знакомства, и до-ьно основательного, с естествозна-ем невозможно. И все это показыва-насколько важна и насколько слож-в наше время работа по подыска-ю, изданию и распространению хоро-іх книг научно-популярного харак-эа.

Наша дореволюционная литература этой части сильно хромала. Попу-рно-научных книг было немного и льшинство из них, гонясь за доступ-стью, вульгаризировало науку или, бу-чи иной раз доступными по форме ложения, являлись далеко не доступ-ıми по характеру обработки содержа-я: стоит только вспомнить книжки ля народа» небезызвестного В. Луна-эвича. Поэтому-то так трудно те-рь найти, да просто перепечатать хо-шую книжку по естествознанию, и мы идим, что среди изданных Научно-по-/лярным Отделом книг почти полови-ı написана вновь, переизданное же ста-е тщательно проредактировано и из эго удалено все несоответствующее со-эеменному состоянию достижений на-ки.

Каждый, кому приходилось работать в :колах взрослых или в области анти-элигиозной пропаганды, знает, что пер-ыми возникающими у слушателей во-росами являются вопросы о происхожде-ии мира и человека. Поскольку лектору дается дать простые, понятные и толко-ые ответы на эти вопросы, поскольку ему дается натолкнуть слушателя на даль-ейшее самостоятельное исследование х, постольку можно быть уверенным, го этим нанесен решительный удар ре-игии и схоластике и заложен крепкий фундамент материалистического мировоз-зрения. Поэтому вопросам о строении, жизни и эволюции вселенной, вопросам о происхождении истории земли и о происхождении жизни (в частности, человека) на земле издательством научно-популярной литературы должно быть уделено особое внимание. Затем идут вопросы о «душе», о сущности жизни и смерти, о том—как идет жизнь; вопросы о силах, действующих в природе — на все эти вопросы так же должна дать понятный и в то же время вполне научный ответ популярная книжка. Необходимо кроме того научно осветить и осмыслить явления обыденной жизни, трудовые процессы, выяснить настоятельную необходимость личной и социальной гигиены и т. п. И, наконец, нужно дать всякому мало-мальски подготовленному читателю, но не специалисту в той или иной области, — возможность следить за последними важнейшими успехами науки, держать его в курсе последних ее достижений. Если все это сделано и сделано хорошо, то можно сказать, что издательство разрешило свою задачу и оправдало свое существование. Выпущенный Научно-популярным Отделом материал является вполне достаточным для того, чтобы судить, насколько удовлетворяет он вышеуказанным требованиям, и мы перейдем теперь к рассмотрению результатов работы Отдела. Предварительно сделаем, однако, еще одно замечание. Ко всякой научно-популярной книжке следует пред'явить два требования: во-первых, она должна быть доступна не только по форме, но и по содержанию для малоподготовленного читателя (в то же время, конечно, изложена по возможности интересно и увлекательно) и, во-вторых, она должна быть строго научна, — никакая фальсификация или вульгаризация науки в популярной книге недопустимы. За выполнение второго требования нам ручаются имена научных сотрудников Отдела [1]), а поэтому (за некоторыми

[1]) См. журн. «Печать и революция» 1921 г., кн. 3, стр. 305.

ичными исключениями, на которые в своем месте укажем) мы будем ивать выпущенные Отделом книжки, ым образом, с точки зрения перво-ребования.

учно-популярный Отдел начал свою ту с ноября 1920 года [1]) при самых агоприятных условиях. Бумажный и графский кризис, отсутствие сноше- с заграницей, мизерная оплата ли- турного труда, вызвавшая массовый в литературных работников в другие, о «хлебные», области работы и, нако- далеко не доброжелательное отноше- со стороны специалистов к Госиздату. государственному учреждению, пи- еся еще неизжитыми саботажниче- и настроениями интеллигенции е Октября—все это вначале крайне озило работу. Однако, несмотря на трудности, Отделу удалось завербо- целый ряд ценных сотрудников из ритетных научно-литературных и лярнзаторских сил, и он за два года л выпустить около 75-ти книг и плакат. Таким размахом работы ли сможет похвалиться какое-либо огичное учреждение, и результаты заслуживают быть отмеченными в ти.

рейдем теперь к рассмотрению этих льтатов.

вопросу о строении и жизни все- ой Отделом выпущены книги: ммарион «Общедоступная астро- я», Чижов «Звездные вечера», нк «Солнце», Франц «Луна». тман «Форма и движение земли». хайлов «О солнечных затмениях» плакат «Солнечное затмение». Эти ги дают уже достаточный материал ознакомления с вопросом. Книги ммариона и Чижова давно уже поль- тся заслуженной известностью хоро- популяризаций и могут быть даны ки как школьнику, так и взрослому. нига Эпика написана вновь и зна- т с современным состоянием на- сведений о солнце, имея в виду теля, «единственной подготовкой ко- торого является интерес к предмету и элементарная грамотность». Автор удачно разрешает поставленную себе задачу, трактовка предмета везде доступная, и книга, по справедливости, может быть причислена к одной из лучших популяризаций по астрономии. Не особенно удачной и уместной в научной книге кажется нам только помещенная на стр. 99 таблица, на основании которой автор пытается установить некоторую связь между массовыми революционными движениями и... количеством пятен на солнце. От таких сопоставлений и комментариев к ним лучше было бы, пожалуй, воздержаться! Книга снабжена большим количеством рисунков и фотографий на отдельных таблицах, что делает содержание ее еще более доступным и наглядным. Написанная также вновь книга Франца знакомит читателя с нашим ближайшим соседом в мировом пространстве. Главным достоинством книжки Ройтмана является исторический подход к вопросу — наиболее достигающий цели в том случае, когда нужно рассказать не только о том, что до- стигла наука, но и как она этого до- стигла.

Брошюра Михайлова о солнечных затмениях и соответствующий плакат, выпущенные как раз перед затмением 8-го апреля прошлого года, сыграли большую роль в деле распространения правильного понимания этого явления природы широкими массами. Написана брошюра просто и толково.

Еще более полно, чем жизнь «неба», освещена жизнь земли. По этому вопросу выпущено: Вагнер «Рассказы о земле», Вагнер «Рассказы о воде», Вальтер «Первые шаги в науке о земле», Гейки «Физическая география», Гейки «Геология», Жадовский «Русская Сахара». Нансен «На крайнем севере», Павлов «Морское дно», Шульга-Нестеренко «Снег и лед в жизни земли», Павлов «Очерки истории геологических знаний». Популяризации Вагнера давно уже завоевали себе заслуженное признание, и переиздание их можно только приветствовать. Очень хороша книжка Вальтера: «Пер-

---

[1]) «Печать и революция» 1921 г., 3, стр. 304.

шаги в науке о земле» и поневоле дуешь тем школьникам, учитель ко-ıх догадается использовать эту книж-ля ознакомления их с жизнью нашей іеты. «Геологией можно заниматься, го говоря, только в природе,—гово-автор в предисловии,—к этому дол-і вести прилагаемые для упражнений чи... Небольшие весы, стакан на тре-нике, спиртовая лампа и немного со-й кислоты — вот все наши инстру-ты». Затем идут ясно, сжато и тол-і изложенные параграфы, в конце дого из которых даются интересней-задачи. Они легко и с увлечением ут выполнены каждым учащимся и ут ему незаменимую практику в іении методики познания природы. книжка непременно должна побы-і в руках у каждого учителя и ка-го учащегося.

дачно составлены также обе книжки ки, и чтение их не требует никакой готовки. Хорошо разработан вопрос оли снега и льда в жизни земли в ге Шульга-Нестеренко, которая, бла-ря образному и простому языку, чи-ся очень легко. Исключительное ме-по своим достоинствам занимает жка проф. Павлова «Морское дно», рую по талантливости популяризации ю можно сопоставить с классическим дом К. Тимирязева «Жизнь расте-». На шестидесяти с небольшим стра-ах мастерски набросана такая яркая тина жизни моря и происходящих в геологических процессов, которая чи-лем этой книжки никогда не забу-я. Хорошие рисунки и таблицы в сках еще более дополняют яркость чатления. Занимательная книжка ісена рисует жизнь за полярным кру-и читается с большим интересом. ıжка Жадовского «Русская Сахара» дставляет собой одно из увлекатель-ших описаний исследованных самим ором Туркестанских пустынь, в кото-: приводятся примеры удивительной способленности растений и животных яжелым условиям существования в одных песках и намечаются пути, редством которых эти пустыни «мог-бы быть не менее пригодны и для постоянного пребывания здесь человека». Книга снабжена большим количеством оригинальных фотографий и рисунков. Книга проф. Павлова **«Очерки истории геологических знаний»** выпущена к 35-ти летию профессуры автора и дает ценный материал интересующемуся историей гео-логии. Чтение ее требует некоторой пред-варительной подготовки.

Вопросу о происхождении жизни на земле посвящены книжки: Алексеев **«О происхождении животных и челове-ка»**, Анучин **«Происхождение челове-ка»**, Гессе **«Происхождение видов и дарвинизм»**, Костычев **«О появлении жизни на земле»**, Елачич **«О происхо-ждении птиц и вымерших птицах»**, Елачич **«О вымерших животных»** (пресмыкающихся) и Павлов **«Иско-паемые слоны»**. Все эти книжки пред-ставляют собой уже вполне достаточный материал для первоначального ознако-мления с современным состоянием наших сведений о зарождении и развитии жиз-ни на земле. Брошюра Алексеева являет-ся введением в вопрос, написана про-сто и доступно, недостатки ее заклю-чаются в краткости и отсутствии иллю-страций, благодаря чему изложение мно-го теряет в наглядности. Книжка Ану-чина разбирает вопрос более подробно, особенно в части, касающейся происхо-ждения человека. Вполне ясное и до-ступное изложение, а также исторический подход к вопросу делают ее очень цен-ной, жаль только, что издательство не снабдило ее иллюстрациями и не напе-чатало на лучшей бумаге. Очень удач-ным является издание труда Гессе **«Уче-ние о происхождении видов и дарви-низм»**. В наше время нередко приходит-ся слышать, что дарвинизм «устарел» и что наука будто бы отказывается от теории Дарвина и такие заявления льют, конечно, воду на поповскую мель-ницу. Гессе в своей книжке приводит целый ряд фактов, которые показывают, что если «дарвинский опыт об'ясне-ния, по меньшей мере, был оценен слишком высоко», и «если теперь... мож-но услышать, что дарвинизм является... преувеличенной точкой зрения, это от-носится не к учению о происхождении

как таковому, а лишь к данной
ке об'яснения. Учению о про-
ждении видов этим ни-
го ущерба не наносит-
) этой книжкой полезно познако-
каждому знающему об естествен-
боре или по наслышке, или в луч-
лучае по «Рубакину»; она хорошо
ает всю глубину вопроса и дает
ходный материал для борьбы с
рными «опровержениями» дарви-

Хорошим дополнением к ней
ся книжка Костычева «О появле-
изни на земле», разбирающая во-
самозарождении и излагающая
предположения о начале жизни
ле с точки зрения современной на-
Книжки Елачича и Павловой по-
е трактуют об отдельных ветвях
ревного дерева живых существ и
ся с большим интересом. Понима-
облегчается целым рядом хоро-
олненных рисунков.
осу о сущности жизненных (в
ти душевных) явлений посвяще-
ижки: Беркова «Жизнь, ее
ения, происхождение и развитие».
р «Жизнь, ее природа, происхо-
и сохранение», Синицын
и по биологии» (ч. 1-я Законы
Аркин «Мозг и душа», Ела-
О душевной деятельности живот-
К. Тимирязев «Значение
(Луи Пастер).

ка Берковой представляет собой
жатый, но в то же время ясный
нный очерк отличительных при-
живых существ, их состава и строе-
словий, необходимых для жизни.
е затрагивает вопросы о происхо-
и развитии жизни, о старости
и. Чтение книжки не требует ни-
одготовки. Небольшой очерк проф.
на тему о природе жизни намеча-
е направление современных биохи-
х исследований. Глубоко инте-
по своему содержанию, он, кро-
дает яркий образчик двойствен-
оложения современного буржуаз-
ного - естествоиспытателя, кото-
одной стороны, приходится при
исследованиях стоять целиком
ериалистической точке зрения, а
с другой, благодаря своему классовому положению зазорно открыто признать себя материалистом. Трудно удержаться от соблазна и не привести несколько характерных выписок. В предисловии автор, между прочим, говорит: «Наука о природе... никогда по-настоящему не может быть двинута вперед, если к ней будет примешиваться «сверх'естественное» или если мы для раз'яснения научных проблем, не поддающихся немедленному разрешению при помощи обычных научных методов, станем апеллировать к метафизике. Поэтому... во всех вопросах, представляющих предмет научных изысканий, нам надлежит устранять всякие соображения, предполагающие вмешательство сверх'естественных сил. Это не материализм, а здравый смысл» (курсив наш). И в тексте у нашего автора «не материалиста» попадаются такие заявления: «...все вообще изменения в живой субстанции вызываются обычными физическими и химическими силами...». «В лучшем случае, витализм ничего не об'ясняет, а понятие «жизненная сила» свидетельствует о невежестве... Ничуть не подвинимся мы... если заменим термин «витализм» — «неовитализмом», а «жизненную силу» — «биотической энергией». «Новый пресвитер — тот же старый поп, только пишется другими буквами». «...мы не должны закрывать глаза на возможность того, что... вопрос о наследственности также относится к числу вопросов, разрешения которых мы должны ожидать от химиков»... «Происхождение и отправление высших способностей у человека обусловливаются чисто химическим действием продукта выделения». Да, ведь, после этого нам, заскорузлым материалистам, право, весьма по пути с господином профессором, и Научно-популярный Отдел очень хорошо делает, что знакомит широкие массы с его «не материалистическими» взглядами, тем более, что они так талантливо изложены.

Книга Синицына «Лекции по биологии» обнимает вопросы о химических и физических свойствах живого вещества, его формах и устройстве, об отношениях между живой и мертвой при-

ой, о взаимоотношениях живых организмов, размножении их и о происхождении жизни на земле. Изложение предмета очень наглядное и доступное, изучение книги не требует никакой особенной подготовки. Ее можно горячо рекомендовать для прочтения всем, более подробно интересующимся вопросами о жизненных явлениях; большое значение она может иметь и при использовании в нашей трудовой школе.

Книжка Аркина **«Мозг и душа»** в популярной форме излагает добытые до сих пор наукой сведения о различных проявлениях нашей душевной жизни и в общем с успехом разрушает наивные представления о дуализме души и тела. Жаль только, что автор совсем обходит «условные рефлексы», ознакомление с которыми еще ярче выявило бы тесную связь «души» и тела. Читается книжка легко.

Очерки по зоопсихологии Елачича **«Душевная деятельность животных»**) отличаются обычными достоинствами всех его книжек, живостью и увлекательностью изложения. Целым рядом фактов автору удается показать, что столь часто вызывающие наше удивление «ум», «сообразительность», самопожертвование и любовь к детям в мире животных являются следствием почти чисто автоматических и механических привычек, выработавшихся на протяжении длинного ряда веков в процессе борьбы за сохранение и развитие рода и проявляющихся без какого-либо участия сознания. К книге приложена статья Б. Завадовского, которая знакомит читателя с работами нашего знаменитого физиолога И. Павлова об условных рефлексах и с некоторыми опытами Леба и Ледюка, благодаря которым «совершенно стираются границы, отделяющие область чувствительности и «душевной» деятельности живых организмов от области точно исследуемых физико-химических явлений в капельках туши». Статья эта требует от читателя большей подготовки, чем сама книга.

Брошюра К. Тимирязева **«Значение науки»** вышла вторым изданием и достоинства ее настолько известны, что вряд ли нужно говорить о них здесь еще раз.

Жизнь растений и животных описывается в книжках: Вагнер **«Рассказы о том, как живут и работают растения»**, Порецкий **«Друзья растений»**, **«Зеленый мир»**, **«Растения-дармоеды»**, **«Растения и свет»**. **«Как растения защищаются от врагов»**. **«Как растения защищаются от засухи, сырости и холода»**. **«Хищные растения»**, Грун **«Начатки ботаники»**, Тимирязев **«Борьба растений с засухой»**, Богданов **«Мирские захребетники»**, Вагнер **«Рассказы о животных»**, Воронков **«По пресным водам»**, Кайгородов **«Черная семья»**. Все эти книжки дают прекрасный материал для нашей школы и с их помощью не получивший достаточной подготовки по естествознанию сельский учитель сумеет все-таки, отбросив в сторону прежнюю мертвящую систематику, раскрыть детям глаза на жизнь окружающей природы, показать им удивительнейшие приспособления живых существ к условиям этой жизни, собрать и составить целый ряд поучительных коллекций, приохотить детей к занятиям природоведением, провести много интересных экскурсий. Описания многих простых опытов, которые легко воспроизвести с самыми немудрящими средствами, и наглядные рисунки, по которым нетрудно узнать то или иное растение или животное, делают эти книги еще более ценными пособиями для школы и для кружков самообразования. Несколько мало материала по жизни животных, но он должен пополниться подготовляемыми к печати книжками Богданова, Кайгородова, Покровского, Пименовой и классическим трудом Фабра «Жизнь насекомых».

По вопросам физико-химическим вышли книги: Вагнер **«Рассказы о воздухе»**, Гильом **«Введение в механику»**, Классен **«Двенадцать лекций о природе света»**, Кошобеевский **«Как плавают в воде и как летают в воздухе»** и **«Что такое радий»**, Лермантов **«О том, как работают машины и как рассчитаны их действия»** Нагель **«Романтика химии»**, Роск

ія», А. Тимирязев «Что физика», Тиндаль «Звук». того вышел ряд книжек о теории ітельности и о новых достижени- области разгадки тайны строения тва,—об них мы поговорим особо. ет отметить. что в разбираемой нет ни одной книжки, в кото- аглядно и исчерпывающе освещал- вопрос о сохранении энергии; это жаль, ибо понимание и усвоение закона имеет огромное воспитатель- (в смысле научном) значение. От- следовало бы восполнить этот про-

жка Вагнера в самой доступной дает первоначальные сведения о ствах и составе воздуха. Труд Гиль- іредставляет собой выдающееся по ги и талантливости изложения вве- в механику. Обилие примеров из нной жизни, строгая логичность, венность переходов, проникающая книгу любовь к научному исследо- природы, изящный легкий язык, го заставляет читать книгу от на- до конца с неослабевающим инте- .. Тем, кого в детстве и юности ш Краевичем, трудно и представить что можно так увлекательно изло- столь сухую материю, как меха. С полным правом «друзьям де- посвящает свой труд автор,—на- иложить все усилия к тому, чтобы нига действительно дошла до них. кции о природе света» — Классена ют для своего понимания подготов- бе книжки Коновеевского могут даны, наоборот, любому школь- любому взрослому, не обладаю- особой подготовкой. Не легко из- ть популярно и в то же время до- чно полно наши сведения о ра- элементе, заставившем совершенно мотреть прежние воззрения на стро- вещества, но Коновеевскому это в я удается. Кому время не позволя- лее подробно познакомиться с во- м, но кто все-таки хотел бы быть эсе главнейших результатов рабо- ад исследованием радия, тому мож- смело рекомендовать небольшую ку Коновеевского.

Вполне своевременно переиздание кни- ги Лермантова «О том, как машины ра- ботают»; она будет очень полезна для каждого стоящего при машинах рабо- чего, который захочет понять и осмы- слить работу машин. Книга, правда, чи- тается не легко, рассчитана на читателя «знакомого с арифметикой и геометри- ей», но все-таки тому, кто над ней по- сидит как следует, она даст очень мно- го. Для облегчения понимания в конце книги сообщаются некоторые сведения из арифметики и геометрии. Несколько портит книгу не всегда удачный подбор выражений, долженствующий, очевидно, по мнению автора, «облегчать» понима- ние. На стр. 21, например, говорится: «...вещество, из которого сотворены все... предметы, одарено особой способностью... вещество не любит перемены... оно хочет продолжать двигаться» и т. д. Такой антропомор- фический способ выражений совершенно неуместен в научной книге. Попадаются и прямые неправильности: на стр. 23, например, сообщается, что «живая сила возрастает... как количество вещества в движущемся теле» — определение очень неудачное,—несколько далее автор при- водит как пример «движущихся вечно по инерции» тел небесные тела, кото- рые будто бы движутся «без всяко- го сопротивления» и движе- ние их «может продолжаться без замед- ления сколько угодно». Эти не- достатки по сравнению с общими до- стоинствами книги являются, однако, мелкими. Книжка Нагеля «Роман- тика химии» рисует значение и успехи прикладной химии, написана очень жи- вым, образным языком и дает яркое представление о том, насколько тесно сплетается наука с трудовой деятельно- стью человечества. Что касается общей химии, то у нас почти нет по ней хо- роших популярных книг. Быть может, это связано с тем обстоятельством, что химию вообще нельзя изучать по книж- ке, не проделывая при этом опытов, а подобрать опыты, которые можно было бы проделать у себя дома при помощи простых средств, не очень-то легко. Во всяком случае, выпущенная отделом

«Химия»—Роско не принадлежит к числу удачных попыток в этом направлении. Прежде всего она устарела и проредактирована очень небрежно, путаются в ней понятия «простого тела» и «элемента», говорится (в 1921 году!), будто «химики не могли превратить какой-нибудь из элементов в другой» и т. п. Не мало попадается также и неправильностей, очень плох перевод, неудачен метод изложения (сначала положение, а потом опыты, его доказывающие, а не наоборот). Книгу эту никоим образом нельзя рекомендовать ни для школы, ни для самообразования и издание ее мало гармонирует с общим характером деятельности отдела.

Небольшая книжка А. Тимирязева представляет собой ряд интересных набросков из различных областей физики, показывающих, «что при настоящем состоянии науки, когда наши ощущения отступают все более и более на задний план, заменяясь точными показаниями инструментов, различие между отдельными главами сглаживаются и все яснее выступает сходство в том, что казалось несходным». Книжка дает яркое представление о тонкости современных физических инструментов и добытых с помощью их результатах.

Известная книга Тиндаля—**«Звук»** является классическим и наиболее полным популярным изложением этой главы физики во всей мировой литературе. Думается, однако, что она, с одной стороны, слишком уж подробна, с другой, несколько устарела и навряд ли может быть использована в наше, требующее быстроты работы, время в школе или в целях самообразования. С ее переизданием лучше было бы, пожалуй, погодить, а вместо нее ускорить выпуск других намеченных к изданию книг.

В области прикладных наук и описания успехов борьбы человека с природой вышли: Львов **«Каменный уголь»**, **«Соль и ее добывание»**, **«В нефтяном царстве»**; Иванов **«Откуда берется чугун и железо»**, Морозов **«Лес как растительное сообщество»**, Михельсон **«О погоде и о том, как ее можно предвидеть»**, Гюнтер **«Электротехник-строитель»**, Никитинский **«Стакан воды»**, Анучин **«Открытие огня и способы его добывания»**, Берен **«Рассказы о борьбе человека с природой»**, Гербертсон **«Земля и труд человека»**.

Небольшие книжечки Львова и Швецова написаны в полубеллетристической форме и с интересом прочтутся детьми. Книжка Морозова дает самые первоначальные сведения о лесоводстве и в качестве введения в вопрос хорошо может быть использована при лесных экскурсиях с учениками трудовой школы и со взрослыми. Книжка Михельсона сообщает общие сведения по метеорологии, чтение ее требует некоторой подготовки. Еще большей подготовки требует изучение труда Гюнтера—**«Электротехник-строитель»**, надо по крайней мере быть знакомым с общим курсом электричества. Книга посвящена, главным образом, описанию устройства различных электрических приборов с несложными, по возможности, средствами и будет полезна для каждого любителя электротехники, материала она дает много.

Хороша книжка Никитинского **«Стакан воды»**, трактующая, главным образом, о гигиеническом и санитарном значении воды и дающая в то же время сведения об ее составе и свойствах. Написана легко и прочтется с большим интересом каждым, взявшим ее в руки. Книжки Анучина, Берен и Гербертсона являются прекрасным материалом для чтения в наших школах, хорошо исполненные рисунки еще более оживляют их содержание.

Не забыты Научно-популярным Отделом и те области науки, развитие и выводы которых возбудили в последнее время большой интерес в широкой публике. Сюда относятся: теория относительности Эйнштейна, исследования деятельности желез внутренней секреции и связанные с ними опыты по омоложению организмов, и, наконец, новейшие успехи химии в области проникновения в тайны строения вещества.

О принципе относительности Отделом выпущены три книжки: Эйнштейн **«О теории относительности»**,

Ауэрбах «Пространство и время», «Материя и энергия» и Ленар «О принципе относительности, эфире и тяготении». Каждый, давший себе труд познакомиться с этими книжками непредубежденный читатель, сумеет сделать два важных вывода: во-первых, теория относительности является далеко еще не прочно установленной и разработанной и, во-вторых,—даже при условии ее полного признания, она ни на йоту не колеблет материалистического мировоззрения. Эти выводы очень важны, ибо в наше время нет недостатка в попытках притянуть эту теорию для «омоложения и продления жизни» умирающей идеалистической философии,— к сожалению, здесь не место подробнее останавливаться на этом интересном вопросе.

Книжка Эйнштейна, несмотря на ее подзаголовок «общедоступное изложение», доступна только читателю с образованием несколько выше среднего. То же самое нужно сказать и об «элементарном» введении в теорию Ауэрбаха. Но и такой читатель многое должен будет принимать на веру, ибо общая теория относительности представляет собой логически-математическое развитие двух опытных фактов — постоянства скорости света и принципа относительности, и эта математическая формулировка совсем не поддается популярному изложению. Более доступна книжка противника теории относительности — известного немецкого физика Ленара, который ярко выявляет слабые места этой теории. Каждому интересующемуся вопросом на-ряду с трудами основоположников и защитников теории непременно нужно прочесть книжку Ленара, ибо только тогда он сумеет составить себе правильное представление о современном состоянии вопроса. Прекрасно сделал Отдел, предоставивши в выпускаемой им литературе место обеим точкам зрения по отношению к теории относительности.

Вопросам о деятельности гормонов и опытам по омоложению посвящены две книжки: Земилов «Внутренние двигатели человеческого тела (гормоны)» и Каммерер «Омоложение и продление личной жизни». Обе книжки вполне доступны и почти исчерпывающе (в об'еме интересующем не-специалистов) знакомят с вопросом.

Отчет о новейших достижениях химии и физики дают книжки: Шмидт «Проблемы современной химии» и Конобеевский «Строение вещества». Книга Шмидта изложена живым, блестящим языком, хорошо сохраненным в переводе, и прекрасно рисует картину «жизни» атомов, поскольку она выяснена современной наукой. Читатель найдет здесь много материала по диалектике природы, в которой «все живет и изменяется, все находится в вечном течении, все преобразуется, все развивается—мир химических элементов, как и мир организмов». Для понимания книги нужна некоторая подготовка. Более полно и систематически излагает картину строения вещества рассчитанная на «интеллигентного читателя, уже размышлявшего над основными проблемами материи», книга Конобеевского. Шаг за шагом постепенно вводит автор читателя в тайны вещества, и добросовестно, вдумчиво следующий за ним читатель не пожалеет о потраченном времени, ибо он узнает о том, «что лежит в основе вещества, что создает собою его свойства и отличия, из чего и как построены все тела, столь прихотливо разнообразные по своему внешнему облику и в то же время столь близкие друг к другу, как в смысле единого плана их строения, так и в смысле материала, служащего для этой постройки».

Наш обзор закончен, остается сказать лишь о внешности изданий и вкратце формулировать выводы. Большинство книжек изданы прекрасно, особенно печатавшиеся в Берлине. Не на много отстают от них и московские издания последних лет, и лишь издания 1919 и 1920 годов оставляют желать лучшего.

Насколько же удовлетворяет деятельность Научно-популярного Отдела изложенным в начале обзора требованиям, которые следует пред'явить к научной литературе, предназначенной для массового распространения?

Мы видели, что в общем и целом требования эти удовлетворены. Освещены все области естествознания, имеющие значе-

ние для выработки правильного взгляда на мир и понимания основных законов природы, даны хорошие руководства для работы по усвоению методики познания природы, затронуто не мало чисто практических вопросов, не забыто ознакомление широких кругов с последними достижениями науки. Все книжки, за единичными исключениями («Химия» Ро...ко), вполне научны и свободны от вульгаризации в ущерб этой научности, большинство из них вполне доступно для мало подготовленного читателя. Целое море света и знания внесут эти книжки во мрак нашего невежества, неоценимый материал дают они учителю, лектору, пропагандисту, культурнику, и Научно-популярный Отдел, — надо признать, — несмотря на трудные условия, сумел выковать острое орудие для борьбы с нашей исконной русской темнотой.

Теперь дело за нам... ны, культурные учр... зации, парткомы, к... сты, культурники, уч... вом все, кому дороги ... ния масс, должны н... ся к тому, чтобы эти ... масс, попали в кажд... скую, сельскую и кр... библиотеку, были бы ... ждого учителя. Мало ... ми в этом направ... остаются прекрасные ... полках книжных маг... понятно долго ищут ... но будем надеяться, ... расшевелимся и издан... ного Отдела найдут с... Они стоят того.

СОДЕРЖАНИЕ.

Внутри советской России.

Литературные края.

Библиография.

— —

«КРАСНАЯ НОВЬ»

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ и НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ.

Выходит один раз в 1½—2 месяца, книжками в 17—19 л. л.

ВЫШЛО 9 НОМЕРОВ.

Состав сотрудников:

Художественное слово.

В. Александровский, А. Аросев, Мих. Артамонов, Н. Асеев, Анна Баркова, Демьян Бедный, С. Бобров, Валерий Брюсов, Артем Веселый, Анна Веснина, В. В. Вересаев, Максимилиан Волошин, Е. Волчанецкая, Иван Вольнов, Д. Выгодский, М. Герасимов, Ф. Гладков, Андрей Глоба, С. Городецкий, Максим Горький, А. Дроздов, П. Ерошин, С. Есенин, Мих. Зощенко, Ал. Зуев, Всев. Иванов, Вера Ильина, Вас. Казин, Ив. Касаткин, В. Кириллов, С. Клычков, Кл. Лаврова, Е. Лунц, Н. Ляшко, О. Мандельштам, А. Мариенгоф, В. Маяковский, В. Муйжель, Петр Мытарь, В. Нарбут, А. Неверов, П. Низовой, Н. Никитин, С. Обрадович, П. Орешин, Н. Павлович, Б. Пастернак, А. Перегудов, Б. Пильняк, В. Плетнев, С. Подьячев, Ел. Полонская, Н. Полетаев, А. Пришелец, П. Радимов, Лариса Рейснер, Ив. Рукавишников, С. Семенов, Д. Семеновский, Сергеев-Ценский, П. Сухотин, Н. Тихонов, А. Н. Толстой, К. Тренев, К. Федин, Е. Федоров, Ольга Форш, В. Ходасевич, А. Чапыгин, М. Шагинян, Г. Шенгели, М. Шимкевич, Вяч. Шишков, Эйдеман, Ил. Эренбург, А. Яковлев и др.

Политика, экономика, наука, критика, библиография.

Вл. Архангельский, Антропов, Б. Арватов, Н. Асеев, Л. Аксельрод (Ортодокс), В. Баженов, В. Базаров, С. Бобров, О. Бик, И. Бороздин, проф. Блажко, Н. Бухарин, Илья Вардин, А. Воронский, Евг. Варга, В. Ваганян, Б. Горев (Гольдман), С. Гусев, С. Городецкий, Карл Грасис, Ш. Двойлайцкий, А. Деборин, Б. Завадовский, М. Завадовский, С. Ингулов, Н. Крупская, М. Кантор, Г. Кржижановский, П. С. Коган, В. Кураев, А. Канторович, Н. Ленин, А. Луначарский, Ю. Ларин, А. Лозовский, И. Майский, Н. Мещеряков, А. Меньшой, И. Месяцев, Милютин, З. Маркович, Нурмин, В. Невский, А. Неверов, М. Ольминский, Е. Преображенский, М. Павлович, Вяч. Полонский, Г. Пятаков, проф. Прянишников, М. Н. Покровский, Пржеборовский, Е. Пашуканис, Карл Радек, А. Реформатский, М. Рейснер, И. Рейснер, Д. Рязанов, М. Смит, Вл. Сарабьянов, В. Смушков, И. Степанов, В. Смирнов, Н. Суханов, П. Садыкер, Т. Сапожников, А. Тимирязев, Л. Троцкий, В. Фриче, Мих. Фрунзе, Фридеман, А. Хрящева, Клара Цеткин, С. Членов, Я. Шафир, А. Юрлов, Я. Яковлев и др.

Книга первая.

Всеволод Иванов. Партизаны. Рассказ.— *М. Пожарова*. Стихи.— *С. Подьячев*. „Голодающие". (С натуры). — *Д. Семеновский*. Современные частушки. — *Николай Колоколов*. Стихи. Политико-экономический отдел. *Н. Ленин*. О продовольственном налоге.— *Ш. Двойлайцкий*. Накопление капитала и проблема империализма.— *К. Радек*. Третий год борьбы советской республики против мирового капитала.— *А. Хрящева*. К характеристике крестьянских хозяйств периода войны и революции.— *Н. Крупская*. Система Тэйлора и организация работы советских учреждений. Искусство и жизнь. *А. Луначарский*. Наши задачи в области художественной жизни.— *В. Фриче*. Ромэн Роллан. Отдел научно-популярный. *А. Тимирязев*. Периодическая система элементов Менделеева и современная физика. Научная хроника. *Вл. Архангельский*. Наши достижения в аэрогидродинамике.— *В. Баженов*. Успехи применения радио за границей. Внутри советской России. *Е. Преображенский*. Новая полоса.— *И. Вардин*. „После Кронштадта". Иностранное обозрение *М. Смит*. Производственные и социально-политические предпосылки забастовки английских углекопов.— *М. Павлович*. Кемалистское движение в Турции.— *М. Павлович*. С. Штаты и советская Россия. Из прошлого. *Вяч. Полонский*. Вейтлинг и Бакунин. В порядке дискуссии. *М. Ольминский*. О книге т. Бухарина.— *Не-ревизионист*. О книге т. Бухарина.— *Н. Бухарин и Г. Пятаков*. Кавалерийский рейд и тяжелая артиллерия. Из зарубежной прессы. *Н. Мещеряков*. „Наши за границей".— *А. Воронский*. Уэльс о советской России. Критика и библиография. 1. *А. Воронский*. Об отшельниках, безумцах и бунтарях.— 2. *Нурмин*. Леонид Андреев. „Дневник сатаны".— 3. *А. Меньшой*. „Парализованные".— 4. *Нурмин*. Феликс Гра. „Террор".— 5. *А. В.* Распад идеологии.— 6. *М. Кантор*. „Народное хозяйство", ежемес. экон. журнал.—

7. *Проф. Реформатский*. Наука и ее работники.—8. *Мих. Павлович*. Мих. Лемке„ 250 дней в царской ставке".— 9. *Я. Шафир*. Н. Ашешов. Софья Перовская.— 10. *Я. Ш.* Л. Г. Дейч. „Русская революц. эмиграция 70-х годов".— 11. *А. Аросев*. Ген. Слащев-Крымский. Требую суда общества и гласности.— 12. *А. Аросев*. Мих. Павлович. Экономическое развитие и аграрная программа в Персии XX века.— 13. *Подземский*. „Красный журналист".

Книга вторая.

Вячеслав Иванов. Алтайские сказки.— *Дмитрий Семеновский*. Песнь песней. Стихи.— *Ольга Форш* (А. Терек). Чемодан. Рассказ.— *Мих. Артамонов*. Из полевых песен. Стихи.— *А. Аросев*. Страда. Записки.— *В. Александровский*. Из поэмы „Деревня". Стихи.— *Павел Низовой*. Крыло птицы. Рассказ.— *Борис Пастернак*. Уральские стихи. Политико-экономический отдел. *Евгений Варга*. Как строилась промышленность и разрешался земельный вопрос в советской Венгрии.—*Мих. Фрунзе*. Единая военная доктрина и Кр. армия.— *Я. Шафир*. „Экономическая политика белых". Научно-популярный отдел. *Г. Кржижановский*. Заметки об электрификации.— *Д. Прянишников*. От азота воздуха к азоту нервной и мышечной ткани.— *А. Тимирязев*. Принцип относительности (о теории Эйнштейна).— *А. Тимирязев*. Успехи физики в сов. России. Из прошлого. *Вяч. Полонский*. Крепостные и сибирские годы М. Бакунина. Искусство и жизнь. *Роза Люксембург*. В. Короленко.— *В. Фриче*. От войны к революции.— *А. Воронский*. Литературные заметки. Внутри советской России. *С. Клепиков*. Неурожай 1921 г.— *П. Месяцев*. Голодное переселение.— *Я. Яковлев*. Махновщина и анархизм.— *Ил. Вардин*. Реакционная демократия. Вопросы международного рабочего движения. *К. Радек*. Комментарии к третьему конгрессу Комм. Интернац.— *Мих. Павлович*. Восточный вопрос на III конгрессе. Отклики на зарубежную печать. *М. Покровский*. Противоречия г. Милюкова.— *Н. Мещеряков*. Легкомысленный путешественник. В порядке дискуссии. *Сарабьянов*. От примитивов к крайностям.— *Н. Бухарин*. Настоящая потеха и настоящее мучение. Критика и библиография. *Анчар*. „150.000.000".— *Нурмин*. О новой книге В. Короленко.— *П. Яровой*. Быт в произведениях А. Неверова.— *Н. Захаров-Менский*. Поэзия никитинцев.— *В. Невский*. Взаимодействие или монизм.— *Вад. Смушков*. Из эпохи „Звезды" и „Правды" (1911—1914 г.г.)— *В. Смушков*. На службе германской революции.— *А. Воронский*. От народнического утопизма к контр-революционной кулацкой идеологии.— *Нурмин*. К эволюции русского либерализма.— *Мещеряков*. Мечты, мечты.— *Дон Аминадо*. „Зеленая палочка".— *П. С. Коган*. Александр Блок (некролог)

Книга третья.

С. Подьячев. „Болящий". Рассказ.— *Н. Никитин*. Мокей. Сказ.— *М. Шимкевич*. Волк. Рассказ.— *Артем Веселый*. Мы. Драматические картины.— *В. Плетнев*. Золото Рассказ.— *Е. Федоров*. Байтас. Из киргизских восстаний.— *В. Тамарин*. Пустыня (из истории одного похода).— *Е. Волчанецкая*. „За други своя". Стихи.— *Эйдеман*. Старец (с латышского). Стихи.— *К. Лаврова*. Сухмень. Стихи.— *А. Пришелец*. В засуху. Стихи.— *Анна Баркова*. Женщина. Стихи.— *Демьян Бедный*. Печаль. Стихи.— *Б. И. Горев (Гольдман)*. Марксизм и рабочее движение в Петербурге четверть века назад. (Воспоминания).— *Вяч. Полонский*. Крепостные и сибирские годы Мих. Бакунина (окончание).— *Б. Завадовский*. Проблема старости и омоложения в свете новейших работ Штейнаха, Воронова и других.— *И. Степанов*. Мимо и дальше от Маркса.— *Е. Преображенский*. Перспективы новой экономической политики.— *А. Смит*. К вопросу об издержках революции.— *Е. Пашуканис*. Буржуазный юрист о природе государства.— *П. Коган*. Русская литература в годы октябрьской революции.— *А. Воронский*. Из современных настроений.— *Н. Мещеряков*. „Новые вехи".— *Ил. Вардин*. Раскол партии кадетов. За рубежом *Антропов*. Англия. Экономические последствия мировой войны. Внутри советской России. *В. Кураев*. От войны к миру. В порядке дискуссии. *С. Гусев*. Еще о новой экономической политике.— *Вл. Сарабьянов*. Письмо в редакцию.—*Демьян Бедный*. Когда ж он проснется? Критика и библиография. *Анчар*. О романе Бибика.— *П. Яровой*. Варвара Бутягина. „Лютики". Стихи.— *Вл. Сарабьянов*. Л. Троцкий. Новый этап.— *Вл. Сарабьянов*. Гортер. Империализм, мировая война и соц.-демократия.— *Б. Э.* Восстановление хозяйства и развитие произв. сил юго-востока.— *Гр. С-ор*. Л. Крицман. Единый хоз. план.— *В. Ваганян*. Г. В. Плеханов. I. Год на родине. II. Речь на моск. гос. совещании.— *А. Воронский*. Похмелье. Г. Кирдецов. У врат Петрограда.— *Ил. Вардин*. Эс-эры и колчаковщина.— *Б. Завадовский*. „Природа".—*А. В.* Печать и Революция.

Книга четвертая.

Александр Яковлев. Порыв. Рассказ.—*Борис Пильняк*. Простые рассказы.— *Лариса Рейснер*. С пути. Дневник.—*Семен Подьячев*. „Православные". (Рассказ) — *Семен Подьячев*. „Из недавнего прошлого".—*Н. Ляшко*. Ворова мать. (Рассказ) — *Артем Веселый*. В деревне на масленице. (Рассказ)—*Петр Мытарь*. Сорок три. (Очерк)—*А. Аросев*. Октябрьский рассвет. (Из записной книжки)—*Арнольд Колбановский*. Муки слова.—*Павел Низовой*. Смена. (Рассказ)— *Л. Перегудов*. Казенник.— *В. Федоров*. Четыре пуговицы.—*Стихи:* Бориса Пастернака, Анатолия К., С. Обра-

овича, Анны Барковой, Д. Выгодского.—*Б М. Завадовский*. Наука в советской 'оссии.—*Ю. Ларин*. О пределах приспособляемости нашей новой экономической поли› ики.—*К. Радек*. Пути русской революции. (По поводу новой экономической политики) — *Милютин*. На экономические темы.—*А. Луначарский*. Достоевский как художник и ıыслитель.—*В. Вересаев*. Художник жизни (о Л. Н. Толстом).—*В. Плетнев* Некрасов современность.—*С. Бобров*. Кони о Некрасове и Достоевском. Внутри советской России. *Сарабьянов*. Кое-какие итоги нового курса.—*Демьян Бедный*. Курология. Критика и иблиография. *П. Коган*. Литературные заметки (Об Андрее Белом)—*Сергей Городецкий*. Обзор областной поэзии.—*Цег*. „Самое главное" —*А. Тимирязев*. Обзор литературы принципе относительности.—*Б. Арватов*. Общая эстетика.—*Ил. Вардин* „Пролетарская Революция" № 1.—*Ил. Вардин*. Я. Яковлев „Русский анархизм" Белая печать. *. Гусев*. О гражданской войне.—*И. Вардин*. Мелкое земледелие (о книге Чупрова).— *Орфик*. Мережковский. Царство антихриста.

Книга пятая.

Вячеслав Шишков. Вихрь.—(Драма в 4-х действиях) *Михаил Зощенко*. Лялька ятьдесят.—(Рассказ) *Сергей Семенов*. Тиф.—(Рассказ) *Борис Пильняк*. Отрывки из омана „Голый Год".—*Всеволод Иванов*. Бронепоезд № 14.69 —(Повесть) *В. Вересаев*. Афродите (из гомеровых гимнов). *Стихи*: Ольги Криницкой, М. Герасимова, П. Радимова. *Бернард Шоу*. Диктатура пролетариата (с английского.— *М. Покровский*. Наши ецы в их собственном изображении.—*Ш. Дволайцкий*. Мировое хозяйство и кризис 20—1921 г.г.— *В. Смирнов*. Наша экономическая политика —*Н. Мещеряков*. Задачи совреиной кооперации.—*А. Воронский*. Советская Россия в освещении без его обозревателя.— *Мещеряков*. Распад.— *П. С. Коган*. Памяти В. Г. Короленко.— *С. Бобров*. Символист ок. За рубежом. *М. Павлович*. Вашингтонская конференция. Внутри советской России. *Месяцев*. Сельско-хозяйств кризис.—*К*. В журнальном мире (хроника).— Проф. *Благко*. пехи астрономии.—Проф. *Пржеборовский* Успехи химии в России.—*Демьян Бедный*. сни.— *Сергей Городецкий*. Красномосковье.—(Стихи) Критика и библиография. *Статьи и цензии:* Нурмина, Боброва, М. Рейснера, М. Ш., Б. Завадовского, З. Марковича, Смушкова, З. Марковича.—*А. Воронский*. Из человеческих документов.—*Объявления*.

Книга шестая.

... *Чапыгин*. „На лебяжьих озерах". Повесть.—*А. Аросев*. Недавние дни. Очерки — *ина Веснина*. Крест. Рассказ.—Стихи: *Сергей Есенин, Борис Пастернак, В. Казин, Радимов, Сергей Клычков, Д. Семеновский, П. Сухотин, Н. Полетаев, Мих. Герасимов, Г. Шенгели, Петр Орешин*.—*Ник. Суханов*. В июле 1917 года.— *С Членов*. ›манская революция и социал-демократия.—*А. Лозовский*. Мировое наступление капитала и единый пролетарский фронт. Закат Европы—I. *Карл Грасис* ' схисты о Шпенгре.—II. *В. Базаров*. О. Шпенглер и его критики —III. *Сергей Бобров*. Контуженный ум.—*Е. Преображенский*. Русский рубль за время войны и революции. *А Воронский*. Литературные отклики.—*М. Рейснер* Старое и новое.— *Мих. Завадовский*. Аска-Нова.—*П. Садыкер*. Войны будущего. За рубежом. *Мих Павлович*. Генуэзская конференция — *Клара Цеткин*. Железнодорожная забастовка в Германии. Внутри сов. Рос- . *С. Ингулов*. Заметки о голоде. Литературные края *С. Бобров*. „Я. Николай Ставро- .. " *Н. Мещеряков*. Русские сменовеховцы. -*Нурмин*. В журнальном мире.—*О. Бик*. ıературные края.—*Объявления*.

Книга седьмая.

А. Неверов. Маленькие рассказы. — *Максимилиан Волошин*. Из поэмы „Путями ина". Стихи — *Всеволод Иванов*. Голубые пески. Роман.—Стихи: *Василий Казин*. *х Герасимов, С. Обрадович. Александр Зуев*. Смута Бытовые очерки —Стихи: *Есенин, П. Орешин, С. Клычков, П. Радимов*. - *А. Аросев*. Недавние дни (окончание) — *Шенгели, В. Маяковский, Н. Асеев, С. Бобров*. *Л. Троцкий* „Дело было в Испании" записной книжки.— *М Н. Покровский*. Правда ли, что в России абсолютизм „сусуществовал наперекор общественному развитию"?- *С. Членов*. Сумерки божков.—*Д. Рязанов*. Рикардо как человек и мыслитель. *Г. Пятаков*. Философия современного импеиизма (этюд о Шпенглере).—*Фридман*. О феномене Herell'я С предисловием *Б. Завадовского*.—*А. К. Тимирязев*. Внутриатомная энергия. Внутри советской России *С. Ингулов*. На текущие темы —*Н. Мещеряков*. Новое студенчество. Литературные края. *с. Асеев*. Письма о поэзии.—*П С Коган*. С. Есенин. Критика и библиография. тьи и рецензии: *Н. Асеева, С Боброва, А. Воронского, А. Неверова, А. Юрлова, Аросева, М. Н. Покровского, И. Степанова, С. Членова, К. Грасиса, Канторовича, ожникова и др.—Объявления*.

Книга восьмая.

Н. Тихонов. Сами. Стихи.—*Петр Орешин.* Квасок. Комиссарка. Стихи.—*В. Вересаев.* Из повести „В тупике“. *Ник. Асеев, Илья Эренбург, О. Мандельштам, В. Нарбут.* Стихи.—*Всеволод Иванов.* Голубые пески. Роман (продолжение).—*Елизавета Полонская, Василий Казин, Н. Полетаев.* Стихи.—*Ник. Никитин.* Из повести „Ротный форт“. *Владислав Ходасевич, Сергей Смычков.* Стихи.—*А. Зуев* „Смута“ Бытовые очерки (окончание).—*С. Огурцов* Частушки.—*С. Витте* „Покушение на мою жизнь“ (из II тома „Воспоминаний“).—*И. Майский.* Демократическая контр-революция (из воспоминаний) —*Джон Гобсон.* Проблемы нового мира (с английского).—*М. Рубинштейн.* Борьба за нефть.—*А. Буцевич.* Высшая школа.—*В. Мотылев.* Об основных проблемах экономической теории социализма. *В. Н. Савич.* Попытка уяснения процесса творчества с точки зрения рефлекторного акта.—*Н. Понятский.* Отповедь старого дарвиниста. Литературные края.—*Н. Асеев.* По морю бумажному (журнальный обзор).—*А. Воронский.* Литературные силуэты. I Б. Пильняк. Внутри сов. России.—*Нурмин.* Процесс правых эс-эров. Критика и библиография. Рецензии *Н. С., А. Н-ва, Сергея Боброва, Марковича, Горева, Милютина, Канторовича. Б Завадовского, Д. Хлебникова* и других авторов.—*В. Маяковский.*—Хлебников.—*Объявления.*

Книга девятая.

Георгий Шенгели. Поручик Мертвецов. Стихи.—*Николай Тихонов.* Песня об отпускном солдате, Колымага и др. Стихи —*В. Вересаев.* Два отрывка из повести „В тупике“. *Вера Инбер, Вера Ильина, Владимир Нарбут.* Стихи.—*Всеволод Иванов.* Голубые пески. Роман (продолжение).—*Василий Казин, Петр Орешин, Дм. Семеновский.* Стихи —*Ганс Сакс.* Фюнзингенский конокрад и вороватые крестьяне Перевод Бориса Пастернак.—*Ольга Форш* Африканский брат. Рассказ.—*Сергей Бобров.* Глаза свободы. Стихи.—*Александр Дроздов.* Бес. Рассказ —*И. Майский.* Демократическая контр-революция (продолжение).—*Карл Радек.* Что дала октябрьская революция.—*Е. Преображенский.* Крах капитализма в Европе.—*Рубинштейн* Стиннес.—*Яковлева.* Общее положение профессионального образования в Р.С.Ф.С.Р.—*Я. Шатуновский.* Коммунизм в борьбе с голодом —*А. Пюттер.* Голодная смерть. Пер. с немецкого Г. Азимова, с предисловием Б. Завадовского —*К. Радек.* Генуэзская и Гаагская конференции. За рубежом.—*Мих. Павлович.* Японский империализм.—*П. Китайгородский.* Современная Ирландия. Литературные края.—*А. Воронский* Литературные силуэты Внутри советской России.—*С. Ингулов.* Без помещиков. Критика и библиография.—Рецензии *А. А., А. Воронского, Б. Горева, А. К. В. Кряжина* и др.—*Объявления.*

С январской книги „Красной Нови“ начнутся печатанием автобиографические очерки М. ГОРЬКОГО. Первый очерк—„О В. Г. Короленко и его времени“.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Сретенский б., Милютинский пер., 5-й подъезд, 4-й этаж. Тел. 2-71-00.

Прием по понедельникам, средам и пятницам, от 1 до 3 ч. дня.

Рукописи менее печатного листа не возвращаются.

Редактор—А. Воронский. Издатель—Государственное Издательство.

СОДЕРЖАНИЕ.

В рецензии С. Зорина выпал подзаголовок **«Полное собрание соч. А. Ф. Керенского».**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Главное Управление ▫ Москва ▫ 1922